

Раиса ОРЛОВА Лев КОПЕЛЕВ

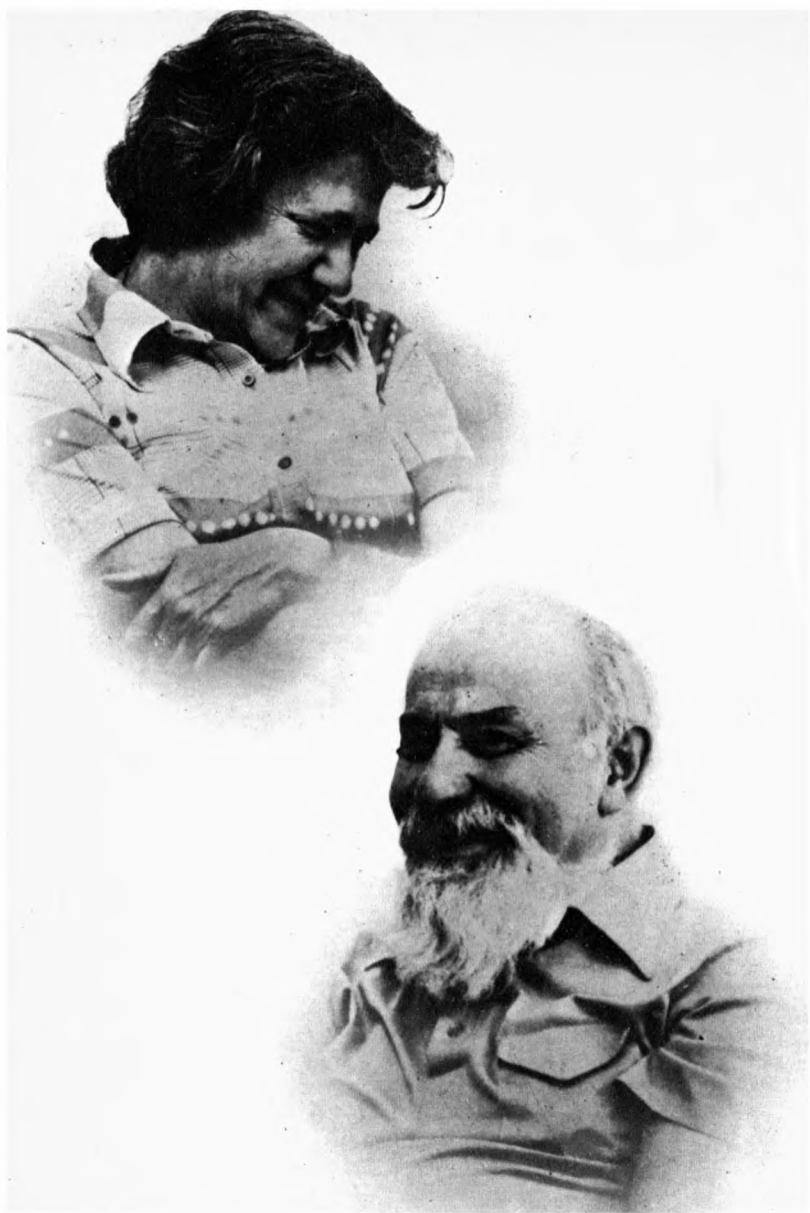
Раиса ОРЛОВА

Лев КОПЕЛЕВ

МЫ ЖИЛИ
В МОСКВЕ

1956 - 1980





Раиса ОРЛОВА

Лев КОПЕЛЕВ

МЫ ЖИЛИ

В МОСКВЕ

1956 - 1980

МОСКВА «КНИГА» 1990

ББК 84Р7
О-66

О 4703010100-125 Без объявл.
002(01)-90

ISBN 5-212-00446-2

© Ракса Орлова, Лев Копелев. 1988

Нашим дочерям и внукам

Много людей помогли нам работать над этой книгой. Помогали и непосредственно — советами, критическими замечаниями, поправками, дополнениями ко всей рукописи или к отдельным главам. Помогали и всем опытом своей жизни, дружеской поддержкой в трудные дни.

Мы сердечно благодарны Валерии Абросимовой, Василию Аксенову, Михаилу Аршанскому, Саре, Марине, Александру Бабеньшевым, Абраму Белкину, Игорю Бурихину, Ларисе Богораз, Борису Биргеру, Инне Варламовой, Нике Глен, Юлии Живовой, Екатерине Зворыкиной-Эткин, Лене Зониной, Любви Кабо, Наталье Кинд, Владимиру Корнилову, Вере Кутейщиковой, Анне Латышевой, Сусанне и Юрию Левинсонам, Михаилу Левину, Флоре Литвиновой-Ясиновской, Павлу Литвинову, Анатолию Марченко, Нине Масловой, Саре Масловой-Лошанской, Сергею Маслову, Юрию Маслову, Валерии и Михаилу Медвинским, Льву и Александру Осповатам, Анатолию Приставкину, Ивану Рожанскому, Розе и Максу Рохлиным, Галине и Давиду Самойловым, Валентине и Юрию Черниченко, Фаине и Игорю Хохлушкиным, Лидии Чуковской, Инне и Владимиру Шихеевым, Ефиму Эткинду.

Рукопись наших воспоминаний не могла бы стать книгой без самоотверженной помощи Лены Варгафтик и Ирины Каволь.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет...

Б. Пастернак

...Пусть очевидцев поколенья
Сойдут по-тихому на дно,
Благополучного забвенья
Природе нашей не дано.

...Но все, что было, не забыто.
Не шито-крыто на миру.
Одна неправда нам в убыток
И только правда ко двору!

А. Твардовский

ВВЕДЕНИЕ

Мы рассказываем о том, что сами видели, слышали или узнали непосредственно от участников либо очевидцев.

С 1956 года мы вместе, но мы по-разному воспринимали события, людей, книги. По-разному и вспоминаем. Сегодня мы бродили по раскопкам Херсонеса. Развалины домов, надгробия, утварь и орудия, созданные людьми, которые жили две тысячи лет тому назад; читали слова, запечатленные на камне. Это было живое дыхание давно умерших...

Наше время быстро становится прошлым. Каждое вчера уже история.

Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется.

Нам не дано знать, какие плоды принесут посевы наших лет, какие памятники, какие свидетельства будут особо привлекать историков, что именно прочтут внуки и правнуки в сегодняшних письменах.

Мы хотим запечатлеть то, что помним. Чтобы оставить черепки для будущих археологов, камешки для будущих мозаик. Но и нам самим это необходимо сегодня. Чтобы противостоять хаосу. Чтобы сохранить отголоски умолкших голосов, следы ушедших. Чтобы продолжать жить.

22 сентября 1974 года. Севастополь

1. РАННЯЯ ОТТЕПЕЛЬ

Мы в руководстве сознательно были за оттепель и я сам.

Мы испугались — действительно испугались. Мы испугались, что за оттепелью польется поток, а мы окажемся не в состоянии его контролировать, и он может и нас затопить. Он может выйти за советские берега, образовать такие волны, которые сметут все барьеры, стены, удерживающие советское общество. Мы хотели направить движение оттепели так, чтобы стимулировались только творческие силы, которые способствовали бы укреплению социализма. Мы и сами хотели ослабить контроль над художниками, но были в этой области очень трусливы. У нашего народа есть на этот счет хорошая поговорка: «И хочется, и колется, и мама не велит».

Н. С. Хрущев

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу...

А. Твардовский

Многие наши современники начинают новое летоисчисление с 5 марта 1953 года — со дня смерти Сталина.

Л. Когда началось дело врачей, мы узнавали в тюрьме о все новых арестах, погромных расправах и от наших новых коллег, и от недавних заключенных — Гумера Измайлова и Ивана Брыксина, которые не избегали старых товарищей и рассказывали нам о том, чего нельзя было прочитать в газетах и услышать по радио: об избиениях евреев в метро, в заводских проходных, о самоубийствах врачей, у которых умирали пациенты. В моем сознании и в сумятице полуосознанных чувств прорывался ужас.

Те бездушные, бессмысленно жестокие силы, которые хозяйничают в судах и МГБ, в лагерях и тюрьмах, которые расправлялись со мной и моими товарищами, я считал уродливыми «наростами» на здоровом теле страны. А что если именно это — суть, основа нашего государства, всего общественного строя?

Такие мысли я гнал, не хотел додумывать, убеждал себя «утешающими» стихами.

После первого бюллетеня о болезни Сталина было ясно — он не выживет; ТАК сообщать могли, только убе-

дившись в полной безнадежности, зная, что это уже агония. Маленков, которого тогда называли «вторым», считался великодержавником, черносотенцем. Неужели начнется нечто вовсе непредвидимое, открытый фашизм?

Но ведь новое страшное самодержавие создал Сталин. Может быть, его смерть высвободит здоровые силы, социалистические, пролетарские? Либо новые хозяева будут менее самоуверенными, чем он, либо даже вовсе безыдейными и поэтому пойдут на сближение с Западом, прекратят войну в Корее?

Хотелось надеяться. Я не умел жить без надежд.

...Я оплакивал того Сталина, которого полюбил шестого ноября сорок первого года. В те непроглядно-мрачные дни мы на Северо-Западном фронте были почти окружены, отрезаны и от Москвы, и от Ленинграда. Немцы уже заняли Калинин, Мгу, Торжок.

У нас был трофейный радиоприемник, мне и моим товарищам по должности полагалось слушать немецкие передачи. Я слышал, как надрывались победные фанфары немецких сводок, я слышал торжествующий крик Гитлера: «Этот враг повергнут раз и навсегда. Еще до наступления зимы мы нанесем последний удар». А наши сводки были безнадежно, до отчаяния скупыми: «Под натиском превосходящих сил... отошли... оставили... продолжали отход...» После всего этого неожиданно — голос Сталина, знакомый акцент, привычные учительские, пропагандистские интонации, словно он размышлял вслух, привычные, знакомые слова.

...Пройдут годы, и я пойму что это были наигранные, притворные интонации, что словарь был убогим, стандартные лживые словосочетания. Но все годы на фронте эти воспоминания о Сталине, придуманном и вознесенном десятками тысяч таких, как я, были одним из источников моей веры в победу. И потом, в тюрьме, вспоминая, думая о нем, я надеялся на освобождение, на торжество справедливости.

В день победы, в штеттинской тюрьме, я сочинял:

...Мы этого ждали

И в страшную осень в боях под Москвой,

И в дни, когда немцы у Волги стояли

И рев их орудий не молк над Невой...

Мы знали, кто мы. И мы знали, что Сталин

Германии карту держал под рукой.

О нем я сочинял в тюрьмах, на пересылках, в лагере и на шарашке многосуставную аллегорическую поэму «Пророк» — о вожде, который сурово, но мудро привел народ в обетованную землю.

Понадобилось десять лет, чтобы я уразумел, чего стоили мои якобы диалектические умозрения о «векторной гениальности» вождя, который, прокладывая верный путь к великой цели, не гнушался самыми страшными, самыми жестокими средствами, пренебрегая расслабляющей чувствительностью и предрассудками «абстрактного» гуманизма.

В те годы я стал понимать, что мы обожествляли не гениального мыслителя, а хитрого параноика, не великого революционера, стремившегося к счастью России и к счастью человечества, а мелкодушного, жестокого и тщеславного властолюбца. Его возносили на вершину власти необычайные исторические обстоятельства.

Большевистская партия была отлично организованной армией, которая объединяла рабочих революционеров, идеалистов-интеллигентов, фанатичных заговорщиков, премников Нечаева и случайных попутчиков. Эта партия-армия подавила стихийную русскую революцию и создала новое государство, которое стало наследником худших традиций азиатского великодержавия.

Ленину и догматическим ленинцам борьба за власть, утверждение их бесконтрольной власти, подавление всех сопротивляющихся казались необходимыми средствами для достижения великой цели — «всемирного братства трудящихся».

Для Сталина и его приверженцев, напротив, целью было самодержавие, утверждение и расширение всевластного государства, а коммунистические и социалистические теории и лозунги стали только средствами пропаганды, средствами воодушевления или запугивания таких, каким был я.

Поэтому Сталин уничтожил всех более одаренных соперников: Троцкого, Бухарина, Каменева, Рыкова, Зиновьева, Пятакова и др. И жестоко преследовал тех, кто сохранил пережитки старых социалистических идей некогда бескорыстной революционности.

Так я думал в 1968 году. Но если бы тогда, в те первые мартовские дни 1953 года, мне кто-нибудь сказал, что я буду так думать, я бы счел это бредовым абсурдом.

Р. А мне ни тогда, ни теперь не хотелось размышлять о Сталине, о том, кто он был объективно и субъективно. Не хотелось ни читать, ни слушать. И сегодня я хочу думать только о нас. О нас при Сталине, о нас, выбирающихся из-под Сталина.

Л. ...У нас на шарашке в пятьдесят третьем году установили телевизор, и с его экрана потекли к нам ободряющие впечатления.

Многие передачи воспринимались как приметы близящихся, наступающих, уже наступивших добрых перемен.

Мы смотрели пьесы Макаенка «Камни в печени», Крона «Кандидат партии».

Даже самые упорные пессимисты говорили:

— Такого раньше не бывало. Нет, не бывало. Еще в прошлом году авторы за такие пьесы привлекались бы по 58-й, п. 10 и не меньше десятки отломилось бы.

Выступал джаз Утесова, и это уже воспринималось как обновление — ведь совсем недавно и по радио, и в газетах джазы поносились как «чуждое», «разлагающее», «вредоносное псевдоискусство». Утесов подмигивал: «Саксофон у нас вполне приличный инструмент, хотя у него есть родственники за границей», и мы покатывались с хохоту и радовались этому как проявлению новой свободы слова.

Майский указ 1953 года об амнистии охладил слишком горячие ожидания. Освобождались только бытовые и ворье. Рассказывали о катастрофическом росте преступности, о грабежах и убийствах в Подмосковье и в самой Москве. Пессимисты говорили, что теперь уже наверняка никакого послабления не будет, что этой амнистией напугали весь народ. Тем, кто освободится, отсидев «от звонка до звонка», по-прежнему не будет разрешено жить в крупных городах, и большинство населения это поддержит.

Им возражали оптимисты, доказывая, что правительство теперь поймет, что освобождать надо таких, как мы, ни в чем не повинных, работающих, «приличных фрайеров».

После того как появился в печати термин «культ личности», целыми неделями ни в газетах, ни по радио не упоминалось имя Сталина. Меня даже огорчало это молчание как несправедливое.

В июне 1953 года в газетном сообщении о премьер-оперы «Декабристы» были поименно перечислены все члены правительства, присутствовавшие в театре; не хватало Берии.

Арестанты на шарашке и раньше часто знали больше,

чем люди на воле. А тогда мы из первоисточников услышали о сокращении оперативных кадров бывшего МГБ, об отмене их воинских званий — гебистские полковники и подполковники, майоры и капитаны были возвращены к тем званиям, которые имели как военнослужащие. И многие офицеры оказались старшинами или сержантами. Недовольным предлагалось просто уходить в отставку. Один из наших подслушал разговор двух гебистов:

— Погоны снимают. Платить за погоны уже ни хрена не будут... Неужели ОНИ думают, что могут без нас обойтись?

Этот разговор мы потом долго и очень радостно обсуждали. Правительство стало ОНИ для гебистов, для тех, кого мы называли ОНИ.

И это произвело на нас, пожалуй, даже большее впечатление, чем расстрел Рюмина и Берии. От «вольняг» мы знали подробности о процессе Берии, о сотнях соvrащенных девушек, о хищениях; о миллионах зека там, разумеется, не говорилось. Но мы, конечно, не верили в его связи с английской разведкой и с «агентурой Тито». Мы-то уж знали, как стряпаются такие обвинения.

От нас увезли всех немцев. Они прощались растерянными, а мы были уверены, что их освободят.

Начали ликвидировать шарашки. Мы узнавали о том, что распущены артиллерийская шарашка в Тушино, оптическая на Бронной, авиационная в Болшево. Хотелось верить, что люди оттуда уходили на волю. К нам больше не привозили «новичков» из тюрем, не стало арестантской информации.

Надежды вспыхивали, перемежаемые сомнениями, разочарованиями, сумрачными предсказаниями. После работы мы бродили по центральной «улице» лагеря, между опустевшими, заколоченными юртами. Мы спорили, думали вслух. Вместе с жизнерадостными прожектерами я прикидывал, сколько месяцев или даже лет потребуется, чтобы перевести большинство лагерников на вольные поселения, а для таких, как мы, устроить шарашки подальше от столиц, где нынешние зека могли бы работать уже вольнонаемными, но с «ограниченными правами». А вместе с трезвыми скептиками я рассуждал о том, что просто невозможно сразу или за короткое время покончить с огромной империей ГУЛага.

Ведь мы-то лучше, чем все вольные, знали, что это не просто государство в государстве, но, при всей убогой

производительности рабского труда, — одна из основ отечественной экономики. Кем заменить миллионы зека на Дальнем Севере, на Дальнем Востоке, на всех великих стройках? Даже московские небоскребы, в том числе и здание МГУ, строили наши братья. Нет, массовое освобождение казалось невысказанным, оно привело бы к катастрофе. Но, может быть, хотя бы таких, как мы, заслуженных «шарашечных» специалистов будут освобождать, не восстанавливая в гражданских правах.

Если бы тогда кто-нибудь сказал нам, что уже через три года начнется массовая реабилитация, что в Москве закроют не только страшную пыточную тюрьму Сухановку, но все шарашки, даже будничную Таганскую тюрьму, что не только расстреляют Берия, но и в открытую будут говорить об ошибках Сталина, — то даже самые оптимистичные мечтатели сочли бы это буйной фантастикой.

И когда в 1956 году мы все, один за другим, были реабилитированы, то на первых порах воспринимали это как чудо.

Еще и позднее я долго не понимал, что тогдашние рационалистические прагматические рассуждения о судьбах миллионов зека, рассуждения, свободные от простейших нравственных понятий — добра и зла, правды и лжи, от простейших человеческих чувств жалости, семейных и дружеских связей и уж, конечно, вовсе лишенные правосознания, выражали уродливую рабскую сущность нашего мировоззрения и нашей психологии. Именно такое мышление и такая психология сделали возможной сталинщину, а в условиях сталинщины такая психология постоянно «расширенно воспроизводилась»...

Но и сейчас, двадцать лет спустя, прочитав множество книг — воспоминаний, статей, научных исследований, — после бесчисленных споров, дискуссий я все еще не понимаю до конца, что именно произошло в феврале—марте 56-го и в октябре—ноябре 1961 года.

Каковы действительные социальные и психологические источники парадоксов Хрущева и всего того, что было названо «эпохой позднего реабилитанса»?

Р. В конце декабря 1953 года Пастернак писал двоюродной сестре Ольге Фрейденберг: «Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного, прекратилось всedневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, которые возвращаются».

В декабре 1953 года в «Новом мире» была опубликована статья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Мы тогда впервые услышали это имя. Главная мысль выражена уже в заглавии: «...искренности,— вот чего, на мой взгляд, не хватает иным книгам и пьесам».

Вокруг меня все читали, перечитывали эту статью, спорили о ней. Я приняла ее сразу и полностью. Позднее моя радость казалась странной. Ведь Померанцев лишь утверждал, что литератор должен писать то, что он действительно думает.

Ранней весной 54-го года в СП обсуждали статью Померанцева. Я впервые присутствовала на таком обсуждении, записывала, не зная почти никого из тех, кто говорил.

Критик Тамара Леонтьева патетически спрашивала: «Что же, советские писатели неискренни? Что же, они — двурушники?» Год спустя Т. Леонтьева, выступая в дискуссии о воспитании, рассказала о районном городке в Рязанской области, в котором детский дом размещен в здании бывшей тюрьмы, дети живут в холодных, сырых камерах, а прямо напротив построен роскошный особняк секретаря райкома.

Литературовед Богданов, унылый начетчик, говорил о статье невразумительно, но явно враждебно,— она не соответствовала строгим нормативам социалистического реализма.

М. Гус, критик, историк литературы, особенно ядовито обличал Померанцева. Впоследствии он с той же страстью разоблачал идеологические ошибки М. Бахтина, В. Войновича, Ю. Казакова.

Гусу возражала беллетрист Марголина:

«Все согласны с тем, что чистый воздух полезен. Но есть немало людей, которые не любят, когда открывают форточку. А Померанцев открыл. Его статья не единственная, она попала в жилу. У нас есть писатели, которые пишут правду. Овечкин начал раньше других. Теперь ясно, что Овечкин не одинок».

(Очерк Валентина Овечкина «Районные будни» был опубликован в 1952 году в «Новом мире». Овечкин так описал трудную жизнь колхоза, так изобразил секретаря райкома, бездушного, спесивого чиновника Борзова, что в конкретных подробностях начали проступать черты социального обобщения. В те годы это было беспримерной смелостью.)

Критик Сара Бабенышева говорила:

«Спор идет о демагогии. Ведь может показаться, что только обличители Померанцева защищают партийность и идейность. А это вовсе не так. В нашей литературе возникло новое направление — Овечкин, Тендряков. Это новое направление создают литераторы, которые ведут борьбу против формализма, против иллюзии благополучия в жизни. Бюрократ везде стремится создать такую иллюзию благополучия в литературе».

В тот вечер я вышла из клуба счастливой. Я услышала единомышленников и противников. Этот новооткрытый мир был так же, как мир моего детства, четко поделен на «красных» — они правы — и «белых» — они неправы.

Весной 1954 года в журнале «Знамя» была опубликована повесть И. Эренбурга «Оттепель», средне беллетристическое, газетно-злободневное произведение, давшее название целому периоду нашей истории.

В первые месяцы 1954 года в «Новом мире» появилась статья Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», памфлет М. Лифшица «О дневнике Мариэтты Шагинян», рецензия молодого критика М. Щеглова на роман Л. Леонова «Русский лес».

Ф. Абрамов сопоставлял книги с действительностью. Он родился и юность провел в деревне на Севере. Там оставались его родные, друзья детства. Абрамов доказал, что романы Бабаевского, Медынского, Николаевой, Лаптева и других тогдашних сталинских лауреатов далеки от реальной жизни, лакируют неприглядную действительность.

«Может показаться, будто авторы соревнуются между собой, кто легче и бездоказательнее изобразит переход от неполного благополучия к полному процветанию».

М. Лифшиц высмеивал сановных литературных гастролеров, которые, разъезжая по творческим командировкам, скоростными методами изучают жизнь новостроек или промышленных предприятий и публикуют лживые репортажи.

М. Щеглов так же, как все рецензенты «Русского леса» Л. Леонова, роман хвалил, но при этом сомневался: насколько правомерно то, что клеветник, карьерист Грацианский в молодости был провокатором царской охраны? Щеглов утверждал, что нынешние пороки и преступления отнюдь не всегда вырастают из таких дальних корней. Искать надо ближе.

Когда весной 1956 года я была в Польше, меня спрашивали о Щеглове. Оказалось, что эту рецензию знали многие польские литераторы.

— Мы тут считаем, что именно Щеглов первый открыл закон «имманентного зла», закон очень важный для всех исследователей социалистического общества, и для писателей, и для социологов.

Вернувшись в Москву, я с ним встретилась, чтобы рассказать об этом. Коренастый, широкий, нездоровая полнота — он казался больным, пожилым. Поразили детские, сияющие глаза, добрая улыбка. Он ничего не знал о своей зарубежной известности и очень обрадовался.

— Подумать только, в Польше про меня знают.

В том же году он умер. Некролог поместил только альманах «Литературная Москва».

Потом издавали сборники статей М. Щеглова, но рецензия на «Русский лес» не была включена ни в одно издание.

Каждый очередной номер «Нового мира» мы нетерпеливо выхватывали из почтового ящика. Название журнала вдруг приобрело первоначально точный смысл: **НОВЫЙ**.

Но в августе 1954 года было принято решение ЦК — оно было опубликовано как решение секретариата Союза писателей «Об ошибках „Нового мира“», которое осуждало как «очернительские» статьи Померанцева, Абрамова, Лифшица и Щеглова. Твардовский был снят с поста главного редактора.

Это было первое решение Центрального Комитета моей партии, которому я не поверила, не приняла его. Каждое слово противоречило тому, что испытывала я, читая осужденные статьи. Но даже себе я еще не решалась сказать: «Я — против этого решения».

В августовском постановлении ЦК ни словом не упоминалась поэма Твардовского «Теркин на том свете». Но к тому времени уже многие в Москве знали, что она была набрана для пятой, майской книжки журнала, запрещена цензурой, набор рассыпан.

Однако вскоре поэма пошла по рукам.

Л. 10 февраля 1955 года был день рождения Абрама Александровича Белкина, и «новорожденный» за ужином после первых тостов достал небольшую тетрадку. «Вот самый лучший подарок, который я получил сегодня». И стал читать:

Тридцати неполных лет
Любо ли, не любо
Прибыл Теркин на тот свет,
Раз на этом убыл...

Мы все — десятка два гостей — друзья и бывшие ученики Белкина, слушали, то и дело вскрикивая от восторга, иногда просили повторить строфу.

Когда он кончил, я сказал непоколебимо убежденно: «Это гениально». И сразу же начал переписывать.

Больше девяти лет эта поэма жила у нас дома в тетрадке, во многих других домах — в рукописных, машинописных листах.

Василий Теркин был давним, добрым знакомым. Стихи, ставшие «Книгой про бойца», в годы войны приходили к нам в газетах и листовках.

В этих стихах жила правда о войне — будничная, окопная, солдатская и в то же время — возвышенная, песенная, былинная правда. Твардовский потом говорил, что эта поэма была «...моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю». Герой поэмы — рядовой солдат Василий Теркин — храбр, находчив, остроумен, смышлен, отлично знает свое боевое ремесло и при всем том не становится идеальным чудо-богатырем: умеет постоять за себя, позаботиться о харчах и выпивке, не уваливает от опасности, но и не лезет в герои. Теркину и его автору мы верили безоговорочно.

В лагерной самодеятельности я читал отрывки из «Книги про бойца», и мне это было радостно, и слушатели одобряли. Новая встреча с Теркиным была важнее всех прежних.

В поэме-сказке, в стихах — то частушечно-лукавых то задумчивых, печальных, напевных — раскрывалась вся наша жизнь, и давно знакомые будничные приметы внезапно обретали пс-новому осознаваемый страшный смысл.

Василий Теркин, пораженный бюрократической сложностью загробного мира, спрашивает встреченного там фронтового друга:

...Но зачем тогда отделы,
И начальства корпус целый,
И другая канитель?

Тот взглянул на друга хмуро,
Головой повел:
— Нельзя.
— Почему?
— Номенклатура.
И примолкнули друзья.

Теркин сбился, огорошен
Точно словом нехорошим,
Все же дальше тянет нить,
Развивая тему:
— Ну, хотя бы сократить
Данную Систему?..

...Невозможно упредить,
Где начет, где вычет.
Словом, чтобы сократить,
Нужно увеличить...

В последующие месяцы и годы некоторые слова, речения, строфы поэмы стали жить сами по себе, так же, как в прошлом веке жили строфы, речения из комедии «Горе от ума».

Летом 1963 года Твардовский прочитал эту поэму на даче у Хрущева в присутствии иностранных гостей: Симоны де Бовуар, Сартра, Энциенсбергера. По разрешению Хрущева «Теркин на том свете» был напечатан в «Известиях» и в «Новом мире». Это был новый вариант, значительно измененный по сравнению с тем, который был у нас в тетрадке, но отнюдь не смягченный.

Печатать разрешили, вероятно потому, что поэма-сказка должна была восприниматься как еще одно разоблачение «культового» прошлого. Так толковались некоторые строфы, например, допрос, который учиняет Теркину потусторонний «Стол Проверки». В дополнительных строфах 63-го года названы своими именами зловещие приметы именно сталинской поры:

Постигаю мир иной.
— Там отдел у нас Особый,
Так что лучше
 стороной...
...Там рядами, по годам
Шли в строю незримом

Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом.

...Теркин вовсе помрачнел.
Невдомек мне словно,
Что Особый наш отдел
За самим Верховным.
...Устроитель всех судеб,
Он в Кремле при жизни склеп
Сам себе устроил.
Невдомек еще тебе,
Что живыми правит,
Но давно уж сам себе
Памятники ставит.

Мы воспринимали эту поэму как расчет с прошлым, как радостный, оттепельный поток, смывающий прах и плесень сталинской мертвечины.

Нас привлекало и непосредственное лирическое самовыражение Твардовского, поэта и редактора, который насмешливо-гневно расправляется со своими исконными врагами, с теми, кто топчет, душит, убивает живое слово.

Весь в поту, статейки правит,
Водит носом взад-вперед:
То свое словечко вставит,
То чужое зачеркнет.

То его отметит птничкой —
Сам себе и Глав и Лит —
То возьмет его в кавычки,
То опять же оголит.

Знать, в живых сидел в газете,
Дорожил большим постом,
Как привык на этом свете,
Так и мучится на том.

...Обсудить проект романа
Члены некие сошлись.
Этим членам все известно,
Что в романе быть должно,
Кто герой и то ли место
Для любви отведено.

...У нас избыток
Дураков, хоть пруд пруди,
Да каких еще набитых —
Что в Системе, что в Сети.
...От иных запросишь чуру
И отставку не хотят.
Тех, как водится — в цензуру
На повышенный оклад.

Тогда, в начале 60-х годов, Твардовский осиливал и номенклатурных дураков, и многих умников-цензоров. Но позднее поэму «Теркин на том свете» уже не включали в сборники его стихов. Мертвые хватали живых — и самого Твардовского, и авторов его «Нового мира»...

...Умер Сталин. Умер Хрущев. Умер Брежнев. Умер Черненко. Умер Андропов... А мертвечина, из которой они вырастали, остается.

Что-то меняется, что-то отваливается. Но сохранно зловещее царство мнимостей, бесчеловечных и противочеловечных сил и прикрывающих их обрядов, условностей, ритуалов. И теркинская преисподняя — это все еще наш доныне существующий поскосторонний, повседневный быт и общественное бытие.

Перечитывая поэму почти 30 лет спустя после первой встречи с ней, мы прежде всего радостно ощущали ее вольное поэтическое дыхание, музыку русского стиха, чудотворную силу простых слов, которые создают зримые, слышимые, осязаемые образы.

И сегодня мы вновь убеждаемся — эта поэма шире сталинской и послесталинской преисподней. Из конкретных подробностей, из реальных обстоятельств и реальных характеров наших соотечественников, наших современников рождается и растет поэзия, воплотившая вселенские и всевременные сущности, начала и концы человеческого бытия:

...День мой вечности дороже,
Бесконечности любой...

Но вела, вела солдата
Сила жизни — наш ходатай
И заступник всех верней
Жизни брэнной, небогатой
Золотым запасом дней.

Неодоленная преисподней сила рядового солдата Василия Теркина, который вопреки всем препятствиям вырвался, ушел от смерти, заморозила нас с первой же встречи.

Мы в те годы жили и свежими горькими воспоминаниями, и напряженной злобой дня, спорами, слухами, догадками, обещаниями. Иногда в шумной суете малые происшествия казались крупными событиями.

Но Теркин остался неизменно значителен. Он был знаменем новых времен, он сулил победы, он побуждал обратиться к себе, понять, осмыслить свою личную ответственность за судьбу страны.

Один из авторов «Нового мира», молодой публицист и философ Юрий Карякин, высказал то, что мы думали и чувствовали:

«Одно из главных следствий разоблачения культа личности заключается в чрезвычайном обострении чувства ответственности каждого человека (и в особенности коммуниста, марксиста) за все, что его окружает, за все происходящее в мире. Мало признаться: «Не знал, а потому слепо верил». Труднее и несравненно важнее спокойно разобраться в том механизме собственного сознания, который «срабатывал определенным образом» в те годы и который надо перестраивать так, чтобы он уже никогда больше таким образом не «срабатывал». Освобождение от предрассудков культа личности — это не только правда о Сталине, но и правда о себе, о своих иллюзиях».

Р. В те годы мы все время жили «на людях». В квартирах друзей, знакомых и во всех наших временных пристанищах едва ли не ежевечерне собирались друзья и просто случайные знакомые или знакомые знакомых. Тогда возникло множество постоянных кружков.

Что такое кружок, дух кружка?

«По-моему, служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном...» — писал Герцен. Так жили несколько поколений русских интеллигентов. Но в Советском Союзе в 30-х, и тем более в 40-х — начале 50-х, само понятие «кружковщина» стало не только бранным, но и угрожающим. Любое самочинное объединение могло оказаться подозрительным. Одной из явственных примет оттепели уже в самую раннюю пору, в пятьдесят четвертом, пятьдесят пятом годах были стихийно возникавшие, пестрые, аморфные компании, которые превращались в устойчивые содружества.

Л. Когда в декабре 54-го года я вышел из тюрьмы, то в первые недели меня это поразило, как нечто новое и неожиданное. В нескольких знакомых квартирах постоянно собирались люди — не столько для того, чтобы выпить, потанцевать, пофлиртовать, посплетничать, но, главным образом, поговорить, пообсудить, «пообобщать». И это были не обычные «детские» разговоры, а серьезные рассказы, размышления вслух, споры. Говорили о новых книгах, спектаклях, выставках, но всего больше, всего увлеченнее — о жизни в стране, о политических переменах, о слухах. И всегда находились такие, как я, недавно освобожденные из тюрем и лагерей. Нас подробно расспрашивали и нам рассказывали. Иногда кто-нибудь радостно замечал: «А ведь мы перестали думать о стукачах».

Р. Люди тянулись друг к другу. Образовывались как бы клетки новой общественной структуры. Впервые возникало настоящее общественное мнение. В квартирах, а тогда еще в комнатах коммунальных квартир, у столов, заставленных разнокалиберной посудой, за едой, которая чаще всего сводилась к водке с селедкой и винегретом, а потом к чаю с печеньем, происходили многочасовые роскошные пиршества мысли, создавались и оспаривались теории, ниспровергались старые авторитеты, утверждались новые. Разумеется, были постоянные темы, неисчерпаемые: Хрущев и Сталин... Пастернак, Дудинцев, Эренбург... цель и средства... Когда ЭТО началось? В 37-м, в 31-м, в 21-м? (До семнадцатого тогда еще не добрались.)

Во время Второго съезда писателей в декабре 54-го года в сатирической стенгазете появился лозунг: «Поднимем критику до уровня кулуарных разговоров!» Домашние кружки и были этими критическими кулуарами. И мы тогда много смеялись. Везде возникали самодеятельные сатирические группы, в Писательском клубе образовался ансамбль «Верстки и правки». Новорожденное общественное мнение вырывалось из кружков, из кулуаров в более многочисленные аудитории.

Л. В 1957 году «Комсомольская правда» опубликовала стихотворение Б. Слуцкого «Физики и лирики». Стихотворение вызвало много читательских откликов. Ученый-инженер Полежаев писал, что в эпоху научно-технической революции жизненно важны только точные, естественные науки и производительные занятия, а литература, искусство и все,

что с ним связано, пригодны для развлечений, «на десерт». Избыточная чувствительность и умозрительные мечтания только отвлекают от серьезных дел. Полежаеву возражал Эренбург и другие, доказывавшие, что и в космосе «нужна ветка сирени...»

В газетах публиковались статьи, письма, отчеты о дискуссиях.

Однажды вечером на квартире пианистки Марии Вениаминовны Юдиной собралось несколько человек: Мстислав Ростропович, Борис Слуцкий, художник Валентин Поляков, философы, музыканты, сотрудники Академии наук, литераторы. Мы все были согласны в том, что нужно «объединить физиков и лириков». Решили устраивать постоянные дружеские встречи.

Две такие встречи состоялись в Большом зале консерватории: ученые рассказывали о своих новых работах. Играли Юдина и Ростропович. Врач-невропатолог провел сеанс массового гипноза. В фойе и в коридорах были выставлены картины В. Полякова, Ю. Васильева, и тут же шли споры, которыми руководили искусствоведы А. Каменский и Д. Сабьянов.

В этих беседах и в других, возникавших в фойе и залах Консерватории, участвовали физики Игорь Тамм и Лев Ландау, астроном Алла Масевич, философ-физик Иван Рожанский и другие.

Мы все были радостно возбуждены и надеялись, что такие непринужденные встречи людей разных профессий будут продолжаться в Консерватории и за ее стенами. Уже составлялась программа третьего вечера. Но вмешались «партийные инстанции». Некие инструкторы МК и ЦК очень доброжелательно объясняли, что в ЦК «на самом верху» одобряют полезное начинание и надлежащий отдел ЦК будет непосредственно руководить ценным мероприятием, чтобы тем самым «поднять его значение». Казенная благосклонность оказалась не менее губительной, чем прямые запреты. «Физики» и «лирики» больше не встречались.

Но домашние кружки продолжали существовать, множиться. Иные преобразовались в салоны. Это старое слово стало обиходным сначала шутливо, а потом и всерьез.

Салон возник в московской квартире и в тарусском доме переводчицы Елены Голышевой и киносценариста Николая Оттена. У них в Тарусе нашла надолго убежище Надежда Яковлевна Мандельштам — там была написана большая часть ее первой книги, там зимой 63—64 годов жил Иосиф

Бродский. На этой даче много страниц прозы и стихов написал Владимир Корнилов.

У них мы встретили Ольгу и Вадима Андреевых, впервые приехавших из Швейцарии на родину, которую покинули в 1920 году.

«Домовая книга Гольшевой—Оттена останется заметной страницей в истории русской литературы»,— сказал наш приятель.

В доме Р., сотрудника Академии наук, возник литературно-музыкальный салон. Там по четвергам собирались слушать музыку. В семье был отличный магнитофон, один из первых таких в Москве. Мы впервые услышали там произведения Стравинского, Шенберга, Берга и других композиторов, которые числились формалистами и потому не исполнялись в концертах. В том же доме читали стихи Анна Ахматова, Пабло Неруда, Давид Самойлов, Иосиф Бродский, Геннадий Айги и вовсе неизвестные еще поэты.

В 60-е да и в 70-е годы таких салонов возникало все больше, но они становились более замкнутыми.

Однако в некоторых домах, в том числе и в нашем, сохранялся дух открытых кружков ранней оттепели.

Мы еще дышали им в последние дни, прощаясь с Москвой...

2. МЫ ПОВЕРИЛИ, ЧТО УЖЕ ВЕСНА

...Появилась рукописная литература. Она ограничивалась сперва одними стихами — но теперь размер ее вырос и появляется уже и проза. Как хотите, а это замечательное явление — общественное мнение силится изо всех сил высказаться — и высказывается иногда в этой подземной литературе чрезвычайно умно... Дай Бог, чтобы общественное мнение могло свободно высказываться и во всех других формах. Это было бы большое благодеяние для России.

*Из письма декабриста Е. Якушкина декабристу
И. Пуцину
27 апреля 1855 года*

После смерти Николая I рукописную литературу создавали и передавали друзьям и знакомым уцелевшие декабристы, друзья Герцена и все, кто желал, кто ждал отмены крепостного права и цензуры, кто мечтал о судебных реформах, о гражданских свободах. Возникло общественное мнение и новые общественные силы, которые противостояли власти жандармов, идеологии самодержавия и его всемогущей бюрократии.

Сто лет спустя — после смерти Сталина — тоже возникла рукописная литература — самиздат, и многие ждали, ждали отмены нового крепостного права, ограничения цензуры, судебных реформ, гражданских свобод...

Мы были среди тех, кто и надеялся и пытался что-то делать.

Р. В последние дни февраля 1956 года мы слышали от разных людей, что на закрытом заседании XX съезда Хрущев сказал нечто чрезвычайно важное.

Членов партийной организации Союза писателей собрали в том самом Белом зале, который описан в «Войне и мире». Человек восемьдесят сидели в два ряда за овальным столом и вдоль стен.

Секретарь парторганизации достал из портфеля брошюру в красной обложке: «Мы прослушаем доклад товарища Хрущева на закрытом заседании XX съезда». Он читал примерно два часа.

Закончив чтение, он ушел. Никто не успел ничего ни спросить, ни сказать. Нас предупредили, что доклад этот — секретный.

Приятельница, сидевшая рядом со мной, спросила: — Почему на вас лица нет? Неужели вы не знали этого раньше? Я не услышала ничего нового...

Да, я тоже многое знала из того, о чем говорил Хрущев. Больше всего узнала за два года после смерти Сталина. В том самом зале, из которого мы только что вышли, уже раньше читали «закрытые письма ЦК». Письмо о сельском хозяйстве впервые признало, что вся прежняя статистика была лживой.

В письме о «ленинградском деле» рассказывалось, что в 1951 году деятели партийной организации и правительственных учреждений были арестованы по ложным обвинениям, их пытали, вынуждали признаться в «заговоре», многих расстреляли.

В письме о скандальных похождениях бывшего министра культуры Александрова описывались оргии в тайных публичных домах для сановников, во время которых распределялись, между прочим, и высокие посты и ученые звания.

Когда я слушала эти письма, мне было страшно и стыдно. Стыдно за партию и за себя, ведь прежде я считала это клеветническими слухами, отмахивалась от них или пыталась опровергать. Но после каждого письма уходила я с

чувством облегчения и надежды: это партия сама очищалась от скверны.

Доклад Хрущева подействовал сильнее и глубже, чем все, что было прежде. Он потрясал самые основы нашей жизни. Он заставил меня впервые усомниться в справедливости нашего общественного строя.

Потрясение рождало и новые надежды.

На обложке красной брошюры значилось: «По прочтении немедленно вернуть в райком». И как на всех партийных документах, был проставлен порядковый номер. Но этот доклад читали на заводах, фабриках, в учреждениях, в институтах. Не будучи опубликован, он стал неким всенародным секретом. Значит, не я одна испытала потрясение. Значит, возможно оздоровление партии, общества. Значит, все, что происходило раньше в литературе, значит, статьи Померанцева, Абрамова, Щеглова, поэма Твардовского — все приобретало новый смысл. Партийный съезд подтвердил правоту тех, кто требовал искренности, честности, правды.

И если больше не отступать от правды, от обыкновенной правды, то преступления станут невозможными.

Так же думали и говорили многие мои друзья и коллеги. Даже те, кто и раньше знал многое, даже те, кто никогда не верил тому, чему верила я, и они надеялись, что с XX съезда начинается обновление.

В марте 56-го года было общее партийное собрание в Союзе писателей. И я впервые решилась выступить:

— Необходимо сделать наши выборы именно выборами, чтобы и в Верховный Совет и в районные Советы в избирательных бюллетенях был бы не один, а несколько кандидатов, чтобы избиратели действительно выражали доверие (или недоверие) определенным лицам, а не просто автоматически подтверждали чужое решение. Нужно ликвидировать отделы кадров, руководители сами пусть отбирают себе сотрудников, отделы кадров обычно только мешают этому (тогда я еще не знала, что отделы кадров везде — это опорные точки госбезопасности).

Много лет спустя я поняла: все, что я тогда предлагала, было по существу отрицанием основ советской системы (в нашей среде ее тогда никто не называл тоталитарной) — свободные выборы и отказ от полицейски-бюрократического наблюдения за кадрами исключают номенклатурократию. Но тогда я могла это предлагать и считать осуществимым именно потому, что верила в здоровую социалистическую природу общества, в котором жила. Верила, что культ Ста-

лина — нарост, что все злодеяния и преступления — болезни. Не могла объяснить, да и не пыталась, как возникли эти болезни, но твердо верила, что их можно излечить.

Л. Доклад Хрущева я слышал во множестве пере-сказов. Потом наконец прочитал секретную брошюру в редакции «Иностранной литературы». Первые ощущения были — радость и новые надежды. Они укреплялись всем, что я узнавал о собраниях и о том выступлении Р., которое она здесь вспоминает. Хрущев прямо сказал, что «пока успели реабилитировать только немногих». Это укрепляло уверенность, что скоро дойдет очередь до тех, кто еще оставался в лагерях и в ссылках, и до меня.

Однако у меня был горький опыт и послесталинских лет.

Я вернулся в декабре 54-го года в ту самую московскую квартиру, из которой ушел на фронт в 41-м году. Но уже три недели спустя меня из нее выдворила милиция: ведь я просто отбыл срок по ст. 58, был лишен гражданских прав, в частности — права жить в Москве. Тогда я прописался в деревне возле Клина за сравнительно небольшую взятку секретарю сельсовета. А жил в Москве нелегально у друзей, главным образом у А. А. Белкина. Летом 1955 года был издан закон об амнистии по политическим статьям. Едва получив новый паспорт, я отправился лечиться в Эссентуки, но там меня настигло известие, что я не подлежал амнистии, ибо она распространялась только на тех, кто сотрудничал в годы войны с противником. И я снова писал жалобы Генеральному прокурору, в Верховный суд, в ЦК КПСС, настаивал на пересмотре дела, на отмене приговора. Мне помогала Елена Дмитриевна Стасова — бывшая сотрудница Ленина, «товарищ Абсолют», бывшая секретарша Сталина, бывший редактор французского издания журнала «Интернациональная литература». Она пересылала мои письма и заявления со своими «сопроводилками» в разные высокие инстанции.

Помог и Константин Симонов — главный редактор «Нового мира» — по его указанию была опубликована в ноябре 55 года моя рецензия на книгу Эриха Вайнерта. После этого мне стали заказывать статьи редакции новых журналов «Иностранная литература» и «Москва», «Литературная энциклопедия» и сборник «День поэзии».

В апреле 56-го года «Правда» опубликовала Постановление пленума ЦК «О борьбе с культом личности и его

последствиями», состоявшее из туманных общих фраз о восстановлении ленинских норм партийной жизни, об уважении к социалистической законности, но предостерегающее от «перегибов», от «уступок вражеской идеологии». До Москвы дошли сведения о забастовках и лагерных восстаниях в Дзезказгане и на Воркуте в 1953 и 1954 годах, подавленных танками.

Меня несколько раз вызывал следователь военной прокуратуры, который, по его словам, «занимался пересмотром моего дела», задавал какие-то малозначащие вопросы, больше интересовался новейшими литературными сплетнями и тем, сколько зарабатывают писатели.

В мае 1956 года в кабинете заместителя Главного военного прокурора два розоволицых полковника, казенно-вежливые, самоуверенные и брезгливо-снисходительные, сказали мне, что нет никаких оснований отменять обвинительный приговор, что в моем деле были соблюдены все требуемые законом формы, я отбыл срок и должен теперь честным трудом оправдать себя перед родиной.

Моих возражений они просто не слышали, говорили между собой о чем-то другом, отвечали на телефонные звонки, пожелали всего хорошего...

Опять часы, дни злого, удушливого отчаяния. Я не помышлял о восстановлении в партии. Я хотел спокойно работать — заниматься историей русско-немецких культурных связей, историей зарубежной литературы и языковедческими исследованиями, которые начал на шарашке. Надеялся, что на жизнь смогу зарабатывать переводами.

Но я добивался гражданской реабилитации или хотя бы снятия судимости не только для того, чтобы прописаться в Москве, но и потому, что это был мой долг перед теми друзьями, которых в 1948 году исключили из партии, выгнали из армии, уволили с работы за то, что они вступались за меня, были свидетелями защиты, писали Сталину. Бывшие подполковники Валентин Левин и Михаил Аршанский, бывший гвардии полковник Михаил Кручинский, бывший гвардии старший лейтенант Галина Храмушина все еще оставались опальными. Мария, жена Валентина, умерла в 1950 году в Новосибирске, куда им пришлось уехать из Москвы в поисках работы.

Все это время они продолжали писать заявления в Комиссию партийного контроля, настаивая на восстановлении в партии. Но отвечал им тот самый партследователь Судаков, который вел их дела в сорок восьмом году, когда

председатель КПК Шкирятов расправился не только с ними, но и с тем судьей, который меня оправдал, и с тем, который дал слишком малый срок, и с членами Военной коллегии, которые сократили было десятилетний срок до шести лет, и с адвокатом. (Адвокат Хавенсон утверждал, что это произошло по личному указанию Сталина.) Следователь военной прокуратуры весной пятьдесят шестого года говорил мне: «Трудность вашего дела в том, что оно больше партийное, чем уголовное. Если вас сейчас реабилитировать — это значит действовать против решения КПК при ЦК КПСС, а его никто не отменял».

Поэтому я снова и снова звонил все тому же Судакову, а он по-свойски, приветливо, но невнятно отвечал, что еще «нужно кое-что выяснить... тут еще пару закорючек раскрутить».

Между тем в редакциях, где мне уже заказывали статьи, меня настойчиво спрашивали, получил ли я справку о реабилитации.

Это раздражало, злило, и впечатление от хрущевского доклада я начал сравнивать с тем, как в 1935 году радовался речам Сталина о кадрах, которые «решают все», о «ценности каждого человека».

Был жаркий июльский день, когда я из приемной ЦК в очередной раз звонил Судакову. За неделю до этого он обещал, что скоро даст, наконец, удовлетворительный ответ. Спокойный, бесцветный мужской голос отвечал: «Товарища Судакова нет, он уехал надолго и никому ничего о вашем деле не поручил».

Тогда я заорал иступленно что-то о «сталинских, бериевских выbledках, последышах, гадах, душегубах», ругался уже просто по-лагерному «в душу, в рот, в гробовые доски...», перемешивая брань с газетным жаргоном.

Тот же ровный негромкий голос: «Успокойтесь, товарищ, успокойтесь. Вы в приемной внизу? Погодите, я сейчас к вам приду».

«Приходи, сука, можешь опять арестовывать, мне все равно».

Я сидел потный от жары и от ярости, опустошенный, отчаявшийся.

Пришел невысокий, седеющий, в сереньком пиджачке, с внимательным, серьезным, незлым взглядом. Мы зашли в какую-то пустую комнату рядом с бюро пропусков. Он положил на стол лист бумаги: «Ну, успокоился? Теперь давай-

те рассказывайте все по порядку, я тут новый работник, тут сейчас все по-новому пойдет, по-другому».

Я в сотый раз повторил свою историю. Он слушал внимательно, переспрашивал участливо, и меня опять пробрало надеждой. Он попросил позвонить на следующий день. Я позвонил, он сказал: «Вам назначен прием у члена ЦК товарища Андреевой».

Худоцавая долговзая женщина лет пятидесяти, с прямыми соломенными волосами и открытым, не чиновничьим взглядом. Перед ней на столе лежало мое «дело» и еще несколько папок — «дела» моих друзей. Она спрашивала только о подробностях моих отношений с начальством до ареста, о ходе третьего суда, приговорившего к десяти годам. Спрашивала деловито, не комментируя. Потом сказала: «Все ясно. Судаков и другие вроде него тянули потому, что сами причастны были и к вашему делу, и ко многим таким же. Они уже больше здесь не работают».

Пятого сентября на заседание Комиссии партийного контроля вызвали Галину Храмушину, Михаила Кручинского, Валентина Левина, Михаила Аршанского, меня, а также генерала Окорокова и двух бывших членов Верховного суда. Заседание вел зампред КПК Комаров, о котором говорили, что он один из главных «противников культа». Всей повадкой он напоминал мне тех аскетических партработников 20-х годов и первой пятилетки, которых мы называли «большевиками ленинской школы». Они были самоуверены, жестковаты, но без хамства, естественно-просты. Докладывала Андреева, говорил каждый из нас. Когда Окороков стал объяснять, почему он считал мое поведение тогда, в условиях Великой Отечественной войны, вредным, сказал, что он и сам пострадал, даже получил взыскание, его прервал один из членов КПК: «Вы получили взыскание в тысяча девятьсот пятидесятом году за мародерство, за то, что увозили имущество, принадлежащее Польше».

Комаров заметил: «Ну что ж, все ясно. Копелев был против мародерства, и генерал, который сам мародерствовал, посадил его».

После того как высказались все приглашенные, Комаров, пошептавшись с членами КПК, сидевшими рядом с ним, сказал как нечто само собою разумеющееся:

«КПК решает: всех товарищей восстановить в правах членов партии с сохранением стажа. Товарища Копелева восстановить в правах кандидата партии. Что ж, тринадцатилетний стаж солидный будет, значит, скоро можете пере-

водиться в члены. Завтра получите выписки решения на руки. А вы, генерал Окороков, останьтесь, поговорим отдельно».

В коридоре Миша, Валя и я обнялись и заплакали.

Р. В тот день я проводила Л. до здания ЦК и поехала в редакцию, где ждала известий.

В нашей рабочей комнате сидели еще два сотрудника отдела критики.

Я очень нервничала, хватала трубку. Кто-то из них спросил: «Что с вами? Что случилось?» Я объяснила. Наконец Л. позвонил: «Все — сверх ожиданий. Лечу!»

Пока он ехал, я звонила, спешила обрадовать родных и друзей.

Мы пошли в ресторан ЦДЛ, он подробно рассказывал. Мы пили вино, к нам подходили и едва знакомые — поздравляли.

...В тот день, когда Л. вернулся с заседания КПК, я передала ему верстку его рецензии на роман Г. Грина «Тихий американец» для «Нового мира». Заголовком рецензии послужила реплика одного из персонажей: «Вы уже причастны!» Это словно бы относилось и к нам. Мы были причастны к происходившим у нас событиям и радовались этой причастности.

Этот день запомнился больше других радостных дней пятьдесят шестого года.

Л. Доклады Хрущева на XX и XXII съездах возрождали ту старую веру в добрые силы верховной власти, которая некогда была верой в батюшку царя, потом — верой в Ильича, в его заветы, а потом — слепым доверием к Сталину. Почти так же многие поверили в Никиту. Правда, его уже несколько не обожествляли. Посмеивались над малограмотностью, возмущались хамским самодурством, когда он орал на писателей и художников, когда поддерживал Лысенко и навязывал кукурузу.

Однако главным злом считали чиновников, аппаратчиков во всех инстанциях, и в Союзе писателей, и в ЦК. И надеялись, что Никита их осилит.

Его все время швыряло из стороны в сторону: он добился массовой реабилитации, но усилил и ускорил разорение колхозников, чтобы «догнать и перегнать США». В Тбилиси в шестьдесят первом году назвал Сталина «выдающимся марксистом», а в разговорах с Твардовским и Эренбургом

обещал скоро огласить материалы, доказывающие, что Кирова убили по приказу Сталина.

Он разрешил напечатать «Один день Ивана Денисовича» (говорят, даже плакал, читая). Но при нем же усилили тюремный режим, ввели смертную казнь за имущественные преступления, и вопреки элементарным традициям европейского правосознания по его приказу этим смертоносным законам придавали обратную силу и расстреливали людей, арестованных задолго до введения этих законов.

Хрущев распорядился вторжением в Венгрию в 1956 году, кровавыми расправами с забастовщиками в Новочеркасске.

Впервые я увидел его на III съезде писателей в 1959 году. Он начал читать свою речь, потом ухмыльнулся, отодвинул папку и стал косноязычно рассказывать о друге своей молодости и читать наизусть его наивные вирши.

Потом вдруг заговорил о ворах, которых можно и нужно брать на поруки, чтобы они перевоспитывались, между прочим заметил: «Я знаю, что я прозватый кукурузником». Тогда я даже испытал к нему симпатию: все же это был человек, а не истукан-деспот, не аппаратный робот.

О неразрешимых противоречиях хрущевской политики многие вокруг нас рассуждали сердито, критически. И я понимал, что при всех его возможно добрых намерениях он полуграмотен, вздорен, властолюбив и, конечно же, не случайно был одним из доверенных приближенных Сталина.

Однако так же, как большинство наших друзей, я считал, что перемены к лучшему возможны только посредством реформ сверху. Такова уж природа нашего государства, нашего общественного строя. А любые попытки вызвать *революционную* самодеятельность могут быть только опасны, могут привести к бунтам «бессмысленным и беспощадным».

Ключевский в заключительной лекции о Петре говорил:

«Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времен Петра два века и доселе не разрешенная».

Р. Нас всех тогда настолько захватили последствия хрущевского доклада, им самим, вероятно, непредвиденные, что мы почти не думали о том, что его вызвало. Я имею в виду не причины исторические, — об этом все говорили без конца. Я имею в виду нечто более ограниченное и конкретное: как такое могло произойти? Как возник этот доклад? Кто были его авторы? Что было отброшено при редактировании?

Этот вопрос я задавала многим. Андрей Дмитриевич Сахаров отвечал: «Я могу только повторить то, что мне говорил Рой Медведев. Доклад в основном написал бывший заключенный, старый коммунист Снегов. До ареста он был близок Микояну».

Но что побудило Хрущева восстать против мертвого Сталина? Как он сумел в себе сохранить нечто человеческое, несмотря на все годы, проведенные вблизи тирана?

Его тогдашний доклад нередко объясняют политическим ходом в борьбе за власть. Мне это кажется недостаточным.

Я пытаюсь заглянуть за пределы политической сцены, представить себе Никиту Сергеевича в середине февраля 1956 года, дома и в служебном кабинете. О чем он думал? Думал ли о тех камерах, в которых гибли его товарищи? Говорят, что когда он читал предсмертное письмо замученного Кедрова, голос его дрожал...

Разделяла ли его намерения Нина Петровна?

Жена его сына была в лагере. Виделась ли она со свекром после освобождения?

Эти вопросы остаются и сейчас неотвеченными.

* * *

Р. Тогда, в первые месяцы и годы после съезда, мы жили новым чувством свободы, которое находили прежде всего в стихах.

Поэты несли нам новое понимание нас самих, нашей недавней истории.

Все в Москве пропитано стихами,
Рифмами проколота насквозь.

Эти строки Ахматовой выражают и наши тогдашние ощущения. Стихи в России издавна были своего рода масонскими знаками: прочитав по несколько строк любимых поэтов, «единоверцы» узнавали друг друга.

В политике едва теплело, а стихи разливались уже весенним половодьем. Старые, известные звучали по-новому. Все больше открывали мы богатства родной поэзии.

Это были «Теркин на том свете», стихи Бориса Слуцкого, Варлама Шаламова, Бориса Пастернака, Максимилиана Волошина; несколько позже — «Реквием» и «Поэма без героя» Анны Ахматовой, стихи Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама...

В начале сентября 1956 года впервые во многих городах был проведен Всесоюзный День поэзии. В книжных магазинах, в клубах, на открытых площадках, в школах и институтах читали свои стихи известные поэты и начинающие. Куда чаще стихи читали на квартирах; читали, обсуждали, спорили.

В 1956 году мы впервые слушали Давида Самойлова; сразу запомнилось стихотворение «На смерть Ивана» —

А на колокольне, уставленной в зарю,
Весело, весело молодому звонарю.
Он по сизой заре
Распугал сизарей.
— А, может, и вовсе не надо царей?
— Может, так проживем, безо всяких царей?
Что хошь — твори!
Что хошь — говори!
Сами себе — цари,
Сами — государи...

В этом же году в доме у знакомых читал молодой Евгений Евтушенко, — еще не было ни славы, ни эстрады, ни взлетов, ни падений...

Стихи ходили в списках, листки, напечатанные на машинке или переписанные от руки, нам приносили, присылали по почте, а мы передавали другим. Именно тогда у нас появилась первая собственная машинка, старая, громоздкая, и я училась печатать, размножая стихи для друзей.

Л. Стихи Бориса Слуцкого о Сталине мы читали по рукописям, а потом устроили чтение у нас дома. Это было впервые. Собралось больше двадцати человек, наши друзья, наши дочери со своими друзьями.

Он читал сухо, деловито, без патетики, и мы узнавали в его сурово-лаконичных стихах свои мысли, свою боль, свои надежды:

Мы все ходили под Богом,
У Бога под самым боком.

. . . .

Стоя на мавзолее,
Был он сильнее и злее,
Мудрее того, другого,
По имени Иегова,
Которого он низринул,
Извел, пережег на уголь,
А после из праха вынул
И дал ему стол и угол...

Гроб Сталина еще стоял в мавзолее рядом с ленинским. Но в газетах и официальных речах его имени уже не называли, заменив понятием «культ личности».

Я говорил тогда, что для меня Слуцкий — главный поэт нашего поколения. Со мной спорили, это были споры о стихах и о тех событиях, которые в них запечатлелись.

В то утро в мавзолее
Был похоронен Сталин...

Эпоха зрелищ кончена,
Пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
Для штурмовавших небо.
Перемотать портянки
Присел на час народ,
В своих ботинках спящий
Невесть который год...

Я шел все дальше, дальше.
И предо мной предстали
Его дворцы, заводы,
Все, что построил Сталин —
Высотных зданий башни,
Квадраты площадей...
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

Р. Моим поэтом он не был. Но, безусловно, он был поэтом того лета, того года.

...Прошло более четверти века. В 1984 году два русских писателя-изгнанника в Париже написали романы: Виктор Некрасов «Саперлипопет» и Андрей Синявский — «Спокойной ночи». В каждом из них немало страниц посвящено Сталину.

Вынесут ли когда-нибудь этот труп из наших душ, из нашей литературы?

Л. Летом 1956 года к нашему столику в ЦДЛ подсел тяжело хмельной, одутловатый человек без возраста. Мы не сразу узнали Сергея Наровчатова, некогда самого красивого парня ИФЛИ, синеглазого, русочубого мечтателя, солдата, книжника. Он прочитал стихи:

Слиток золота получив в дорогу,
Я бесценный разменял металл.
Мало дал я дьяволу и Богу,
Слишком много кесарю отдал,

Потому что зло и окаянно
Я сумы боялся и тюрьмы,
Помня Откровенья Иоанна,
Жил я по Евангелию Фомы...

Полтора десятилетия спустя он бросил пить, угрюмо потрезвел, стал литературным начальником. С годами он все больше оплывал, глаза совсем потускнели. В январе 1974 года он уже командовал исключением из Союза писателей Лидии Чуковской и Владимира Войновича.

Р. На партийном собрании в 56-м году едва знакомый литератор прочитал мне вполголоса стихотворение Александра Межирова, которое я тут же записала:

Мы под Колпино скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
...Перелет. Недолет. Перелет.
По своим артиллерия бьет.

Это стихотворение я восприняла как поэтическую метафору нашей недавней истории: когда свои убивали своих.

Л. Пожалуй, закономерно, что именно стихи так много значили для нас в ту пору. По Евангелию от Иоанна «Вначале было слово». Немецкие просветители Гаман и Гер-

дер считали, что «поэзия — родной язык человечества». Песня родилась раньше речи. И в начале истории каждого народа было прежде всего поэтическое слово, слово Гомера, Данте, «Нибелунгов», «Слово о полку Игореве», слово Руставели.

Но в новейшее время, пожалуй, ни в одной стране поэзия не имела такого всеохватывающего значения, как стихи Пушкина и Некрасова, Есенина, Маяковского, Твардовского.

В пору сталинщины, особенно в последние годы, лирическая поэзия оказалась в опале. Это было естественно: держава, державная партия подавляли народ и личность. Проявления личного начала, не только независимой мысли, но и просто непосредственного чувства становились подозрительными. «Отсебятина» была бранным словом. Выражения печали, грусти, мысли о болезни, смерти клеймились как декадентщина, упадочничество. Долго не разрешалось публиковать и исполнять лучшее стихотворение Суркова «Землянка», ставшее песней, — цензоры требовали убрать строки:

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага...

После войны была запрещена баллада Исаковского:

Враги сожгли родную хату,
Убили всю его семью.
Куда пойти теперь солдату,
Куда нести печаль свою?

Стихи о горе солдата, пришедшего на могилу жены, сочли угрозой «морально-политическому единству».

Во время войны я носил в планшете стихотворение Симонова «Жди меня», вырезанное из «Правды». Симонов тогда стал очень популярен, как прежде Северянин и Есенин, а позже — Евтушенко и Высоцкий... О сборнике Симонова «С тобой и без тебя» Сталин якобы сказал: «Хорошо, только тираж слишком велик: надо бы напечатать два экземпляра — для нее и для него».

Поэтому, когда начали публиковать в журналах, в газетах стихи о любви, о природе, о смерти, стихи, свободные от идеологии, от морализирования, это уже само по себе воспринималось нами как приметы духовного обновления.

Весной 1954 года в том же номере журнала «Знамя», где и повесть Эренбурга «Оттепель», были опубликованы несколько стихотворений Пастернака, в редакционной врезке сообщалось, что это «Стихи из романа»:

Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...

И казалось, эта свеча высветляет путь, который только-только начинает открываться.

Мы переписывали другие стихи из этого цикла — «Гамлет», «Август», «Рождественская звезда», «Чудо».

Чудесами представлялись нам эти стихи Пастернака, и рукописный «Теркин на том свете», и опубликованная в журнале «Октябрь» поэма Ярослава Смелякова «Строгая любовь». Из нее дохнула моя комсомольская молодость, наивная до глупости, азартная до исступления и вопреки скудости, ошибкам, грехам, вопреки всем бедам, вопреки уже зарождавшимся будущим злодеяниям — отважная, веселая, исполненная надежд.

О поэме я написал длинную статью, построил ее как разговор случайных собеседников в купе железнодорожного вагона. Один доказывал, что стихам необходимо воспитательное, идейное содержание. Другой отстаивал полную независимость поэтического мироощущения, слова и звука; третий говорил, что поэзия может быть многообразна, но главное, свободна и рождается стремлением к свободе...

Эту статью мы обсуждали летом 1956 года в кругу друзей на даче в Жуковке, потом такие обсуждения у нас стали обычными.

В сборнике «День поэзии» был опубликован только отрывок моей статьи. Многие рассуждения редакторы сочли слишком «ревизионистскими». А Смеляков был сердито обижен: «Для тебя моя поэма лишь повод, чтобы пофилософствовать».

Поэтическое половодье и само по себе привлекало, радовало и многими воспринималось как явление политической весны.

Но и после всех разочарований мне кажется, что это были не только иллюзии. В суматохе тех лет возникали новые силы, прорезывались новые голоса: Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский.

Тогдашняя разноголосая, иногда неумеренно риторическая эстрадная поэзия воспитывала новые поколения интеллигенции.

Студенты и школьники переписывали стихи, спорили о них. Они приходили на поэтические вечера в Политехнический, как это бывало в 20-е годы. Они заполняли даже огромный — на 14 тысяч мест — спортзал стадиона в Лужниках. Молодые поэты встречали такое восторженное поклонение, какое редко доставалось самым популярным тенорам и чемпионам спорта. Это вызывало и яростные споры, и страхи: секретарь Ленинградского обкома Толстикова просто запретил в Ленинграде выступления Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко.

Р. ...В сентябре 1956 года в музее имени Пушкина впервые открылась выставка Пикассо. Тысячная толпа осаждала музей. Открытие задерживалось, и мы, стоявшие под лестницей, услышали голос Эренбурга: «Товарищи, мы ждали этой выставки двадцать пять лет, подождем еще двадцать пять минут...» Как весело, победно мы тогда смеялись.

Готовились новые издания еще недавно запретных книг Бруно Ясенского, Исаака Бабеля, Леонида Мартынова, Николая Заболоцкого, Михаила Зощенко.

Роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» публиковался в 1956 году в августовском, сентябрьском, октябрьском номерах «Нового мира». Бескорыстному энтузиасту-изобретателю всячески мешали равнодушные бюрократы. Но в конце концов герой преодолевал помехи. Этот роман стал тогда событием чрезвычайным: о нем говорили и спорили не только писатели и критики. В прямолинейных коллизиях этой книги читатели узнавали то же, что испытывали они сами, их близкие.

«У нас на заводе так же было... В нашем министерстве я знаю несколько таких чиновников... Я думаю, Дудинцев писал этого бюрократа с нашего главного врача... И у нас в институте была такая же история, только нашего изобретателя засудили прочно, он и умер в лагере...»

И я представляла себе партследователя Судакова, который отравлял жизнь друзьям Л. точно, как в романе Дудинцева.

В Союзе писателей дважды назначали обсуждение романа и отменяли: кто-то вообще был против, кто-то боялся «нездоровых сенсаций», кто-то просто завидовал внезапному успеху ранее вовсе неизвестного автора.

Ни мы, ни кто-либо из наших близких не считали книгу Дудинцева значительным художественным произведением. Но ведь и «Хижина дяди Тома», и «Что делать?», и «Как закалялась сталь», столь повлиявшие на нас в юности, были просто слабыми книгами. Однако они остались историческими, рубежными событиями.

Таким становился роман Дудинцева «Не хлебом единым».

Билеты на обсуждение в клубе писателей распределял партком по строгим «номенклатурным» спискам.

«Дубовый зал» бывшего дома графов Олсуфьевых, где некогда собиралась масонская ложа, служил московским литераторам попеременно то рестораном, то залом заседаний — выносили столики, вносили много стульев и скамей. Мы остались после обеда и заблаговременно уселись на балконе. Зал заполнился задолго до назначенного часа, не одни мы ухитрились забраться досрочно. Долго не начинали. Снаружи шумела толпа, висели на окнах. Наконец, сквозь толчею пробрались Владимир Дудинцев, руководитель обсуждения Всеволод Иванов, редактор «Нового мира» Константин Симонов. Они не могли войти в здание из-за толпы, их провели через подвал.

Выступавшие хвалили роман, все считали, что его надо издать. Представитель Общества изобретателей рассказывал о горьких, страшных судьбах людей, подобных тем, которых описал Дудинцев. «В романе все обстоятельства смягчены, судьба героя — исключительно счастливая».

Валентина Овечкина встретили аплодисментами, но когда он сказал, что роман перехваляют, не хотят видеть ограниченности автора, в зале стали шикать, провожали его несколькими жидкими хлопками.

Главным событием вечера стала речь Константина Паустовского — он впервые с трибуны заговорил о новом классе.

Он сказал, что бюрократы, порожденные эпохой культа Сталина, описанные в романе Дудинцева, — отнюдь не исключение. Мы их постоянно встречаем в разных местах.

«Дудинцев выразил тревогу. Его книга — это грозное предупреждение об опасности, идущей от дроздовых. Это реальная опасность... Дроздовы спесивы и равнодушны. Они враждебны ко всему, кроме собственного положения. Кроме того, они дико невежественны... ..Величайшая заслуга Дудинцева — он ударил по самому главному, раскрыл психологию этого нового племени...»

Откуда все это взялось? Почему они говорят от имени народа? Обстановка приучила их относиться к народу как к навозу. Если бы не было дроздовых, то живы были бы великие, талантливые люди — Бабель, Пильняк, Артем Веселый... Их уничтожили дроздовы во имя собственного благополучия...

Народ, который осознал свое достоинство, сотрет дроздовых с лица земли. Это первый бой нашей литературы, и его надо довести до конца».

И в тот вечер, и еще долго после него было разделение: «за» или «против» Дудинцева.

3 ноября 1956 года в доме наших друзей несколько человек долго спорили. Две мои близкие подруги чуть не плакали: «К чему это приведет? Наши дети, читая таких, как Дудинцев, вовсе перестанут уважать нас и своих учителей, и советскую власть». Л. кричал, что такие книги могут только помочь восстановить советскую власть, разрушенную Сталиным...

Бурные страсти успокоил телефонный звонок. Одного из гостей извещали, что его жена родила дочь.

Спорщики уgomонились, все пили за здоровье и счастье новорожденной и ее родителей.

Третьего ноября 1976 года мы праздновали двадцатилетие девочки, родившейся в день того спора. Когда стали об этом вспоминать, она спросила: «А кто такой Дудинцев?» И никто из гостей — ее сверстников — не знал этого имени.

Мы стали рассказывать, а молодые люди не могли понять, чем именно такой невинный «производственный роман» мог волновать их родителей. Мы и наши ровесники, кто с недоумением, кто с печалью пытались объяснить, что это значило для нас, почему мы надеялись, что такие книги помогут улучшить жизнь в нашей стране.

Наши молодые собеседники знали о современной истории куда больше, чем мы в те годы. Они уже прочитали «Доктора Живаго», книги Александра Солженицына, Надежды Мандельштам, Евгении Гинзбург, Милована Джиласа, Лидии Чуковской, горы самиздата.

Государство и все формы официальной общественной жизни были им глубоко чужды, чаще всего просто безразличны, в иных случаях враждебны. Отстраняясь от них, они искали убежища в работе, в семье, в спорте, в религии, в искусстве...

Еще долго после обсуждения в ЦДЛ в 1956 году мы рассказывали о нем. Я стремилась возможно подробнее

записать многие речи, ничего не комментируя; у меня еще не возникало мыслей об архивах, о свидетельствах, об истории — это пришло позже. Вначале была просто оставшаяся от студенческих лет привычка записывать. Я видела, что эти мои блокноты нужны, и не только моим друзьям, и я записывала все более точно, тщательно. Ведь обычный пересказ по памяти, даже сразу после события, невольно искажает чужие слова.

Повторяющиеся рассказы-пересказы придавали самим событиям возрастающую значительность. Они встречали все новые отклики, и эхо-резонанс усиливало первоначальное звучание.

Такие, как мы, «сказители» создавали некую новую гласность и впоследствии уже вместе с самиздатом это стало нашим подобием западных масс-медиа.

Ведь ни о писательском партсобрании, ни о дискуссии вокруг романа Дудинцева (или десять лет спустя — вокруг «Ракового корпуса») читатели советских газет и радиослушатели узнавать не могли.

Л. В тот самый день, 23 октября 1956 года, когда для нас всего важнее было — состоится ли обсуждение романа Дудинцева, издадут ли его отдельной книгой, именно в этот день и в те же часы в Будапеште была опрокинута чугунная статуя Сталина, шли демонстрации у памятника польскому генералу Бему, который в 1848 году сражался за свободу Венгрии.

Там начиналась народная революция. А в наших газетах скупое и зло писали о «венгерских событиях» или «попытках контрреволюционного переворота». Мы тогда едва понимали, насколько все это связано с судьбой нашей страны и с нашими жизнями. Сталинцы оказались более догадливыми. Они пугали Хрущева и Политбюро, называя московских писателей «кружком Пётефи»; в доказательство приводили, в частности, обсуждение романа Дудинцева и речь Паустовского, запись которой многократно перепечатывали и распространяли первые самиздатчики. Позднее ее стали забирать при обысках как «антисоветский документ».

В июле 1956 года в Познани забастовки и рабочие демонстрации были подавлены. Но уже в октябре массовые забастовки в Варшаве и по всей Польше привели к власти недавнего арестанта Гомулку. И это произошло вопреки грубым вмешательствам и угрозам советского правительства.

Маршал Рокоссовский — московский поляк, которого в 1945 году Сталин назначил военным министром в Варшаве, должен был уйти в отставку.

В Венгрии, по требованию демонстрантов и забастовщиков, главой правительства стал оппозиционер Имре Надь.

Все это представлялось мне отдельными течениями единого потока — общего движения к настоящему демократическому социализму. И я хотел верить, что и мы в конце концов придем к тому же.

Почему же мне тогда ни разу не пришло в голову желание призвать к демонстрациям и забастовкам у нас или хоть как-то публично поддержать польских и венгерских товарищей?

В ноябре 1956 года, уже реабилитированный, я пришел к декану филологического факультета МГУ профессору Самарину. На фронт я уходил как преподаватель ИФЛИ. Во время войны ИФЛИ слился с МГУ. По закону мне должны были там предоставить работу. Самарина я знал еще по Харькову, одно время в 1928 году мы даже считались друзьями. Он принял меня сладчайше-любезно, потом выложил список своих сотрудников.

— Чтобы предоставить работу вам, я должен уволить одного из них. Предоставляю вам выбор — кого именно?.. Понимаю вас, понимаю. Ну что ж, твердо обещаю: как только освободится первая вакансия здесь или в Институте мировой литературы, где я имею честь быть заместителем директора, вы будете первым кандидатом*.

Тогда же зашел разговор о Венгрии. И я говорил то, что думал: «Там сражаются за настоящий социализм». Он возражал отнюдь не резко, но однозначно: «Не могу с вами согласиться. Насколько мне известно, там верховодят наши враги, непримиримые враги России».

* * *

Р. В те годы возникали новые издания — журналы «Юность», «Иностранная литература», «Москва», «Нева», «Вопросы литературы», сборники и альманахи «Литературная Москва», «День поэзии», «Мастерство перевода», «Тарусские страницы».

В 1955 году М. Алигер, В. Каверин, К. Паустовский, Э. Казакевич, В. Тендряков, В. Рудный образовали редкол-

* Разумеется, никаких вакансий для меня там, где начальником был Самарин, впоследствии не оказалось.

легию сборников «Литературная Москва». Замысел возник в домашних беседах, на дорожках Переделкина. И вся работа издателей проходила в разговорах дома, в квартирах, на дачах.

В сентябре 55-го года Эммануил Казакевич жил в Доме творчества в Коктебеле и часто получал бандероли с рукописями. Тогда я впервые услышала стихи Цветаевой о Чехии — он прочитал их за обеденным столом, вынув листки из только что полученного пакета.

Не было никаких официальных объявлений, однако московские литераторы вскоре узнали, что готовится необыкновенное издание. Никто из членов редколлегии не получал зарплаты. Единственным штатным работником была Зоя Александровна Никитина, бывшая «серапионовка».

Первый выпуск «Литературной Москвы» вышел в декабре 1955 года, второй — в декабре 1956 года, а третий был запрещен цензурой, хотя в нем — так же, как в первых двух выпусках — в романах, рассказах, стихах, статьях нельзя было обнаружить и тени сомнений в основах советского общества.

Но вскоре после выхода второго сборника в газетах появились разгромные статьи.

Критики ругали стихи Марины Цветаевой и вступительную статью Ильи Эренбурга, рассказ Александра Яшина «Рычаги», статью Александра Крона «Заметки писателя» против идеологической цензуры. Ругали так же яростно, как и роман Дудинцева.

Но время все же становилось иным. Проработчикам возражали. Не все «проработанные» спешили каяться.

Возник новый молодой театр «Современник». В Театре сатиры поставили комедию Назыма Хикмета «А был ли Иван Иванович?» о простом рабочем парне, который становится карьеристом, бездушным чиновником. После третьего спектакля он был запрещен.

Сопrotивление литераторов партийной критике встревожило власти. В мае 1957 года на правительственной даче состоялась встреча Хрущева и членов Политбюро с писателями, художниками, артистами.

Под шатрами были накрыты столы, началась беседа.

Маргарита Алигер тихим голосом благодарила партийное руководство за разоблачение культа личности Сталина, но сказала: «Надо восстановить социалистическую законность и в нашей литературе».

Ее прервал Хрущев, он стал, багровея, орать, что он

предпочитает беспартийного Соболева таким коммунистам, как Алигер.

В 1954 году московское собрание писателей аплодировало Алигер. Когда она повторила то же самое в 1957 году, то вызвала ярость главы правительства.

Хрущеву пыталась возражать Мариэтта Шагинян, но ей и говорить не дали. Обиженная, она ушла из-за стола и с дачи.

Л. Сентябрь 1957 года. Мы в Коктебеле. В Доме творчества жила Маргарита Алигер. Туда приехал физик, академик Игорь Евгеньевич Тамм, будущий нобелевский лауреат. Он подошел к Маргарите на набережной, церемонно представился, поцеловал ей руку: «Мы гордимся вами, Маргарита Иосифовна, вы выражаете мысли и чувства русской интеллигенции».

Она была польщена, и смущена, и испугана. Ведь она-то подчинялась решениям партии.

В московской и ленинградской писательских организациях на всех выборах неизменно проваливали бывших руководителей Грибачева, Софронова, Первенцева и других, которые к тому времени из верных сталинцев уже стали верными хрущевцами*.

Тогда и еще довольно долго после этого мы рассчитывали, что с помощью избирательных бюллетеней можно изменить нашу литературную жизнь. Выбирая новых, хороших людей в правление, в президиумы Союза писателей, мы верили, что они обновят издательства, редакции, отменяют бюрократическую цензуру.

Мы были совершенно искренни, когда отвергали обвинения в ревизионизме. Ведь мы не хотели ничего РЕВИЗОВАТЬ, а, напротив, отстаивали дух и букву законов и уставов, которые давно существовали. Мы думали, что нам нужно только сломить сопротивление арьергардов сталинщины. Однако в действительности мы противостояли советской системе, сами того не сознавая.

В 30-е годы секретарь Союза писателей Ставский послал в ЦК жалобу-донос: мол, литераторы идеологически неустойчивы, не посещают кружков политучебы, допускают

* Потом они же становились не менее верными «брежневцами», «андроповцами» и т. д. Верность властям преобладающим — главное в их существовании. Идеи, программы, лозунги меняются, но «верность» неизменна.

ошибочные высказывания и пр. Сталин наложил резолюцию: «Передайте товарищу Ставскому, что ЦК других писателей ему предоставить не может. Пусть работает с такими, какие есть». В то время, когда была начертана эта «либеральная» шутка, шли массовые аресты, десятки тысяч людей уже расстреливали, пытали, посылали в лагеря. До 1953 года более шестисот писателей были арестованы, многие погибли.

Хрущевский ЦК применял в борьбе против непокорной или только подозрительной интеллигенции иные, бескровные средства подавления. В мае—июне 57-го года были учреждены республиканские союзы писателей, художников, композиторов Российской Федерации. Мотивировалось это просто: существуют же украинские, грузинские и другие союзы, почему же российские творческие работники должны быть в худшем положении? А понадобилось это для того, чтобы составить в ЦК оргкомитеты новых союзов именно из тех «верных», кого уже три года проваливали на выборах и в Москве, и в Ленинграде. Вологодские, костромские, иркутские литераторы должны были подмять москвичей. Руководителями республиканских союзов становились лишь те, кого хотел ЦК. И они уже реально распоряжались журналами и издательствами.

Сперва нам все это казалось бюрократической комедией. Мы смеялись над анекдотом о секретаре тульского обкома, который докладывал: «До революции в нашей области жил только один писатель — граф Толстой, а теперь в одном городе Туле писательская организация насчитывает четырнадцать членов»...

Партийное собрание в Союзе писателей в октябре 57-го года «...с возмущением осуждает... Паустовского, Дудинцева, Каверина, Рудного, не пожелавших объяснить коллективу свои позиции, с высокомерием относящихся к критике их серьезных идеологических ошибок советской общественностью» (Моск. литератор. 1957. 18 окт.).

Нас по-прежнему пугали. Но многие уже переставали бояться.

Хотя Тендряков и Рудный были членами партии, они отказались подчиниться решению, которое считали неправильным. Такого прежде не бывало.

Уже нельзя было думать, что есть лишь одна враждебная сила — сталинщина, а против нее единый фронт: и Хрущев, и Паустовский, и наши друзья. Обнаруживались новые формы казенной лжи, и надо было учиться им противостоять.

Мы слышали о группе Краснопевцева — о кружке молодых марксистов в Московском университете. Они установили связи с польскими оппозиционерами, начали писать новый курс русской истории и были арестованы. Но все это происходило в другом мире, и мы еще не пытались к нему приблизиться.

В 1958 году был арестован сын нашего друга Никита Кривошеин; его обвиняли в связях с французскими дипломатами, в намерении уехать во Францию, где он родился. Мы помогали родителям найти адвоката, но эта помощь определялась личной дружбой. Сам факт судебного преследования еще не казался нам неестественным, незаконным.

* * *

В 1959 году мы решили вдвоем написать книгу о Кароле Сверчевском. Польский юноша, ставший в 1918 году красноармейцем, потом командиром, с 1936 по 1939 год сражался за республику в Испании (говорили, что именно его изобразил Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол», назвав генералом Гольцем); в 1942 году Сверчевский командовал польской дивизией, участвовал в последних боях у Берлина, после 1945 года был заместителем министра обороны в Польше. В 1948 году он погиб в схватке с отрядом бендеровцев.

Гражданская война. Испания. Польша. Победа над фашизмом.

Это были слагаемые нашей великой мечты, не меркнувшей с юности. (Они и сейчас, частью измененные, частью разрушенные, все же остаются с нами; когда весной 1985 года мы впервые приехали в Испанию, мы ходили по местам, названия которых помнили по телеграммам, по картам в газетах 1936—1939 годов, — Каса дель Кампо, Гвадалахара, Университетский городок... И вспоминали Кароля Сверчевского — генерала Вальтера — генерала Гольца...)

Мы начали собирать материалы о нем, расспрашивали его вдову и дочерей, живших в Москве, его товарищей по службе в Красной Армии и в Испании, людей, встречавших его в Польше, читали то, что было опубликовано о нем по-русски и по-польски.

Но чем больше мы о нем узнавали, тем меньше хотелось писать. Сверчевский после гражданской войны был много лет советским разведчиком; руководил шпионами. Об этом нельзя было написать ни строчки. Нельзя было

написать многого о годах в Испании, например, о его разногласиях и столкновениях с другим командиром интернационалистов, Матэ Залка. Нам рассказали, что Сверчевский называл Залку «гуманистическим болтуном», считал его «безнадежно штатским», так как Залка возражал против расстрелов за трусость, за нарушения дисциплины. А Залка видел в Сверчевском олицетворение солдатчины, обвинял его в излишней жестокости. И уж совсем невозможно было правдиво писать о том, что происходило в Польше в 1939 году и после войны.

Мы убедились, что Сверчевский был мужественным человеком трагической судьбы. И он не мог преодолеть тяжелый душевный кризис, начавшийся, вероятно, еще до 1939 года. После войны он сильно пил. Он ввязался в стычку, в которой вовсе не должен был участвовать; у нас возникло предположение, что он искал смерти.

Но обо всем этом нельзя было написать. А мы уже не хотели ограничиваться полуправдой.

Мы постепенно освобождались от слепого доверия к старым доктринам и от власти идеологических табу. Мы еще отдавали дань редакторам и цензорам — внешним и внутренним, повторяя стандартные формулы об ограниченности сознания буржуазных писателей, о спасительности марксистского мировоззрения и т. п. Еще сами верили в это, но все настойчивее сокращали те традиционно-обязательные словосочетания, которые должны были служить пропусками для издания зарубежных авторов.

В 1960 году была издана книга моих статей о зарубежной литературе «Сердце всегда слева». Несколько лет спустя я уже стыдился иных страниц — доктринерских пошлостей о Беккете, о Кафке, схоластических умозрений о соцреализме и др. Но эта книга сразу же вызвала нападки бдительных критиков-староверов; сосредоточились они все на одной странице. В статье о романе Г. Грина «Тихий американец» я доказывал, что понятие «гуманизм» не требует прилагательных, что определения вроде «буржуазный», «пролетарский», «абстрактный» и т. п. несостоятельны, что гуманизм — то есть человечность, человеколюбие — либо реально существует и независим от идеологий, либо симулируется и тогда прилагательные тоже ни к чему. За эту идеологическую ересь меня ругали в «Литгазете», в «Иностранной литературе», в журнале «Коммунист», в «Октябре» и др. А я удивлялся больше, чем огорчался. Ведь мне казалось, что я лучше моих критиков отстаивал социалистический

реализм. Из-за этого со мной спорили и некоторые друзья-единомышленники. Так, Анна Зегерс и Назым Хикмет в личных беседах иронически-насмешливо отзывались обо всех теориях соцреализма, в том числе и о моих.

* * *

В феврале 1960 года к 70-летию Пастернака я послал ему поздравительное письмо. Кое-кто отговаривал: «Зачем такой жест? Ему не поможешь, а себе и другим повредишь».

Четыре месяца спустя, 30 мая, Пастернак умер; и снова раздавались предостерегающие голоса: «Эти похороны будут политической демонстрацией».

Никаких извещений не было, кроме маленьких, от руки написанных объявлений на Киевском вокзале. Однако 2 июня больше двух тысяч человек пришли проститься с поэтом. Попытки чиновников из Литфонда навести свой порядок — везти гроб на автобусе — были тщетными. Сыновья, друзья, читатели, сменяясь, несли гроб до могилы на холме у трех сосен, на которые он смотрел из окна своей рабочей комнаты.

Речь над могилой произнес Валентин Асмус, философ, давний друг Пастернака. Он говорил о великом поэте, говорил так, словно не было двух лет травли, проклятий в газетах, на собраниях, исключения из Союза писателей...

И мы тогда ощутили: величие этой жизни, этой поэзии несоизмеримо выше той низменной возни его гонителей, которая отравила последние годы его жизни и, вероятно, ускорила его смерть.

Юноши и девушки до глубокой ночи читали у могилы стихи Пастернака. Читали «О, если б знал, что так бывает...», «Гамлет», «Август».

То был скорбный день. И в то же время — это множество разных людей у дома поэта, у его могилы; знакомые лица и гораздо больше незнакомых... И мы чувствовали: нас всех связывает едва сознаваемое содружество, братство. Мы все в этот день были причастны к бессмертной поэзии, и минутами вдруг казалось, что связи между людьми — не только на этот день, что связывает нас не только скорбь, не только любовь к поэту.

Год спустя вышла маленькая книга стихов Пастернака. Но роман «Доктор Живаго» не был издан и четверть века спустя.

А зарубежные издания и романа и стихов все эти годы изымают при обысках.

Р. Тогда и впрямь была пора посевов, завязей, первых ростков. Освобождающееся слово звучало уже не только в кругу наших близких. Оно вырывалось из квартир на трибуны. По тогдашним газетам и журналам нельзя судить о накале страстей, об особой атмосфере того времени, о многообразии порывов к правде, к свободе.

История хрущевского семилетия (1957—1964) напоминает температурную кривую малярийного больного.

Но все же, вопреки то и дело прихватывающим заморозкам, миллионы заключенных возвратились из тюрем и лагерей. Еще недавно запрещенные книги вернулись в библиотеки, в издательские планы. Запретные полотна переносились из запасников на стены галерей и музеев. О запретных науках — генетике, кибернетике, теории резонанса — велись открытые дискуссии, читались лекции.

Почти все эти вольности, поблажки, послабления приходили сверху. И мы долго — сейчас видно, что непростительно долго, — ждали новых поблажек, ждали новых указов о свободах.

Еще в 1974 году, уйдя с разрешенной на несколько часов выставки художников-нонконформистов, я записала в дневник: «Что будет теперь? Запретят окончательно или разрешат еще раз?»

Приходилось долго пробиваться к простой мысли: свободу не получают ни в подарок, ни как трофей, а находят прежде всего в себе, в своей душе, воспитывают свободными себя, своих.

Этот путь, и донныне незавершенный, начинался в ту пору нашей короткой весны.

3. ВПЕРЕД, К ПРОШЛОМУ!

Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет...

Анна Ахматова

В феврале 1955 года в Литературном музее праздновали 65-летие Ильи Эренбурга.

Мы слушали речи, приветственные письма и телеграммы. Назым Хикмет и Сергей Образцов говорили об Эренбурге как о хранителе духа настоящего революционного искусства, Александр Бек сказал, что Эренбург уберег эти

традиции в то время, как «всех нас давил культ личности». Мы в тот вечер впервые услышали это словосочетание, произнесенное с трибуны.

Вся атмосфера маленького, тесного зала, шумно, радостно откликавшегося на вольные речи, нам казалась возрождением того прошлого, о котором так восторженно говорили сразу полюбившиеся нам ораторы.

И в последующие годы воспоминания Константина Паустовского, Ильи Эренбурга и многих других литераторов, художников, артистов, для которых двадцатые годы были порою их молодости, их молодых надежд, создавали радужные панорамы времени и светлые краски оттесняли тени. В книге Эренбурга многие впервые прочитали строки Цветаевой и Мандельштама, впервые узнали о Модильяни, о Марке.

Возвращались стихи Ахматовой и Есенина, «Клоп» и «Баня» Маяковского, «Мандат» Эрдмана, картины Петрова-Водкина и Фалька, раскрывались тайники спецхранов в библиотеках, запасники в музеях...

Все это после многих лет крикливого, самодовольного невежества ошеломляло, радовало и убеждало: двадцатые годы и впрямь были золотым веком.

Р. На трибуне партийного собрания 26 марта 1956 года стоял Иван Сергеевич Макарьев. Высокий, худой, истощенный, с удлинненным скелетно-голым черепом, он говорил глуховато-низким голосом:

«Зимой тридцать седьмого года к нам в лагерь пришли два эшелона, больше четырех тысяч арестантов. Я увидел множество знакомых лиц, были и делегаты XVII съезда...

...Культ нельзя рассматривать как некое количество фактов, касающееся только лично Сталина. Культ — это уже отрицание ленинизма. Надо высмеивать, вытравливать культ...»

Ему рукоплескали больше, чем всем. Вот он, настоящий большевик: прошел сквозь ад тюрем и лагерей, все выдержал, сохранил душевные силы, сохранил веру в наши идеалы.

Он говорил уверенно, он знал причины прошлых бед и знал, что надо делать: вернуться к «чистоте двадцатых годов».

«Необходимо восстановить атмосферу первых лет советской власти, простоту отношений, доступность руководства... Вернуться к настоящей внутривластной демократии,

к неподдельным рабоче-крестьянским Советам, вернуться к тому, что было провозглашено в октябре 1917 года. Вначале этого нельзя было осуществить из-за гражданской войны, из-за голода, а потом помешала внутривластная борьба. Перерождение аппарата превратило демократический централизм в бюрократический, породило сталинский культ, беззаконие, насилие, террор».

Мы познакомились с ним, когда он пришел в редакцию «Иностранной литературы» к своему другу Николаю Стальскому, тоже недавно реабилитированному. Они оба в двадцатые годы работали в Ростове, были приятелями Фадеева.

Макарьев рассказывал, как Фадеев пригласил его на дачу.

— Он передо мной вроде как оправдывался. Когда-то был настоящим большевиком. Что потом стало, каким он сделался,— не знаю, не понимаю. Посмотрел на его дачу, спросил: «Саша, а зачем тебе этот дворец?»

Он накупил, а потом сказал:

«Отдам под детский сад».

В день самоубийства Фадеева 13 мая 1956 года мы встретили на улице Макарьева, он был бледнее обычного. Ему было необходимо говорить, говорить... Он зазвал нас к себе и до ночи рассказывал о Фадееве, об их общей молодости.

«Сообщение в газете о причинах смерти — чистое вранье. Фадеев полгода уже совсем не пил. С ним что-то произошло после съезда. В последние дни он ходил по старым друзьям, накануне был у Либединского. Неужели и у него руки в крови? Но если и так, то теперь он смыл ее своей кровью».

Макарьев стал часто приходиться к нам, иногда хмельным, иногда выпивал у нас, быстро хмелел и тогда уже не мог замолчать. В любом обществе он говорил больше всех, либо читал вслух стихи и прозу. Однажды у нас за полночь читал рассказы Хемингуэя. Охотно вспоминал о РАППе, о Горьком,— он состоял при нем последние годы. Реже всего вспоминал о лагере. Ему необходимы были слушатели, внимательные, восхищенные. На первых порах их было много.

— Помните сталинскую резолюцию на сказке Горького «Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гете. Любовь побеждает смерть». Он это моим карандашом написал. Сидели тогда у Горького, он, Ворошилов, еще кто-то. Сталин начал вслух читать «Девушку и смерть». Горький морщился,

отмахивался, мол, глупость, юношеское баловство. А Сталин все цокал от восхищения. Все выпили здорово тогда. Горький, пожалуй, один был трезвым. Сталин ко мне:

«Давай карандаш».

И наложил резолюцию, «любю» — без мягкого знака написал. Потом Ворошилову подсунил: «пиши». Тот развел тягомотину. Горький был очень недоволен.

Последствиями этой пьяной резолюции были статьи, книги, диссертации. Мариэтта Шагинян, бывшая приятельница Андрея Белого, Мережковских, утверждала, что пересмотрела свои суждения о Гете, сложившиеся за десятилетия, «в свете гениального определения товарища Сталина».

У Макарьева глубокий шрам на правой кисти.

— Это сквозное, пулевое. Когда в сорок втором немецкий крейсер вошел в Северное море, в нашем лагере бандиты, ворье пытались поднять восстание. Разоружили часть охраны. Мы, заключенные-коммунисты, дали им отпор. Я схватился с одним, тот выстрелил, я только ожог почувствовал. Но все же вырвал винтовку. Мы сами их скрутили, охранники потом опомнились. Меня представили к медали. Но вместо этого только сократили срок на один год. А потом все равно — ссылка.

Он дружил с Ольгой Берггольц, которую знал с дотюремных времен. Она посвятила ему стихотворение.

Макарьев казался нам волевым, энергичным, призванным руководить. При каждой встрече говорил, что уже начал писать большую работу по истории РАППа. Он опубликовал брошюру «Заметки Горького на полях начинающих писателей» и сулил большую книгу о Горьком.

Осенью 1956 года он привел нас на квартиру Юзовского. Там обсуждался замысел нового альманаха «Литературный Ленинград». Редактор-издатель Анатолий Горелов некогда был так же, как Макарьев, воинственным РАППовцем и тоже отбыл 17 лет в лагерях и ссылке.

В тот вечер к Юзовскому пришли Мартынов, Слуцкий, Рудный, Осповат. И опять Макарьев говорил больше всех, оттеснил даже златоуста Юзовского.

Горелов рассказывал об альманахе, который должен выходить дважды в год. Он уже принял статью Р. об Овечкине и договаривался со всеми нами о постоянном сотрудничестве. Мартынов и Слуцкий читали стихи, предназначенные для альманаха.

Мы испытали радость содружества, единомыслия совершенно разных людей, объединенных общими надеждами,

общим стремлением «восстановить советскую власть». И мы все не сомневались, что именно Макарьев и Горелов — самые достойные руководители этого содружества. Выдержав страшные испытания, они сохранили верность идеям, но в то же время избавились от юношеского фанатизма, от сектантской нетерпимости, обрели новую широту кругозора.

Мы обсуждали планы будущих работ, встреч, книг, кажется, почти не спорили.

Л. Те, кто тогда возвращался из лагерей, из ссылок, радовались возобновлению жизни, с жадностью набрасывались на любую работу и на развлечения, стремясь наверстать упущенное. Одни без усталости ходили в театры, на концерты, на выставки, другие объезжали родственников, знакомых в разных городах, просто много путешествовали. Третьи спешили обзавестись квартирой, дачей, получше одеться. Некоторые крепко пили. Реже восстанавливались старые семьи, чаще создавались новые.

Никто вокруг не думал о возмездии, о наказании доносчиков, палачей. Не было никакого «реваншизма», которым аппаратчики пугали самих себя и начальство.

Однажды Макарьев пришел к нам с рукописями третьего тома «Литературной Москвы» и прочитал вслух рассказ Равича о человеке, который в 1920 году был арестован Чека и едва не расстрелян.

Все происходившее в рассказе было таким же бессмысленно жестоким, как и многие дела 1937—1938 годов. Макарьев читал очень выразительно, взволнованно. Потом мы говорили уже не только о прочитанном, и все были согласны, что корни сталинщины уходят в глубь тех самых двадцатых годов.

Мы понимали, что значительная часть аппарата неизлечимо развращена, выродилась в касту. Мы достаточно хорошо знали прилитературных сталинцев; о них, об их своекорыстии, невежестве, лживости много говорили вслух на разных собраниях, но не в печати. Мы были уверены в том, что наши методы борьбы и полемики должны быть иными, чем те, которыми пользовались они: мы не хотели никаких административных мер, никаких проработок, бойкотов, запретов. Только открытая критика, открытый спор — пусть возражают. Иного оружия, кроме слова и избирательного бюллетеня, мы не признавали.

Нам казалось, что можно расшевелить инертное, колеблющееся большинство, объяснить и убедить, как это

важно, как благотворно — «вернуться на ленинский путь».

Но Макарьев хотел не только убеждать и просвещать. Он считал необходимым «прорываться в лагерь противника... вербовать перебежчиков», а главное — «проникать на командные позиции», в руководство Союза писателей, в редакции издательств, журналов.

Его избрали секретарем партбюро секции критиков Московского отделения Союза писателей, он стал одним из официальных «внутренних» рецензентов издательства «Советский писатель», членом редколлегии «Литературной Москвы». Он встречался с бывшими заключенными Снеговым и Шатуновской, которые тогда работали в аппарате ЦК, и надеялся через них влиять на Микояна и даже на Хрущева.

Однажды он рассказал нам, что побывал в гостях у А. Чаковского и тот его очень хорошо, дружески принял.

Мы были неприятно поражены.

— Иван Сергеевич, это уж слишком, ведь на нем, что называется, пробы ставить негде. Он участвовал в травле космополитов и своим еврейским паспортом прикрывал черносотенную, антисемитскую сущность всей кампании. В тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году его согнали с трибуны партийного собрания, публично назвали подлецом.

— Ну и что же. Люди меняются. И мы с тобой были ведь сталинцами. А он очень умный мужик и думает о многом так же, как мы. Его надо не отталкивать, а привлекать.

Вскоре мы узнали, что Макарьев по просьбе Чаковского написал развернутую внутреннюю рецензию на рукопись его очередного романа, безоговорочно рекомендуя издать «ценную» книгу. Мы знали, что такое литературная продукция Чаковского, — посредственная беллетристика с незамысловатыми «интеллектуальными узорами». И опять был неприятный разговор с Макарьевым. Он возражал уверенно: «Ну, конечно, это не Флобер. В сокровищницу литературы не войдет. Но там есть несколько стоящих страниц и про нашего брата — реабилитированных коммунистов тепло говорится. Он становится на правильный путь. Ему нужно помочь, это нам тактически необходимо».

Весной 1957 года нам удалось снять комнату на год (до этого мы ютились по разным углам). У нас собралось разношерстное общество, главным образом, сотрудники «Иностранной литературы», и возник один из тех споров, которые тогда шумели во многих домах, — нужно ли давать Ленинскую премию роману Дудинцева «Не хлебом единым». Случайный гость, муж одной из сотрудниц Р., молодой, но

уже преуспевающий социолог, сердито и пренебрежительно говорил: «...кляклое бытописание... кляклые характеры... кляклый роман... Дудинцев только злопыхательствует, спекулирует на модных настроениях. Сейчас повышенный спрос на критиканство...»

Макарьев кипятился и с митинговым пафосом кричал: «Эта книга начинает новый этап истории советской литературы. Это первый по-настоящему реалистический и социалистический роман о нашем времени. Это событие в мировой литературе, книгу уже перевели на множество языков и издали во многих странах».

А на первом пленуме правления вновь созданного республиканского союза выступил Иван Сергеевич, он осуждал «идеологически сомнительный» роман «Не хлебом единым», осуждал «серьезные политические ошибки» «Литературной Москвы» и нездоровые выступления их защитников.

После этого мы стали его избегать.

Когда мы с ним познакомились, мы верили, что путь в реальное социалистическое завтра ведет через возрождение идеального большевистского вчера. И некоторое время нам казалось, что именно он не только хочет, но и может, способен быть проводником на этом пути. Однако он возвращался к другому прошлому, недавнему и печально знакомому.

Он пьянствовал почти ежедневно, собутыльничал с отъявленными сталинцами и со всяческими прилитературными проходимцами. В апреле 1958 года стало известно, что он — секретарь партбюро — пропил две тысячи рублей партийных взносов. Предстояло «персональное дело».

И Макарьев покончил с собой — вскрыл вены.

В крематории нас было совсем немного. Мы прощались с несчастным человеком. Еще до того, как его арестовали, пытали, превратили в бесправного раба, душа его уже была изувечена представлениями о партийности, о дозволенности любых средств для благой цели.

* * *

Об Александре Мильчакове, бывшем секретаре ЦК комсомола, который был в лагере вместе с Макарьевым и тоже вернулся семнадцать лет спустя, Евгения Гинзбург написала в «Крутом маршруте»:

«Это был человек, аккуратно связавший разорванную нить своей жизни. Тугим узелком он затянул кончики, соединил тридцать седьмой с пятьдесят четвертым и забросил

подальше все, что лежало посередине. Сейчас он ехал, чтобы снова занять соответствующий номенклатурный пост, чтобы снова начать подъем по лестнице Иакова, с которой его ненароком столкнули. По ошибке столкнули, приняли за кого-то другого, совсем иной породы...»

В отличие от него Макарьев после возвращения не хотел забывать «о том, что лежало посередине». И хотел, ведь было, бороться против сталинщины. Но не хватило душевных сил, сломился.

Похоронив его, мы все еще не хоронили идеалов того прошлого, к которому он звал, не похоронили и тех надежд, которые разделяли с ним.

Эти идеалы, эти надежды вновь оживали для нас в книгах, в рукописях и в людях, которым мы верили.

* * *

Назым Хикмет, поэт и революционер, тоже побывал в заключении: двенадцать лет в турецких тюрьмах. После освобождения в 1951 году ему удалось бежать из Турции и добраться до Москвы... В начале двадцатых годов он учился в московской школе Коминтерна. С тех пор он свободно читал и говорил по-русски. Все, что он теперь видел, что узнавал о новых нравах, о новых особенностях московской жизни, его жестоко поражало: пышные мундиры, золотые погоны (он еще помнил, что «золотопогонники» было ругательным словом), нарядное однообразие театров, казенной живописи, казенной архитектуры; сановное барство, роскошный быт привилегированных чиновников и литераторов и нищета рядовых москвичей.

Всего болезненнее воспринимал он откровенный великодержавный шовинизм, хамское презрение к другим народам, возрождение националистических легенд, предрасудков, страстей.

Он поехал в Болгарию и там увидел, как болгарские сталинцы третируют своих турецких сограждан. Там настиг его первый инфаркт.

Но вопреки всему Назым продолжал верить в спасительность мировой социалистической революции, мечтал о красных флагах над родным Стамбулом. И оставался убежденным, последовательным интернационалистом. Когда он уже понял, что Москва изменила революционным идеалам, он продолжал надеяться, что где-нибудь в Гаване, в Риме, в Варшаве, в Багдаде эти идеалы могут возродиться.

Он сохранял вкусы двадцатых годов, с гордостью вспоминал, как читал свои стихи в Политехническом вместе с Маяковским; любил искусство Мейерхольтда, Пикассо, любил живопись экспрессионистов, поэзию лефовцев. И в годы оттепели он помогал молодым бунтарям: художникам, скульпторам, режиссерам. Он радовался тому, что они рвутся «вперед к революционному прошлому». В его доме мы впервые увидели полотна Юрия Васильева и Владимира Вайсберга.

* * *

Александра Яковлевна Бруштейн при каждой встрече поражала нас — восьмидесятилетняя, больная, глухая, почти слепая, она была неиссякаемо остроумна, смеялась над собой и над любыми авторитетами, умела так вышутить собеседника, что он не обижался и сам хохотал. До революции она была учительницей. Потом стала сотрудницей Отдела народного образования, ведала школами и библиотеками, сочиняла пьесы для детских театров. Нам нравилась ее книга воспоминаний. Она олицетворяла то деятельное просветительство, которое не только мы считали плодотворным. Литературовед М. Кораялов записал слова Бруштейн:

«Теперь яростно спорят о двадцатых годах. Для нас с мужем они всегда сохраняли бесспорность. Мы оставались убеждены, что этот период нашей жизни был самым трудным и одновременно счастливым, романтическим. Я открыла тогда сто семьдесят три школы и тридцать восемь библиотек» *.

* * *

Антал Гидаш юношей был бойцом венгерской Коммуны 1919 года; эмигрировал, в Москве стал РАППовцем, другом Фадеева и Суркова. Его стихотворение «Гудит, ломая скалы, ударный труд» — одна из популярнейших песен первой пятилетки.

С 1938 по 1944 год он был заключенным на Магадане. Для него так же, как для Назыма, были нераздельны революционные мечты его молодости и бунтарская поэзия 20-х годов. Он тоже пытался искать будущее в прошлом. Но когда он вернулся в Венгрию в начале 60-х годов, он и там

* Из воспоминаний об Ал. Бруштейн // Вопр. лит. 1984. № 11.

оказался эмигрантом, одиноким пришельцем из другой эпохи.

Елизавета Драбкина, дочь одного из ближайших сотрудников Ленина, участница гражданской войны, последняя подруга Джона Рида, отбыла семнадцать лет на сталинской каторге. И она так же, как Макарьев, была убеждена: главное дело — восстанавливать ленинские традиции.

Книги Е. Драбкиной «Черные сухари», «Повесть о не написанной книге», «Зимний перевал» были опубликованы в «Новом мире». Эти романтические повествования о Ленине и настоящих ленинцах дольше других легенд того времени оставались для нас достоверными свидетельствами.

Рукопись «Зимний перевал» редакция послала на отзыв в Институт Маркса—Энгельса—Ленина. Драбкина рассказывает: «У меня написано: «Я иду по Смольному, из одной двери выходит Владимир Ильич, здоровается: «Лиза, иди к нам чай пить, нам варенье привезли». На полях рукописи замечание рецензента — „Так просто?“»

Одна эпоха не узнавала свое начало в другой...

* * *

Евгений Тимофеев — тюремный друг Л., инженер-кораблестроитель, комсомолец со времен гражданской войны, участник ленинградской оппозиции 1925—1927 годов, провел в тюрьмах, лагерях, ссылках почти четверть века, с 1928 по 1955 год с двумя короткими перерывами. Он прошел империю ГУЛАГа из края в край — от Соловков до Колымы. И он поверил, что Хрущев ведет партию вперед к ленинскому прошлому. Евгений считал себя последовательным марксистом и строго, рассудительно объяснял нам, как новое экономическое развитие нашей страны должно привести к построению настоящего коммунизма.

Он был участником и пропагандистом косыгинских реформ 1965 года у себя в НИИ и на предприятиях, куда он выезжал.

Его огорчали наши «ревизионистские», «либерально-идеалистические» сомнения. Он спорил с нами, продолжая верить, что мы можем и должны построить коммунизм.

Но разлучила нас только его смерть.

Варлам Шаламов, один из самых талантливых, самых беспощадных художников — летописцев советской каторги,

вспоминая двадцатые годы *, преобразался, становился добрым, доверчивым, веселым, рассказывая о вечерах Маяковского и других поэтов, о диспутах Луначарского с Введенским, о первых спектаклях Мейерхольда, о красках и шумах московских улиц...

Его воспоминания помечены 1962 годом, то есть они писались одновременно с «Колымскими рассказами».

Смерть Ивана Макарьева была предвестием; вскоре начали умирать те иллюзии, которыми жил он, которые на время увлекли и нас.

* * *

Книга Аркадия Белинкова о Юрии Тынянове (1961) — талантливый саркастический памфлет, направленный прежде всего против той части интеллигенции, которая в 20-е годы начала сотрудничать с советской властью, по наивности или по расчету поддерживая официальную идеологию.

Это дерзкое обличение встретило широкий, сочувственный отклик. Рецензия В. Шкловского в «Литературной газете» называлась «Талантливо!»

Для молодых читателей книга Белинкова стала первым снарядом, разрушавшим миф о двадцатых годах.

Первая книга воспоминаний Надежды Мандельштам, распространявшаяся в самиздате в 1964—1965 годах, покорила прежде всего достоверным и поэтическим рассказом о страшной судьбе Осипа Мандельштама, о зарождении и «вызревании» стиха. Вместе с тем эта книга безоговорочно отвергала наши тогдашние иллюзии.

«Сейчас многие хотели бы соединить двадцатые годы с сегодняшним днем... Люди, уцелевшие от двадцатых годов, ходят сейчас среди новых поколений и всеми силами стараются им внушить, что тогда был пережит неслыханный расцвет — наука, литература, театр! — и если бы все шло намеченным тогда путем, мы бы уже взобрались на самые вершины жизни. Остатки ЛЕФа, сотрудники Таирова, Мейерхольда и Вахтангова, студенты и преподаватели ИФЛИ и Зубовского института, марксисты и отовсюду изгнанные формалисты, все, чье тридцатилетие выпало на двадцатые годы, еще и сейчас призывают вернуться в ту эпоху и снова, уже «не допуская никаких искажений», пойти открывшейся им оттуда дорогой. Иначе говоря, они не признали себя ответственными за то, что произошло после. Но так ли это?

* См. издание: А—Я. Париж, 1985.

Ведь именно люди двадцатых годов разрушили ценности и нашли формулы, без которых не обойтись и сейчас: «молодое государство», «невиданный опыт», «лес рубят — щепки летят...». Каждая казнь оправдывалась тем, что строят мир, где больше не будет насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного «нового». Никто не заметил, как цель стала оправдывать средства, а потом, как и полагается в таких случаях, постепенно растаяла...»

Н. Мандельштам обличала измену интеллигенции уже не иронически-иносказательно, как Белинков, а прямо:

«Идиллические вздохи о двадцатых годах — результат легенды, созданной тридцатилетними капитулянтами, которые случайно сохранили жизнь, и их младшими братьями. А на самом деле двадцатые годы — это период, когда были сделаны все заготовки для нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание ценностей, воля к единомыслию и подчинению».

Она писала как свидетельница, как жертва, как обвинитель. Писала яростно, не только осуждала — проклинала.

Книги А. Белинкова и Н. Мандельштам помогли и нам освободиться от идеализации досталинской поры, от иллюзорных стремлений «вперед, к прошлому!».

Однако мы, в отличие от их безоговорочных поклонников, не могли принять ту новую нетерпимость, ту ослепляющую ненависть, с которой они оба и их последователи отвергали уже все, что противоречило их убеждениям. Не могли принять их по-новому двумерную картину мира.

* * *

Самым близким из людей двадцатых годов стал для нас Евгений Александрович Гнедин.

...Глаза слегка выпуклые, очень светлые, зеленовато-серые. Когда улыбается, еще больше светлеют, поблескивают. Мягко-округлое лицо, высокий лоб. Морщинки от глазниц к вискам.

Коренастый, плотный, чуть полноватый, но движется легко. Ни в голосе, ни в жестах — ничего старческого. Не верилось, что ему уже больше семидесяти!

Еще до первой встречи мы знали, что он много лет провел в тюрьме, в лагере, в ссылке. Однако не было в нем ни тени страдальчества, обиды или ожесточенности. Вначале даже казалось, что он — один из тех вернувшихся, кто не хочет вспоминать, кто словно бы выключил мучительное прошлое.

Мы читали его статьи в «Новом мире» — социологические очерки о современном Западе. Он свободно владел немецким и французским, читал и на других языках. Статьи не поучали, не вещали, не проповедовали: автор думал, спрашивал, не всегда находил ответы, не скрывал сомнений, приглашал читателей размышлять вместе с ним.

Мы встречались — в редакциях, в Союзе писателей, в домах творчества (в Переделкине, в Дубултах), у общих друзей. В домашних компаниях он слушал охотнее, чем говорил, а когда возражал, то спокойно, доброжелательно, чтобы не обидеть собеседника.

Он был терпимым, свободомыслящим марксистом, отвергавшим уже не только сталинскую, но и ленинскую догматику.

И то, что, и особенно то, как он говорил и писал, привлекало нас мягко, но прочно.

С годами мы сближались, виделись все чаще с ним и его женой, стали друзьями. Прочитали рукописи его воспоминаний, которые позже стали книгами: «Катастрофа и второе рождение», «Выход из лабиринта»; узнавали все новые подробности его прошлой жизни, его душевного облика.

Он родился в 1897 году в Сибири. Его мать, социалистка-революционерка, была ссыльной. Отец — Парвус, которого он никогда не видел, а когда узнал о нем, то презирал как «социал-предателя». В 20-е годы Евгений Александрович был журналистом, изучал историю, писал стихи. Позднее он стал международником, дипломатом, сотрудником советского посольства в нацистском Берлине. В 1938 году он заведовал отделом печати Наркоминдела. После отставки Литвинова, которого сменил Молотов, 2 мая 1939 года Гнедин был арестован.

Первый допрос и первое избивание в кабинете Берии. Боль, ужас и, главное, непонимание — что произошло? откуда эти дикие вопросы о Литвинове?*

Упрямое желание понять происходящее, мужество и чистота души помогли ему устоять в пыточных камерах Лубянки и самой страшной тюрьмы — Сухановки... «Я остался самим собой», — написал он в одном из первых тюремных стихотворений. В неволе он продолжал размышлять, начал мыслить по-другому.

«Одержав победу на самой мучительной и опасной ста-

* Тогда готовился процесс ответственных работников Наркоминдела во главе с Литвиновым, подобный процессам 1936—1938 годов, который не состоялся, видимо, потому, что началась война.

дии следствия, я обрел чувство независимости по отношению к палачам и тюремщикам. Оно меня поддерживало и даже спасало в тюрьмах и лагерях. Однако надо было еще разорвать цепь зависимости от системы догматического мышления, от ложной идеологии, которая придает силу злодеям и лицемерам, но сковывает честных людей. Преодолев тоску одиночной камеры, испытав бремя подневольного труда в лагерях и ссылке, навыки и тяготы многолетней работы на вредном фабричном производстве, я постепенно постигал, что такое истинная внутренняя свобода человека, открытого всем ветрам жизни».

Внутреннюю свободу, впервые обретенную в тюрьме, он все полнее, все глубже осознавал уже в 60-е и 70-е годы. Мы обретали свою внутреннюю свободу примерно в то же время. Он помогал нам в этом.

Он вспоминал свое прошлое. Он исследовал новейшую историю России и Европы.

В том, что он писал, нас поражали и привлекали отвага освобожденной мысли, мужество беспощадного самопознания.

И при этом никакой сосредоточенности на себе: для него все время главное — искать, познавать правду, важную для всех.

Рассказывая и размышляя о прошлом, он постоянно думал о настоящем и возможном будущем. При этом в отличие от многих благородных, но безнадежно серьезных мемуаристов Евгений Александрович обладал еще и живым чувством юмора. Все это привлекало к нему разных людей, прежде всего молодежь.

В его маленькой квартирке собирались и старые лагерники, из тех, кто ничего не забыл, но многому научился, студенты и аспиранты, зарубежные историки, итальянские коммунисты, американские политологи.

Он расспрашивал и рассказывал, думал вслух, увлеченный чьей-нибудь книгой или статьей, увлекал других слушателей. И безоглядно, щедро делился своими знаниями, воспоминаниями, мыслями.

Среди молодых он был своим и потому, что он оставался самым собой — нестареющим юношей... Теперь уже можно сказать, что Евгений Александрович был одним из создателей-авторов самиздатовских альманахов «Память», журнала «Поиски».

В Англии были опубликованы документы из нацистского архива Министерства иностранных дел.

Евгений Александрович внимательно изучал донесения немецких послов из Москвы, сопоставлял их со своими воспоминаниями, разыскивал в исторической библиотеке, в архивах все, что можно было найти из советских документов того же времени, и решил историко-криминалистическую задачу. Он убедительно доказал, что тот, кого немецкий посол в Москве даже в секретных документах не называл по имени, а только «наш друг», через кого были установлены и поддерживались связи Гитлера с Молотовым и Сталиным, «прямые связи», минуя тогдашнего наркома Литвина, — был Карл Радек...

Гнедина восстановили в партии автоматически, в 1956 году, тогда же, когда реабилитировали; он состоял на учете в партийной организации Исторической библиотеки, был там постоянным читателем, лектором, советчиком. Его любили сотрудники библиотеки, как любили его товарищи по лагерю, как любили редакторы и авторы «Нового мира».

Никто из руководителей библиотеки не пытался упрекнуть его ни за то, что он поехал в Ленинград на судебный процесс Бродского и подписывал письма против незаконной расправы с поэтом (1965 г.), ни за то, что он выступил на собрании историков, защищая книгу Александра Некрича «22 июня» (1966 г.), которая к тому времени была уже изругана казенными историками, ни за то, что он поддерживал заявления Андрея Сахарова.

Но в 1979 году он принес в партийную организацию партбилет и заявление, что он не может оставаться в партии из-за идейных расхождений.

Тщетно все члены партийного бюро упрашивали его не подавать заявления. Этим он лишал себя не только возможности публиковать свои работы, но и лишался всех льгот, предоставленных старым членам партии и членам группкома литераторов. Более того, отказываясь от звания старого коммуниста, он отбрасывал единственный щит, который мог оградить от новых возможных преследований.

Некоторые приятели говорили: «Зачем вы так поступаете? Мы о многом думаем так же, как и вы, но молчим. Ведь такими жестами никому не поможешь. А вы уже столько настрадались...»

Но мягкий Гнедин оставался непреклонным.

Он всю жизнь писал стихи.

Мы не назовем его значительным поэтом. Но в нем жила поэзия. С юности он был неразлучен со стихами Пушкина, Тютчева, Блока, Ахматовой, Ходасевича, Пастернака.

Знал много наизусть. Постоянно перечитывал. Истинно поэтическим был его душевный строй, стремление к гармонии.

Духовная и душевная поэтичность питала его мечты о преодолении хаоса, зла, о гармоническом обществе. Эти мечты привели его в партию.

Тем более мучительным было для него разочарование, тем более трудным было постепенное освобождение от иллюзий и надежд.

Жизнь Гнедина глубоко трагедийна. Высокий поэтический строй души помог ему устоять под пытками и в тюрьме обрести внутреннюю свободу.

Поэтический душевный строй воплотился и в его любви, в более чем полувековом браке. Надежда Марковна Гнедина — красивая, немногословная, сдержанная — была ему преданной, мудрой подругой и первым критиком его работ.

Мы любовались тем, как он смотрел на нее, как застенчиво, стараясь, чтобы незаметно, по-юношески ухаживал за ней, тревожно ее оберегал. Видя их вдвоем, мы внятно ощущали то, чего не описать, не пересказать, — живое тепло нестареющей любви.

В наши последние московские годы мы виделись особенно часто.

Обретая внутреннюю свободу для себя, он боролся за свободу других людей. В предисловии к его книге «Выход из лабиринта» Андрей Сахаров пишет:

«...в его книге нет (к счастью) окончательных решений, нет универсальных ответов, но есть главное — страстный поиск границы раздела добра и зла, осуждение подмены средств и целей, приведшей нашу страну к ужасам недавнего прошлого и к бюрократической, зловещей для всего мира стагнации в настоящем. При этом позицию Гнедина, ясно понимающего все негативные стороны нашей действительности, отличает выстраданный личный и исторический оптимизм».

* * *

Р. В годы оттепели — в пору внезапных, крутых перемен, когда казалось, все колебалось, многое двинулось, Иван Макарьев, Елизавета Драбкина, Антал Гидаш, Назым Хикмет, Варлам Шаламов, Евгений Тимофеев, Евгений Гнедин, люди, испытавшие тяжкие потрясения, пытались связывать начала и новую эпоху своей жизни.

И на первых порах, казалось, они обретали душевные опоры в своей молодости, в двадцатых годах. Они убеждали нас, заражали нас своей верой.

Но для того, чтобы жить дальше, необходимо было понять, что же произошло? Что это было — бездонная пропасть? случайные исторические повороты, уводившие с правильных путей? стихийные катастрофы, неподвластные никакой человеческой воле?..

Искать ответы на все эти вопросы мы пытались и сообща, однако настоящие поиски были работой мысли и совести каждого наедине с самим собой.

Макарьева это сломило. Гидаш отказывался от таких поисков (мы не знаем, что хранится в его архиве, но в Москве он не хотел даже разговаривать о том, что означала сталинщина).

Сознание Варлама Шаламова словно расколосось: светлый мир двадцатых годов и беспросветный ужас колымской каторги в его творчестве не были ничем связаны, представляли так, будто о них написали два разных человека.

Евгений Гнедин не побоялся глядеть в бездны, отделявшие прошлое от настоящего. Он стремился понимать, исследовать не только из научной любознательности, но и для того, чтобы жить дальше и помогать жить другим. Благодаря тем свойствам души и сознания, которые Андрей Дмитриевич Сахаров точно назвал личным и историческим оптимизмом, ему и впрямь удавалось связывать прошлое с настоящим.

Критически пересмотрев идеалы своей молодости, он сохранил молодую чистоту души, молодой идеализм, сохранил веру в людей, способность любить и дружить.

Л. Идеализация двадцатых годов, доверие к мифу «ленинских норм», увлечение и литературными, и общественно-политическими преданиями молодости нашей страны в значительной мере определились тем, что я иногда называю «генерационизмом». Старым людям всегда, и особенно в поры общественных потрясений, свойственно преувеличивать, идеализировать и подвиги, и страдания своего поколения. «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя...» Этим наивным, но очень цепким ощущением-сознанием были захвачены Макарьев, Евгений Тимофеев, многие мои ровесники и я тоже. Вчерашние зеки и позавчерашние комсомольцы или коммунисты-ленинцы, мы казались себе куда как более опытными и более преданными

нашей стране, чем наши дети, чем наши младшие современники.

К счастью, я сравнительно скоро избавился от остатков такого самодовольства поколения.

Но искать идеалы в прошлом — это ведь древнейшая потребность людей. Эллыны и римляне воспевали идиллический золотой век своих предков. Мятежные крестьяне и еретики средневековья взывали к добродетелям раннего христианства, к той поре, когда Адам пахал, а Ева пряла. Английские и американские пуритане хотели жить по Ветхому завету. Французские республиканцы представляли себя Гракхами и Брутами. Романтики славляли доблести рыцарских времен, добродетели древних германцев и кельтов; славянофилы надеялись возродить добрые нравы русской старины. Мечты о лучшем будущем, из которых рождались «Утопия» Мора, «Солнечный город» Кампанеллы, фаланстеры Фурье, «Что делать?» Чернышевского, романы А. Богданова, пьесы Маяковского, тешили многие поколения мечтателей. Но, становясь идеями, которые должны были «овладевать массами», воплощаясь в программах партий, вырываясь на улицы, на трибуны, иные мечты об идеальном будущем счастье оказывались источниками реальных несчастий, оружием братоубийства, оправданием злодейств.

Впрочем, и безудержные стремления любой ценой вернуться к идеализированному прошлому или отстоять наследие благословенной старины от любых преобразований приводят к не менее жестоким преступлениям. В 1871 году в Париже версальские каратели стократно превзошли самых неистовых коммунаров. В 1933—1945 годах нацисты, обещавшие возродить мифическую германскую империю в духе вагнеровских опер, обрекли на безысходные страдания десятки миллионов людей и в других странах, и в самой Германии.

Одним из уроков сталинщины стало недоверие к футурологическим утопиям. И в силу естественной «реактивности» наши мечты рванулись к прошлому. Сначала к самому ближайшему, которое казалось таким реальным, потому что его следы, его живые частицы еще сохранялись вблизи от нас и в нас самих. По какой-то закономерности, которая для меня еще необъяснима, в других странах мира в то же самое время возникло тяготение к легендам и мифам «золотых двадцатых» (Goldene Zwanziger), «грохочущих двадцатых» (Roaring Twenties). Наши порывы к двадцатым

оказались очередной иллюзией. И многие, разочарованные в торопливо гальванизированных идеалах досталинской советской власти, стали пробиваться дальше, в глубь прошлого. Они отрекались, иногда с ненавистью, уже не только от ленинской мифологии, но и от Маяковского, Горького, от Ильфа и Петрова. Они возвращались к «Вехам», открывали Бердяева, Владимира Соловьева, К. Леонтьева. Некоторые обретали новые идеалы в ближайшем дореволюционном прошлом, в Иоанне Кронштадтском и Столыпине. Другие шли дальше «вперед», в допетровские эпохи, к истовому православию Аввакума, Нила Сорского. В 70-е годы появились уже такие крайние ретрограды, которые объявили христианство «предбанником жидовства», призывали вернуться к исконности Дажь-Бога и Перуна.

* * *

Мы не помним, когда именно осознали, что не было никакого «золотого века большевизма», что «ленинские нормы» — это целеустремленная партийность, жестокая нетерпимость и отрицание всех общечеловеческих нравственных принципов, что именно ленинцы распахали и удобрили ту почву, из которой выросла сталинщина, воздвигали стены тюрем, в которых их же потом гноили, вооружали своих будущих убийц и палачей.

Но, твердо зная правду класса,
Они, не зная правд иных,
Давали сами нюхать мясо
Тем псам, что после рвали их.

Н. Коржавин

По мере того как мы убеждались в иллюзорности наших представлений о двадцатых годах, мы избавлялись и от склонности доверять всеобщим, абсолютным идеалам, от склонности творить кумиров и дьяволов.

Мы не хотели и не хотим менять одну партийность на другую. Мы хотим — насколько это возможно — узнать и понимать правду.

Мы думаем, что двадцатые годы таили не только корни, завязи, даже первые «урожаи» зла, но тогда же вызревали и добрые плоды мысли, искусства, тогда жили и работали замечательные люди.

То была пора молодости века.

Мы постепенно пришли к пониманию того, что давно знали мудрецы и поэты: «потому, что люди не умеют ценить, не умеют оживлять свое настоящее, они так тоскуют по лучшему будущему, так заигрывают с прошлым», — это сказал Гёте 7 сентября 1827 года. А сто лет спустя написал Бердяев: «Работа наша должна совершаться не во имя будущего, а во имя вечного настоящего, в котором будущее и прошлое едины».

4. УМЕРЕННЫЙ ПРОГРЕСС В РАМКАХ ЗАКОННОСТИ

В 1912 году Ярослав Гашек создал в Праге шутейную «Партию умеренного прогресса в рамках законности». В 1957 году в Москве редактор издательства «Знание», готовя к печати книжку Л. Копелева «Ярослав Гашек и его бравый солдат Швейк», сказал:

— Ты так расписываешь этот гашековский политический балаган, что это может быть воспринято как намек на наши дела. Ведь теперь, после двадцатого съезда, мы все хотим прогресса, но, разумеется, в меру...

Мы стали мужем и женой в 1956 году и долго еще чувствовали себя молодоженами.

За первые три года совместной жизни нам пришлось много раз переезжать. По закону женщина с мужчиной имеют право жить в одной комнате, только если их брак зарегистрирован в ЗАГСе — с соответствующей отметкой в паспортах.

Нам — каждому — надо было сначала развестись. А в те годы еще действовал сталинский закон об «охране семьи»: для развода нужно было пройти два суда. В первой инстанции супругов уговаривали помириться. Если примирения не происходило, тогда можно было давать специальное объявление в газету. Во второй судебной инстанции тоже делалась попытка к примирению. Если это не удавалось, то суд мог признать развод, после чего он регистрировался в ЗАГСе — опять же с отметкой в паспортах.

Все это тянулось долго, в особенности когда один из супругов разводу противился. Бывший муж Р. всячески сопротивлялся разводу. И наше дело длилось два года.

Потому так сложна оказалась для нас квартирная проблема.

Первую комнату — каморку под лестницей в большой двухэтажной квартире, где жила дамская портниха, — нам сдали на месяц. В ней помещалась узкая тахта, столик и один стул. Шаги по лестнице на второй этаж сотрясали

наш потолок, и все шумы из уборной, находившейся за стеной, также были отчетливо слышны. Платили мы 400 рублей в месяц*.

Потом мы переехали в уютную, хорошо обставленную комнату в двухкомнатной квартире. Там мы отпраздновали наш первый Новый год — 1957-й. Но хозяйка была недовольна тем, что к нам приходило много гостей и мы сами часто возвращались поздно. Ей мы платили 700 рублей.

Потом мы неделю жили в большой коммуналке. Хозяйке, вдове зубного врача, мы тоже не подошли: слишком много посетителей, слишком часто разговариваем по телефону, соседи недовольны.

Мой друг, с которым мы вместе были на шарашке, предложил нам на месяц поселиться у него. Он жил в двухкомнатной квартире со старой матерью и взрослой дочерью. Дочь уезжала в долгую служебную командировку, мать — к своим родным в другой город, а сам он получил путевку в санаторий. Он не взял с нас ни копейки.

Квартирная проблема была еще и потому особенно сложной, что Р. должна была ежедневно ходить на работу (она заведовала отделом в журнале «Иностранная литература») и ежедневно — на старую квартиру. Там жили родители и обе дочери, младшей было 11 лет. У родителей были напряженно-плохие отношения с бывшим мужем Р., который не хотел уезжать из этой квартиры. Л. было легче, он преподавал, три—четыре раза в неделю читал лекции и проводил семинары.

В летние месяцы жизнь становилась проще: мы снимали для всех дачу на лето. Три комнаты с большой террасой. В том же доме жили еще две семьи. Хозяйка с мужем и сыном на лето перебиралась в сарай. У нее мы покупали свежее молоко, картошку, яйца, овощи, клубнику.

Деревня Жуковка на высоком берегу Москва-реки осталась для нас навсегда любимой частицей родины.

В 1958 году нам повезло: приятельница нашего друга, старая одинокая женщина, бывшая машинистка Министерства иностранных дел, получила разрешение поехать к сестре во Францию. Она сдала нам свою комнату в большой коммунальной квартире в доме Наркоминдела.

В одиннадцати комнатах жили пять семей: одна общая кухня, общая уборная, общая ванная.

До революции там была компания «Омега». Мы жили

* До денежной реформы; сегодня — 40 рублей.

на шестом этаже без лифта, а внизу располагались какие-то конторы.

Дом был построен в начале века, планировка комнат была причудливой. Наша напоминала букву «Г». Огромное полукруглое окно во всю стену. Милая хозяйка оставила нам старую тахту, овальный стол из красного дерева — он мог принадлежать еще ее прадеду, но был крепок, несколько разных стульев и сундук с тряпками, которые доставили много развлечений нашим дочерям. Туда к нам переехала младшая с портфелем, с книжной полкой и маленьким столиком.

Мы заплатили хозяйке за полгода вперед тысячу рублей, что было до смешного дешево, и обязались ежемесячно вносить за нее небольшую квартплату. Там мы ощущали себя подчас прямо-таки буржуями-домовладельцами. Соседи относились к нам дружески.

Хозяйка не вернулась, об этом узнали в министерстве; и нам предложили срочно освободить комнату. К этому времени, к счастью, были улажены все формальности, и мы, наконец, могли переехать в ту квартиру, где Р. родилась и прожила всю жизнь.

В 1967 году мы с ее мамой переехали в кооперативную трехкомнатную квартиру на первом этаже в писательском доме на Красноармейской улице. Там мы прожили девять лет. Там умерла мама. После того как летом 76-го года нам разбили окна, нам удалось обменяться, и осенью 1976 года мы переехали в двухкомнатную на шестом этаже соседнего дома. 12 ноября 1980 года из этой квартиры дети и друзья проводили нас на аэродром.

* * *

Дом номер шесть по улице Горького — бывшее Савинское подворье, монастырская гостиница, пристанище богатых богомольцев и приезжих монахов. Сводчатый подъезд, узорчатая кладка цветных кирпичных плиток, башенки на крыше. Сводчатые окна в псевдорусском стиле.

Дом стоит между проездом Художественного театра и Столешниковым переулком. Напротив, наискось — Центральный телеграф, направо — Московский Совет. За десять минут неспешным шагом можно дойти до Консерватории, до памятника Пушкину, до Красной площади.

Раньше улица Горького называлась Тверской, была дорогой от столицы к столице, от Кремля через Тверь в

Петербург. В 1937—1938 годах улицу расширяли, выпрямляли, и наш нарядный дом задвинули во двор. Несколько месяцев передвигали по особым рельсам на новый фундамент, заслонили восьмизэтажным.

За тяжелой входной дверью — плавные барочно изогнутые лестницы, светлые колонны, просторные этажные площадки.

Наша квартира номер 201 — на верхнем, четвертом этаже, но потолки везде такие высокие, что наши окна были почти на уровне шестого этажа нового дома, — там в квартире номер 89 жили Чуковские.

Наша входная дверь вела в прихожую, за ней — второй, выгороженный коридор, полутемный, с окном на лестницу. За большим платяным шкафом — закут. Там дольше всех жила наша младшая дочь Маша. Прямо — дверь в самую большую комнату — столовую. Приоконная часть столовой была выгорожена как светелка для мамы Р. Налево — узкий коленчатый коридор, где стояло ее зубоорубное кресло, а в нишах были книжные полки. От этого коридора — две двери в комнаты. В первой жили мы, во второй — старшая дочь Светлана с мужем и сыном Леней.

Дальше — крохотные сени, за ними — уборная и кухня, там же ванная — с дверью на черный ход, которой после войны уже не пользовались.

Л. Р. родилась в этой квартире. Я пришел в нее 6 августа 1941 года по пути к вокзалу, направляясь на фронт. Накануне родители Р. с ее сестрой и братом и с маленькой Светкой уехали в эвакуацию. Р. была на работе. Мы с ее мужем Леней выпили водки. Мы твердо верили в победу, не очень надеялись, что сами останемся живы. Он проводил меня на вокзал. Я уехал на фронт, а он в свой полк авиации дальнего действия. Он погиб 30 августа 1942 года.

После войны, после тюрьмы я приходил в этот дом еще несколько раз до того, как стал там жить. И за последние десять лет сохранились впечатления, испытанные в первые дни.

Бывало, пытался представить себе людей, шагавших по этим истертым ступеням, тех, кто жил в этих стенах... И маленькую Райку в пионерском галстуке.

Но дома мы проводили немного времени.

Ежедневно происходили события, в которых нужно было если не участвовать, то хотя бы их наблюдать: новые спектакли, просмотры фильмов, выставки художников и скульпторов, обсуждения книг, дискуссии, споры; приезды иногородних и зарубежных гостей...

У каждого из нас было свое «приданое» дружб. Сообща мы приобретали новые.

В годы оттепели мы были очень деятельны. Мы писали вдвоем и порознь статьи для журналов «Иностранная литература», «Новый мир», «Москва», для «Литературной газеты», «Московской правды», «Московского комсомольца». Мы читали лекции по путевкам Союза писателей, Всероссийского театрального общества и общества «Знание» в университетах, институтах, библиотеках, театрах в Ленинграде, Красноярске, Новосибирске, Саратове, Горьком, Тбилиси, Ереване, Львове, Харькове, Кишиневе, Ужгороде, Черновцах, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Владивостоке... В МГУ и в большие институты Москвы нас не приглашали, там распоряжались наши противники, но мы побывали едва ли не во всех московских библиотеках.

У нас обоих была постоянная работа. Р.— в редакции «Иностранной литературы»; Л. в Институте истории искусств писал работы по истории немецкоязычного театроведения, начал большую монографию «Гёте и театр».

На первой выставке работ Эрнста Неизвестного в 1957 году надо было защищать его от нападков реакционеров. Р. просили председательствовать на юбилейном вечере Назыма Хикмета (1962), Л. председательствовал на собрании секции прозы Союза писателей, выдвигавшей Александра Солженицына на Ленинскую премию 1963 года.

Мы верили, что мир, в котором мы живем, преобразуется. И все неудачи и поражения еще долго не могли ослабить нашу убежденность в том, что в конечном счете прогресс неотвратим.

В 1960 году мы поехали в Латвию по командировке общества «Знание». Там в некоторых районах вводились новые гражданские обряды, сопровождающие рождение ребенка, окончание школы, свадьбу, совершеннолетие, по-

хороны. Так власти надеялись ослабить влияние церкви и воспитать «нового человека».

В маленьких городах Валмиере, Талсы, Мерсраг мы встречали много людей, увлеченных этими новшествами. Но, празднуя новые обычаи, они пели старые песни, надевали старые наряды, уже, казалось, ставшие музейными экспонатами или театральным реквизитом. Так новые обряды укрепляли, утверждали национальную самобытность, еще недавно сурово подавляемую как «буржуазный национализм».

Но в те же дни мы узнали, что Хрущев запретил праздновать Янов день — самый большой латышский праздник, в народе его называют Лиго — то есть радость, веселие.

Угодливые местные власти стали искоренять любые упоминания о Яновом дне, хотя ими наполнены фольклор и классическая литература. Переделывались даже школьные учебники и словари, из латышского языка приказано было изъять такие словосочетания, как «Янов сыр», «Янов месяц», «Янов жук».

Вернувшись в Москву, мы опубликовали статью в журнале «Наука и религия» и отдельную брошюру, где рассказывали о творческом опыте латышских просветителей и возражали против запрета Лиго.

Наши публикации вызвали окрик из ЦК, Суслов распорядился «призвать к порядку» редакторов и осудить идеологическую ошибку. Между тем из Риги приходили все более тревожные известия о расправах со всеми, кто противился запрещению Лиго.

Эвальд Сокол, директор Рижского института языка и литературы, бывший латышский стрелок, участник гражданской войны, потом ученый-филолог, лингвист и долгие годы узник сталинских лагерей, реабилитированный в 1956 году, был одним из тех, кто наиболее настойчиво возражал против запрещения Лиго. Прочитав нашу статью, он приехал в Москву, и мы вместе написали проект обращения в ЦК, доказывая, что запрет народного праздника и произвол цензуры противоречат советской конституции, принципам марксистско-ленинской национальной политики, традициям и воле латышского народа.

Это было задумано как совместное прошение латышских и московских интеллигентов. Его подписали больше тридцати человек. Нам пришлось настойчиво уговаривать И. Эренбурга, его подпись была тем более необходима, что он был депутатом Верховного Совета от латвийского города Даугавпилс. Он сперва не соглашался: «Не знаю мо-

тивов запрещения... возможно, этот праздник используют латышские националисты. Ведь там еще очень сильны анти-советские, антисемитские, антирусские настроения». К тому же он был недоволен, что среди подписавших много неизвестных имен. Но в конце концов он все же подписал, смягчив некоторые обороты.

Письмо было передано в приемную Кремля. Ответа никто не получил. А в «Известиях» появился фельетон, в котором высмеивались некие почтенные, но наивные ученые и литераторы, подписывающие письма, защищая неприкосновенность отсталых, мракобесных обычаев. Эвальда Сокола исключили из партии и выгнали с работы. Его восстановили незадолго до его смерти в 1965 году.

Запрет Лиго был фактически отменен тогда же. И редактор журнала «Дружба народов» срочно заказал мне статью о латышском народном празднике. Я написал ее вместе с нашей рижской приятельницей Дзидрой Калнынь (№ 27. 1965).

Это мы восприняли как успех всех прошлых усилий, как ответ на первое коллективное письмо, задержавшийся на пять лет.

Значит, все же можно, хоть и не сразу, добиться справедливости, можно воздействовать на власти словом...

Р. Мы начали защищать Лиго совершенно случайно. Только потому, что мы в то время оказались в Латвии. Но продолжали уже по внутренней необходимости, смысл которой с течением лет осознавался все глубже. Мы хотели улучшить жизнь в нашей стране. Латвию мы тогда воспринимали как неотделимую часть. И мы были убеждены, что никакие улучшения, никакие усовершенствования, никакие исправления несправедливостей невозможны без вмешательства государства, потому и все последующие письма и петиции обращали к Верховному Совету, к Центральному Комитету.

Мы тогда не отделяли себя от державы. А между тем наша коллективная самодеятельность уже сама по себе противоречила скрытым, но самым важным основам советского строя.

Собирая подписи против запрещения Лиго в 1961 году или ходатайствуя за отмену приговора Иосифу Бродскому в 1964—1965 гг., мы не подозревали, что вступаем на новый путь.

В октябре 1961 года состоялся XXII съезд КПСС.

Хрущев, Микоян, Шелепин и другие говорили уже не об ошибках, а о преступлениях Сталина, говорили определеннее и резче, чем когда-либо раньше, и все речи были опубликованы в газетах.

Съезд принял решение: удалить гроб Сталина из мавзолея и воздвигнуть памятник жертвам сталинского террора. После съезда по всей стране разрушали монументы Сталину. Город Сталинград переименовали в Волгоград, переименовали и другие города, поселки, улицы, заводы, школы, названные его именем...

Гроб из мавзолея вынесли. Но памятника жертвам так и не поставили.

* * *

Л. В ноябре 1962 года в нашу литературу и в общественную жизнь пришел Иван Денисович.

С Александром Солженицыным я познакомился в декабре 1947 года. Мы оба были заключенными Марфинской спецтюрьмы, жили и работали вместе до июня 1950 года.

Эта тюрьма описана им в романе «В круге первом». О событиях тех лет я рассказал в третьей книге моих воспоминаний «Утоли моя печали...».

Вернувшись в Москву, я разыскал его адрес, — он был еще в ссылке в Казахстане. Мы переписывались. А летом 1956 года мы снова увиделись в Москве.

Из дневников Л.

24 июня... Мы с Митей на вокзале встречаем С. Он похудел. Бледный, нездоровый загар. Но те же пронзительные синие глаза. Еще растерян, не знает — что, куда? Тот же торопливый говор.

25 июня... С. приехал к нам на дачу. Сумка рукописей. Вдвоем в лесу. Он по-детски радуется березам: «Там ведь степь, только голая степь. А это — русский лес».

Читает стихи — тоска заключенного о далекой любимой. Искренние, трогательные, но все же книжные; надсоновские и апухтинские интонации. Потом читает очень интересные пьесы. «Пир победителей» — мы в Восточной Пруссии, январь 1945 года. Пьеса в стихах. Шиллеризация? Здорово придумано: в старом прусском замке наши кладут зеркало вместо стола. Стихи складные, но коллизия надуманная. Идеализирует власовца: трагический герой.

Для С. сейчас главное — пьесы. «Я стал слышать, как

они говорят... Понимаешь? Они говорят, а я только записываю. Я их вижу и слышу». Вот это настоящее.

«Республика труда» *. Лагерный быт натуралистически точен. Отлично разработаны детали постановки. Он и драматург и режиссер. Лирический герой — «Рокоссовский!» — удачный автопортрет, правда, романтизированный, сентиментализированный. Омерзителен бухгалтер-еврей. Никаких замечаний он не принимает: «Это с натуры, он точь-в-точь такой был».

Третья пьеса «Декабристы» — дискуссии в тюремной камере. Майор Яков Зак с моей биографией. И разглагольствует вроде как я на шарашке, только высокопарнее и глупее. Я всего до конца и не услышал, заснул где-то после половины. Он обиделся. Потом не стал дочитывать.

В 1956—1957 гг. он был учителем в поселке Торфопродукт. Мы переписывались. Я ходил в приемную Верховного суда узнавать, когда, наконец, оформят его реабилитацию. Изредка он приезжал.

Из дневников Л.

1957 г. Письмо от С. Его Наташа вернулась к нему. Как говорит мама: «Снова дома, все забыто». Может, к лучшему? Он попросил сжечь все его письма из Кок-Терека и Торфопродукта. Сжег.

17 января. 58 г. Вернулся из Рязани. Поездка с бригадой Госэстрады. «Коварство и любовь», «Разбойники». Мое вступительное слово. На вокзале встречал С. Все еще худой и словно бледнее. Долгополое пальто, как шинель. Решили: буду ночевать у него, читать.

Вечером клуб на окраине. Большой, нескладный, холодный. Огромная толпа. Никому нет дела до Шиллера, еще меньше — до меня. Ждут танцев. Чтобы перекричать шум, разговоры, смех, перебранки, вступительное слово ору. Потом Франц Моор прерывает объяснение в любви, выходит на авансцену — орать на зрителей. Смеются, ненадолго утихают. Ночью, утром, днем читал «Шарашку».

Митя твердил взахлеб: «Гениально, лучше Толстого, все точно, как было, и гениальная художественность». Митя, как всегда, фантастически преувеличивает. О шарашке — добротная, хорошая проза. Но все наши споры опять, как в «Декабристах», преображены на свой лад. Мой «протаго-

* «Олень и шалашовка».

нист» глупее, равнодушнее, а «сам», и «Митя», и «синтетические» персонажи — их единомышленники — умнее, благороднее. Страницы про волю, про красивую жизнь сановников — карикатура на Симонова, посредственная, а то и плохая беллетристика, скорее боборыкинская. Когда говорю об этом, Наташа злится больше, чем он. Она играет Шопена. Сноровисто, но холодно-рационалистично.

До этого еще раньше я читал рукопись, именно рукопись, не перепечатанную на машинке, «Не стоит село без праведника» *.

Рукопись была иллюстрирована снимками, которые он делал сам: Матрена, ее шурин, изба и др. Мне показалось хорошим «физиологическим очерком» в традициях народных, Глеба Успенского...

Пытался доказывать ему, что слишком много нарочитых слов и словечек, взятых не из настоящей народной жизни, а из Даля, из книжек о фольклоре.

Он отругивался.

Мы в то время резко спорили о книгах. Ему не нравились Хемингуэй, Паустовский, он не стал читать «Доктора Живаго». Проглядев несколько страниц: «Отвратительный язык, все придумано». А Бабеля даже открывать не захотел: «Достаточно тех цитат, что я прочитал в рецензии. Это не русский язык, а одесский жаргон».

Однако так же, как некогда на шарашке, и самые горячие перебранки, и непримиримые разногласия из-за книг не нарушали добрых личных отношений.

Из дневников Р.

Май 61 г. С. принес рукопись. На плохой бумаге, через один интервал, почти без полей. Заголовок «Щ-854» (арестантский номер).

Сперва не хотел никому, кроме Л., показывать. Разрешил мне. Первую страницу преодолевала, а дальше и не знаю, что было вокруг, не подняла головы, пока не кончила. Ни минуты сомнения: такой барак, такая миска, такой лагерь. Я этого не испытала, не знала об этом, не хотела знать. Потому — острое чувство вины.

Л. говорит: «Все правда».

Составили список — еще 6 человек.

О. сказал: «Это гениально!»

* Рассказ «Матренин двор».

Летом 61-го года мы все же осторожно вышли за пределы списка. Несколько самых близких друзей прочли у нас дома.

Газеты с речами на XXII съезде мы читали в Гаграх на пляже. Вернулись в Москву уверенные: теперь уж развитие не остановить никому.

Из дневников Р.

8 ноября 1961 г. В дни праздников С. пришел возбужденный. Он внимательно читал газеты о съезде, речь Твардовского.

Мы твердим: теперь надо, чтобы Твардовский прочитал «Щ». Обсуждаем, как сделать. Перебираем знакомых новомирцев. Решаем: через Асю* и отнесу я, у Л. слишком дурная репутация.

10 ноября... Отнесла. Сказала про автора: «Наш друг, лагерник». Ася: «После съезда идет поток лагерных рукописей, боюсь, что не напечатаем ничего». Но обещала сама прочитать и дать только лично А. Т.

Л. Ни мы, ни кто-либо из прочитавших не надеялись, что это будет напечатано. Расчет был — Твардовский не может остаться равнодушным. Автору «Василия Теркина» должен быть понятен, даже близок Иван Денисович Шухов. И он уж постарается помочь его автору.

Кроме того, мы были почти уверены, что рукопись, пролежав некоторое время в редакции, естественно, проникнет в самиздат.

В тот день, когда Ася должна была передать рукопись «Самому», я пришел в редакцию. Она сказала: «Я не могу давать анонимную рукопись. Это прекрасная вещь, автору незачем скрываться». Но я твердо обещал хранить имя в тайне.

— Напиши какой-нибудь псевдоним.

И я написал: «А. Рязанский».

К Твардовскому я шел, чтобы сказать про «Щ» и про «Тарусские страницы». Он был прохладно-снисходителен, вежлив. Я начал с трудного.

«Тарусские страницы» — сборник, составленный К. Паустовским и Н. Оттенем, изданный в Калуге, включал прозу Цветаевой («Детство в Тарусе»), первую повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!», многие рассказы, стихи, эссе. Тираж — 75 тысяч — был отпечатан, три

* Анна Самойловна Берзер.

тысячи ушли за границу, Арагон уже написал одобрительную рецензию. Но бдительные цензоры обнаружили крамолу. Распорядились — уничтожить тираж. Издательство стало возражать.

Паустовский был не в ладах с Твардовским, и потому Н. Оттен попросил меня посредничать.

Но едва я начал говорить, Твардовский меня прервал: — Знаю, читал. Дешевая провинциальная фронда. Паустовскому захотелось свою «Литературную Москву» устроить. Не буду в это дело вмешиваться! Глупая, ненужная затея. Да-да, есть там и хорошие вещи. Цветаеву мы бы и в «Новом мире» напечатали.

Я пытался доказывать, что уничтожить тираж — это возрождение сталинских методов, что была предварительная подписка и издательство уже получило деньги от подписчиков. Сказал, что его речь на съезде, так нас всех обрадовавшая, и побудила обратиться именно к нему.

Он едва слушал, нетерпеливо барабанил пальцами по столу и, почти не варьируя, повторял: «Провинциальное фрондерство поддерживать не буду. В этих играх Паустовского не участвую».

Неприятный разговор нужно было поскорее закончить. Я ушел огорченный и злился на Твардовского: все-таки сановник, барин и уже поэтому консерватор, фронду не любит. Но злился и на себя: лопотал беспомощно, просительски, не нашел настоящих аргументов. Хорошо еще, что не заговорил о рукописи С.

А на следующее утро — телефонный звонок. Голос Твардовского:

— Анна Самойловна сказала, что это вы принесли повесть лагерника. Что же вы со мной о всяком говне говорили и ни слова о ней не сказали? Я читал всю ночь.

— Разговор у нас получился такой неприятный, что я боялся напортить.

— Такой вещи нельзя напортить. Ведь это же как «Записки из мертвого дома». Кто автор?

Нарушив обещание хранить тайну, я рассказал об авторе.

Твардовский решил публиковать. Он действовал мудро и хитро: собрал отзывы самых именитых писателей. Корней Чуковский назвал повесть «литературным чудом». Маршак писал, что «мы никогда себе не простим, если не добьемся публикации». Федин и Эренбург считали необходимым печатать.

Твардовский написал введение. Он был знаком с помощником Хрущева Лебедевым, заразил и его своей влюбленностью. И тот выбрал самую благоприятную минуту, чтобы дать Хрущеву рукопись и все отзывы.

По решению Политбюро повесть «Один день Ивана Денисовича» была опубликована в ноябрьской книжке журнала «Новый мир» за 1962 год.

Но событием она стала еще до публикации. Несмотря на все предосторожности Твардовского, самиздат его опередил.

Виктор Некрасов рассказывает о первой встрече с «Иваном Денисовичем»:

«Сияющий, помолодевший, почти обезумевший от радости и счастья, переполненный до краев явился вдруг к друзьям, у которых я в тот момент находился, сам Твардовский. В руках папка. «Такого вы еще не читали! Никогда! Ручаюсь, голову на отсечение!» И тут же приказ. Мне. «Одна нога здесь, другая — там. Ты все же капитан, а у меня два просвета. В гастроном!»

Никогда, ни раньше, ни потом, не видел я таким Твардовского. Лет на двадцать помолодел. На месте усидеть не может. Из угла в угол. Глаза сияют. Весь сияет, точно лучи от него идут.

«Принес? Раз-два посуду! За рождение нового писателя! Настоящего, большого! Такого еще не было! Родился наконец! Поехали!»

Он говорил, говорил, не мог остановиться... «Господи, если бы вы знали, как я вам завидую. Вы еще не читали, у вас все впереди... А я... Принес домой две рукописи — Анна Самойловна принесла мне их перед самым отходом, положила на стол. «Про что?» — спрашиваю. «А вы почитайте, — загадочно отвечает, — эта вот про крестьянина». Знает же хитрюга мою слабость. Вот и начал с этой, про крестьянина, на сон грядущий, думаю, страничек двадцать полистаю... И с первой же побежал на кухню чайник ставить. Понял — не засну же. Так и не заснул. Не дождусь утра, все на часы поглядываю, как алкоголик — открытия магазина, жду... Поведать, поведать друзьям! А время ползет, ползет, а меня распирает, не дождусь... Капитан, что ты рот разинул? Разливай! За этого самого «Щ»! «Щ-854»!

Никто из нас слова вставить не может. Дополнительный бег в гастроном.

«Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Все преодолеть, до самых верхов добраться, до Никиты... Доказать, убедить, к стене припереть. Говорят, убили русскую литературу. Черта с два! Вот она, в этой папке с завязочками. А он? Кто он? Никто еще не видел. Телеграмму уже послали. Ждем... Обласкаем, поможем, пробьем!»

А нужно было знать Твардовского. Человека отнюдь не восторженного. Критика была ему куда ближе, чем похвала. И критика, как правило, резкая, жесткая, иной раз даже незаслуженная. А тут сплошной захлеб, сияние с головы до ног...

Потом читали мы, передавая из рук в руки листочки. И уже без Твардовского говорили, говорили, перебивая друг друга, и тоже остановиться не могли. Я даже скрепку от рукописи похитил на память, как сувенир от Ивана Денисовича, и очень потом огорчился, что скрепка эта не авторская, а новомирская.

В декабре шестьдесят второго года привез «Ивана Денисовича» в Париж. Свеженький, еще пахнувший типографской краской «Новый мир», одиннадцатый номер. И тут же, бросив в гостинице чемодан, помчался к Симоне де Бовуар передать его ей, как мне было велено в Москве. А наутро, чудеса из чудес, покупаю «Пари-Матч», а там уже под сенсационными заголовками, в окружении колючей проволоки, отрывки из „Ивана Денисовича“.

«Иван Денисович» вызвал потрясение, не сравнимое ни с чем, испытанным раньше. Заколебались такие слои, показалось, даже устои, которых не затронули ни Дудинцев, ни «Доктор Живаго», ни все открытия самиздата. Весьма хвалебные рецензии опубликовали не только К. Симонов в «Известиях» и Г. Бакланов в «Литгазете», но и В. Ермилов в «Правде» и А. Дымшиц в «Литературе и жизни». Недавние твердокаменные сталинцы, бдительные проработчики тоже хвалили каторжанина, узника сталинских лагерей. Хотя они спешили оговариваться: мол, это все прошлое, дурные последствия культа личности, которые окончательно преодолены партией под руководством нашего Никиты Сергеевича, и теперь уже всё навсегда по-иному.

Бакланов закончил статью словами: «После этой новости нельзя писать по-старому».

Радостное, победное ощущение длилось еще долго. Кажалось, возникает небывалое единение всех, кто не хотел возврата сталинщины.

Писатели доставали рукописи, заметки, хранившиеся в тайниках. Лидия Корнеевна Чуковская готовила к печати «Софью Петровну» — повесть о людях в годы террора, написанную в 1939 году. Анна Ахматова впервые разрешила записать «Реквием»; эти стихи до того лишь десять ее ближайших друзей помнили наизусть.

Хрущев ставил Солженицына в пример всем остальным писателям. В январе шестьдесят третьего года «Новый мир» опубликовал его рассказы «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» и в Союзе писателей его выдвинули на Ленинскую премию 63-го года.

Многие считали «Один день» не только самым значительным, но и единственным проявлением духовного ВОЗРОЖДЕНИЯ. Мы так никогда не думали, полагали, что это не одинокая пирамида в пустыне, а вершина хребта. Мы радовались его славе, помогали ее распространению. Однако это было только одно из многих дел, казавшихся нам важными, срочными, неотложными.

И рукопись «Щ-854» была не единственной нашей заботой. Были еще «Тарусские страницы», «Софья Петровна», рассказы Варлама Шаламова, «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург и «Первая книга» Надежды Мандельштам, «Мои показания» Анатолия Марченко и книга Белинкова об Олеше и другие рукописи, которые мы старались «пробивать» в редакциях и распространять в самиздате.

После истории с «Иваном Денисовичем» к нам обращались многие знакомые и вовсе незнакомые литераторы, веря, что у нас «счастливая рука»...

* * *

Л. 30 ноября 1962 года во Всероссийском театральном обществе открылась конференция на тему: «Традиции и новаторство». В ней участвовали режиссеры, художники, актеры, музыканты, искусствоведы, сотрудники Института истории искусств.

Председатель Союза художников Серов, самодовольный, раболепный царедворец, ругнув культ, сразу же с привычной яростью набросился на формалистов-абстракционистов, которых, мол, «содержат империалисты». Я с места возразил ему, напомнил о гитлеровских расправах с модернистами. Он в ответ заявил, что не ожидал в этой аудитории услышать врагов советского искусства; и тогда многие уже заорали, затопали так, что ему пришлось уйти с трибуны.

Кинорежиссер Михаил Ромм рассказал, как уродовали искусство при Сталине, гневно и презрительно обличал редакторов, цензоров, критиков и все еще наделенных властью литературных сановников — Софронова, Грибачева; его дружно, шумно одобряли.

Он призывал «дать по рукам этим бандитам»*.

Однако меня огорчило, что Ромм ни слова не сказал о том, что он сам своими фильмами «Ленин в октябре», «Ленин в восемнадцатом году» сделал для утверждения сталинского культа и даже для оправдания террора больше, чем многие другие, не такие талантливые, как он.

На второй день конференции говорил я, говорил сердито о погромном антимодаернизме Серова. Но сказал, что не согласен с призывом «Дать по рукам!».

Такие призывы — сталинский способ борьбы против сталинизма.

Из стенограммы:

«В «Правде» опубликовано стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина». Могу применить к нему слова Владимира Ильича, сказанные по другому поводу: «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики совершенно правильно». Наследники Сталина сегодня еще весьма вредны и опасны, и тогда, когда участвуют в борьбе против культа личности, когда применяются сталинские методы в преодолении сталинского наследства. В кинофильме «Майн кампф», дублированном у нас, ни разу не было произнесено слово «Сталинград», когда речь шла о Сталинградской битве. В книге о Пабло Неруде редактор потребовал убрать упоминание о стихотворении „Песнь любви к Сталинграду“».

В тот самый день, когда мы в клубе ВТО так привольно дискутировали и мой заключительный призыв «запретить все запреты!» вызвал аплодисменты и сочувственные возгласы не только в зале, но и в президиуме, Хрущев, сопровождаемый Серовым, которого мы накануне освистали, расхаживал по манежу, осматривая выставку Союза художников; перед некоторыми картинами орал, ругал «педерасов-абстракционистов».

Р. Хрущеву тогда бесстрашно возражал Эрнст Неизвестный. А семнадцатого декабря, на встрече руководителей

* Речь Ромма потом распространялась в самиздате.

партии и правительства с творческой интеллигенцией, Хрущев еще злее, ругательски ругал искусство, «непонятное и ненужное народу». Однако ему возражали И. Эренбург, С. Щипачев, Е. Евтушенко.

Один московский литератор сказал тогда: «Впервые после пушкинской речи Блока в 1921 году писатели противостояли правителям. Это и впрямь начало новой эпохи».

В тот же вечер в клубе ВТО праздновали 65-летие критика И. Юзовского. В 1949 году его ошельмовали, прокляли как «безродного космополита». Несколько лет он был лишен работы, одно время ждал ареста.

А 17 декабря 1962 года Юзовского чествовали делегации всех московских и ленинградских театров. Прославленные артисты читали отрывки из его статей. Сам юбиляр с уважением и признательностью говорил о своем учителе Мейерхольде, — реабилитация Мейерхольда только началась.

Веселый концерт продолжался за полночь.

В этот вечер сталинцы казались окончательно поверженными, с ними не надо было бороться, достаточно было над ними смеяться.

Л. Несколько дней спустя член парткома Юрий Корольков на партийном собрании в Союзе писателей требовал наказывать соучастников сталинских преступлений. Он прочитал заявления, которые Лесючевский, директор издательства «Советский писатель», писал в НКВД в 1937—1938 гг., доказывая, что поэты Борис Корнилов и Николай Заболоцкий — враги советской власти. Корнилов погиб в заключении, Заболоцкий провел много лет в лагере на Магадане, а потом в ссылке.

Корольков требовал привлечь «доносчика к строгой партийной и гражданской ответственности».

Лесючевский отвечал ему бледный, судорожно-нервически-напряженный. Он говорил, что это были не доносы, а «критические экспертизы», которые у него потребовали уже после ареста обоих поэтов.

«Вы посмотрите газеты тех лет, многие критики, в том числе и сидящие здесь, писали об этих и других литераторах куда хуже, куда резче, еще до того, как те были арестованы».

Сергей Михалков говорил в обычном для него свойски-шутовском стиле, славил «нашего Никиту Сергеевича», так геройски преодолевавшего культ личности, а про себя

сказал, что, конечно, он жил в то время, тоже увлекался, но себя ответственным за культ личности не считает. «Все мы тогда были так воспитаны».

После него говорил я:

«Вы не считаете себя ответственным за культ, потому что всех нас так воспитывали».

В пьесе Шварца «Дракон» есть такой эпизод: Генрих, сын бургомистра, холоп дракона и его преемника, говорит победившему рыцарю Ланселоту: «Я не виноват, меня так учили». А Ланселот возражает: «Всех учили, но почему ты, скотина этакая, был первым учеником...» Хотя я не был первым учеником, был даже арестован по политическому обвинению, но я не хочу прятаться за выгодную для себя неправду. Я сидел в тюрьме не потому, что сопротивлялся культу личности. Сталина я тогда безоговорочно верил и считаю, что в такой же степени, как первые ученики, несу ответственность за все, что было при Сталине, отвечаю и за то, как мы сегодня с этим дурным прошлым будем разделываться».

Мне очень хлопали, в том числе и Михалков.

Р. Ощущение победы было тогда и вокруг нас, и в нас самих. Мы понимали, что предстоит еще много трудного, но успехи нам казались необратимыми.

В 1957 году «Литературную Москву» прорабатывали за публикацию стихов Марины Цветаевой с предисловием Эренбурга. В шестьдесят первом году мы в Гаграх слышали, как за соседним столом в Доме творчества два крупных литературных сановника ворчали: «Мы здесь отдыхаем, а они там издали Пастернака и Цветаеву».

Тоненький сборник Цветаевой продавался сначала только делегатам партийного съезда.

26 декабря 62-го года в большом зале ЦДЛ — вечер памяти Марины Цветаевой.

Артисты и поэты читали ее стихи и стихи, ей посвященные. Это было продолжением наших праздников — торжество новой свободы.

В перерыве к нам подошла Юнна Мориц: «Только что закончилось в Колонном зале собрание молодой творческой интеллигенции. Докладчиком был Ильичев *. Он сказал, что литературовед Копелев заступает за абстракционистов:

* Ильичев — председатель Идеологической комиссии ЦК.

«Пусть, мол, малюют». Он вас осуждал. А я хочу пожать вам руку. Поздравляю!»

Раньше нас ругали заурядные критики, а теперь обругал сам Ильичев. Это было даже лестно, но меня все же испугало.

Л. В марте состоялись две встречи Политбюро с писателями и художниками. Хрущев распоясался, кричал, прерывая Аксенова, Вознесенского, Мальцева.

Сталинцы, или «черные», как мы их называли, одержали победу. Хрущева убедили, что московское отделение Союза писателей — это потенциальный «кружок Петёфи».

Секретарь партийной организации Института истории искусств сказал мне: «Райком требует, чтобы ты объяснил свое отношение к партийной критике».

Партийное собрание шло необычайно вяло, уныло. Но я в тот день устал и, сидя в дальнем углу комнаты, уснул. Меня толкнул сосед, сунул мне записку от председательствовавшего приятеля: «Не спи, сволочь, о тебе же говорят!»

Каяться я не стал. Решения обо мне не принимали, в протокол занесли, что я должен подумать и дать письменные разъяснения.

Друзья уговаривали, что я должен написать вежливо, скромно, без полемики — нужна ведь простая отписка для райкома, никто этого всерьез не принимает. А если я буду продолжать упорствовать, то подведу всех товарищей, подведу Институт.

Текст заявления обсуждался вдвоем, втроем, спорили, едва не ссорились, иногда из-за одного слова.

Я не стал признавать своих «ошибок», а написал, что, видимо, неточно выразился и этим самым вызвал критику председателя Идеологической комиссии (секретарь парткома вставил ритуальное определение «справедливую»).

Это была моя последняя уступка требованиям партийной дисциплины.

Р. Мы потом много раз спрашивали себя: когда именно началось наше отдаление и отделение от партии, в которой мы всё еще состояли? Была ли у нас такая определенная «развилка пути», когда еще можно было выбирать («налево пойдешь — коня потеряешь...»), а мы выбрали такой путь, с которого потом уже не могли свернуть?

Нам были отвратительны негодяи, захватившие руководство в Союзе писателей. Наше сочувствие вызывали те, кого прорабатывали, кого травили. И тогда, и позднее меня не раз охватывало отчаяние. А не уйти ли прочь от всего этого, не уехать ли из Москвы куда-нибудь в маленький город, преподавать в школе, в педагогическом институте?

В те годы мы много ездили по разным городам с лекциями по путевкам Союза писателей и общества «Знание». Мы рассказывали о русских изданиях зарубежных писателей и особо об американской, немецкой литературах. Мы везде встречали людей, близких нам по взглядам, по отношению к жизни, к искусству.

Иногда нам казалось, что в других краях, подальше от центра, в Грузии, в Новосибирске, в Таллинне, можно свободнее дышать, свободнее работать.

Но мы не уехали из Москвы ни в шестьдесят третьем году, ни позже, хотя продолжали обсуждать такую возможность. Нам доказывали, что в любом другом месте, вдали от родных, от друзей нам будет хуже и КГБ скорее достанет нас. И тогда уж совсем худо пришлось бы нашим ученикам, нашим тамошним приятелям, на них обрушились бы первые удары местных властей, а мы не могли бы их защитить.

...Но и сегодня мне жаль, что мечта о маленьком городе не осуществилась...

Как быть с молодыми — от этой проблемы нам было не уйти и в Москве.

Один из наших приятелей в 1955 году ужаснулся тому, что рукопись поэмы Твардовского «Теркин на том свете» Л. читал при дочерях; старшей едва исполнилось восемнадцать лет... «Ты калечишь их души... Ты не понимаешь, на что ты их обрекаешь... они станут циничными нигилистками либо злостными антисоветчицами».

Поэт Наум Коржавин, вернувшийся из ссылки, писал:

Пусть рвутся связи, меркнет свет,
Но подрастают в семьях дети.
Есть в мире Бог иль Бога нет,
А им придется жить на свете...

«Говорить или не говорить детям правду, скрываться от них в собственном доме или открыто обсуждать все в их присутствии — было гамлетовским вопросом для родителей

в наше время и в нашем кругу, — вспоминает Борис Шрагин. — Я выбрал второе».

Мы поступили так же.

Молодые приходили к нам и спрашивали: что мы думаем о докладе Хрущева? Что мы знали раньше? Как мы могли жить?

Именно их вопросы побудили каждого из нас начать записывать свои воспоминания. Мы хотели сами разобраться, пытались рассказать о наших жизнях, о судьбах нашего поколения.

Записки, которые мы двадцать лет спустя стали публиковать, тогда предназначались только для наших детей и их ближайших друзей.

В начале 60-х годов подруга нашей дочери, которую мы знали с детства, привела нескольких сокурсников.

«Расскажите нам, почему вы верили Сталину, во что вы верите сейчас?»

Им нужны были наши ответы, разговоры с нами, чтобы решать свои жизненные проблемы.

И они не только спрашивали, они возражали, спорили, требовали дополнительных объяснений.

Один из них, ершистый, напористый, вскоре после первых встреч с нами подал заявление в партию. На собрании член парткома задал ему обычный вопрос: «Зачем вы вступаете в партию?» — «Для того, чтобы бороться с такими бюрократами, как вы». Его, разумеется, не приняли и после окончания института его послали на работу в далекие северо-восточные края.

Изредка он писал нам. А несколько лет спустя пришел к нам и рассказал, что ему удалось получить туристскую путевку на Кубу и он хочет там удрать из группы, пробиться в Боливию к Че Геваре. Он читал о Че, убедился, что это настоящий революционер, чистый коммунист. Нам пришлось долго и настойчиво отговаривать его, пока он отказался от этой затеи.

...После каждого шумного собрания в Союзе писателей, после речей Хрущева, после первых рассказов Солженицына к нам приходили юноши и девушки и спрашивали.

И после каждой лекции, будь то о Ремарке, Бёлле или Хемингуэе, нам задавали вопросы не только о зарубежной литературе.

Как жить, если Сталин, на которого молились, оказался преступником? Кому верить? Почему в газетах ругают Евтушенко, ведь он пишет такие хорошие стихи? Как

можно было допустить концлагеря в социалистической стране?

Вопросов становилось всё больше, отвечать на них было всё труднее.

Л. После хрущевских разносов, после явного торжества сталинцев в Союзе писателей, после того, что кое-кто из «прогрессистов» испугался и покаялся, разгром литературы все же не состоялся.

Произведения изруганных авторов продолжали печатать. Твардовский в «Новом мире» гнул свою линию, публиковал очерки Е. Дороша, повесть С. Залыгина «На Иртыше», в которой впервые так правдиво изображено раскулачивание, новые произведения талантливых, честных писателей Грековой, Владимова, Войновича, Можаяева, Семина...

Нам продолжали заказывать статьи, заключали договоры на книги.

22 ноября 1963 года в газете «Известия» появилась статья «Встречи с Дон-Кихотом» *, весьма доброжелательно говорилось о «наших донкихотах», были названы мои друзья, заступавшиеся за меня в 1945—1948 годах.

* * *

В начале 1964 года нам двоим разрешили поехать в ГДР по приглашению друзей.

Р. Для Л. эта поездка была чрезвычайным событием. Германия очень много значила в его жизни. Гете и Шиллер пришли к нему в детстве, вслед за Пушкиным и Некрасовым. За месяц до начала войны он защитил диссертацию о драмах Шиллера. Четыре года с 1941-го до 1945-го на фронте убеждал немецких солдат, чтобы они сдавались в плен, учил военнопленных и перебежчиков, воспитывал из них антифашистов, даже стихи писал по-немецки. А за месяц до победы был арестован на немецкой земле за то, что «проповедовал жалость к противнику».

Это о таких, как он, писал Давид Самойлов:

* 3 февраля 1980 года газета «Советская Россия» опубликовала пасквиль «Иуда в маске Дон-Кихота», где Л. называется отщепенцем, состоящим на службе у империалистов, а наша квартира «вражеским гнездом...».

Я обращаюсь к тем ребятам,
Кто в сорок первом шли в солдаты,
А в гуманисты в сорок пятом...

18 февраля в Берлине нас встречали друзья Л.: Дитер Вильмс, бывший лейтенант Люфтваффе, ставший зам. директора туристского общества ГДР, Гюнтер Кляйн, бывший радист бомбардировщика «Юнкерс», а теперь редактор берлинского телевидения, и председатель берлинского Союза писателей Пауль Винс.

Мать Пауля была еврейкой, он мальчишкой бежал из Германии, бродил по Франции, по Швейцарии. Нацисты настигли его в Австрии. В концлагере он подружился с советскими военнопленными, выучил русский язык, русские стихи и песни.

После войны он писал стихи, очерки, сценарии, переводил французских, русских, сербских поэтов. В 1961 году он опубликовал в «Зоннтаге» очерк о Гюнтере Кляйне.

Осенью 1941 года раненый Гюнтер оказался в госпитале в одной палате с советским офицером Копелевым, который рассказывал ему о марксизме и держал с ним пари, — мы еще вместе будем сражаться против Гитлера.

Так, благодаря Паулю, двадцать лет спустя Гюнтер и Лев нашли друг друга.

Мне ехать в Германию не хотелось. Языка я не знала. И я думала, что еду в чужую страну лишь как спутница своего мужа.

Из дневника Р.

23 февраля. Воскресенье. Из гостиницы идем по Фридрихштрассе до Унтер-ден-Линден. Пустые улицы, магазины закрыты. В этой части города не живут. Здесь только учреждения. В первые часы пустота рождает щемящее чувство. Снова и снова разрушенные здания. Это теперь, девятнадцать лет после войны, в центре города — развалины, пустыри и скверы на пустырях. Идем мимо умерших домов, Бранденбургские ворота...

Высокая редкая сетка, как у теннисных кортов. За стеной бегают овчарки и волкодавы. Дальше стена.

По ту сторону — Западный Берлин. Видны дома, рекламные. Расколотая земля, расколотое небо. Перед отъездом читала этот роман Кристи Вольф. Сильнее всего — ощущение безысходности. И стыда. Сделать нельзя ничего...

Вечером в «Берлинер ансамбль» — Брехт, «Дни Коммуны». 1871 год, один парижский дом, одна баррикада, одна пушка. Заседание Коммуны. Спор:

— Нужно ли прибегать к насилию? Допустимо ли обогреть руки кровью?

— Нельзя! Социализм побеждает идеями, словом, а не штыками!

— Нет, должно! Если мы не обогрим руки кровью, нам их отрубят!

Спорят. Потом голосуют. Большинство — против насилия. И те и другие — люди убежденные, честные. И те и другие озабочены одним — благом Коммуны, благом народа.

Враги-версальцы потом убивали и тех и других...

В 1967 году в театре «Современник» в Москве мы смотрели пьесу «Большевики». Осенью 1918 года соратники Ленина тоже спорили — допустим ли террор. Большинство проголосовало «за». Двадцать лет спустя и радикальных, и умеренных большевиков ленинской выучки уничтожали их преемники.

Для героев Брехта — все еще впереди: тысяча девятьсот семнадцатый год, и тридцать седьмой, и пятьдесят третий, и пятьдесят шестой.

Для зрителей, для актеров — это всё позади.

Но вот сегодня мы с таким волнением ждем — что же будет с Коммуной? Зная давно ответ, зная о конце, мы словно бы надеемся; никуда не уйдешь от этой нашей судьбы — от Коммуны до стены. Она здесь, в сотнях шагов, эта стена, ужаснувшая нас утром.

Шесть раз опускается и поднимается занавес, на шести языках «Viva la Commune!». Мечта о ней живет в этом городе, расколотом стеной. Если бы она умерла, актеры не могли бы так играть.

...На площади Брехта перед входом в театр — стадо машин, много автобусов из разных городов ГДР и ФРГ. После спектакля («Карьера Артуро Уи») в буфете театра — актеры и режиссеры вместе с Еленой Вайгель разговаривали с большой группой молодых людей из Западной Германии. Некоторые из них упрекали:

— Гитлер показан только смешным, только ничтожным, а ведь это было страшное чудовище.

Потом возник спор, возможен ли такой театр в Западной Германии или в Австрии. Елена Вайгель считала, что возможен, ей возражал Хильмар Татэ, молодой актер, который нам понравился уже в первый вечер. «В капиталистической стране «Берлинер ансамбль» невозможен. Не только потому, что этот театр создан гениальным художником, у вас там, конечно, есть таланты, но у вас нельзя собрать вместе людей, объединенных одним мировоззрением, одной верой, людей, точно осознающих значение и цель своего искусства».

Л. Летом 1983 года мы в Зальцбурге встретили Татэ, который уже жил на Западе. Я за двадцать лет не забыл, как он, молодой коммунар с винтовкой в руках, пел на прощениуме, по-брехтовски четко выпевая, произнося каждое слово:

Мы решили — нашу дурную жизнь
Считать страшнее смерти.

А с тех пор этот призыв коммунаров могли повторять те, кто бежал через стену, через минные поля под огнем пограничников ГДР.

Однако многое из того, что мы увидели, услышали, узнали тогда, в феврале 1964 года, укрепило убеждение: социализм все-таки можно построить. Гедезровский социализм потребует, может быть, меньше жертв и меньше лжи не потому, что они лучше, чем были наши отцы, чем мы, а потому, что наш опыт должен их все же чему-нибудь научить, и потому, что они на виду у всего мира. Ведь даже в 1949—1953 годах, когда нарастала новая волна кровавого сталинского террора, когда у нас расстреляли руководителей в Ленинграде, убили Михоэлса, расстреляли Переца Маркиша и многих еврейских писателей, арестовали и пытали врачей, когда в Венгрии повесили Райка, в Болгарии — Костова, в Чехословакии — Сланского, в это время в ГДР тоже арестовывали «изменников», но никого не казнили.

Впрочем, об их твердокаменных догматиках-сектантах мы еще раньше немало узнали. Отто Готше, старый коммунист, просидевший десять лет в гитлеровском лагере, бездарный писатель, литературный советник Ульбрихта, приехав в Москву на заседание ИМЛИ, сердито жаловался: «Мои книги у вас не читают, не популяризуют, а неофашисты Ремарк и Бёлль стали у вас бестселлерами. Где же ваше идеологическое воспитание?»

Над Готше смеялись даже его товарищи, но при этом жалели: «много страдал, лично очень честный человек» и побаивались: «фанатик, родного отца не пощадит»...

Из дневника Р.

29 февраля. ...Пьем кофе в клубе с редактором журнала «Зинн унд форм» Гирнусом. Он семь лет при Гитлере провел в тюрьме, два года в камере смертников. Там перечитывал собрание сочинений Гёте, несколько тысяч строк выучил наизусть. Гладкий, самоуверенный, спрашивает, но ответов не слушает. Сейчас недоволен реабилитацией Кафки, зло говорит об Эрнсте Фишере: «А ведь это Фишер, сегодняшний «либерал», написал пьесу о предателе Тито...»

Гирнус учился в Сорбонне. Хочет в своем журнале публиковать только серьезные статьи. Доверительно об их трудностях: «В Западном Берлине живут рабочие, те же немцы, в том же городе, после той же войны, а живут гораздо лучше, чем наши. Мне говорил там тридцатилетний шофер: «Может быть, у вас потом когда-нибудь тоже станет лучше, но ведь у меня только одна жизнь». Как такого убедить?»

Заговорили о Хемингуэе. «Я высоко ценю роман «По ком звонит колокол». И расправа с фалангистами написана прекрасно. Месть бывает и историческим возмездием. Если бы немецким антифашистам позволили в сорок пятом году расправиться с гитлеровцами, история Германии пошла бы по-другому. Чтобы расправились сами немцы, а не американцы с англичанами, не французы и — вы уж извините — не русские. У нас не было национальной революции. Все перемены принесли ваши штыки».

Л. Еще до поездки в ГДР я начал писать книгу о Брехте для издательства «Молодая гвардия». В Берлине мы посмотрели все брехтовские спектакли, я ходил и на репетиции: начали готовить «Кориолана»; днем каждый свободный час работал в архиве. Елена Вайгель разрешила мне читать все и делать любые выписки с одним условием: публикуй, но чтоб никаких ссылок на архив.

Расспрашиваем о Брехте Елену Вайгель, его друзей, подруг и сотрудников.

Пожалуй, больше всех помог Эрвин Штриттматер. Помог и понять и представить себе Брехта — художника и человека.

Впервые я услышал о Штриттматере на следующий день после того, как вернулся из тюрьмы. Один из друзей

принес его роман «Тинко» для внутренней рецензии. Это был мой первый заработок на воле.

Потом я читал все, что публиковал Штриттматер, переводил его роман «Чудодей», пьесу «Невеста голландца», написал о нем статью. Она была напечатана и по-немецки, понравилась ему, и мы стали переписываться. А когда он в 1961 году приехал в Москву, мы сразу же подружились.

Из дневника Л.

...Большелобый, с пронзительно синими лукавыми и грустно-веселыми глазами. Рыжая щеточка коротких усов, застенчиво-добрая улыбка. Чуть сутуловатый, плечистый, уверенные изящные движения сильного тела, — сразу видно, что много работал руками. Отличный, остроумный рассказчик.

Познакомились мы и с его красивой, умной женой Евой, которая позже стала очень популярной поэтессой.

У Эрвина в Веймаре — встреча с читателями, и он захватил нас из Берлина.

Р. говорила, что мы ехали не втроем, а вчетвером: с нами ехал и Брехт. Эрвин рассказывал, показывал, пел, подражая Брехту, а я расспрашивал и не уставал слушать.

Эрвин привез нас в гостиницу «Слон», о которой мы читали у Томаса Манна, — в ней останавливалась Лотта.

По комнатам дома Гёте мы проходили, как по страницам давно знакомых книг. Сколько раз мы в лекциях и беседах приводили слова Фауста: «В начале было Дело». Здесь они звучали по-новому. Мы были в доме гения, чье слово и вся жизнь были Делом, в доме великого сына того народа, который издревле, почти религиозно чтит труд. Это почитание во всем — и в общественном бытии, и в частном быту, в книгах, песнях и в сословной гордости потомственных ремесленников, крестьян, рабочих. С детства впитывается уважение к любой работе и презрение к безделью, недобросовестности. С этим сталкиваешься, едва ступишь на немецкую землю, и тогда по-новому понимаешь и чувствуешь мысль и поэзию Гёте — «В начале было Дело».

Вечером в «Клубе интеллигенции» — обсуждение романа Штриттматера «Оле Бинкоп». Докладчиком был профессор Хольцхауэр, директор Веймарского комплекса мемориалов немецкой классики, старый коммунист, в прошлом крупный функционер ЦК СЕПГ.

Он прямолинейно-наивен, едва ли не с гордостью сказал: «Мне Брехт прямо в глаза говорил: «Вы записной

дурак». А я тогда был председатель Идеологической комиссии ЦК. Никто, кроме Брехта, не мог позволить себе такой дерзости. Но он хитрюга, знал, как мы его ценили».

В речи, которой он открывал вечер, было много стандартных фраз о партийности, народности, соцреализме, но он азартно защищал роман — книгу о деревенском чудаче, создателе одного из первых сельскохозяйственных кооперативов, которого партийные чиновники затравили, довели до смерти. Вокруг романа бушуют страсти по всей ГДР. Многие осуждают книгу и автора за пессимизм и даже за «клевету».

После доклада Эрвин прочитал несколько страниц из романа, а потом ему задавали вопросы. Кто-то спросил:

— Почему твой герой умирает?

Эрвин:

— По-вашему, умирать — это нетипично?

...В последующие годы мы несколько раз встречались, подолгу бывали вместе с Евой и Эрвином в Москве, в Тбилиси, в Сухуми, в Ялте. Мы рассказывали им тогда обо всем, чем мы тогда жили, что писали. Случалось, и спорили, но не ссорились.

В 70-е годы наша судьба уводила нас все дальше от них. Однако доброе прошлое нашей дружбы для нас не прошло и никогда не пройдет...

* * *

5 марта. Встречались в Лейпциге с Генрихом Бёллем.

В Берлине мы пытались продолжать то посредничество, которое как-то само собой возникло в Москве, когда нашим гостям с Запада я рассказывал о литературной жизни ГДР, а гедезровским друзьям и приятелям говорил о Бёлле, Рихтере, Шаллюке и доказывал, что все они принадлежат к одной немецкой литературе. Нередко приходилось встречаться с предвзятостью с обеих сторон.

Винс рассказал нам, что ведутся переговоры о встрече с представителями «Группы 47», с руководителем группы Гансом Вернером Рихтером, который живет в Западном Берлине. «Но приходится быть очень осторожными, потому что и Рихтер, и его младший приятель Клаус Реллер — несомненно агенты, служат западным политическим силам, скорее всего, Вилли Брандту. Брандт умен, образован, был в Сопротивлении, но он — наш противник. И с ним нужно считаться. Рихтер и Реллер предлагают совместное вы-

ступление по радио. Это окончательно решат у нас наверху».

Ганс Кох, числившийся теоретиком Союза писателей, говорил с нами, ни разу не улыбнувшись, правильными, хорошо пригнанными, сложносочиненными фразами. Ему не по душе были наши похвалы и «Берлинер ансамблю», и роману Штриттматера, «это все явления очень сложные, имеются внутренние противоречия».

О переговорах с «Группой 47» сказал: «Они имеют чисто политическое значение. Литература везде служит политике, хотя некоторые считают такое утверждение догматизмом. Рихтер — агент Вилли Брандта. А сейчас мы с ним торгуемся. Они хотят только личных встреч даже на частных квартирах, а мы хотим вести официальные переговоры».

В следующие дни Пауль Винс уже прямо просил нас посредничать, так как Рихтер и Реллер хотят с нами встретиться. Пауль опять предостерегал: «Рихтер был до тридцать третьего года членом КП, но отошел, не захотел работать в подполье. Он не может стать нашим союзником. А Реллер опасен, распространяет и про тебя провокационные слухи, будто бы это ты в прошлом году наставлял Энценсбергера, что ему говорить, когда он ехал в Пицунду на встречу с Хрущевым».

Несколько дней спустя выяснилось, что «наверху» согласились пойти на компромисс: так как «Группа 47» официальной встречи не хочет, то Пауль Винс и Эрика Ланге, председатель иностранной комиссии, готовы встретиться у нас в номере, в гостинице.

Мы обедали с Рихтером и Реллером в клубе прессы и без особого труда уговорили их принять компромиссное решение.

Рихтер просил нас передать в Москве председателю СП Федину, что он уже несколько раз приглашал своего друга Константина Богатырева и просит помочь ему поехать в Берлин.

Кроме того, Рихтер просил нас объяснить руководителям нашего Союза, что «Группа 47» хочет приглашать на свои заседания только тех советских литераторов, которые им известны, которые знают немецкую литературу и немецкий язык. «Даже самым хорошим писателям, которые не знакомы с нашими книгами и не понимают по-немецки, у нас нечего делать, мы не проводим торжественных заседаний, мы работаем, читаем вслух, обсуждаем, спорим. Мы

ведь и немецких журналистов не пускаем. Мы приглашаем только участников, а не почетных гостей».

У нас в номере состоялись переговоры Рихтера и Винса о совместном выступлении по радио на тему: «Существует ли одна немецкая литература или две?»

* * *

Р. Анна Зегерс бывала у нас в Москве. Поражала тем, как легко с одного языка переходила на другой: начинала фразу по-русски, переключалась на французский, английский или немецкий.

25 февраля... В гостиницу приехал за нами муж Анны, вежливый, ласково-неторопливый. Третий этаж без лифта, уютные комнаты с беспорядочно разбросанными книгами и камином. Анна встречала приветливо. Уселись у столика, выпили по рюмочке и начали болтать, как на завалинке. Мы рассказывали московские новости, они — свои. Анна хотела, чтобы и я понимала, говорила больше по-французски.

Спор шел все о том же: нужно ли бояться правды, бывает ли несвоевременная правда, кто вправе решать, какую часть правды утаивать...

Она угощала нас бразильскими сладостями. «В прошлом году мы были в Бразилии. Жорж Амаду — мой старый друг, он меня любит, как родную сестру, и я его люблю. Он просто помешался на истории со Сталиным.

Там, в Бразилии, мы видели ритуальные пляски с шаманскими завываниями. Они исповедуют свои негритянские культы. Мне это неприятно. Но сталинизм — ведь тоже культ, тогда уж лучше такие.

А нужно ли было говорить правду на двадцать втором съезде?»

В конце этого разговора Анна сказала Л.: «Я с тобой не согласна, но я тебя люблю».

Анна и Роди — так она называет своего мужа, а он ее Чибби — вместе почти сорок лет; сколько всего у них за плечами, и так они нежны друг с другом, он то за руку возьмет, то голову погладит незаметно.

Анна: «Я хотела бы написать книгу о справедливости. Что это такое? С одной стороны — твоя история, а с другой стороны — история нашей уборщицы. Она из Восточной Пруссии, богатая крестьянка, жена эсэсовца. Ты ведь и таких тоже защищал...»

Через две недели, 7 марта, после поездки в Веймар, Лейпциг, Дрезден, Виттенберг, мы опять пришли к Анне. Она спрашивает о наших впечатлениях, слушает, перебивает.

И попутно — а у Анны самое важное всегда попутно:

— То, что я сейчас расскажу, ты не вздумай писать ни в какие мои биографии. Вы знаете, что такое малая родина, патриа чика? Она есть у каждого человека. Моя — на Рейне. А Германия разделенная. Многие настоящее немецкое — не у нас. «Патриа чика». Из-за нее человек и смеется, и плачет. Не могу же я плакать из-за того, что СССР покупает пшеницу в США, не могу смеяться над вашим лысым Никитой. У меня и слезы немецкие, и смех немецкий. Я здесь недавно пришла на одно важное заседание. Гардеробщик услышал мой говор, привел своего напарника. «Он тоже из Майнца». Мы с ним разговорились. Его сестра училась в той же гимназии, что и я. Он принес кофе. Так все время заседания я пила кофе с землячком... И я и Роди, мы оба остались без малой родины. Он ведь из Венгрии. Если бы Москву разделили и ваши друзья Т. и Ф. очутились бы на другой стороне стены, что-то важное ушло бы из ваших жизней, верно?

...Интеллигенты часто чудачки, иногда бывают «комиш», но когда талантливы, то нет. Вот Брехт не был «комиш».

Из брехтовских пьес больше всего любит «Галилея».

— Гомулка не любит интеллигентов. Сначала не любил тех, кто против социализма, а теперь они ему вообще все чужды. Но Гомулка для социализма полезнее, чем Т (называет известного либерального поэта).

Л. возражает. Она отмахивается.

— А иногда мне нравятся люди, которые мне совсем не нравятся. Например, Ульбрихт. Он меня ненавидит, но и удивляется, что за женщина такая, все время смеется? Что-то в нем меня привлекает. Он верит в то, что говорит. Он искренен. Но он, — она хитро улыбается, — никогда не поймет, что такое «патриа чика». Потому что он и Готше здесь родились. У вас ведь нет особой разницы, родился ли ты в Харькове или в Новосибирске. А здесь — очень большая.

Вероятно, она говорит с нами об Ульбрихте, чтобы объяснить, почему дала статью в сборник к его 70-летию — за это ее осудили некоторые писатели.

— Роди был с Бела Куном в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Мы в Париже узнали о гибели Куна, были потрясены.

Вечер был длинным, мы переговорили едва ли не обо всем на свете.

— Я живу здесь много лет. У нас сотни знакомых, но людей, с которыми разговаривала бы так откровенно, — нет.

* * *

Л. Те немецкие сановные идеологи, литераторы и журналисты, с которыми мы встречались, были больше похожи на комсомольских и партийных работников времен первой пятилетки, чем на наших новейших функционеров, у которых не осталось никакой идеологии, а только циничное охранительство и политиканство.

Берлинские цензоры нас удивляли. В ГДР издавали Лукача, который был у нас под запретом, переводили и издавали Фолкнера задолго до нас, и издавали книги, и публиковали статьи против антисемитизма в прошлом и настоящем. А у нас стихотворение Евтушенко «Бабий яр» вызвало исступление и в аппарате, и у литературных черносотенцев. Но в то же время в ГДР не разрешили опубликовать повести Александра Солженицына, несмотря на все похвалы Хрущева, «Правды» и «Известий». Не напечатали даже романов Кочетова, потому что он слишком «мрачно» изображал советскую действительность.

В повседневной жизни ГДР для нас многое было приятно-непривычным — продавцы, официанты, служащие гостиницы были дружелюбно-вежливы, несравнимо с тем, к чему мы привыкли у нас. Все наши поездки, все встречи — и деловые, и личные — были хорошо организованы, нам ничего не навязывали, нам никого не приходилось ждать, все делалось так, чтобы нам было удобнее, легче, интереснее.

Пожилая журналистка, изможденная, но весело-добродушная, спросила нас: «Вас как называть — на «ты» или на «вы»? (Du — Genossen oder Sie — Genossen), и потом объяснила: «В Германии все коммунисты говорят друг другу «ты», я и Ульбрихту говорю «ты, Вальтер», а ваши советские чаще «выкают», либо начальник подчиненному «ты», а тот «вы», и даже «товарищ такой-то» иногда произносит, как «ваше сиятельство».

Замминистра иностранных дел ГДР Петер Флорин (мы с ним познакомились в августе сорок первого года в подмосковной деревне Кубинка, где получали обмундирование перед отправкой на фронт и две ночи спали в одной палатке) обедал за одним столом со своим шофером и

техническими сотрудниками, а в дальних поездках сменял шофера за баранкой, чтобы тот мог отдохнуть. И он же говорил нам, что Евтушенко — изменник, что «его выступления в Западной Германии — нож в спину ГДР», и между прочим заметил: «Западный Берлин все равно будет нашим... Нет, нет, никакой войны, мы его так возьмем...»

* * *

От нескольких людей мы слышали о Роберте Хавемане, ученом-физике, который при нацистах сидел в тюрьме, причем больше года в камере смертников.

В начале 60-х годов он, кроме лекций по физике, читал в университете еще и лекции по философии. Как убежденный марксист он критиковал теорию и практику не только Сталина и Ульбрихта, но и Ленина. Его обвиняли в «люксембургизме», в троцкизме и еще в каких-то уклонах. В 1964 году он был отстранен от преподавания в университете. Еще несколько лет оставался членом Академии наук.

Даже те, кто называл его лекции политически «вредными», о нем самом отзывались с безоговорочным уважением. Однако нам сказали, что мы не должны встречаться с Хавеманом. Мы и не попытались.

Р. Что же — нас там подкупали, соблазняли, приручали? Ни тогда, ни позже я не думала, что какие-то советские или гедезэровские инстанции хотели нас подкупить, соблазнить, приручить. Однако некоторые впечатления этой поездки словно бы вернули нас к иллюзиям молодости.

Мы были гостями. Мы ходили и ездили куда хотели, виделись с теми людьми, кто был нам интересен и приятен. Мы много работали, но на месяц освободились от всех забот — и домашних, и литературных, и общественных. Ни потрясшая нас стена, ни судьба Хавемана не стали тогда по-настоящему нашими проблемами, нашей болью. Анна Зегерс, Эрвин Штриттматер, Пауль Винс, Дитер Вильмс, Гюнтер Кляйн говорили с нами и спорили — о том же, о чем мы все эти годы говорили в Москве: Сталин, ошибки или преступления, политика и мораль, как построить настоящий социализм.

Некоторые их возражения звучали ближе к тому, что мы слышали в Москве от противников, даже от тех, кого называли «наследниками Сталина». Но в ГДР их мысли и слова были для меня не просто отчуждены чужим для меня

языком. Они воспринимались по-иному еще и потому, что люди (хотя я знала их мало) все же по-человечески были мне милы, были искренни. Они не претендовали на владение абсолютной истиной, а лишь искали ее, искали, пусть по-иному, чем мы, ответов на вопросы, важные и для них и для нас. Часто сомневались, не скрывали этого, внимательно слушали возражения.

В 1968—1969 годах, после вторжения в Чехословакию, и еще сильнее после публикации на Западе книги Л. «Хранить вечно» многие гедезровские связи резко оборвались или постепенно истлели.

Но душевные привязанности остались.

* * *

Июнь, 1985 год. Западный Берлин. Мы сидим в кафе с молодыми людьми. Они недавно перебрались на Запад из ГДР, кое-кто перед этим сидел в тюрьме. Я собираюсь на следующий день пойти в Восточный Берлин. Называю имена тамошних старых друзей, которым хочу хоть по телефону позвонить. Наши собеседники неприятно удивлены:

— Что у вас может быть общего с этими оппортунистами, приспособленцами?

Этих молодых собеседников мы знаем недавно, но сблизилась с ними быстро, легко. Оказалось, что мы их лучше понимаем, чем их сверстники, всё время жившие в одном городе, но разделенные стеной. Значит, дело не в различии поколений.

Но мы душевно связаны и с теми, кого они называют «приспособленцами». С теми, кто не может и не хочет никуда уезжать и поэтому вынуждены иногда идти на соглашение с властями.

Ведь и мы оба так жили долгие годы. Так жила я до самого нашего отъезда. Так продолжают жить многие люди в Москве, Ленинграде, Новосибирске.

В июньское утро восемьдесят пятого года я стояла на полутемной станции метро Фридрихштрассе. Пограничник вернул мне паспорт — вежливо-сухо: «Вам отказано».

Надо мной, на верхней галерее — часовые с автоматами, в тяжелых сапогах. Это было воплощением ужаса, но и полного абсурда. А я вспомнила, что видела эту же станцию с той стороны двадцать один год тому назад. Какими же глазами я тогда смотрела на разделенный город, на разделенную страну, на разделенный мир?

В поезде от Берлина до Москвы мы почти не спали. Перебирали недавние впечатления, спорили и рассуждали: что же значили эти встречи с нашими Вчера, Позавчера, а может быть, и Завтра?

И сейчас Восточный Берлин не ушел из нашей жизни, так же как не ушли Веймар и Дрезден. Мы читаем книги, расспрашиваем людей, приезжающих оттуда. Новые надежды внушают прежде всего независимые пацифисты — «белые круги» и те силы ненасильственного сопротивления, которые кристаллизуются вокруг церквей.

Когда я в книжных магазинах Парижа, Рима, Амстердама, Нью-Йорка вижу «Кассандру» Кристи Вольф, читаю разноязычные восторженные отзывы о ней, когда я слушала ее речь в Штутгарте — ей вручали Шиллеровскую премию, — я горжусь ее успехами так же, как горжусь успехами моих соотечественников в Москве, в Ленинграде...

А для Л. едва ли не самым драгоценным читательским откликом были слова молодого берлинца: «Я про тебя узнал еще в тюрьме. У нас там был самодельный радиоприемник, смастерили в коробке из-под ваксы, я слушал твою речь и отрывки из твоих книг. И наши парни говорили: „Когда мы слушаем его, то перестаем ненавидеть русских“».

Вернувшись в Москву, мы узнали, что тринадцатого марта закончился суд над Иосифом Бродским.

Его имя появилось впервые в советской печати в январе 1963 года в журнале «Новый мир»; в том же номере, где были напечатаны два рассказа Александра Солженицына, опубликовали и стихотворение Анны Ахматовой с эпиграфом из Бродского. Это было знаком высокого признания молодого поэта.

А в ноябре 1963 года газета «Вечерний Ленинград» опубликовала фельетон «Окололитературный трутень», в котором Бродского обвиняли не только в тунеядстве, но и в сочинении антисоветских стихов и даже попытке украсть самолет, чтобы удрать за границу.

Несколько ленинградских литераторов, знавших Бродского, сразу же попытались опровергнуть опасную клевету, но секретариат Ленинградского отделения СП по требо-

ванию КГБ постановил: предать его суду как тунеядца. Он был арестован.

Писательница, журналистка Фрида Вигдорова решила поехать на суд. Однако впервые не получила журналистской командировки, более того: в «Литературной газете» ее предупредили, чтобы она в дело Бродского не вмешивалась. Но она все же поехала в Ленинград, пошла на суд и записывала.

...Судья. А вообще какая ваша специальность?

Бродский. Поэт. Поэт-переводчик.

С. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Б. Никто (*без вызова*). А кто причислил меня к роду человеческому?

С. А вы учились этому?

Б. Чему?

С. Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...

Б. Я не думал, что это дается образованием.

С. А чем же?

Б. Я думаю, это... (*растерянно*)... от Бога.

В ходе суда соблюдались все процессуальные формы. Было много свидетелей, обвинитель, адвокат. Общественные защитники — писательница Наталья Грудинина, профессора-литературоведы Владимир Адмони и Ефим Эткинд обстоятельно, со знанием дела свидетельствовали, что Бродский очень талантливый поэт и высококвалифицированный, чрезвычайно трудолюбивый мастер стихотворного перевода с нескольких языков. Эти свидетели доказали полную несостоятельность обвинения в тунеядстве.

Обвинитель в крикливой, полуграмотной речи заявил, что Бродского защищают «прощелыги, тунеядцы, мокрицы и жучки». Судья не прервал его, хотя много раз прерывал адвоката.

Один из свидетелей обвинения — трубуокладчик — говорил:

«Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я хотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеку — нет его книг. Спрашивал у знакомых, знают ли они такого? Нет, не знают...»

Такие же показания давали: другой рабочий, пенсионер, учительница, заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части, начальник Дома обороны и др. Никто из них не знал ни Бродского, ни его стихов, но, ссылаясь на статью в газете, они требовали осуждения поэта. Единственный представитель Союза писателей из мелких функционеров заявил, что так как Бродский «не получил народного признания», значит, такого поэта «не существует».

Приговор гласил: «Сослать в отдаленные места на пять лет с применением обязательного труда».

Рассказы Фриды Вигдоровой, ее запись потрясали. Лидия Чуковская говорила ей, что эта «запись... благодаря художественной силе своей заставляет каждого пережить этот суд как оскорбление, лично ему нанесенное...»*.

Прошло восемь лет после XX съезда. Эти годы мы постоянно слышали, читали и сами повторяли, как заклать: то, что было при Сталине, никогда не повторится... Никогда не повторится...

Мы верили потому, что хотели верить. Верили, хотя сталинцы продолжали хозяйничать в государстве, в партийном аппарате, в издательствах, в газетах, в журналах.

Но мы верили, что движение, начатое на XX и XXII съездах, неостановимо, верили, что раскрепощенная мысль и пробужденная совесть не допустят возвращения к сталинщине. И эта вера не была слепой. Ведь из лагерей вернулись миллионы заключенных, издавались некогда запрещенные книги, по решению Политбюро были опубликованы «Один день Ивана Денисовича» и «Теркин на том свете», возникали все новые прорехи в железном занавесе.

Травля и осуждение Бродского вызвали острую тревогу — неужели это предвестие, неужели могут повториться расправы сталинских времен?!

Но тревога вызывала не только страх. Прочитав запись Вигдоровой, многие испытывали потребность вмешаться, что-то предпринять, и не только для защиты молодого поэта, но и в защиту справедливости, законности, которую после 1953 года столько раз громкогласно объявляли восставленной.

Ученые, писатели, журналисты, студенты посылали письма в ЦК, в Прокуратуру, в Верховный Суд, секретарю Ленинградского обкома Толстикову, Председателю Верховного Совета Микояну, в Союз писателей.

* «Памяти Фриды», рукопись.

Мы помним далеко не всех, главным образом литераторов: В. Адмони, Б. Ахмадулина, А. Ахматова, В. Ардов, А. Битов, З. Богуславская, Б. Вахтин, А. Вознесенский, Р. Гамзатов, Е. Гнедин, Д. Гранин, Р. Грачев, Н. Грудинина, Ю. Герман, Е. Гольшева, И. Дьяконов, Н. Долинина, Е. Евтушенко, И. Ефимов, Л. Зонина, Вяч. Вс. Иванов, Я. Козловский, С. Маршак, Ю. Мориц, И. Меттер, С. Наровчатов, И. Огородникова, Н. Оттен, К. Паустовский, А. Сурков, Л. Чуковская, Д. Шостакович, Е. Эткинд и др.

Защитники Бродского обращались за подписями главным образом к влиятельным людям. Некоторые отказались — А. Твардовский, А. Солженицын, И. Эренбург, полагали, что это дело вовсе не заслуживает таких усилий, такого шума.

А мы считали, что необходимо добиваться отмены несправедливого приговора, необходимо, чтобы освободить молодого поэта и потому, что это дело означает возрождение произвола, когда по указанию КГБ Союз писателей и суд поспешили расправиться с невиновным вопреки фактам, вопреки законам и даже вопреки здравому смыслу. С этим нельзя примириться, это угроза для всех.

В сентябре 1964 года Ф. Вигдорова написала Константину Федину:

«Никто не вправе перекладывать тяжесть со своих плеч на чужие... Но я перекладываю свою ответственность за человеческую судьбу на Вас, потому что оказалось: я бессильна, у меня нет пути, по которому я могла бы добиться справедливости. Речь идет о судьбе молодого талантливого поэта, несправедливо и бессмысленно сосланного на пять лет за тунеядство. Я обращалась в газету... в Прокуратуру, в ЦК, все напрасно... Я перекладываю ответственность за судьбу оклеветанного молодого поэта на Вас. Вы — руководитель Союза писателей. Может быть, перед Вами откроются двери, плотно закрытые передо мною».

Ленинградский ученый, сын старого друга Федина, писал ему:

«Исход этого дела для нас всех в Ленинграде — пробный камень: действительно ли 1938 год не повторится?»

Мы не знаем, ответил ли Федин на эти письма, но вскоре стало известно, что правление московской организации Союза писателей готовит дело об исключении Вигдоровой из Союза. Уже подыскивали ораторов из числа «умеренных либералов». Хотели так же, как раньше в деле Пастернака, спекулировать на аргументах: «она препятствует

оттепели... она провоцирует репрессии... внушает недоверие к интеллигенции...»

Дело не состоялось — в октябре свергли Хрущева; растерялись и литературные чиновники — куда повернут новые власти?

А в конце ноября обнаружилась смертельная болезнь Фриды — неоперабельный рак.

Из больницы она писала нам: «Нужно-то ведь совсем другое лекарство. Вот если бы мальчика вернули, я сразу бы и выздоровела».

То, что дело Бродского стало общим делом стольких людей, укрепляло надежду: все-таки рождается, может быть, уже родилось общественное мнение, способное противостоять, противоборствовать возрождению сталинщины.

Лидия Чуковская вспоминала:

«Фрида и несколько человек ее друзей те полтора года, пока длилось это гнусное дело, жили, словно поступив на какую-то нудную службу... Каждый день нужно звонить или идти туда, куда бумаги уже посланы; каждый день решать, куда писать снова, от чьего имени, как. По телефону об этом не скажешь — надо увидеться. Составить черновик. Ехать — за город, в больницу или на дачу, или в Ленинград за чьей-нибудь подписью. Кто поедет?.. Завоевывая нового «защитника Бродского», надо показать ему Фридину запись и стихи Иосифа. Значит, перепечатка на машинке. Вычитка... Кто отвезет?.. Добиваясь приема у могущественного лица, надо искать путей к его секретарю или к кому-то, кто знаком со знакомыми секретаря — то есть опять-таки с кем-то встречаться, кому-то дозваниваться... Мы двигались в темноте, на ощупь; наши официальные корреспонденты и собеседники постоянно давали нам ложные сведения, которые необходимо было проверять. А проверка — это снова знакомые знакомых, снова звонки, снова встречи — у себя дома, в чужом доме или на улице. Одна старушка-пенсионерка, в прошлом — сотрудник прокуратуры, пронзенная Фридиной записью, из симпатии к нам и Бродскому взяла на себя обязанность сигнализировать нам обо всех кочевьях «дела», со стола на стол, в Верховном Суде. С ней кто-нибудь из нас виделся чуть не ежедневно... Вместе с нами действовали ленинградцы — чуть ли не каждый день требовалась оказия в Ленинград, чтобы согласовывать усилия, сообщать друг другу новости. Опять звонки. Опять встречи... Да, кроме служения, тут была нуднейшая служба, « согласо-

вывать и увязывать». Кроме патетической публикации — писанина, канцелярская канитель, утомительная, бесконечная, как дурной сон...»

* * *

Седьмого мая шестьдесят четвертого года наши приятели, два молодых врача, вечером уезжают в деревню Архангельской области навестить ссыльного Иосифа Бродского. Они с ним не знакомы, но любят его стихи. (Это были Е. И. Герф и В. М. Гиндилис.)

С утра начали приходиться друзья Бродского, приносили консервы, пачки печенья, шоколад, теплые носки, свитера. Принесли посылочку от Лидии Корнеевны из Переделкина:

«Посылаю Иосифу книгу — стихи и проза Джона Донна. М. б. это будет приятно ему. Посылаю также в фонд еще 10 р. Очень прошу купить ему в подарок рубля за три коробку шоколада или еще лучше 2—3 плитки. Так как он не курит, наверное, любит сладкое. А остальные деньги употребите по своему усмотрению. (Это еще не «переделкинские», а мои. Переделкино приберегаю до июня.) Простите, что затрудняю Вас покупкой, но отсюда никак иначе не сделать... Мой совет: все, что вы хотите сообщить ему о деле,— передавайте устно».

После полудня в квартире скопилось столько «передач», что и вдвоем было не увезти, нужно было что-то отделить для следующих поездок.

Сын нашей подруги, молодой геолог Алик Бабенышев принес огромный рюкзак, стал помогать распределять грузы, так как сам собирался поехать к Бродскому, когда получит отпуск.

Пришел ленинградский германист Константин Азадовский и тут же сел писать письмо Бродскому. Он старался скрыть удивление, озираясь в нашей суетливой неразберихе.

Принесла посылку Наталья Столярова. На первый взгляд она казалась серьезной, хмурой, но была смешлива, любознательна, задириста, кокетлива. Она родилась во Франции, ее родители — эсеры, эмигрировавшие до революции. С помощью Эренбурга Наталья приехала в СССР в 1937 году; ее арестовали. После семнадцати лет тюрем и ссылок ее реабилитировали. В 1955 году Эренбург взял ее секретаршей. Она стала деятельной самиздатчицей.

Сборы уезжавших к ссыльному были не единственным событием этого дня.

У нас в спальне читали старые газеты помощник режиссера и два молодых актера из нового театра.

Две недели тому назад, 23 апреля 1964 года, спектаклем «Добрый человек из Сезуана» открылся этот театр, ставший на двадцать лет «любимовской Таганкой». Юрий Петрович Любимов, бывший актер театра Вахтангова, преподаватель театрального училища им. Щукина, поставил со своими учениками едва ли не первый в России по-настоящему брехтовский спектакль. Это стало одной из приметных вех оттепели.

Теперь он готовил спектакль по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

Узнав, что у нас есть газеты 1917 года (Л. выпросил эти газеты из архива Всеволода Иванова у вдовы и сына, обещав не выпускать сокровище из дому), Любимов послал к нам своих сотрудников.

Молодой одессит приехал с письмом от своего дяди — фронтового приятеля Л. Он начал писать диссертацию о Филдинге, просил помочь ему найти научного руководителя и ответить на несколько вопросов по истории. Будущего диссертанта удалось связать по телефону с коллегами-англистами.

Наталья Долинина приехала на премьеру своей пьесы в Детском театре.

День она просидела на репетиции, а к нам пришла отдохнуть перед премьерой, благо от нас до театра близко. Поспала и стала показывать, изображать, как «проходила» ее пьеса. Высмеивая других, она не щадила и себя, лихо щеголяя словечками студенческого, лагерного, канцелярского жаргонов. Мы то и дело заглядывали за перегородку, чтобы посмеяться вместе со слушателями.

Среди дня появился еще один приезжий — двоюродный брат Л., журналист из Западной Сибири. Он все время приставал к нам, ему не терпелось рассказать о своем замысле научно-фантастического романа. Он утверждал: авторы фантастических книг — самые великие писатели, а романы о будущем обществе должны стать самым важным направлением социалистического реализма: надо показать художественно, каким должен стать коммунизм.

Он обижался, что его, близкого родственника, приехавшего из «глубинки», не расспрашивают, не слушают.

Его пристроили вешать какие-то оборвавшиеся занавески.

Многие люди, приходившие в тот день, видели друг друга впервые, по углам возникали группы собеседников.

Р. сновала между кухней и комнатами. Никакой общей трапезы не получалось, кто-то бегал в гастроном, благо он был в том же доме, за хлебом, за сосисками. Одного кормили на кухне, другого — в одной из комнат на краешке стола.

Немногие удостаивались чести — зайти в детскую, где тетя Паня укладывала полугодовалого внука Лёньку. Тетя Паня — колхозница из дальнего Подмосковья — по несколько месяцев жила у нас в городе, отдыхая от пьющих зятьев и непосильной работы. Она возникала внезапно, несколько месяцев спустя так же внезапно исчезала. Курносого смешливого Леньку, которого называла «хомяком», она очень любила, постоянно возилась с ним, страшно баловала; и одновременно успевала много сделать по дому. Когда Р. говорила к вечеру: «Надо отдохнуть, тетя Панечка, хватит уже», — она только отмахивалась: «От чего отдыхать? Разве это работа? Отъедаюсь я тут и отсыпаюсь».

Для нас этот необычный день должен был оставаться обычным рабочим днем. Об этом напоминал телефон. Р. звонил редактор издательства «Молодая гвардия», она писала предисловие к роману Харпер Ли «Убить пересмешника».

Л. иногда удавалось посидеть у письменного стола, где громоздились книги и тетради. Ему предстоял очередной доклад по главе плановой работы «Гёте и театр» в Институте истории искусств.

Писать дома нам бывало трудно и в более спокойные дни. И мы уезжали в дома творчества в Переделкино, в Ялту, в Малеевку, в Дубулты, в Голицыно, — подальше от суеты, от телефона, от гостей.

...Впрочем, примерно так же мы живем и сейчас. И эти страницы мы писали в 1984 году в Бильштайне, в гостинице крохотного поселка, вблизи деревни Лангенбрух, где дом Генриха Бёлля. Сюда мы удрали из Кельна.

Видимо, так уж до конца жизни останется неразрешимым это противоречие, недостижимым равновесие между суматошной, прилюдной жизнью, без которой мы не можем обойтись, потому что не можем обойтись без общения с друзьями, приятелями, коллегами, — и тем уединением, тем затишьем, без которого нельзя ничего написать.

В тот майский день в нашем старом жилище на мгновение встретились, скрестились или надолго сплелись нити разных судеб.

Иосиф Бродский был в сентябре 1965 года досрочно освобожден, в 1972 году ему пришлось уехать за границу.

Константин Азадовский был арестован осенью 1980 года, провел два года в Магадане. В 1984 году вернулся в Ленинград, к работе филолога.

Александр Бабенышев в марте 1981 года приехал в Горький и забрался через окно к сосланному Андрею Сахарову. В мае 81 года он выпустил в Москве рукописный самиздатский сборник к 60-летию А. Д. Сахарова — научные работы, эссе, воспоминания. После этого ему пришлось эмигрировать. Сейчас мы встречаемся то в Кельне, то в Бостоне, то в Мюнхене.

С Натальей Столяровой мы гуляли в 81 году по Парижу. В 1984 году она умерла в Москве.

Любимовский театр на Таганке стал одним из очагов духовной жизни Москвы. Мы не пропустили там ни одной постановки. Л. бывал на репетициях, когда ставили брехтовского «Галилея» в его переводе и на закрытых просмотрах инсценировки повести Бориса Можаева «Приключения Федора Кузькина», которая так и не стала спектаклем «Живой», снова и снова запрещалась (до 1989 года).

Мы приходили в этот театр как в дом добрых знакомых, друзей.

Эмиграция Любимова в 1984 году — так же, как отставка Твардовского (1970), — это не только несчастье одного художника и одного творческого содружества, но разрушение той живой почвы культуры, которая складывалась в годы оттепели.

И все же духовное наследство Твардовского живет не только в его книгах, но и в сознании, в душах бывших авторов и бывших читателей «Нового мира». Так и наследие Любимова — живет не только в опыте воспитанных им актеров и режиссеров и на сценах десятков театров Москвы и Ленинграда, и официальных, и «подвальных», живет и на сценах многих других городов, и в мироощущении зрителей.

Владимир Высоцкий, воистину народный поэт нашего времени, был актером Таганки и строптивым воспитанником Любимова.

* * *

Из нашего старого дома последней уезжала весной 1976 года дочь Светлана. Вечером в опустевшей квартире, где оставались столы и несколько скамеек, собрались наши друзья и друзья наших дочерей. Мы прощались с кровом, под которым прожило пять поколений нашей семьи.

В этой квартире праздновали дни рождения, свадьбы, защиты диссертаций, выход книг и ее обитатели, и многие друзья.

В прощальный вечер нам было грустно и торжественно. Однако то и дело вспоминались веселые происшествия, розыгрыши, старые шутки — смеялись и говорили: «А ведь и на поминках смеются».

* * *

В майский день 1964 года в нашем доме встретились самые разные надежды.

Мы все надеялись, что скоро освободят Бродского. Молодые актеры надеялись на то, что их театр станет самым лучшим в Москве, в Союзе.

Наталья Долинина надеялась на успех своей пьесы и новых задуманных ею пьес и книг.

Р. собирала материалы для книги о Мартине Лютере Кинге. Л. написал первые главы книги о Брехте и продолжал работать над большой книгой о Гете. После февральской поездки 64-го года в ГДР мы надеялись, что поедем снова туда и дальше на Запад к Бёллиу.

Некоторые надежды осуществлялись, и это рождало новые, все более беспочвенные надежды, укрепляло старые иллюзии.

В тот майский день у нас в доме впервые собирали передачу для ссыльного.

Тогда возник фонд, упоминаемый в записке Лидии Чуковской, который мы называли еще «наш Красный Крест». Одним из его создателей и постоянных, неутомимых деятелей была Сара Бабёнышева. Мы не можем назвать другие имена — тех, кто живет в России.

В 1966 году уже во многих домах собирали передачи для Синявского и Даниэля.

В 1974 году Александр Солженицын объявил о создании Общественного фонда, которому передал все гоно-

рары от изданий «Архипелага ГУЛага»; и с тех пор действовали как распорядители К. Любарский, А. Гинзбург, С. Ходорович и другие.

В последующие годы в нашей новой квартире на Красноармейской улице одни приносили, другие уносили сумки, чемоданы, тюки для заключенных, их семей, для ссыльных.

В семидесятые годы становилось всё больше посылок от зарубежных друзей.

Когда в 1976 году «неизвестные злоумышленники» проломили голову Константину Богатыреву — другу Пастернака и Сахаровых, к нам приходили посылки с лекарствами от Генриха Бёлля и других немецких, австрийских, швейцарских писателей.

В 1979 году, в дни Международной книжной ярмарки, американские издатели притащили несколько больших мешков — витамины, лекарства, разнообразную одежду.

Все это потом распределяла Татьяна Великанова — она и Анатолий Марченко с самого начала были деятельными участниками Фонда помощи.

Не прошло и двух лет, и передачи собирали уже для них обоих — Татьяна в ссылке, Анатолий в лагере.

Посылок и передач становилось все больше, и они были все обильнее, а надежд становилось все меньше.

* * *

Из дневника Л.

17 мая 65 г. В ЦДЛ — встреча с зам. пред. Верховного Суда Теребиловым. Сдавленный череп, лицо в жировых складках, холодные пустые глаза. Говорит бойко, с претензиями на образованность, но обороты и произношение канцелярско-газетного жаргона: «показывают о том», «имеет место низкий уровень», «присяженные заседатели», «всемирно известный гуманизм нашего советского суда»...

Я пытался заговорить о Бродском. Он схватился за голову — дешевый актерский пафос: «Не надо, не надо! Не оказывайте давления. Это дело сейчас на рассмотрении. Если вы начнете здесь обсуждать, я должен буду давать себе отвод». Но дальше сам же заговорил, врал, путал: «Бродский сейчас в лагере под Иркутском» (в действительности он был не в лагере, а в ссылке в Архангельской области). Говоря уже о чем-то другом, опять ко мне: «Надо при-

знать, товарищ Копелевич, что ваш Бродский не отвечает кондициям».

На мой вопрос: «Какие именно кондиции предусмотрены Уголовным кодексом?» — опять замахал руками, и на меня зашикали.

Он умильно рассказывал о демократических порядках в Верховном Суде и при этом заметил, что «происходит необходимое ужесточение карательной политики». Доведительно, — мол, товарищи писатели не выдадут, оглашают секретные материалы, — прочитал несколько писем со множеством подписей из разных городов — требование смертной казни для малолетних убийц и насильников, 12—14-летних мальчишек. Некоторые требовали вешать публично.

И он говорил об этом почти сочувственно, мол, вот как наш народ возмущается ростом преступности. И взывал к нашему сочувствию: каково им, верховным судьям, противостоять такому нажиму снизу, отстаивать нормы закона и гуманности! Он оправдывал применение обратной силы закона о смертной казни за крупные хищения и взятки. «Каждый такой случай рассматривается особыми правительственными комиссиями». Я спросил: «Значит, эти комиссии выполняли функции суда и приговаривали к смерти преступника, которого сами не видели, не допрашивали, и приговаривали по закону, принятому уже после его ареста?»

Ответа не было.

* * *

На что же я тогда все-таки надеялся, на что рассчитывал? Позднее уже было неловко вспомнить, но вспоминать нужно.

Я всё еще по-марксистски надеялся на развитие материальной базы — так же, как и некоторые друзья, — на развитие научно-технической революции, на то, что «электронные отделы кадров», кибернетические роботы-контролеры избавят от склок и доносов (20 лет спустя я с ужасом узнал о новых высотных зданиях КГБ, заполненных компьютерами).

Надеялся и на развитие общественного мнения, способного противодействовать цензуре, которая все же стала слабее.

Надеялся и на здравый смысл образованных аппаратчиков-прагматиков. А временами надеялся на мирный военно-дворцовый переворот, на маршалов-бонапартистов, ко-

торые попросту разгонят пару миллионов захребетников: партийно-комсомольско-профсоюзных и советских чиновников и будут вынуждены опираться на специалистов, на ученых.

Еще в 65-м году, в день двадцатилетия победы, когда на банкет в ЦДЛ пришел маршал Жуков, тогда еще почти опальный, я, правда, спьяну горланил, провозглашал ему восторженные здравицы.

* * *

В июле 1965 года Л. опять поехал в ГДР по приглашению Института истории Национальной Народной армии.

Записи из дневника

27 июля. Спор с Анной Зегерс. Она все понимает. Печально о первом послевоенном приезде в Москву: «Ich war so degouté vor allen» *. О деле Бродского расспрашивает. Взрывается, когда плохо говорю об Эренбурге: «Он мой друг, он в тысяча девятьсот сороковом году в Париже спас мою семью, если ты будешь так о нем говорить, то лучше уходи». Роди вмешивается, успокаивает и ее и меня. Потчует тяжелым венгерским красным вином. У Анны познакомился с Кристой Вольф и ее мужем Герхардом.

28—30 июля. Потсдам. Утром по улице марширует колонна вермахта. Те же мундиры, те же сапоги, тот же шаг. Те же каркающие команды. Жутковато. Подполковник В. жалуется: «Советские друзья встречаются с нами только Первого мая и Седьмого ноября на торжественных заседаниях. Пьем. Тосты — «Дружба, дружба». Иногда танцуем с их женами, а они с нашими очень редко. Они в город в магазины ходят, а мы в их магазины пройти не можем».

...Советский городок. Старые Фридриховские казармы. Узорную чугунную ограду закрыли зеленым дощатым забором. Идиотская нелепость — снаружи проезжая дорога по холму, оттуда все видно — двор, садики, в окна квартир смотреть можно. Как объяснишь такое?

2 авг. Экскурсия вдоль стены. Экскурсовод — рыжий майор-саксонец, самоуверен, развязен, гордится; что его западная печать называет «Враль Эрих». Наш бывший фронтовой антифашист Ф. Дослужился до высоких чинов. Сперва казался мне сытым, самодовольным, ожиревшим. Выпили.

* Мне все было так отвратительно (нем., фр.).

Оказывается, и для него стена — нестерпимый ужас. Обрадовался, что я так же думаю. «А ведь эту стену строили и твои ученики, черный майор». Что мне отвечать? Но он: «Знаю, знаю, я тебя не виню, знаю, за что ты сидел».

...Долгий ночной разговор с Гюнтером. Упрямо доказывает необходимость стены: «Все врачи удрали, многие инженеры, мастера. Вот построим социализм, тогда и стену снесем».

3 авг. Людвигсфельде. Заводы автомобилей, раньше производили и самолеты. Эмиль К., тоже бывший мой ученик, жалуется: «Труднейшие проблемы на заводе после стены. Мы приняли несколько сот квалифицированных рабочих, они живут здесь, а раньше работали там, на Западе. Представь себе: приезжают на собственных машинах, требуют — дай им место, где парковаться. В цехах работают вдвое-втрое продуктивнее наших, реже курят и таким образом повышают нормы, снижают расценки. До драк доходило, наши им кричали: «Вы холуи капиталистов, и здесь подхалимничаете». А они нашим: «Лодыри, вас как баранов гоняют. Лодыри, потому и зарабатывать не можете». Труднейшие проблемы. Сейчас кое-как сглаживается. Наши прежние стали работать получше, эти новые — похуже. Уравнивается. Но ведь марксизм учит: социалистическое производство должно во всем превосходить капиталистическое». У меня не хватило мужества признаться бывшему ученику, что я уже так не думаю. Что, во всяком случае, наш социализм куда хуже.

4 авг. У Эрнста Буша. Он словно бы и не постарел, все такой же насупленно и насмешливо ворчливо-приветливый. В светлой комнате много книг, картин и звукозаписывающих устройств, магнитофонов, ленточных, пластиночных, смонтированных в стеллажи и на отдельных столиках. Представляет молодую жену и двухлетнего сына, толстого, румяного. «Похож на меня?» Прокручивает старые песни, те самые, которые я слушал в 35-м году — тридцать лет назад! — в Москве в клубе Тельмана, и тогда знобило от восторга, и уже после бисирования запомнил наизусть: «Друм, линкс, цвай, драй», и песню безработного, и брехтовскую «Балладу о мертвом солдате». Расспрашиваю о Брехте, говорит скупое: «Лучше я тебе спою, что такое брехтовская диалектика». И поет балладу о святой грешнице Ивлин Ру. Она хотела любой ценой добраться до святой земли. Взошла на корабль, обещав заплатить за проезд своим телом, с ней спала вся команда от капитана до юнги, и ее уже не хотели отпускать.

Она утопилась, но в рай ее не пустили как блудницу, грешницу; и дьявол в аду не принял как святую, набожную богомолку.

«Это я сам музыку подобрал, ничего не придумывал, я даже толком нот не знаю, вспомнил мелодии двух старых матросских песен и соединил...»

5 авг. У Штриттматеров в Шульценхофе. Большой крестьянский дом. Деревянная мебель, много картин примитивистов. Конюшня. Белые «арабы» и коричневые лохматые пони.

Рабочий кабинет Эрвина — на чердаке над конюшней. Чудесные мне с детства знакомые крепкие запахи и звуки — похрустывание, фыркание, топтанье.

Эрвин — настоящий член кооператива. Он «владеет» лошадьми, кормит, пестует, школит. Но продает их кооператив для своих фондов. В деревне — большие приусадебные участки, много цветников, но крестьяне сами не продают своих излишков, «торговля — не крестьянское дело. На то есть посредники». Это не запрет, это традиция. У дорог — высокие платформы для бидонов с молоком (собственность крестьян). Кооперативная ферма имеет свой транспорт. Ежедневно грузовик торгового посреднического кооператива забирает полные бидоны, оставляет пустые; раз в неделю шофер и грузчик — они же счетоводы-инкассаторы — расплачиваются с поставщиками. Никто никого не пытается обжулить. Кооператив доходный. Есть уже и своё начальство, и где-то повыше чиновники, но вот ведь, оказывается, возможны колхозы без голода, без крепостничества. Неужели оно только у нас как проклятье с допетровских времен?

* * *

В эти дни в Москве Фрида умирала. Лечили химией, временами наступало улучшение, и тогда мы надеялись на чудо.

За несколько дней до ее кончины председатель Комитета Госбезопасности Семичастный, тот самый, который в 1958 году назвал Пастернака «свиньей», говорил на идеологическом совещании о литераторах, которые «развращают молодежь», и привел пример: «Вигдорова распространила по всей стране и за рубежом запись суда над Бродским».

Фрида умерла 7 августа 65-го года.

10 августа у ее гроба говорила Лидия Чуковская:

«Из мира ушла большая, добрая сила — Фрида Вигдорова. Каждый, кто ее знал и любил, почувствовал себя сиротливее, несчастнее... Чужой беды для нее не было, чужая беда была для нее собственной, личной бедой... Каждое дело стоило ей много душевных сил. Особенно одно, жгуче-несправедливое, длящееся уже около полутора лет, — дело незаконно осужденного молодого ленинградского поэта. Это дело мы, писатели, должны принять как завещание Фриды Вигдоровой нам и должны продолжать без нее борьбу за ту судьбу, за которую она боролась... Ее имя войдет не только в историю нашей литературы, но и в историю нашей общественной жизни, нашей молодой гражданственности...»

Восьмого сентября в Москве на улице арестовали Андрея Синявского, а несколько дней спустя из Новосибирска привезли арестованного там Юлия Даниэля.

11 сентября сотрудники КГБ произвели обыски у двух московских приятелей А. Солженицына, у которых он оставил на хранение рукописи, письма.

И мы впервые занялись «профилактической чисткой»; рукописи — свои и чужие, — письма, дневники мы распределили на три группы: 1) можно оставить дома, 2) спрятать надолго и подальше и 3) хранить вне дома, но вблизи.

Синявского и Даниэля мы почти не знали, конфискацию архива Солженицына восприняли как угрозу всем. Если после падения Хрущева стал беззащитен прославленный автор «Ивана Денисовича» и «Матренина двора», которого совсем недавно выдвигали на Ленинскую премию, хвалили и в «Правде», и в «Известиях», то чего ждать всем другим? Его судьба неразрывно связана с судьбой нашей литературы, с судьбой страны.

А нам он был еще и лично близок.

Пятого декабря 1965 года в Москве впервые после 1917 года готовилась демонстрация в защиту прав человека и гражданина.

Людмила Алексеева, свидетельница этой демонстрации, в последующие годы стала деятельной участницей правозащитного движения. Она рассказывает:

«За несколько дней до 5 декабря... в Московском университете и в нескольких гуманитарных институтах были разбросаны листовки «Гражданское обращение», напечатанное на пишущей машинке: «...Органами КГБ арестованы два гражданина — писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства... В прошлом беззакония

властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан... Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя не остановленного произвола... Ты приглашаешься на митинг гласности, состоящийся 5 декабря в сквере на площади Пушкина у памятника поэту. Пригласи еще двух граждан...»

Автором «Обращения» был Александр Есенин-Вольпин — сын Сергея Есенина, математик и поэт. Вольпин и несколько человек рядом с ним развернули небольшие плакаты: «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем» и «Уважайте Советскую Конституцию!» Задержали человек двадцать... Отпустили через несколько часов» *.

Мы тоже получили это приглашение, однако на демонстрацию не пошли. Не было даже колебаний. Кое-кто говорил, что это может быть и провокация. Мы так не думали, но просто считали — это студенческая затея, вроде тех собраний у памятника Маяковскому, где читали стихи и произносили речи. Мы хотели действовать по-иному: не выходить на улицу, не взывать «всем, всем, всем!», а снова попытаться вразумлять власти и выпросить Синявского и Даниэля, как выпросили Бродского.

Мы начали заступаться за них, думая прежде всего об опасности, нависшей над Солженицыным.

Мы еще продолжали рассчитывать на возможности «прогресса в рамках законности», не замечая, что нас уже затягивало в новый и куда более крутой поворот.

5. ПРОРЫВЫ ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА

Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия.

Ф. Достоевский. Подросток

1
Нам внятно все, и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений.
Мы помним все — парижских улиц ад,
Венецианские прохлады,
Далеких рощ лимонный аромат
И Кёльна дымные громады...

А. Блок

* Алексеева Л. История инакомыслия, 1984. С. 250—251.

«У нас украли мир», — говорила Анна Ахматова. Она, ее сверстники еще успели до 1914 года побывать в Париже, Риме, Берлине, Лондоне.

«Мы помним все...» Это блоковское «мы» и всеохватно и конкретно — Гумилев, Горький, Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандельштам...

В 20-е и еще в начале 30-х годов некоторые советские литераторы тоже бывали за границей. Маяковский писал о своих поездках стихи, Пильняк, Ильф и Петров, Мих. Кольцов, Илья Эренбург — путевые очерки.

На полках наших библиотек и книжных магазинов были представлены все сколько-нибудь значительные зарубежные авторы. В 20-е годы большими тиражами издавались произведения Анатоля Франса, Ромена Роллана, Бернгарда Келлермана, Стефана Цвейга, Бернарда Шоу, Джека Лондона, О' Генри.

Издавались и книги таких «трудных авторов», как Пруст, Хаксли, Шпенглер, Фрейд. В 30-е годы чрезвычайно популярны были романы Генриха Манна, Фейхтвангера, Голсуорси, Дос Пассоса; начали было публиковать «Улисса» Джойса в журнале, но это было прервано.

Л. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — этот призыв украшал государственный герб советской державы, заголовки газет и денежные знаки. Едва ли не в каждом городе были улицы или площади, предприятия, школы, клубы и т. д. имени Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Августа Бебеля, Сакко и Ванцетти, Эрнста Тельмана, Андре Марти...

Самая крупная кондитерская фабрика в Москве называлась «Рот-Фронт». Напротив Кремля было здание Коминтерна — штаба мировой революции. И улица называлась улицей Коминтерна еще два года после его ликвидации.

В годы первых двух пятилеток на всех больших заводах и стройках работали группы немцев, американцев, австрийцев, чехов.

Любой приехавший в Россию иностранец, если он не был капиталистом, сразу же становился гражданином СССР — отечества всех трудящихся. Осенью 1934 года несколько сот австрийских социалистов-щуцбундовцев, эмигрировавших после уличных боев в феврале, поселились в Харькове, участвовали в выборах в городской Совет. Трое были избраны депутатами.

Государственный гимн СССР — до первого января 1944 года был «Интернационал». Мы оба школьниками и студентами на собраниях, на праздничных демонстрациях,

у походных костров и в домашних застольях пели попеременно с русскими, украинскими народными и революционными песнями и «Марсельезу», «Бандера Росса», брехтовский «Марш левого фронта»...

В 1934 году XVII съезд партии постановил считать социализм в одной стране построенным. Советских граждан известили, что они живут в бесклассовом обществе. К этому времени уже был издан закон об измене родине. Раньше само это слово считалось идеологически сомнительным, принято было понятие «социалистического отечества». В том же году Сталин, Киров, Жданов решительно осудили «Русскую историю» Покровского, некогда рекомендованную Лениным; был издан новый учебник по истории, в котором прославлялись прогрессивные цари, князья, полководцы, утверждались плодотворность и прогрессивность всех завоеваний.

И все чаще, заглушая песни мировой революции, звучал новый, неофициальный гимн «Широка страна моя родная...».

Миллионы советских граждан в 1937—1938 годах заполняли тюрьмы. Тысячи иностранных коммунистов — почти все руководители компартий Западной Украины, Западной Белоруссии, Польши и Венгрии — были арестованы, многие расстреляны.

А мы тогда пели:

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

Студент московского Института иностранных языков, бывший ростовский каменщик, добродушный парень, говорил своему другу наедине: «Сейчас главное — бдительность. У нас в институте столько иностранцев, никому доверять нельзя. Я раньше и не знал, какие бывают коварные методы иностранных разведок. Враги народа даже в ЦК, в Совнарком пролезли, а уж инородцы!.. Конечно, есть и среди них честные, но больше тех, кто маскируется. И значит, не доверяй никому!»

* * *

Страшные отступления первых месяцев войны, ужас ленинградской блокады, изуверский, унижительный режим оккупации и нацистских концлагерей возбуждали и болезненно обостряли национальное сознание.

А потом были победы и неостановимое движение от Волги до Эльбы. И от этого — радостный подъем и естественная гордость. Но росло и чванство, вздуваемое казенной пропагандой и густо приправленное ненавистью к противнику. Была у многих и глухая неприязнь к союзникам: меньше нашего воевали, долго тянули с открытием второго фронта.

Так возникало новое, уже шовинистическое сознание, возникало и само собой и насаждалось речами и статьями, стихами, сталинским тостом в июне сорок пятого года о великом русском народе и песнями «А Россия лучше всех!».

Сомневаться в этом было опасно.

Всех бывших военнопленных, даже тех, кто прошел нацистские тюрьмы и концлагеря, всех, кого угнали в Германию как «остарбайтеров», подвергали особой «филтрации».

Ведь они за границей узнали, насколько люди там богаче жили, чем в стране осуществленного социализма. Но то же видели и солдаты, победно вступавшие в польские, чешские, венгерские, немецкие города.

Именно поэтому командование на первых порах даже поощряло грабежи — «священная месть» должна была отдалить советских людей от иноземцев. Потом части оккупационных войск изолировали в казармах, в закрытых поселках. Особым законом запретили браки с иностранцами.

После первых хмельных праздничных встреч с союзниками на Эльбе советский солдат, разговорившийся с американцем, рисковал быть арестованным по подозрению в шпионаже.

Летом сорок пятого года мы верили, что победа над фашизмом означает начало мира. Но вскоре началась холодная война.

Капитан первого ранга Юрьев был заслуженным морским офицером. В 1923—1924 годах он участвовал в походе советских кораблей в Кантон, в гости к Сунь Ятсену. В 1941—1943 годах воевал в Ленинграде, был награжден многими орденами и медалями. В сорок шестом году его включили в советскую военную делегацию в Хельсинки, там он встречался с американскими и английскими офицерами. А потом его арестовали, и следователь потребовал, чтобы Юрьев подробно рассказал, о чем он во время банкета разговаривал со своими соседями по столу — американцем и англичанином (Юрьев говорил по-английски, а следивший за ним офицер СМЕРШа языка не знал).

Юрьев объяснял, что означают ленточки на его орденской колодке, рассказывал о советских орденах всё, что можно было прочитать в газетах, в текстах указов, учреждавших эти ордена. Больше ему не в чем было признаться. Его осудили за «выдачу государственной тайны» и «по подозрению в шпионаже» на 25 лет. До реабилитации он отбыл 10 лет.

Гвардии капитан Сидоренко, командир саперного батальона, много раз раненный, вступивший в партию в Сталинграде, в офицерской компании рассказывал о достоинствах немецких электровозов и строительных машин, которые он отправлял из Германии в СССР. Он был арестован и решением ОСО заочно осужден на 5 лет по ст. 58, п. 10 за «антисоветскую пропаганду», «восхваление вражеской техники».

Роман Пересветов — историк, литератор, фронтовой журналист — после 1945 года работал в Берлине в редакции немецкой газеты «Тэгliche рундшау», которую издавали советские оккупационные власти. Он полюбил немку, сотрудницу редакции, официально попросил разрешения жениться. По новому закону о запрещении браков он был осужден на 7 лет и отбыл их полностью.

Так склепывали железный занавес, так действовали оперативники госбезопасности, отделы кадров, контрразведчики, чтобы никто и не смел общаться с иностранцами без особого разрешения, никто из тех, кому «не положено».

Р. Мне общаться с иностранцами было положено. Я с 1940 года работала в ВОКСе — Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей. Мы посылали за границу книги, материалы для выставок, статьи, и я должна была как переводчица помогать приезжающим в СССР американцам и англичанам. Это были военные, политические деятели и журналисты. Писательница Лилиан Хеллман провела у нас в сорок четвертом — сорок пятом годах четыре месяца, я была ее переводчицей, и мы подружились. Это была для меня первая дружба с человеком из другого мира. Она, уезжая, подарила мне браслет, написала мне письмо, прислала посылку — свитер и туфли. Три года спустя, в 1948 году, меня вызвали на Лубянку, грозили, допрашивали: «Как вы, советский человек, член партии, посмели принять подарки от иностранки?»

Молодую сотрудницу ВОКСа выгнали с работы за то,

что она уединялась с иностранным коммунистом, руководителем Общества дружбы с СССР.

Одни чиновники запрещали общаться с людьми, другие подавляли общение с книгами, журналами, газетами, с произведениями зарубежного искусства.

В 1943 году было прекращено издание журнала «Интернациональная литература», якобы распространявшего «чуждые идеи». И в течение двенадцати лет такого издания не было.

В 1941 году закрыли (опасаясь бомбежек) Музей новой западной живописи (Ромен Роллан сказал, что в этот музей должен приходиться каждый, кто изучает современное французское искусство). После войны музей уже не открывали. Картины импрессионистов, Пикассо, Матисса были объявлены формалистическими, декадентскими, и они оставались в запасниках до 1956 года.

Сталину показывали каждый новый фильм перед выходом на экран. Он сказал: «Надо вместо сотен посредственных и плохих картин, которые стоят нам столько денег, делать в год семь-восемь картин, но зато шедевров. На это не жалеть ни сил, ни средств». Это сталинское высказывание, как и все другие, стало применяться расширительно во всех областях духовной жизни. Сокращали издания русских авторов, и тем более решительно сокращали переводы иностранных книг. К концу послевоенного десятилетия в советских библиотеках современную американскую литературу представляли только Теодор Драйзер и Говард Фаст, английскую — Олдридж и Линдсей, французскую — Арагон и Андре Стиль, немецкую — Бехер и Куба. Всю Латинскую Америку представляли Неруда, Амаду, Гильен. Итальянской, испанской, западногерманской литературы не существовало вовсе.

В то время когда в Западной Европе и в США говорили, много писали, спорили о книгах Сартра и Камю, читатели советских газет знали, что экзистенциализм — это «идеология империалистической реакции». Хемингуэй до войны был одним из любимых писателей, но с 1939 года его перестали публиковать, поминали только отрицательно. О Фолкнере, о Кафке не слышали вовсе.

В ВОКСе, в крупных библиотеках и научных институтах существуют спецхраны (специальные хранилища), в которые запирают газеты, журналы, книги, помеченные шестиугольным штампом, означающим — «Запрещено». Читать их могут только сотрудники, которым это полага-

ется по должности, допущенные особым разрешением начальства.

...Спускаюсь в подвал. С заведующей спецхраном мы на «ты», но каждый раз я должна официально представиться. В особой книге отмечаются часы и минуты прихода и ухода. Там, в спецхране, я читала «Нью-Йорк таймс», лондонскую «Таймс» и составляла обзоры культурной жизни: новые книги, фильмы, театральные постановки и т. д. Эти мои обзоры тоже становились секретными, оставались в спецхране, и читать их могли тоже только допущенные по должности.

Тяжелая железная дверь того подвала символизировала для меня железный занавес, разделяющий миры.

Мои ровесники еще знали, чего нас лишают. В наших книжных шкафах еще оставались томики Хемингуэя, Томаса Манна, Пруста. Но уже школьникам и студентам послевоенных лет все это было едва доступно.

Л. Идеологическая стратегия «премудрого незнания иноземцев» была неотъемлемой частью всей великодержавной имперской политики.

После победы над Японией Сталин открыто говорил о реванше за поражение 1904—1905 годов. В августе 1946 года в особых постановлениях ЦК грубо поносили Анну Ахматову, Михаила Зощенко, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и других поэтов, писателей и композиторов за «антипатриотизм и антинародность». После этого в печати, в научных и учебных институтах начались яростные нападки на многих историков, философов, литераторов, которых обвиняли в «низкопоклонстве перед иностранщиной», в недооценке «превосходства» русской культуры перед Западом.

...В МГУ обсуждалась диссертация о Чернышевском. Один из оппонентов сердито упрекал автора диссертации, написавшего, что Чернышевский учился у Фейербаха, Бюхнера, Фогта и других иностранцев. Диссертант сказал: «Это же все цитаты, это слова самого Чернышевского».

Но обличитель не смутился: «Чернышевский писал так по скромности, свойственной русскому человеку, а наш долг — показывать его величие».

Декан факультета Николай Гудзий, филолог, славист, известный за пределами СССР, заметил: «Вы очень правильно говорили о скромности русских людей, но почему же вы хотите лишить нас этого прекрасного свойства?»

В газетах, журналах и во вновь созданном идеологическом еженедельнике ЦК «Культура и жизнь», во многих статьях разоблачали академика Веселовского за космополитизм, за то, что он обнаружил бродячие сюжеты в литературе и фольклорах разных стран, в том числе и в России. В. Пропп, чьи работы о типологии сказок открыли важные закономерности духовного развития современного человека, не только подвергся оскорбительному разному в печати, но был лишен работы и выслан из Ленинграда.

В «Культуре и жизни» была жестоко изругана незащищенная и неопубликованная диссертация Михаила Бахтина «Франсуа Рабле и народная культура средних веков и Возрождения» (двадцать лет спустя она стала книгой, переведенной в разных странах, о которой новые поколения ученых защищают новые диссертации).

Вторая часть фильма «Иван Грозный» была запрещена потому, что Сергей Эйзенштейн недостаточно высоко оценил «прогрессивного» царя и его опричников. Сомневаться в их прогрессивности для преподавателей истории означало потерю работы, для студента — лишение высшего образования.

Сталинские опричники «восстанавливали честь» России, решительно перекраивая всю историю. Участники национально-освободительных движений против царской державы — польско-венгерский революционный генерал Бем и вождь кавказских горцев Шамиль — были посмертно осуждены как английские и турецкие шпионы, реакционеры.

Изобретателем парового котла было приказано считать не Уатта, а сибирского мастера Ползунова, изобретателем вольтовой дуги — учителя Петрова; в учебниках полагалось писать только «дуга Петрова»; электрическую лампочку изобрел Яблочков, а не Эдисон, и первый аэроплан построил инженер Можайский на двадцать лет раньше братьев Райт. Изобретателем радио был объявлен Попов, а Маркони заподозрен в плагиате...

В газетах рябили заголовки: «Россия — родина радио... родина авиации... родина электричества...» Тогда переиначили старый анекдот о разноплеменных школьниках, пишущих сочинение на тему «Слоны». Англичане: «Промышленное использование слонов», француз — «Сексуальная жизнь слонов», немец — «Слоны — предшественники танков», советский школьник — «Россия — родина слонов»...

Но вовсе не анекдотами были разнообразными «патриотические» переименования: французская булка стала «го-

родской», английская соль — «горькой», турецкие хлебцы — «московскими»; вместо «лозунга» стали писать «призыв»; город Петергоф переименовали в Петродворец, Шлиссельбург — в Петрокрепость.

С 1949 года понятия «антипатриот» или «безродный космополит» уже приближались к понятию «враг народа» и становились не только бранными, но и уголовно обвинительными. И к тому же во многих случаях звучали открыто антисемитски.

Все шовинистические новшества, и возрожденные старые великодержавные легенды, и черносотенные юдофобские инстинкты были необходимыми скрепами железного занавеса.

В 1948 году по приказу Сталина был тайно убит Соломон Михоэлс, великий актер, режиссер и создатель московского Еврейского театра, председатель Еврейского антифашистского комитета в СССР. Вскоре был закрыт театр, арестованы почти все члены комитета как «американские шпионы».

В январе 1953 года было объявлено о заговоре кремлевских врачей и почти открыто нагнеталась атмосфера погрома.

Железный занавес вокруг всего «социалистического лагеря» должен был стать подобием Великой Китайской стены. Для этого проводились процессы старых коммунистов, объявленных вражескими агентами в Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии.

* * *

Седьмого декабря пятьдесят четвертого года я вышел за ворота тюрьмы и вернулся в Москву, в тот же дом, из которого в августе 1941 года уходил на фронт. И надеялся, что вернусь к прежней довоенной работе, буду преподавать историю зарубежной литературы, буду писать.

Некоторые замыслы возникли еще до войны, другие — позже — на фронте, в тюрьме. Я хотел писать о Фаусте, о Дон-Кихоте и о Швейке — о трех литературных образах, ставших общечеловеческими символами. Хотел писать о Гёте, поэте-мыслителе, немце и космополите, о литературе, которая объединяет разные народы, связывает между собой, не стирая различий, но, напротив, благоприятствуя развитию национального своеобразия, о том, как немецкие писатели представляли себе Россию и русских.

На шарашке я записал некоторые размышления, озаглавил «От рода к человечеству» (двадцать лет спустя кое-что из этих записей было опубликовано, но уже за рубежом).

Р. Второй съезд писателей в декабре пятьдесят четвертого года принял постановление: издавать журнал «Иностранная литература». В марте пятьдесят пятого года я стала сотрудницей этого журнала, сперва заведовала отделом критики, потом отделом информации.

Главным редактором был назначен А. Чаковский. Он тогда хотел казаться либеральным и согласился с предложениями сотрудников открыть журнал Хемингуэем. Повесть «Старик и море» к тому времени была переведена. Редколлегия постановила: публиковать в первом номере. Но после очередного приема в Министерстве иностранных дел Чаковский созвал срочное заседание редакции: «Вячеслав Михайлович Молотов сказал мне о «Старике и море»: «Говорят, что это глупая повесть. Кто-то все время ловит и ловит какую-то рыбу». Надеюсь, вам понятно, что мы этого печатать не будем. И я настаиваю, чтобы все разговоры о Хемингуэе прекратились».

Одним из членов редколлегии был Илья Эренбург. Он встретил Молотова летом и спросил, почему тот запретил Чаковскому публиковать хорошую повесть Хемингуэя. «Я никому ничего не запрещал. Я этой повести не читал. Вы должны решать сами».

Эренбург немедленно сообщил об этом разговоре.

И в сентябре 1955 года, в третьем номере «Иностранной литературы», впервые после шестнадцатилетнего перерыва Хемингуэй был опубликован по-русски. Вслед за этим была напечатана статья Ивана Кашкина «Перечитывая Хемингуэя». Кашкин еще в 30-е годы переводил его, исследовал его творчество. Редакция настаивала, чтобы он не только хвалил любимого автора, но непременно указал бы на недостатки, — чего писатель «не понял», чего «не отразил».

Александр Аникст принес в 56-м году эссе «Как статья Бернардом Шоу». В остроумной критической статье о пьесе Шоу «Святая Иоанна» он писал о судебном процессе, который вели тупые фанатики и жестокие циники, и о смертной реабилитации Жанны д'Арк. Чаковский и некоторые члены редколлегии усмотрели в этом прямые намеки на сталинских инквизиторов; статью отвергли. Ее напечатал журнал «Театр».

В 1950—1960-х годах в «Иностранной литературе» опу-

бликованы «Тихий американец» Грина, «Обезьянка» Мориакка, «Время жить и время умирать» Ремарка, «Почтительная проститутка» Сартра, романы Лакснесса, Астуриаса, Амаду.

Произведения зарубежных авторов публиковали и другие журналы в Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске. Книги иностранных современников издавались не только в специальном издательстве «Иностранная литература» («Прогресс»), но и в других. Не раз бывало, что «Новый мир», «Москва» и др. опережали журнал «Иностранная литература» или исправляли его упущения. Так, например, наша редколлегия отвергла «Маленького принца» Сент-Экзюпери, «Дневник» Анны Франк и др. «Новый мир» первым опубликовал рассказы и романы Бёлля.

В 1957 году обсуждали роман Кеппена «Смерть в Риме». Только один заместитель редактора возражал против публикации, но он написал об этом в ЦК. После этого было созвано чрезвычайное заседание редколлегии вместе с отделом культуры ЦК КПСС.

Заведующий отделом Поликарпов — в 1958 году он был одним из зачинщиков травли Пастернака — говорил: «Мы, конечно, должны знакомить наших читателей с буржуазной литературой. В ней содержится и кое-что приемлемое для нас. Надо подходить не догматически. Но в этом романе Кеппена больше вредного, чем полезного. Сперва мне казалось, что можно кое-что исправить путем свободного перевода. Но вся вторая часть исключает такую возможность. Тут идет сплошная порнография, патологическое буйство плоти, собачья свадьба. А ведь ваш журнал читают и люди переходного возраста. Они уже с прошлогоднего международного фестиваля начали получать такую гадость. Они и так иронически относятся к учителям. Уже некоторые книги Ремарка вызывали протесты наших читателей. Такие книги открывают шлюзы для чуждых влияний. Издавая их, мы неверно ориентируем наших писателей. Кеппен, конечно, буржуазный либерал. Пишет он правдиво, такова буржуазная действительность. Но в жизни пролетариата чувственность не занимает такого места. И если мы напечатаем этот роман, мы сделаем уступку буржуазным идеям. К тому же Кеппен сильно преувеличивает еврейский вопрос. Ведь гитлеровцы уничтожали не только евреев. Зачем создавать у нашего читателя превратное мнение, да еще показывая такие мерзости?»

Чаковский, разумеется, немедленно согласился с Поликарповым. Но все мы, кто не соглашался, продолжали при

каждой возможности напоминать о романе Кеппена в обзорных статьях, выступая на собраниях, в издательствах и др.

В ноябре 1965 года я вынула из почтового ящика «Правду» с некрологом Поликарпову и очередной номер «Иностранной литературы» с романом Кеппена.

Л. Неожиданным для всех оказался чрезвычайный успех Ремарка. Началом «ремарковской волны» стали романы «Три товарища», 1958 (я участвовал в переводе и написал предисловие), и «Триумфальная арка». Переиздали и «На западном фронте без перемен». Книги Ремарка стали спешно переводить, издавать и областные, республиканские издательства. Сотни тысяч экземпляров расходились за несколько дней или даже часов. Кто не успевал купить, записывался в очереди в библиотеки и ждал иногда месяцами.

Растерянные литературные чиновники говорили уже о ремарковском наводнении, потопе, массовом психозе. В газетах и журналах о Ремарке писали восторженно или возмущенно, но не равнодушно. Одни его превозносили, другие ругали и все пытались как-то объяснить тайну внезапного успеха. В библиотеках, клубах, институтах, школах устраивались читательские конференции, посвященные Ремарку. Мы оба вместе и порознь участвовали более чем в сотне таких конференций не только в Москве — во многих городах. Но и после любой нашей лекции о зарубежной литературе в любой аудитории нас неизменно спрашивали о Ремарке.

На читательской конференции в маленькой библиотеке в Замоскворечье молодой человек говорил:

«Мне очень нужен Ремарк... У нас был Сталин, все в него верили, и я верил в него, как в бога. Даже не мог себе представить, что он в туалет ходит. А потом оказалось, что он сделал столько ужасного, убил столько людей. После этого берешь сегодня «Правду» и ничего не получаешь ни для ума, ни для сердца. Наша молодежь больше не верит в комсомол, многие и в партию не верят. Потому Ремарк и влияет. Его герои тоже испытывали большие разочарования. И он это прекрасно показывает».

На конференции в другой районной библиотеке молодой научный работник рассказывал:

«„Триумфальная арка“ произвела на меня потрясающее впечатление. Когда закрыл книгу, стало больно за нашу литературу: почему наши так не могут? А Ремарка читают ведь разные люди, и снобы, и простые рабочие пар-

ни; чем же он всех захватывает? А тем, что в его книгах мы находим такое, чего даже в лучших наших книгах нет. Настоящие мысли людей, настоящие движения человеческой души. Он заставляет подумать: для чего человек живет? как любит, как ненавидит? Важно еще и то, что наши критики стыдливо обходят проблемы пола...»

В 1960 году комиссия ЦК, обследовавшая филологический факультет МГУ, спрашивала студентов: «Кто ваш любимый писатель?» Чаще всего называли Пастернака и Ремарка.

«Ремарковский потоп» постепенно начал спадать. В 70-е годы мы не припомним ни одной читательской конференции о нем, а после наших лекций нас уже спрашивали прежде всего о Бёлле, Сэлинджере, Маркесе.

С 55-го года звучали в Москве и Ленинграде песни Ива Монтана. Сперва были пластинки, а в 56-м году он пел на трибуне стадиона в Лужниках и в клубе Союза писателей. К нам стали приезжать зарубежные театры. Мы смотрели классические спектакли «Комеди Франсез», нью-йоркскую постановку «Порги и Бесс», «Гамлет» и «Макбет» в постановке Питера Брука. В 1955 году в Москву привезли «Мадонну» Рафаэля и другие картины из Дрезденской галереи. В 1957 году во время Международного фестиваля молодежи впервые были выставлены и произведения абстрактной живописи — полотна польских, чешских, французских художников. Позже на французской, американской национальных выставках были такие картины и скульптуры современных художников, о которых раньше можно было прочесть только как о примерах упадка, разложения буржуазной культуры. В московском Музее изящных искусств и на верхнем этаже Эрмитажа открыли отделы нового западного искусства. Картины Пикассо, Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога достали из запасников.

Поликарпов и его чиновники боялись «открывать шлюзы» вредным западным влияниям, а мы хотели, чтобы щели в железном занавесе стали прорывами, чтобы хлынули потоки новых слов, новых красок, новых звуков и с ними — новых мыслей и чувств, представлений о жизни. Для этого мы работали. И мы надеялись, что эти потоки размоют и смоят все внешние и внутренние преграды, задерживающие развитие нашей литературы, нашего искусства, очистят почву для расцвета всей духовной жизни.

Мы оба были литераторами-зарубежниками. И поэтому мы могли почти беспрепятственно читать иностранные

издания — книги, журналы, газеты; мы сравнительно легко доставали билеты на выставки, на гастрольные спектакли. Но когда в 1955 году в Москву приехал Бертольт Брехт получать Ленинскую премию, у меня — тогда еще не реабилитированного — мысли не было, что можно с ним познакомиться, поговорить, хотя я тогда уже переводил «Галилея». Возможность общения с иностранцем, даже гражданином ГДР, была еще невообразима и для меня, и для всех окружающих.

Но уже год спустя, и все еще до реабилитации, я пришел в гостиницу к Леонгарду Франку, о котором писал статью для «Иностранной литературы». Это был первый иностранец, которого я встретил после тюрьмы. Мне нравились его книги, и старые — «Разбойники», «Оксенфуртский квартет», и новые — «Ученики Иисуса» и «Слева, где сердце». И сам он сразу же понравился: безыскусно молодой, порывистый, исполненный веселой доброты, которая так привлекает в его книгах. Он говорил больше, чем спрашивал: «Я был экспрессионистом и останусь им навсегда. Я — последний немецкий экспрессионист... Я знал, что у вас тут много дурного творилось, ваш Сталин был опасный и жестокий диктатор. Когда они с Гитлером сговорились, мне было очень страшно, у нас многие в отчаяние пришли. Но ведь все это осталось в прошлом. И вы — молодая страна, сильная, полная надежд, и я верю в ваше будущее. Вам не страшен ветер, дующий в лицо. А у нас еще очень живучи нацистские настроения, особенно в моем родном городе Вюрцбурге *. Нам еще нужно чистить души и мозги».

Франк — человек из далекого, чужого мира, знакомого только по книгам, газетам, фильмам, — за какие-нибудь полчаса стал мне душевно близок. И эта встреча неожиданно укрепила мои тогдашние надежды, мою остаточную веру в социалистические идеалы. Четыре года спустя я назвал мой первый сборник литературно-критических работ «Сердце всегда слева» — почти по Франку.

* 15 лет спустя, в Вюрцбурге, на сессии Академии языка и литературы, министр культуры Баварии г-н Майер в приветственной речи говорил о немецких писателях, когда-либо побывавших в Вюрцбурге или поминавших этот город, начиная от Вальтера фон дер Фогельвейде до Томаса Манна, но не назвал Франка. Я спросил его, почему он в столь блестящей, исполненной литературно-исторических знаний речи забыл о писателе, у которого все произведения связаны непосредственно с Вюрцбургом. И министр, несколько не смутившись, ответил: «Конечно, конечно, вы имеете в виду Франка; я посвятил ему целую страницу в речи, но я заметил, что мое выступление затягивается, и я просто не успел...»

Р. После «Старика и моря» стали переиздавать рассказы и романы Хемингуэя. Молодой театр «Современник» поставил «Пятую колонну». В 1959 году вышел двухтомник избранных сочинений. Очереди в книжных магазинах выстраивались с вечера. К этому времени сам Хемингуэй стал героической легендой. Он и для нас был не только любимым писателем, но и человеком, который жил так же, как писал. Сдержанный, чуждый патетики, бесстрашный солдат, охотник, рыболов, матадор, боец испанской республики, соратник французских партизан, он представлялся нам рыцарем без страха и упрека. Его снимки в 60-х годах продавались в магазинах сувениров вместе с портретами Есенина, кинозвезд, космонавтов, футболистов. Снимки бородатого «папы Хэма» стали необходимой приметой стандартного интеллигентского интерьера.

Однако роман «По ком звонит колокол», сразу же после издания в США (1940) переведенный на русский язык, оставался запрещенным еще 28 лет. И потому, что коммунисты — ветераны гражданской войны в Испании — опубликовали в «Дейли Уоркер» письмо, где обвиняли Хемингуэя в искажениях и даже в клевете.

Рукопись романа позже влилась в самиздат.

Летом 1942 года, когда Лев впервые приехал с фронта в Москву, мы оба слушали речь Ильи Эренбурга в ВТО. Он тогда прочитал заключительные страницы — последний внутренний монолог Роберта Джордана. (Часть этого монолога была впервые напечатана по-русски 19 лет спустя в книге Льва «Сердце всегда слева».)

В 1959 году Председатель Верховного Совета Микоян, ездивший на Кубу, побывал у Хемингуэя, привез ему в подарок новое двухтомное издание. Хемингуэй обрадовался, но огорчился, что там нет «Колокола». И тогда же стало известно, что Фидель Кастро говорил: «Этот роман мы брали с собой в горы, он был для нас пособием в партизанской борьбе...»

О романе «По ком звонит колокол» я рассказывала едва ли не в каждой публичной лекции... О необходимости издать его говорила на всех совещаниях, когда обсуждались издательские планы. Неодолимой преградой оставалось сопротивление руководителей испанской компартии. В 1954 году в «Литгазете» появилось небольшое сообщение о том,

что роман — в издательских планах. Осуществить план помешали гневные письма протеста. Среди авторов писем была и Долорес Ибаррури, председатель испанской компартии, и некоторые влиятельные деятели французской компартии. В 1959 году ленинградский журнал «Нева» объявил, что публикует роман; редакция получила телеграмму с Кубы: «Очень рад, что вы печатаете роман. Лучшие пожелания, Хемингуэй».

Но и на этот раз последовал запрет.

В начале 63-го года главный редактор «Известий» Аджубей (зять Хрущева) пытался напечатать главу в «Неделе». Это не удалось и ему. И лишь летом 63-го года — после совещания европейских писателей в Ленинграде — в «Литгазете» были напечатаны заключительные страницы романа. Тогда же готовилось издание книги. И моя статья «О революции и любви, о жизни и смерти» (к выходу русского издания «По ком звонит колокол») была опубликована в январском номере журнала «Звезда» за 64-й год. И снова Долорес Ибаррури и тогдашний генеральный секретарь испанской компартии Листер добились запрещения книги. Несколько месяцев спустя цензура изъяла мою статью, опубликованную раньше в журнале, из моего сборника «Потомки Гекльберри Финна».

Только в 1968 году в третьем томе 4-томного собрания сочинений был, наконец, опубликован роман «По ком звонит колокол», хотя и с купюрами. Видимо, публикация «Колокола» не случайно совпала с пражской весной, когда снова ожили надежды на «социализм с человеческим лицом» и снова казались реальными идеалы, близкие тем, за которые сражался Роберт Джордан.

«Меня и моих друзей в середине пятидесятых, после XX съезда прежде всего поражали картины бюрократического перерождения революции. Тогда эту книгу многие русские интеллигенты прочитали как художественное воплощение того, о чем говорили, спорили едва ли не все мы: о средствах и цели, о цене политической борьбы и победы, о преступлениях и о лжи, о нашем стыде и нашем раскаянии, о тиранах и маньяках, вырастающих из вчерашних революционеров».

Начиная сознавать, что мы были в плену лживой, бесчеловечной идеологии, что мы долго были обманутыми и обманывали сами, мы судорожно искали новой идеологии, иной системы верований, необходимо включающей нрав-

ственные начала, правдивость и человечность. В пору этого острого, мучительного кризиса многие из нас и открывали роман Хемингуэя — не самый ли русский иностранный роман двадцатого века?»*

Л. «Маленький принц» Сент-Экзюпери был опубликован в 1959 году, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера — в 1960 году. Обе книги стали для нас не только литературными событиями.

Советским читателям долго предписывали строжайшую литературную диету. От писателей требовали иллюстрировать партийные представления об истории и современности, наставлять, поучать, разъяснять «правильные мысли». Герои советской беллетристики должны были быть без изъянов, своевременно преодолевать случайные колебания и сомнения, лучше всего их вовсе не испытывать; должны быть бесстрашными и послушными, образцовыми сыновьями, дочерьми, мужьями, женами, лучшими солдатами, лучшими рабочими и т. д.

И главное, ни герой и ни автор не должны были ни на мгновение забывать о великих целях, задачах.

А маленький принц живет на маленькой планете, растит, обихаживает, поливает одну-единственную розу, не помышляет ни о каких подвигах, не побеждает никаких врагов и просто не знает, что такое зло. Но зато он умеет верно любить и дружить и чувствует ответственность за каждое существо, которое «приручил» своей любовью. Он жалеет не только людей, но и животных, и растения. Создателем этого сказочного *не-героя* был настоящий герой-летчик, испытывавший новые самолеты, прокладывавший новые трассы в неизведанных краях, летчик-испытатель и летчик-боец, сражавшийся против фашизма и погибший в 1943 году.

Потом были опубликованы его книги «Ночной полет», «Южный почтовый», «Земля людей» («Планета людей»).

Однако и в тех повестях, рассказах и очерках Сент-Экзюпери, которые посвящены непосредственно его крылатому призванию, описаны не подвиги, не победы, а трудное ремесло, будничные невзгоды, неудачи, сомнения, просчеты. Автор — герой этих книг — в противоположность бумажным персонажам советских лауреатов, но и в отличие от романтических героев Джека Лондона, Хемингуэя представал

* Орлова Р. Хемингуэй в России длиною в полстолетия. Ардис, 1985.

скорее потомком Гамлета, похожим на чеховского интеллигента. И душевно родственен ему Холден Колфилд, неказистый антигерой Сэлинджера — школьник, сбежавший на три дня в Нью-Йорк, беспомощный юноша, одинокий, затерявшийся в огромном городе, которого он боится. Его болезненно ранит любое столкновение с ложью, грубостью, самоуверенным своекорыстием. Его приводит в отчаяние его собственное бессилие противостоять злу. Но вопреки всему, он хотел бы помогать тем, кто еще слабее, чем он, оберегать детей, играющих над пропастью во ржи... Он просто не может примириться с общепринятым лицемерием, с «показухой», тоскует по настоящей любви, по настоящей дружбе.

Маленький принц и Холден Колфилд внесли в нашу жизнь новое дыхание, вернее, помогли пробиться наружу тому живому дыханию человечности, простой доброты и простой справедливости, которые извечно жили в русской словесности и живут даже в подавленных, изуродованных человеческих душах.

Книги Сент-Экзюпери и Сэлинджера нелегко пробились сквозь железный занавес. Опубликовать «Над пропастью во ржи» редакция «Иностранной литературы» решилась только с послесловием известной советской писательницы Веры Пановой. И когда она уже написала, от нее потребовали дополнительно вставить хотя бы несколько фраз, осуждающих аморальность героя и авторскую склонность к декадансу*.

Такие «пропуска» еще долго были необходимы для того, чтобы напечатать в журнале или издать книгой произведения зарубежных писателей, такую «цензурно-таможенную пошлину» приходилось платить многим нашим коллегам и нам.

На первых порах и сами авторы предисловий, послесловий, врезок и комментариев обычно верили в свои рассуждения об «известной ограниченности», «внутренних противоречиях мировоззрения», «некоторых ошибочных представлениях» и т. д. писателей, которых они полюбили и хотели ввести в русскую литературную жизнь. Именно так поступали и мы, когда писали о Сарояне, Ремарке, Хемингуэе, Фолкнере, Кафке, Деблине, Ванчуре и др. Постепенно мы и многие наши коллеги освобождались от дурного на-

* Подробно об этом рассказано в статье Р. Орловой «История одного послесловия». (СССР. Внутренние противоречия. 1985. № 13).

следства марксистского критического всезнайства, от привычки уступать редакторам. И тогда началось и стало углубляться расслоение: одни продолжали, скрипя зубами, платить пошлину, другие либо отказывались участвовать в таких изданиях, либо все же добивались изданий без идеологических пошлин. Нам это стало удаваться. Однако вскоре наши работы вообще перестали публиковать.

А наши молодые коллеги и доньне расширяют это освобожденное пространство.

* * *

Франц Кафка еще и в первые оттепельные годы поминался только в составе неизменной «тройки» декадентов: Джойс, Кафка, Пруст.

Весной 1956 года на совещании критиков и переводчиков в Гослитиздате обсуждался долговременный план издания зарубежных книг. В числе нескольких немецких, американских, чешских и других авторов, которых я предлагал издать, я назвал Кафку, которого сам прочел впервые. Несколько недель читал подряд все его книги, ставшие доступными в Библиотеке иностранной литературы. Тогдашний заместитель главного редактора Борис Сучков сказал: «Не понимаю, как тебе могло прийти в голову такое странное предложение. Все сочинения Кафки насквозь декадентны, мизантропичны, морбидны, безнадежно пессимистические описания изуродованной, искаженной действительности...»

В те годы некоторые советские писатели начали ездить за границу. И, возвращаясь, сетовали: «Везде говорят и пишут о Кафке, а мы не знаем, кто он такой, когда жил, что писал». Виктор Некрасов упомянул об этом в очерке «Первое знакомство», который появился в «Новом мире» в 1958 году.

В 1959 году «Иностранная литература» опубликовала статью Д. Затонского о творчестве Кафки; и хотя в ней было немало «пошлинных оговорок», автор все же стремился и рассказать о замечательном писателе.

Мою статью о Кафке, написанную в 57—58-м годах, не напечатал ни один журнал, но в 1960 году ее удалось включить в сборник «Сердце всегда слева».

В октябре 1962 года Генрих Бёлль впервые приехал в Москву. Отвечая на вопросы в больших аудиториях в университете, в Союзе писателей, в библиотеке, он неизменно

называл Кафку самым значительным немецким писателем XX века.

В мае 1963 года в Чехословакии состоялась теоретическая конференция критиков-марксистов, посвященная творчеству Кафки. Советских участников не было, но приехали известные литературоведы — Роже Гароди, Эдуард Гольдштюкер (организатор), Эрнст Фишер, Пауль Рейман, Роман Карст и другие — тогда все они еще были и видными деятелями компартий Чехословакии, Польши, Франции, Австрии.

По-разному аргументируя, они соглашались в том, что творчество Кафки — одно из самых значительных явлений мировой литературы и духовной жизни XX века, что оно пронизано человечностью.

Журналу «Иностранная литература» пришлось опубликовать статью об этой конференции. Начинаясь обычным набором «антимодернистских» штампов, она не могла скрыть того, что творчество Кафки становится широко известным уже и в социалистических странах, и того, что его высоко ценят критики, тогда еще числившиеся у нас авторитетами.

Летом 1963 года Европейское Общество писателей созвало в Ленинграде международную конференцию по проблемам современного романа. И там опять Сартр, Саррот, Энценсбергер, Рихтер, Вигорелли говорили о несправедливости и бессмысленности зачисления в декаденты Джойса, Пруста и Кафки. Им, разумеется, пытались «давать отпор».

Сартр сказал: «Здесь я убедился, что те, кто называет Кафку декадентом, вообще не читали ничего им написанного».

В январе 1964 года в «Иностранной литературе» были опубликованы рассказы Кафки «Превращение» и «В штрафной колонии».

В том же году в издательстве был выпущен однотомник рассказов и роман «Процесс». Пропускное предисловие к нему написал Б. Сучков, который восемь лет назад считал это невыносимым.

Так, сорок лет спустя после смерти Кафки его произведения добрались, наконец, и до Москвы.

Летом 1956 года в сравнительно большой аудитории обсуждалась статья «Литература США» для нового издания Советской энциклопедии. Мы оба возражали против некоторых догматических, доктринерских формулировок в этой статье, в частности против того, что Фолкнеру было уделено незаслуженно мало места — неизмеримо меньше, чем Говарду Фасту, тогда еще не вышедшему из компартии, — и оценка Фолкнера была безоговорочно отрицательной — «расист, декадент, реакционер». Автор статьи, известный американист, решительно отверг наши возражения. Он кричал: «Ведь вы же сами не осмелитесь при молодых людях пересказать содержание мерзкой книжки «Святылище»?!» (Несколько лет спустя, вспоминая об этом, он сказал: «Вы тогда были правы».) В третьем номере «Иностранной литературы» за 1958 год мы опубликовали большую статью о Фолкнере: «Мифы и правда американского Юга». Мы оба, по существу, не знали тогда лучшего способа исследовать литературу, чем тот, который находили в письмах Маркса и Энгельса о Шекспире и Бальзаке, в статьях Ленина о Толстом, в работах Плеханова, Луначарского, Лукача. И у Фолкнера, чью мощь художника мы только начинали ощущать часто вопреки своим вкусам, давно сложившимся, искали мы прежде всего отражение социальной действительности, старались понять, насколько правдиво описывает он тот мир, в котором живет.

Рассмотрев три романа о Сноупсах («Деревушка», «Город» и «Обособник»), мы доказывали, что он прежде всего честный художник, что он изображает, как проникновение капитализма на американский Юг не только разоряет, но и душевно калечит людей, разрушает традиционные патриархальные устои, семейные связи. В противоположность неизменно отрицательным (впрочем, редким) отзывам о Фолкнере, которые появлялись в нашей печати и литературоведческих работах, мы старались показать, что автор — настоящий южанин, потомок плантаторов, верный традициям, но вовсе не расист, а главное, замечательный художник.

И хотя его язык, вся структура повествования необычны, резко отличаются от реалистической прозы всех англоязычных авторов, но его несправедливо считать декадентом, разрушителем литературных традиций.

Эту статью сразу же обругали в «Литгазете», а Р. Самарин в журнале «Коммунист» обвинил нас в защите расизма.

В 1961 году в «Иностранной литературе» был опубликован впервые роман Фолкнера «Особняк». Публикации удалось добиться потому, что это была к тому времени последняя книга Фолкнера, но еще и с помощью политической «тактики» преодоления цензуры. Защитники подчеркивали, что в этом романе с искренней симпатией изображена коммунистка Линда Сноупс, участница Гражданской войны в Испании.

В последующие два десятилетия по-русски появились многие рассказы и речи, статьи Фолкнера и все его романы, кроме «Святылища». Он не стал так популярен, как Ремарк или Хемингуэй, не завладевал так благотворно читательскими душами, как Генрих Бёлль, Сэлинджер, Сент-Экзюпери; однако его влияние на литераторов становилось с каждым годом все более глубоким.

Р. И. Берлин вспоминает слова Анны Ахматовой: «Кафка писал обо мне и для меня». Эти слова могли повторить многие русские читатели. Я к ним не принадлежала. Моими писателями были Хемингуэй, Сэлинджер, Бёлль, но не Кафка, не Джойс, не Фолкнер. Защищать их от доктринеров, доказывать необходимость их переводов, изданий я начала задолго до того, как стала их настоящей читательницей.

Борис Пастернак говорил в 1959 году журналистке Ольге Карлейль: «Я восхищаюсь Хемингуэем, но предпочитаю те книги Фолкнера, которые прочитал».

Василий Гроссман писал в 1959 году своему другу Семену Липкину:

«Прочел рассказы Фолкнера... Сильный, талантливый писатель, манерный несколько, но манера служит серьезному делу, человек думает всерьез о жизни, прием существует не ради приема. Отлично изображает, ярко, лаконично. Талант».

В 1974 году я обратилась ко многим писателям с вопросом: «Какое место в вашей жизни имела американская литература?»

Многие из отвечавших писали о Фолкнере.

Лев Аннинский

«Из литературных магнитов нашего времени — с Хемингуэем — внутренняя полемика, а перед Фолкнером — полное преклонение».

Василий Белов

«Фолкнера считаю гениальным и пока еще никем не превзойденным писателем не только в Америке, но и в мире».

Фазиль Искандер

«Как и многие мои сверстники... я в свое время увлекался Хемингуэем, отчасти Стейнбеком, Сэлинджером, Апдайком и, наконец, великолепным, могучим Фолкнером, интерес к которому никак не затмевает для меня других писателей».

Юлий Крелин

«Последние пятнадцать лет недостижимым для всех во мне остается Фолкнер.

Люблю всего — от начала до конца. Даже когда не понимаю. А не понимаю относительно часто. Все равно радуюсь и читаю снова. Может, пойму. Радуюсь просто оттого, что читаю. Брюхом радуюсь, не головой».

Владимир Корнилов

«У. Фолкнер. Нравится все больше и больше и, видимо, теперь уже навсегда. Безусловно, самый сильный американский, да и не только, писатель».

Л. Пантелеев

«Фолкнера считаю крупнейшим художником нашего времени. Знакомство с его йокнапатофской трилогией было ярким событием, праздником. Чту этого мастера, перечитываю, радуюсь появлению каждой новой фолкнеровской публикации...»

Булат Окуджава

«Прошел через увлечение О'Генри, Лондоном, Драйзером, Хемингуэем, Апдайком. Они все очень основательно во мне побушевали, но со временем потускнели, остались Сетон-Томпсон, Фолкнер, Вулф».

Дато Давлианидзе

«Когда я начал поглощать одну за другой книги Фолкнера, я не мог себе представить, что смогу найти в них какой-нибудь изъян. Как при встрече с Достоевским — окунаешься без оглядки, восторг, один восторг, падаешь ниц перед творцом!»

Фолкнеру удалось превратить свои писательские недостатки в технику построения романа. Что касается отвлеченных знаний, то он ничего не знает толком, но пишет как бог о запавших в память ощущениях, на которых держится созданный им мир. (Когда-нибудь будет составлена карта этих ощущений, которая будет дополнять карту Йокна-

патофы.) Он бывает скован и неинтересен, как Гэвин Стивенс при встрече с Юлой Уорнер, когда она пытается совратить его. Фолкнер не дал Музе совратить себя. Словно протестантский св. Антоний, он переборол искушение. И несмотря на это, бессмертны страницы из «Света в августе», «Осквернителя праха», «Особняка», названных выше произведений и других, мне еще не знакомых».

Михаил Роцин

«Открытие Фолкнера по-настоящему потрясло меня. По-моему, это один из величайших писателей на земле!.. Мне кажется, что в судьбе любого писателя открытие Фолкнера должно сыграть свою счастливую и сокрушительную роль. Его книги, его мир, его герои, его личность и его Слово, его форма — все открытие, все прекрасно, все поднято на ту ступень совершенства, когда уже почти неважно, о чем и про что, а есть одна радость и зависть от высоты работы.

Я не буду распространяться, я скажу лишь главное, что кажется мне главным в понятии «Фолкнер»: я думаю, что это единственный пока на свете писатель, который в чем-то пошел дальше Толстого. «В чем-то» — это, безусловно, в исследовании человека. Говорят, что это сделал Достоевский. Не знаю, у меня сложные отношения с Достоевским, возможно, это и так, но, по-моему, это сделал Фолкнер, или, если это так, то Фолкнер пошел дальше Достоевского. Может быть, конечно, дело в том, что Фолкнер — писатель абсолютно *нашего* времени, и потому он мне ближе и интереснее, но факт в том, что он мне ближе и интереснее...»

Бенедикт Сарнов

«Хемингуэй долго оставался моей главной (если не единственной) любовью. И только лет десять тому назад обаяние его прозы стало для меня немного тускнеть. Виной тому — многое. Однако немалая роль тут принадлежит другому великому американцу, сравнительно недавно вошедшему в мою жизнь,— Фолкнеру».

Если бы нам, когда мы начинали писать о Фолкнере в пятьдесят седьмом году, сказали, как именно будут восприниматься русские переводы его романов через 20 лет, мы сочли бы это фантастикой.

Самый американский из американских авторов этого века, откровенно, самоуверенно провинциальный, художник, ограничивший свой мир одним южным графством — «моей почтовой маркой», — стал так нужен множеству наших писателей. И, что было для нас совершенно неожидан-

ным и на первых порах казалось парадоксальным, — его книги вдохновляют идеологов нового почвенничества, и великорусского, и грузинского, и армянского...

Неумолимо правдивый художник открыл в маленькой Йокнапатофе темные силы, движущие мыслями и страстями людей, которые способны уничтожить и одного человека, и весь мир. Эти силы под его пером становились и творческими, созидая художественные образы, покорявшие читателей во всем мире, и вместе с тем они разрушали многовековые иллюзии просветителей и проповедников свободы, равенства и братства. Разрушали надежды на прогресс цивилизации и культуры. Неразрушимой оставалась только почва. Прах, из которого мы возникаем и в котором истлеваем, из которого растут и все земные плоды, и простейшие связи: «Мы — Джефферсон».

* * *

В шестидесятые годы в Москву приезжали многие из тех иностранных авторов, о которых мы писали и говорили. Приезжали и писатели, публицисты, журналисты, о которых мы узнавали впервые.

Некоторые из них стали нам друзьями, многие оставались добрыми знакомыми, иных мы потеряли из виду. Они помогали нам в Москве открывать Запад; их дружескую поддержку, о чем иные из них, вероятно, и сами не знают, мы ощущаем и здесь.

Особое значение для нас приобрела дружба и сотрудничество с Эллендеей и Карлом Профферами.

Мы познакомились в 1969 году на кухне у Надежды Яковлевны Мандельштам — они тогда уже были ее близкими друзьями. Два года спустя родился АРДИС — так назвал Набоков усадьбу в романе «Ада», действие которого происходит в фантастической стране АМЕРАША — то есть Америкороссия.

Эта воображенная страна стала реальной жизнью Эллендеи и Карла Профферов. В Анн-Арборе, в сердцевине Америки, возник новый очаг русской культуры, русского слова.

Карл родился в 1938 году, был что ни на есть настоящим американцем. Внук фермера, сын рабочего, ставшего начальником цеха автомобильного завода, Карл выбрал тот университет в Мичигане и тот факультет — юридический,

где была прославленная баскетбольная команда. Но, случайно попав на занятия профессора слависта Шевченко, он пришел снова, стал изучать русский язык. Сначала ему показался интересным необычайный алфавит. Потом он все яснее осознавал силу русского слова.

Он стал доцентом, защитил диссертацию о Гоголе. Встретил молодую славистку, веселую, умную, дерзкую красавицу Эллендею. Они полюбили друг друга. Эллендея воспитывала трех пасынков, преподавала, писала диссертацию о Булгакове, а позже и развлекательные романы под псевдонимом: АРДИСу нужны были деньги.

Первым их изданием был репринт сборника Осипа Мандельштама «Камень». Потом они выпускали факсимильные издания сборников Ахматовой, Цветаевой, Блока, Маяковского, давно ставшие у нас библиографическими редкостями. Они бережно воскрешали прошлое и жадно охотились и в СССР, и в русском зарубежье за произведениями современников, за рукописями, рисунками, фотографиями.

Их полюбил сам неприступный Владимир Набоков. Ему нравилась работа Карла «Ключи к „Лолите“», — литературоведческое исследование, одобренное шутками и мистификациями в стиле самого автора «Лолиты». Именно АРДИСу он предоставил право на издание всех своих произведений на русском языке.

Они дружили с Еленой Сергеевной Булгаковой, начали издавать первое полное собрание сочинений Булгакова.

Лиля Брик и Василий Катанян дарили им ценнейшие письма, рисунки и рукописи из архива Маяковского.

С ними сблизилась многие литераторы Москвы и Ленинграда. Карл был верным, надежным другом. АРДИС издал поэтические сборники Иосифа Бродского, первые романы Саши Соколова, все запрещенные на родине книги Василия Аксенова.

Профферы ежегодно приезжали в Москву, редко вдвоем, чаще сам-пять, сам-шесть. Привозили детей, сотрудников, друзей. И каждый их приезд становился нашим общим праздником. Но они не только веселились с нами, они разделяли многие наши беды и горести. С 1979 года им отказывали в визе.

Именно они стали первыми зарубежными издателями наших книг.

Летом 1982 года у Карла обнаружили рак. Он мужественно сражался с болезнью. Опубликовал в «Вашингтон

пост» статью о том, как лечиться. Получал сотни писем и говорил: «Когда-то я мечтал стать знаменитым баскетболистом, потом хотел быть знаменитым славистом, критиком, издателем, а стал знаменитым больным».

Он прожил короткую, но очень плодотворную жизнь. Благодаря ему живут сотни русских книг.

Карл Проффер скончался в 1984 году, а маленькая карета — знак АРДИСа — катится дальше.

Р. Четверть века наши коллеги и мы переводили, комментировали, рекомендовали произведения зарубежных писателей, добивались их издания.

Тогда, в пору ранней оттепели, человек, который не хотел читать книг Ремарка или Хемингуэя или ругал их, уже считался отъявленным ретроградом.

Со временем представилась возможность выбирать — и отнюдь не так упрощенно, черно-бело, как прежде; не между «прогрессом» и «реакцией». Сегодня у одного читателя на ночном столике лежат книги Кавабаты, другой бросается к Маркесу, третий погружается в Фолкнера. А есть и такие, кто продолжает читать книги Хемингуэя и Бёлля.

Вопреки страхам цензоров и охранителей, оказалось, что книги даже самых «опасных» авторов не поколебали советского государства. И вопреки нашим надеждам, не оздоровили решающим образом нашу жизнь. Однако изменения происходили, и немалые. Изменения в мыслях, в душах.

Л. Сегодня плоды нашего возвращения к мировой литературе очевидны в произведениях советских писателей, освоивших опыт новооткрытых зарубежных авторов.

Однако в прорывах железного занавеса возникали еще и двусторонние сквозняки. Они приносили не только опыт, идеи, открытия художников Запада, но и тех русских писателей, поэтов, мыслителей, которые десятилетиями были отделены от своих читателей эмиграцией и цензурными запретами.

К нам возвращались наши собственные сокровища, в том числе и скрытые вблизи от нас — поэзия Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Волошина, живопись Филонова, Шагала, Кандинского, мысли Бахтина, Бердяева, Флоренского, Федотова...

Рукописи русских авторов, попадая на Запад из тайных ящиков письменных столов или из самиздата, возвращались книгами.

Профферы и многие другие американцы, французы, немцы, англичане везли в Москву и Ленинград чемоданы русских книг — и впервые изданных, и таких, которые полвека были для нас недоступны, запретны.

А за рубежом книги новых писателей России не только обогащали представления иностранных читателей о нашей стране, но и влияли на их мировосприятие.

Железный занавес пока еще существует, несмотря на все новые прорехи и бреши. Его мрачные тени все еще затемняют некоторые области духовной жизни и на Востоке и на Западе. Однако мы надеемся, что прорывов уже не заклепать, не залатать.

Гёте был прав:

Запад и Восток.

Теперь уже нерасторжимы.

6. НАШ ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Моя муза — немка,
Она меня не защищает.
Лишь когда я купаюсь в крови дракона,
Она кладет мне руку на сердце,
И поэтому я раним.

Г. Бёлль. Моя муза

На земле немало хороших писателей. Много и воистину нравственных и деятельно милосердных людей. Но такое, как у Бёлля, сочетание художественного слова и братского человеколюбия мы можем сравнить разве что с тем, что знаем о Льве Толстом и Владимире Короленко.

Из некролога

В 1956 году были впервые опубликованы по-русски рассказы Генриха Бёлля в журнале «Новый мир».

В 1957 году в мартовском номере журнала «Советская литература» была опубликована первая статья Л. о Генрихе Бёлле «Писатель ищет и спрашивает». Она была переведена на немецкий язык, стала предисловием к первой книге Бёлля, изданной по-русски, — «И не сказал ни единого слова».

В сентябре 1962 года Генрих Бёлль приехал в Москву.

В 1966 году в Москве мы сказали ему, что вдвоем хотим написать книгу «Наш Генрих Бёлль. Жизнь и творчество». Он возразил решительно: «Напишете, когда я умру. Пока писатель жив, он еще незавершен».

Через полгода после смерти Генриха Бёлля мы заканчивали работу над этой книгой наших общих воспомина-

ний. И нам все еще трудно, почти невозможно писать о нем.

Макс Фриш, толкуя первую заповедь — «Не сотвори себе кумира», — справедливо говорит, что законченный образ человека можно создать только бесстрастно, отстраненно, если еще (или уже) не любишь его или если пишешь о мертвом.

Генрих Бёлль для нас не умер, и мы любим его еще сильнее, чем раньше, сильнее от горького сознания, что не можем больше разговаривать, спрашивать, отвечать, вместе смеяться, вместе молчать... Но эта книга не может существовать без Генриха Бёлля. И мы отобрали отрывки из наших дневников — свидетельства того, кем он был для нас и для мира, в котором мы жили.

Р. Генрих Бёлль начался для меня не так, как обычно начинались все писатели, — чтением. Его книги я услышала. Весной 1955 года Лев, вернувшийся из лагеря, читал и пересказывал мне множество немецких романов. В памяти сердца остался только Бёлль: «И не сказал ни единого слова», «Поезд пришел вовремя», «Где ты был, Адам?».

Еще в таком «фольклорном» переложении я ощутила — мой писатель.

В 1957 году я открыла только что переведенный роман «И не сказал ни единого слова». Я жила этой книгой, читала дома, в метро, на работе; не могла ничего делать, ни с кем разговаривать, пока не кончила. А едва кончив, начала снова.

Тогдашней Германии я не знала. И не думаю, чтобы узнала. Чтение Бёлля было чем-то совсем иным, вовсе не знакомством с неведомой страной.

Пришел писатель, который говорил со мной, который спрашивал о том, о чем и мне необходимо было спросить. Он помогал понять нечто важное, быть может, самое важное для моей, для нашей жизни.

Из дневников Л.

25 сентября 1962. Встреча на аэродроме. Делегация писателей ФРГ. Бёлль, Хагельштанге, Герлах. Бёлль похож и не похож на снимки. Старше, печальнее. Он медлителен, немногословен. Смотрит внимательно, серьезно. Когда улыбается, глаза светлеют, иногда вдруг — мальчишеское лукавство. Больше слушает, чем говорит. Спрашивает осторожно, подчас кажется, что недоверчиво.

От похвал отстраняется иронически (понимаю, мол, стараетесь улещивать).

Отвезли в гостиницу «Пекин». Прогулка в машине по городу. Площадка напротив университета,— смотрит на Москву.

Бёлль спрашивает, сколько студентов, зачем такое высокое здание. В Америке строят небоскребы, потому что в городах очень дорого стоит земля. Зачем нужны небоскребы в Москве? Пытаюсь объяснить что-то о силуэте города, о символических сооружениях. Бёлль слушает молча, явно не согласен. Хагельштанге скептически переспрашивает.

Ужин в гостинице. Малый зал ресторана. Официант из среднего зала, немолодой: «Здесь должен быть немецкий писатель Генрих Бёлль?» Он отворачивает полу не слишком чистого халата, достает помятую книжку «Дом без хозяина». «Простите, пожалуйста, прошу надписать. Эта книжка у всей нашей семьи, можно сказать, любимая».

Генрих Бёлль надписывает.

«Ну, это, пожалуй, вы не могли инсценировать...»

Из дневников Р.

29 сентября. В университете. Читают Бёлль, Хагельштанге, Герлах. Комаудитория переполнена. Почти все вопросы обращены к Бёллю. Большинства слов не понимаю, но глуховато-внятный голос узнаю — по книгам.

Ответы Генриха Бёлля:

1. Самый великий писатель немецкого языка в XX веке — Франц Кафка.

2. Больше люблю писать рассказы, чем романы.

3. Стихи писал в юности.

4. Знаю тех современных русских писателей, которых только что назвал Хагельштанге: Блок, Маяковский, Горький, Бабель, Паустовский, Евтушенко... Последнее, что прочел,— «Капля росы» Солоухина. Очень понравилось.

5. За литературой ГДР слежу внимательно. Когда не могу сказать хорошего, стараюсь промолчать. Лучше всего они пишут о давнем прошлом.

6. Сартр оказал большое влияние на немецких литераторов в первые послевоенные годы. Потом его влияние слабело, а влияние Камю усиливалось, он куда более значительный писатель.

7. Все романы Достоевского я прочитал в шестнадцать лет. Когда писатель начинает работать, на него влияет каждая страстно прочтенная книга. Но само понятие «влия-

ние» — сложное. Можно сказать, что на меня влияли и Грин, и Сэлинджер, хотя они совсем разные.

8. Вот кто-то написал, что я в «Ирландском дневнике» ничего не предлагаю бедным ирландцам, не советую им, как жить. Но сейчас там уже не такая бедность. Моя книга написана семь лет тому назад. Недавно я был там опять. Людям там стало легче жить, хотя, конечно, страна очень бедная.

9. Близок ли мне католицизм Грина? Мы оба католики. Это и многое значит, но и не так много. Больше всего я ценю его как художника. Мировоззрение не так уж важно. Писателя нельзя ни хвалить, ни бранить за мировоззрение. Главное, чтобы он был художником.

10. С Борхертом я знаком не был.

11. Нас удивило, что здесь так популярен Ремарк. Для нас его книги — история. До тридцать третьего года был очень популярен роман «На Западном фронте без перемен». Нацисты его сжигали в мае тридцать третьего года. Мне роман нравится. Это добротная проза. Но с ремарковской манерой письма у меня нет связи и нет органа восприятия его стиля. Знаю, что он очень хорошо вел себя в эмиграции. Он был богаче, чем большинство эмигрантов, и многим помогал, но скрытно даже для них.

12. Роман Дудинцева мне было интересно читать. Но я хотел бы у вас узнать, насколько он реалистичен, насколько близок к действительности.

Из дневников Л.

29 сентября. В Союзе писателей. Малый зал набит, многие стоят вдоль стен. Председательствует Кожевников, «секундантом» — Сучков. За боковыми столиками сели так, чтобы Стеженский переводил Хагельштанге, Инга — Герлаху, а я — Бёллю. Кожевников тянул жвачку: «...мир... реализм... мы любим вас... полюбите нас... первая делегация западнонемецких писателей во главе с известным, «прославленным»...»

Бёлль сразу решительно: «Я не глава, и никто не глава. Мы — трое коллег. У нас никакой иерархии. Мы рады, что приехали, мы рады, что можем разговаривать с русскими, советскими коллегами. Надеюсь, что у нас больше общего, чем разделяющего».

Кожевников задает первый вопрос: «Как решается проблема времени в современном немецком романе и что думает по этому поводу Бёлль».

— У меня нет своей теории времени, только опыт. Мне важнее всего то, что познал сам. Но когда пишу, мне всегда очень важно, как все соотносится по времени: о чем пишу — о мгновении или о веке. В каждом романе это по-другому. Я разрабатываю схемы, даже черчу таблицы. Бывает, что пытаюсь все предусмотреть, построить, но часто получается бессознательно, само собой, и понимаю уже потом.

2. Хайдеггера, к сожалению, не читал.

3. С Борхертом меня роднит общность настроений первых послевоенных лет.

4. Писать начал в семнадцать лет, но ничего не печатал. А когда был солдатом, написал две тысячи писем жене. Это и была моя главная литературная школа.

5. Кафка — великий писатель, а Фаллада — хороший писатель. Масштабы несравнимы.

6. Трудно сказать, кого я считаю своими учителями. Молодой писатель иногда приходит в отчаяние от того, что все уже написано.

7. Русскую литературу я люблю, кажется, знаю. Читал Достоевского, Толстого, Пушкина, Лескова, Чехова, Горького, Гончарова. Особенно люблю Гоголя — его многообразие, богатство, силу его дыхания.

Знаю стихи Есенина, Блока, Маяковского. Здесь меня поразил памятник Маяковскому напротив гостиницы. Он такой уверенный в себе и в будущем. А ведь у него были мучительные сомнения. И — самоубийство.

Из современников читал Шолохова. Из классиков первого вашего периода мне ближе всех Бабель. Мне кажется, что ему лучше всех удалось изобразить то сложное, бурное время. «Автобиография» Пастернака дает пищу для размышлений. Особенно то, как он пишет о Маяковском, о его смерти.

8. (О Ремарке сказал то же, что в университете).

9. — Как я отношусь к человечеству? Об этом я написал пять романов. И мне кажется, что это должно быть само собой понятно. Хотя, разумеется, в романах и кое-что прячешь.

Записка Бёллю: «Где вы были во время войны?»

Кожевников «захлопал крыльями»: «Господин Бёльль, не надо отвечать, у нас тут не встреча ветеранов. Это бестактный вопрос. Мы, писатели, собрались говорить о творческом опыте, о задачах литературы». Бёльль густо краснеет. «Нет, я буду отвечать. Вы расхваливали мои сочинения. Но если вы их читали, как же вы можете предполагать, что

я не отвечу. Ведь именно об этом я столько писал. Я был солдатом шесть лет. Правда, я дослужился только до ефрейтора и мог бы сослаться на то, что был телефонистом и моя винтовка оставалась в обозе, и я вспоминал о ней только тогда, когда получал от фельдфебеля наряды за то, что она не чищена. Но это не оправдание. Я был солдатом той армии, которая напала на Польшу, на Голландию, на Бельгию и на вашу страну. Я как немецкий солдат входил в Киев, в Одессу, в Крым. И я сознаю личную ответственность за все преступления гитлеровского вермахта. Из сознания этой ответственности я и пишу».

Новая записка.

«Я был пулеметчиком на тех фронтах, где были вы. И много стрелял. Очень рад, что я не попал в вас».

Из дневника Р. (продолжение).

— Сэлинджера я очень люблю. Моя жена хорошо знает английский. Она перевела половину его рассказов. И мы вместе переводили заново «Над пропастью во ржи».

В первые послевоенные годы многие испытали влияние Хемингуэя. Но, по-моему, самый значительный из англоязычных писателей — Фолкнер... И Джойс, и Хаксли — очень хорошие писатели. Но Фолкнер — самый значительный.

— Отражает ли литература ФРГ действительность?

— Я не представляю себе, чтобы все мои романы отражали все проблемы моей страны. Они могут отразить только ту часть, которая определяется моим отношением к моей стране и ко всему миру. Было бы неверно судить по моим книгам о жизни в Федеративной Республике. У меня своя оптика. У каждого писателя многое выпадает из поля зрения. Писателем становишься именно благодаря известной ограниченности, когда у тебя есть свой участок действительности, о котором хочешь и можешь писать. А чтобы судить о целом, надо сопоставлять многие и разные книги. Жизнь в Федеративной Республике очень сложная, у нас тысячи проблем, о многих вы и представления не имеете. И, может быть, тот, кто писал эту записку, знает то, чего я не знаю.

— Каковы настроения молодежи? Есть ли опасность возрождения фашизма?

— Эти вопросы меня тоже волнуют. Когда началась война, мне было двадцать два года. Ни у меня, ни у кого из моих ровесников не было никакого патриотического воодушевления. Даже у парней из гитлерюгенда. Но война началась,

несмотря на это. Потом уже многие начали воодушевляться. После побед, завоеваний. Эти воспоминания сегодня вызывают горькие мысли. Сегодня у молодых людей преобладает скорее страх перед опасностью войны. Большинство молодых людей, которых я знаю, — серьезные, вдумчивые, но им трудно понимать немецкую историю последних тридцати лет. Их этому не учат. И преобладают настроения беспомощности.

Кожевников и Сучков попеременно говорили о напряженности международного положения, об угрозе реваншизма, о миролюбивой политике СССР и т. д.

Бёлль: «Я здесь постоянно слышу «реваншизм, реваншизм», но у вас совершенно неправильное представление о том, что у нас происходит. Говорить об угрозе реваншизма неверно. Существует международная напряженность. Существует взаимное недоверие. Но мы-то, писатели, должны знать, что в этом не может быть виновата одна сторона. Что до прошлой, до гитлеровской войны, — там все ясно, кто виноват. Но сегодня я считал бы нашу беседу бессмысленной, если бы не сказал, что у вас превратные представления о Федеративной Республике. Вина за напряженность не только на стороне Запада.

Я уже слышал от вас, что у вашей молодежи после двадцатого съезда партии возникли серьезные сомнения, как молодые люди допрашивали отцов, что и почему те делали в прошлом. Подобное бывало и у нас. Я уверен, что в СССР нет ни одного человека, который хотел бы войны. Мы знаем, что у вас погибло двадцать миллионов человек. Но и у нас там ни один нормальный человек не может хотеть войны. Разногласия между государствами нельзя малевать черно-белой краской.

Из дневников Л.

30 сентября. Воскресенье. Всех троих повезли в Ясную Поляну.

Накануне Генрих сказал: «Завтра я должен хоть на полчаса пойти в церковь. Как ты думаешь, по дороге это возможно?»

Я не сомневался, почти 200 километров. Тула — большой город.

Они вернулись очень поздно. Сегодня утром он встретил меня печально-сердито: «Мы проехали много деревень, городков. Ни одной открытой церкви. Развалины или склады. Ну и похозяйничали вы в своей стране».

(Бёлль, Герлах, Хагельштанге неделю провели в Ленинграде.)

12 октября. В доме Горького на Бронной. Водит молодая, пригожая, хорошо тренированная, бойко говорит по-английски.

Бёлль сумрачен. Задал, кажется, только один вопрос: долго ли здесь жил Горький? Переводчица заметила настроение. Показывая на огромное зеркало в спальне: «Алексей Максимович был очень недоволен, говорил: «Зачем это? Я ведь не балерина...» Он вообще был недоволен роскошью; но это подарок правительства».

Бёлль на улице: «Какой огосударствленный писатель. Он должен был быть очень несчастным».

Бёлль сердился. Ему звонили из посольства. В «Московской правде» сообщили, что он, Бёлль, «глава делегации», полностью одобряет внешнюю политику СССР и ГДР, признает границу на Одере — Нейссе и пр. «Какая глупая ложь. Все ложь. Вчера приходил кто-то из «Правды». Разговаривать я согласился, но сказал, чтобы ничего не публиковали, пока не покажут гранок».

...Молодой репортер из «Правды», развязный, самоуверенный, принес гранки интервью. Переводили Инга и я. Бёлль: «Почему опять «глава делегации», почему только я один? Ведь вы разговаривали и с господином Герлахом и с господином Хагельштанге? И если меня у вас читатели больше знают, это не означает, что вы можете писать неправду!.. Ничего этого я не говорил. Зачем вы придумываете? Я говорил, что я за мир, а не за мирную политику СССР. Я вообще не политик, а политика СССР вызывает у меня почти такие же опасения и сомнения, как и политика США... Я не мог сказать, что в Западной Германии господствует реваншизм и неонацизм. Я сказал, что у нас еще есть, к сожалению, неисправимые позавчерашние, что в головах и в душах некоторых людей сохранилось непреодоленное прошлое, но оно не господствует. И такие люди в меньшинстве. Они мне отвратительны, но и самые глупые не помышляют о реванше. И никто из нас не говорил, что мы одобряем предложения ГДР. Мы говорили, что хотим таких отношений между двумя немецкими государствами, чтобы люди могли беспрепятственно общаться друг с другом, что об этом нужно договариваться. Но я убежден, что руководители ГДР только мешают этому, не меньше, чем наши консерваторы на Западе. Вашу запись я не разрешаю публиковать. Я буду протестовать».

16 октября. Вчера проводили Бёлля. А ведь он первый настоящий пролетарский писатель, которого я узнал. *Пролетарский писатель* — когда-то похвала, почетное звание, а сейчас звучит насмешкой. Но Бёлль видит и войну, и мир глазами художника-пролетария, интеллигента-пролетария. Он добр как человек и художник, поэтому в нем нет той классовой ненависти, которая вызревает на зависти, на обозленности, на комплексах неполноценности. Ему просто отвратительны буржуи-стяжатели, буржуи-вояки, моралисты-ханжи, торгующие Богом, но отвратительны и псевдопролетарии, и псевдосоциалисты, и наши и гедеэровские.

* * *

В 1963 году Бёлль пригласил нас приехать в Кёльн. Этого нам не разрешили, но взамен позволили принять приглашение Берлинского Союза писателей. Мы сообщили о нашей поездке Бёллю.

28 февраля 1964 г. Берлин. Телеграмма от Генриха Бёлля. «Встретимся в Лейпциге на мессе в бюро встреч или у друзей в конвикте, Моцартштрассе, 10.»

Из дневников Л.

4 марта. Лейпциг. Огромное помещение вроде вокзального зала ожидания: диваны, буфетные стойки, киоски. Бюро встреч. Девушка с картотеками, кто кого ожидает. «Это писатель Бёлль? С Запада? Вы, советские, встречаетесь с западными?! Конечно, я знаю его книги, «И не сказал ни единого слова», и по радио слушала. Очень хороший писатель. Пожалуйста, если вы его встретите раньше, чем он ко мне подойдет, приведите его, я очень хочу его видеть». Ждали три часа. Он — первый немец, который так опоздал; пошли на Моцартштрассе, 10. Это иезуитский конвикт — «микромонастырь» с комнатами для приезжих. Две или три квартиры бельэтажа занимает патер Ковальский, не стар, худощав, остролиц. Он литературовед. В его комнате на одной стене распятие, картины, на евангельские сюжеты, на другой — книжные полки до потолка. На полках большие снимки: Брехт, Кафка, Траэль, Камю, Пастернак, Бенн, Толлер. Он писал диссертацию об экспрессионизме. «Почему в Москве так плохо относятся к экспрессионистам, ведь большинство — хорошие геноссен? И наш министр Бехер ведь тоже был экспрессионистом».

Бёлль приехал на машине с младшим сыном Винсен-

том, кареглазым, очень миловидным застенчивым толстяком, и племянником Гильбертом; этот постарше и побойчее.

5 марта. Ужинали в «Ауэрбахкеллер». Сводчатый подвал, деревянные столы. На стенах копии автографов Гёте: стихи, письма, какие-то счета и записки. Венгерское красное вино «Бычья кровь», тяжелое, густое. С нами еще Ганс Омен, журналист из Кёльна.

Бёлль: «Я впервые здесь. Понадобились московские друзья, чтобы я попал в «Ауэрбахкеллер». Впрочем, это не так уж парадоксально. У вас лучше знают Гёте, чем у нас. Никто из моих немецких друзей и знакомых еще не писал о Гёте, а ты уже написал книжку о «Фаусте». Значит, это естественно, что вы нас сюда привели».

Рассказываем ему, как ездили с Эрвином Штриттматером в Веймар: проехали поворот на автобане и добирались потом проселками через маленькие городки и деревни.

Бёлль: «Это вам очень повезло, такие городки и деревни — это и есть настоящая Германия. В Тюрингии осталось больше от настоящей Германии, чем на Западе... У нас война больше разрушила, а потом — экономическое чудо: разрушила модернизация. Разбогатевшие крестьяне сносили прекрасные старинные дома и строили «люкс-коробки» из стекла и бетона».

6 марта. Обедаем с Бёллями в «Интернационале». У входа много полицейских и атлетические парни в штатском. Густая сутолока. Наши паспорта и писательские билеты действуют. Оказывается, в одном из залов обедает Ульбрихт.

* * *

22 июля 1965 г. Приехал Генрих Бёлль с Аннемари и с сыновьями Винсентом и Рене. (Аннемари — милая, круглолицая, славянский облик. Ее девичья фамилия — Чех, предки из Богемии. Она для него первый читатель, главный редактор, первый критик. Рене — красавец, похож на итальянца или испанца.)

А мне через три дня в Берлин и Потсдам ехать, в Институт истории Национально-народной армии. Нужно проверять и дополнять их данные о немецких антифашистах в нашей армии.

Объясняю Бёллю, они пробудут весь август, значит, еще увидимся. Он понимает: «Ты должен ехать. И особенно важно в Потсдам. Там пошире открывай глаза».

Из дневника Р.

23 июля 1965 г. Ждем Генриха с женой и сыновьями в Жуковке. Напряжение. Каждый готовится по-своему. Кто листает вновь его книги. Кто думает, какие вопросы ему задать, что ему рассказать из нашей жизни. А хозяйка нашей дачи убирает двор, даже уборную так вымыла, как никогда прежде.

Утром — яркое солнце, решили жарить шашлык в лесу. Но сначала накрапывает, а потом — ливень. Ни о лесе, ни о шашлыке не может быть и речи.

Приходится накрывать стол на террасе, все голодны, а у нас только супы в пачках. Скольких гостей мы тут же кормили, и сравнительно вкусно, а приехал любимейший, и вот такая досада. Кое-как жарим баранину на плитке.

Выпили. Кто-то предлагает, чтобы Лева спел «Лили Марлен» — хотим «угостить» Бёлля немецкой песней. Он — удивленно и огорченно: «Лев, ты с ума сошел, ты поешь эту песню вермахта!» Лев рассказывает, как услышал ее впервые на фронте в августе 41 года.

Какое счастье, что эту свалившуюся на нас радость — живой Бёлль — мы можем разделить с друзьями!

Он хочет знать, как мы живем, знать про нас всех — профессии, семьи, кто сколько зарабатывает, что сколько у нас стоит.

Называем его на русский лад «Генрих Викторович». Аннемари говорит мало; взгляд умный и очень милое лицо.

О Пастернаке: «У нас его так настойчиво внедряли, что я пока отложил «Доктора Живаго». Потом прочитаю, когда шум утихнет. Бывает, что читаю книги и десять лет спустя после того, как они производят сенсацию. Хорошие книги не стареют...»

Когда прощались, Лев, запинаясь, сказал, что мы не можем, не могли выразить всей меры любви к нему.

25 июля. Иду в гостиницу. Приносят счета, он просматривает внимательно. В первый момент удивляюсь. Но сразу понимаю: мое удивление — это наше советское высокомерие нищих. Да, он считает деньги, он знает, что такое быть бедным, воровать уголь, выгадывать на дешевом маргарине. Он не позволяет себе швырять деньги и не одобряет этого в других.

Лев уехал в ГДР, очень досадно, что так совпало, но и отказаться он не мог.

— На немецком телевидении делают серию фильмов

«Писатель и город». У них в планах: «Кафка и Прага», «Лорка и Гренада», «Джойс и Дублин». Мне предложили — «Достоевский и Петербург». Я согласился. Как вы думаете, какие еще могут быть темы?

— «Бабель и Одесса», — и увлеченно начинаю рассказывать про Одессу.

— Я там был.

Мгновение темноты — война, Бёльль в войсках оккупантов... В военной Одессе. Прокручивается в мгновение: Рай и Альберт, герои романа «Дом без хозяина», сидели в Одессе в военной тюрьме, Фред Богнер («И не сказал ни единого слова...») писал Кэте письма и из Одессы... Выбираюсь из тьмы:

— Генрих, вы были не в той Одессе...

Позже сыновья напоминают ему, что в Одессе родился Троцкий. Об этом я не знала.

— Не можете ли поехать с нами завтра в Ясную Поляну? Переводчик из Союза писателей говорит не закрывая рта.

Хочу ли я? Конечно! Буду счастлива, но и страшно.

— Но ведь я могу переводить только на английский.

— Что ж, мы все понимаем...

«Бабель и Одесса» — это ему нравится.

26 июля. Еду с Бёльями в Ясную Поляну. Интуристская семиместная «Чайка». Он — рядом со мной. И трое юношей: Рене, Винсент и сын нашего приятеля-германиста, он меня «подстрахует», если не смогу перевести, хорошо говорит по-немецки. Они болтают между собой.

Сижу с Бёльлем и молчу. Думаю: «Ну почему я? Сколько людей на моем месте не только были бы счастливы, но еще дело делали бы, рассказывали про те места, которые мы проезжаем, или про Толстого. А я молчу. Язык прилип к гортани».

Он нервничает, когда мы проезжаем деревни, ему кажется, что водитель неосторожен, а на шоссе играют дети.

Останавливаемся у железнодорожного переезда. Несколько женщин с кирками, ломami. Один мужчина, вооруженный карандашом и блокнотом.

«На это невозможно смотреть спокойно. Мы и в Москве такое видели. Переводчик на мой вопрос ответил: война, а при чем тут война, им же не больше двадцати — двадцати пяти лет...»

Ока. Рассказываю о Тарусе. Говорим о Паустовском. Когда Паустовский ехал во Францию через Кёльн, он, про-

езжая через незнакомый город, ощутил родство, подумав: «Здесь живет Генрих Бёлль».

Они встречались в шестьдесят втором году...

Впервые в Ясной Поляне я была тридцать лет назад, в 1935 году, это была наша тайная «медовая неделя». Мы по поручению нашего учителя литературы — он из Москвы уехал в Ясную Поляну — записывали воспоминания старых крестьян о Толстом... Мы были переполнены своей любовью, своим миром, который был отделен от толстовского миллионами световых лет. А от сегодняшнего, когда я еду с Бёллем, сколькими эпохами?

В Ясной Поляне торжественно встречает Н. Пузин, потомок Фета, заместитель директора. Старомодная красивая речь. Этот музей — смысл его жизни.

«...Здесь нет ни клочка земли, который бы Толстой не исходил, не объехал верхом... В этом небе — ни одной звезды, на которую он бы не смотрел...»

Бёлль отвечает на вопросы Пузина: «Толстого я начал читать в шестнадцать—семнадцать лет. Уже после Достоевского. Первое, что прочитал, — «Крейцера соната», потом «Воскресение»... Теперь у нас Толстой и Достоевский поменялись местами. Критики к каждому молодому писателю применяют толстовские мерки: насколько он ниже, насколько отстал. Мы все отстали, безнадежно отстали».

Он говорит просто, ничуть не заботясь о том, какое впечатление производят его слова.

Бёлль показывает и объясняет Аннемари, он уже был здесь в 1962 году. Несколько раз повторяет: «Как скромно он жил, скромно и не слишком удобно...»

Несколько студентов Тульского пединститута, практиканты в музее, просят автографы. У некоторых книги, но большинство протягивают листки бумаги — «потом вклеим».

Генрих этого не ожидал, он думал, что за автографами охотятся только на Западе.

Пузин рассказывал о немецких солдатах в Ясной Поляне. Отступая, хотели сжечь дом. У Бёлля каменеет лицо.

На обратном пути говорим о Пастернаке. Генрих не знал, что он был исключен из Союза писателей. Не знал о размахе травли. «Что это для него означало? Его из-за этого перестали печатать?.. А что произошло бы с ним, если бы он эмигрировал? На Западе его могли бы задушить славой, рекламой, роскошью...»

«Самым тяжелым временем в моей жизни было лето

сорок пятого года в американском лагере военнопленных во Франции. Я пытался вести там дневник, прятал в носке, нашли при обыске и отняли. ...Об этом лете еще никогда не писал. Может быть, скоро начну».

28 июля. В мастерских художников ждали нетерпеливо. Каждый ревниво стремился подольше задержать у себя.

Посмотрев первые же картины Валентина Полякова, Бёлль: «Совершенная неожиданность, никогда не думал, что так интересно. Большое искусство, оно должно стать известным и у нас...»

Облако спустилось на Суздаль и осело в форме церкви.

«У нас теперь террор догматиков-абстракционистов. Как вашим важно было бы это увидеть. У наших абстракционистов ведь ложное чувство превосходства.

Но когда в Третьяковской галерее я вижу официальное советское искусство, грустно, даже стыдно становится».

Художник Андронов говорит ему: «Ваш роман «Глазами клоуна» — это все про меня».

— А есть ли в литературе что-либо, подобное вашей живописи?

Все: — Да, есть.

На обратном пути повторяет: «Как важно, что я все это увидел. И как глупо, что именно этого нам, иностранцам, не показывают».

«Какая организация более властная — Союз писателей или Союз художников?..»

«А что мы можем для этих людей сделать?» (Каждый приезд, все годы мы слышали этот вопрос.)

31 июля. Генрих рассказывает, как был в «Новом мире». Твардовский очень ему понравился. «Сразу видно, что незаурядная личность. Да и мне хотелось узнать, кто меня здесь публикует».

...Они уезжают на две недели в Дом творчества в Дубулты. На вокзал В. Стеженский привез книгу Анны Зегерс «Толстой и Достоевский». Я говорю: «Вот нет журналистов, надо бы сфотографировать — Бёлль с книгой Зегерс». Он серьезно: «Не возражал бы. Я хорошо отношусь к Зегерс».

16 августа. Ждем Бёллей на аэродроме в Ленинграде. Они все загорелые.

В такси: «Не допускайте к Фришу сотрудника Инкомиссии К. Он уже нам сказал, что в «Хомо Фабер» есть декадентщина, мы ее выбросим. Если бы Фриш услышал, он бы его убил».

Ему в Дубултах не понравилось. Просит книгу В. Семина.

17 августа. Тремя машинами едем в Комарово к Ахматовой *.

18 августа. В Москве в последний день едем с Аннемари за покупками.

— Как в вашей семье относились к фашизму?

— Все были против, все, кто был вокруг меня. И в семье Бёллей тоже, они были противниками фашизма.

— Вероятно, вы ощущали одиночество?..

— Ничего подобного. Мы знали, что все хорошие люди с нами.

Она работала машинисткой в частной фирме.

19 августа. Провожаем Бёллей.

Генрих говорит: «Скорее к письменному столу. Замысел распирает. День буду лежать, а потом работать, работать...»

* * *

В 1965—1966 гг. мы писали Бёллю, теперь уже в доверительных письмах, окольными путями, что Даниэль и Синявский были арестованы и осуждены за то, что публиковали свои произведения за границей, что у друзей Солженицына был обыск, забрали рукописи и часть личного архива.

Обращения группы писателей в правительство и к съезду партии остались без ответа.

1966 год.

Из дневников Р.

27 сентября. Приезжает Бёлль с сыновьями Раймундом, Рене и Катариной фон Тротт, дочерью его покойного друга. Беленькая, круглая, веселая. Он усталый, очень загорелый. «Был дивный отпуск в Ирландии».

Его приглашают в университет, он отказывается: «Хочу кое-что сделать для фильма о Достоевском и видеть друзей. Мне врачи запретили публичные выступления. Правда, в субботу пришлось запрет нарушить: открылся театр в Вуппертале, там я говорил».

Вечером у нас. Предлагаю ему председательское место за столом. «Нет, я не из породы председателей».

После ужина идем на Красную площадь. Резкий ветер.

* См. с. 289.

Генрих рассказывает про отца Катарини. Фон Тротт цу Зольц из аристократической семьи, ушел из дома, стал рабочим. С 1930 по 1933 год был активным коммунистом, потом стал католиком. Он был арестован, но только после 1945 года заявил о перемене взглядов, не хотел отступаться от преследуемых товарищей по партии.

Сразу после войны они вместе издавали журнал.

«Я купил дом в деревне. Шестьдесят километров от Кёльна. Пришлось перестраивать, из-за ремонта Аннемари и не могла с нами приехать. Сегодня она с друзьями там собирает яблоки. Я буду там работать, проводить не меньше четырех дней в неделю».

(Четырнадцать лет спустя он привез нас в этот дом, мы несколько раз потом жили там, 16 июля 1985 года мы там же увидели его в гробу...)

Генрих считает, что подготовительная работа над фильмом о Достоевском займет в этот раз пять-шесть дней, не больше.

Хочет посмотреть обыкновенное кладбище, не Новодевичье, а такое, где хоронят официантов, портных, не членов Союза писателей. И обыкновенную деревню, не писательскую.

28 сентября. Встретились у Спасских ворот. Идем в Кремль. Лев с молодыми — в Оружейную палату. Генрих не хочет, мы с ним гуляем по Кремлевской площади. «Когда я посмотрел на эту дикую роскошь в Оружейной, я понял, почему у вас произошла революция. Ничего подобного в мире не найдешь».

Впервые много говорит о болезнях. Во время войны целый год была дизентерия. И осложнение на печень. Сейчас плохо и с сердцем, и с легкими, и с давлением.

Рассказываю ему содержание «Ракового корпуса».

— Великолепно найдено место действия. Будет ли напечатано?

— Не знаю. Роман должен появиться в «Новом мире». Цензура задерживает, автор не идет на уступки, а Твардовский, кажется, устал бороться.

— Понимаю, понимаю. Он и тогда, год назад, показался мне усталым. Я сам часто устаю бороться за свое, очень хорошо, что есть друзья, которые тебя поддерживают. Но быть в одиночестве — это тяжело.

Твардовскому нужно принять «причастие буйвола» — без этого нельзя делать журнал. А поэту с этим нельзя жить.

Пытаюсь пересказать только что прочитанные стихи Твардовского о матери («В краю, куда их вывезли гуртом...»).

— А его родители действительно были кулаками или они — так называемые?

— Нет, не кулаки. Его отец был сельским кузнецом.

Рассказывает, что в ФРГ опубликовано пять томов Паустовского, он будет рецензировать.

Рассказываю ему, что Лев пишет воспоминания о войне и о тюрьме.

Из дневников Л.

29 сентября. Обед с Бёллем. Принимают историки и журналисты. Суетливо-назойливый профессор Х. между тостами разъясняет: «Генрих Бёлль, конечно, религиозен, однако он противник церкви». Бёлль негромко, но сердито: «Это неправда, я принадлежу к церкви, я церковный, не поповский, но церковный».

До полуночи ходили вдвоем по улицам. Он расспрашивал о Синявском, Даниэле, о том, как наказывают литераторов, написавших письмо про них. Вспоминал разговор за обедом: «А знаешь, это ведь в чем-то и справедливо. Сегодня церковь у нас — это опора политической реакции, у нас много хороших священников и монахов, но церковные власти так коррумпированы, что вы себе и представить не можете».

30 сентября. В театре на Таганке, на спектакле «Галилей».

Ему по душе и театр, и Любимов, и дух зрительного зала. Юрий Любимов: «Ваши книги помогают мне жить». Просит у Бёлля пьесу для своего театра. Бёлль: «Пьесы можно писать только после пятидесяти лет. Есть у меня одна мистическая, но вам такая не подойдет».

У Любимова встретились с Г. Товстоноговым, он пригласил Бёлля в свой театр в Ленинград.

На обратном пути: «Мне кто-то говорил, что у вас сделана инсценировка «Клоуна», этого я очень боюсь, чаще всего портят. Обязательно посмотрите и напишите мне».

Аннемари перевела «Заложника» Биена, пьеса в ее переводе идет в ГДР. В Росток Бёлль видел «Марат-Сад» Петера Вайса, ему понравился спектакль.

Из дневников Р.

1 октября. У нас дома, семейный обед с Бёллями. Тихо, спокойно. Мы все уж постарались.

Смотрит наши книги, фотоальбомы. Мы просим их всех прочесть что-нибудь на магнитофон — новая игрушка. Генрих согласен, но чтобы в комнате он был один: «Когда мои рассказы передаются, не могу слушать записи».

А к вечеру квартира переполнена, пришли наши друзья, больше сорока человек. И каждый хочет что-нибудь ему сказать, выразить любовь, пожать руку.

Д. Самойлов читает стихи, Лев переводит:

Та война, что когда-нибудь будет,
Не моя она будет война,
Не мою она душу загубит
И не мне принесет ордена...

Это про них: про него самого, про Генриха, про Леву.

Из дневников Л.

2 октября. Разговор втроем. Решаемся, рассказываем о замысле книги о нем.

— Не делайте этого. Пока писатель жив, он незавершен.

Мы наперебой объясняем, что задуманная книга — это и про нас самих, про время Ремарка, которое сменилось временем Бёлля, о поисках ценностей.

Но он непреклонен.

«Мы разобрали чердак в связи с переездом в Айфель, нашли несколько рукописей. Роман, около пятидесяти рассказов. Раньше не удалось напечатать...»

«Я писал большой роман, серьезный. Но заболел мой друг, священник, попал в психиатрическую больницу. Я его каждый день навещал и потерял контакт с этим романом. Надеюсь, что еще вернусь...»

...Пришел ко мне молодой приятель, рассказал историю. Я решил, что это сюжет для новеллы. Писал один вариант за другим. Получилась повесть («Чем кончилась служебная командировка»). Аннемари по телефону сказала, что уже бестселлер, я никак не ожидал...

Фильм о Достоевском будет абстрактным, не биографическим. Сорок минут — это много времени. Пройду по всем улицам, которые связаны с романами Достоевского.

Вот кто пролетарский писатель! Он должен был всегда писать для заработка, постоянные долги. Толстой «ходил в народ», а Достоевский — сам народ.

...Американцы не знают истории. Не понимают, что такое страдание. На Востоке немцы — глупые социалисты, а на Западе немцы — глупые проамериканисты».

Анна Зегерс с мужем в Москве по дороге в Армению. Они хотели бы встретиться с Бёллем. Удобный повод: будет просмотр фильма по рассказу Достоевского «Скверный анекдот». Этот фильм запрещен цензурой, но закрытый просмотр на телестудии разрешили.

Генрих, Анна Зегерс и ее муж встречаются как старые знакомые, непринужденно, очень приветливо.

После просмотра едем в ресторан «Арагви», отдельный кабинет. Генриха сажаем рядом с Анной. Я — тамадой и толмачом. Перевожу тосты, вопросы, ответы. Всего труднее, что Алов и Наумов обращаются почти только к Генриху, а я, переводя, стараюсь начинать с Анны. Но ведь она и Роди понимают по-русски... Тост Наумова за трех гениев: «Эйзенштейна, Феллини, Бёлля. Анна Зегерс: «Фильм талантливый, но очень сумрачный. И, по-моему, несправедливый. Вы генерала уважаете больше, чем простых людей. Он и выглядит лучше, и разговаривает лучше. А они все жалкие и противные. Вы их показываете такими, какими он их воображал, — пигмеями, карликами и еще хуже». Алов (сердито): «Мы этого действительно хотели. От таких «маленьких людей» пошел фашизм. Генерал — старомодный болван, а в них — корни современного фашизма. Мы, люди второй половины двадцатого века, знаем о них то, чего не знал Достоевский».

Генрих: «Мне не хватает сострадания. У вас очень талантливо, внутренне последовательно построено по вашей художественной логике. Но у Достоевского менее жестоко, чем у вас. Вы не оставляете герою ничего, буквально ничего. Он даже не мужчина... Кроме того, ведь кино обладает особой силой воздействия. Сильнее, чем слово. В кадре очень тесно. Не хватает пространства... Великолепен танец дурочки, погоня за извозчиком».

Говорили и о других инсценировках Достоевского.

— Лучше всего можете сделать, конечно, вы, русские... Вам бы я с удовольствием дал право инсценировать какую-либо из моих книг.

Когда мы остались одни, спросил тревожно:

— Я не слишком их критиковал? Они мне очень понравились. У нас нет таких — сочетание большого таланта, открытости, духовного накала, братства...

Из дневников Л.

Анна Зегерс вчера говорила с Генрихом: ему хотят дать Ленинскую премию, предлагают она и Арагон, большинство членов жюри «за». Генрих решительно: «Не надо. Я не могу принять. Не могу, пока здесь два писателя сидят в лагере. Не хочу и не могу принимать эту премию».

Анна: «Но мы ведь не можем оказывать политическое давление на советское правительство».

Генрих: «Я просто не хочу принимать премию от государства, которое так поступает со своими писателями».

Об этом рассказала мне Анна. Я спросил Генриха, он, усмехаясь, подтвердил.

Из дневников Р.

6 октября. Идем с Бёллем и с внуком Достоевского по маршруту Раскольникова, к дому процентщицы. Дома цвета Достоевского, цвета времени.

В мае Генрих приедет сюда на белые ночи. Разговаривает с оператором Шнейдером, который снял фильм «Петербург Достоевского». «У меня нет честолюбивого желания сделать лучше, чем вы. Я мог бы и взять у вас куски».

Рене делает заметки под диктовку отца, Раймунд фотографирует. Оба сына помогают с удовольствием.

Когда мы идем по каналу, внук Достоевского просит считать шаги — как в романе, ровно семьсот тридцать... Для него каждая сцена романа ничем не отделима от реальности.

...Мы все смотрим на квартиры, на улицы, на дворы, и сколько людей смотрели до нас, но художник смотрит особым взглядом. За этот год он и романы перечитал, он готовился, узнавал. Мы идем вместе до какого-то пункта, а дальше он пойдет один, дальше и начнется тайна, чудо искусства...

В Доме писателей смотрим выставку рисунков Корсаковой — к романам Достоевского. Он потом нам: «Не люблю иллюстраций к книгам. Ведь каждый читатель видит по-своему».

...Прошли все дома, дворы. Бёлль рассказывает: «В Дублине есть целый туристский маршрут по пути Блума. Тоже нет мемориальных досок. Ирландцы очень рассердились на меня (за сценарий «Ирландия и ее дети»), что я написал о бедности, что взял снимки старых домов...»*

* То же самое произошло и с фильмом Бёлля. Он задумывался как совместный. Но в АПН потребовали купюр: снять киоски с продажей пива,

В прошлом году рассказал о замысле. Сейчас готовит сценарий. Счастье — пройти с ним этот кусок.

Бёлль еще раз помогает понять, как жив Достоевский.

За обедом: «А мне странно презрительное отношение к любой профессии, я люблю ремесло официанта...»

Корреспондент «Советской России» спрашивает, как долго Бёлль ищет слова.

— Восемь лет.

Ему же Генрих объясняет, что «Даниэль и Синявский — никакие не злодеи».

7 октября. Вечером на спектакле у Товстоногова «Проводы белых ночей». Сергей Юрский мог бы играть и Фреда Богнера и Ганса Шнира.

В перерыве Бёлля просят расписаться крупно на полке актерской уборной.

Бёлль Пановой: — Я вас читал.

— А я вас.

Разговор о Брехте.

Бёлль: «Карьера Уи» — плакат, примитивно. Люблю «Мамашу Кураж» и «Галилея». А Панова и вовсе не любит Брехта. Тихо Льву: «Не то что ваш Брехт».

Панова — Бёллю: «У вас в романах напряженная драматургия. В «Бильярде» сидит девчужка босоногая, за нею — целая драма». Генрих смущенно: «Я этого не чувствую».

Генрих очень хочет посмотреть «Идиота» со Смоктуновским в постановке Товстоногова. Тот приглашает его на этот гастрольный спектакль в Лондон — «всего час лететь».

Панова потом нам: «Что за человек. Одни мятые штаны чего стоят. Его не зря боготворят все молодые прозаики Ленинграда».

Еще в Ленинграде: «Я соскучился по дому». А ему еще лететь в Тбилиси.

Мы говорили о Евгении Гинзбург, о «Крутом маршруте».

Из дневника Р.

8 октября. Молодые со Львом в Атеистическом музее, а мы остались в сквере у Казанского собора.

— Когда я научусь писать, я напишу о своей семье.

Напоминаю ему слова Хемингуэя про Оук-парк (что

старые дома, — «Ленинград у вас непригляден», снять кадры с поэтом Иосифом Бродским и опрос на улице «за что вы любите Достоевского?» Бёлль отказался, и в СССР фильм не показали.

не может писать, иначе сильно оскорбит либо родных, либо правду).

— Нет, дело не только в том, чтобы не обидеть родных.

В Атеистическом музее — картины, гравюры — изображения казней, погромов, аутодафе, орудия пыток, статистика жертв инквизиции, процессы ведьм. Катарина и Рене взволнованы, возмущены: «И они называли себя христианами. И сейчас есть такие же, дай им только оружие». Раймунд спокойнее, скептичнее: «Здесь все так же неуклюже и безвкусно, как у нас в антикоммунистической пропаганде».

Когда возвращаемся в сквер, Генрих говорит почти теми же словами. Он уже раньше видел этот музей.

Пытался объяснить ему, что он — пролетарский писатель. Он задумчиво: «Не знаю, может быть. Но вот Грасс действительно пролетарский писатель. Он видит и чувствует всё, как рабочие. Его точка зрения на всё всегда пролетарская, всё мировоззрение».

Спорили об американской культуре. Мы защищали ее. Он: «В Америке прекрасные писатели. Бывают прекрасные кинофильмы. Разумеется, есть замечательные ученые. Но американская культура без корней и слишком материалистична. В ней нет мистики, нет метафизики».

13 октября. Бёлли возвращаются из Тбилиси. Мы идем в ЦДЛ, и он туда приходит. Рассказывает (Коржавину), что английский начал учить, когда ему был сорок один год, восемь лет тому назад. Читал книгу Нексе об Испании, которая ему очень понравилась. Долго разговаривает наедине с Ириной Роднянской, держит в руках номер журнала «Вопросы литературы», где напечатана ее большая и замечательно интересная статья о его творчестве.

«Люблю Диккенса. Он достаточно велик, чтобы позволить себе сентиментальность...»

Вечером у С. произносит тост за «Левину неисправимость». На вопрос И., каково быть знаменитым, отвечает: «Очень скучно».

Из дневников Л.

14 октября. С Генрихом и ребятами у Эренбурга. Он болен, но курит непрестанно и отмахивается, когда говорим об этом. Эренбург чрезвычайно радушен, впервые вижу его таким любезным, явно хочет понравиться. Показывает квартиру, картины, хвастает ими.

Пьем чай. Ребята молчаливо, с напряженным любопытством таращатся на Эренбурга. «Меня обвиняют, что я

не люблю немцев. Это неправда. Я люблю все народы. Но я не скрываю, когда вижу у них недостатки. У немцев есть национальная особенность — всё доводить до экстремальных крайностей, и добро и зло. Гитлер — это крайнее зло. Недавно я встретил молодого немца, он стал мне доказывать, что в этой войне все стороны были равно жестоки, все народы одинаково виноваты. Это совершенно неправильно. Сталин обманывал народы. Он сулил им добро, обещал всем только хорошее, а действовал жестоко. Но Гитлер ведь прямо говорил, что будет завоевывать, утверждать расу господ, уничтожать евреев, подавлять, поработать низшие расы. Так что нельзя уравнивать вины».

Бёлль, и мальчики, и Катарина с этим согласны.

Эренбург спрашивает: «Какие настроения преобладают сегодня у вашей молодежи?» Генрих: «Скука». Раймунд: «Раздражение». Рене и Катарина: «Скука от раздражения. Слишком много из того, во что верили раньше, сейчас уже не внушает, не заслуживает доверия».

* * *

С 1966 по 1970 год Генрих Бёлль не приезжал в Москву. За это время произошло много важных событий в мире, в нашей стране, в наших жизнях. Возникла и была подавлена Пражская весна. В Париже, в ФРГ, в Америке бунтовали студенты. А у нас шли новые аресты, новые судебные процессы, вызывающие новые протесты.

Оттепельные надежды кончились. Посыпались наказания. В мае 1968 года Лев был исключен из партии и уволен с работы. За этим последовал запрет печататься.

Из дневников Л.:

Июль, 1968 г. Встретил у поликлиники В.— «Можешь написать своему Бёллю очень большое спасибо. В Президиуме (Союза писателей) уже было решено тебя исключать, заодно уже и из Литфонда. Но Бёлль там целую адвокатскую речь закатил. Про тебя и про Бориса Биргера. По радио, в газетах шухер поднял. А мы с ним ссориться не хотим. Так что ограничились строгачом. Можешь просить путевку в Дом творчества».

21 августа 1968 года Генрих Бёлль был в Праге с Аннемари и сыном Рене. Неделю спустя мы получили письмо с подробным описанием тех дней — что он видел, передумал,

перечувствовал. Это письмо Лев сразу перевел, читал близким, друзьям.

И в эти судьбоносные дни мы с особой силой почувствовали: мы глубоко и неразрывно связаны с ним.

В 1969 г. Бёлль опубликовал большую статью о романе А. Солженицына «В круге первом», очень высоко его оценив, и предисловие к немецкому изданию романа «Раковый корпус».

Мы с напряжением ждали,— как-то теперь встретит его Москва, как встретимся мы? Ведь теперь все мы оказались в совершенно иной ситуации.

Из дневников Р.

19 марта 1970 г. Встречаем на вокзале Бёллей.

20 марта. Утром гуляем по Александровскому саду. Рассказываем семейные и другие новости.

Вечером в театре Завадского смотрим «Глазами клоуна». Лучше, чем можно было ожидать. Красавец Бортников, кумир девиц. Масса молодежи, Бёллю устраивают овацию, многие просят автографы.

В антракте и после спектакля Бёлль разговаривает с актерами, с режиссерами, с Завадским. Постановка ему нравится, особенно Бортников. Тот говорит, что, готовя эту роль, играя, он думал о Христе. Бёлль переспрашивает, задумывается, говорит, что допустимо и так воспринимать... Очень решительно против реплики, которой в книге не было и не могло быть, когда светская дама провозглашает тост за реванш. Это нелепо и просто невозможно ни в каком обществе.

Ему не нравится актер, играющий отца Шнира,— представляет иного человека, чем в книге, изображен неисправимый нацист.

В студии МХАТа. А. А. Белкин представляет своих студентов. Они показывали свою постановку радиопьесы Бёлля.

Он отвечает на вопросы студийцев.

«Из прежних моих работ больше всего люблю «Долину грохочущих копыт». Это была сначала радиопьеса, а потом получилась повесть...

...Что я думаю о постановке «Глазами клоуна»? В общем понравилась. Весь спектакль держится на Бортникове. Но есть и несуразицы.

Сейчас у нас в ФРГ начал экранизировать «Клоуна» чешский режиссер Ясный.

...Кто мои любимые поэты? Современные — Петер Хухель, Гюнтер Айх и Вольф Бирман. Он — один из очень немногих настоящих коммунистов, которых я знаю.

...Из современных советских авторов за последнее время читал Солженицына, у нас всё публикуется. Это крупный писатель. Читал рассказы Аксенова, они мне нравятся...»

21 марта. У нас. Уходят и приходят друзья. Не все вместе, как прежде. Генрих рассказывает об Израиле, где они побывали у Винсента, который сначала был в кибуце, а потом в инвалидном доме.

Бёлль:

— В тысяча девятьсот шестидесятом году я в Праге всех расспрашивал о Кафке, но мне никто не ответил ни про дом, ни про могилу. Когда зашел в уборную Союза писателей, следом за мной шофер, он днем возил меня, и сказал под шум воды, что все покажет.

22 марта. Возвращаемся от Т. Идем с Генрихом. Оказывается, он не читал книги Фейхтвангера «Москва, 1937». И не слышал о ней.

— Меня часто спрашивают, почему я не пишу об СССР. Потому что и знаю недостаточно, понимаю недостаточно. А то, что знаю, узнаю от друзей. Если все напишу, могу их подвести.

Несколько раз повторяет, как для него важен Фолкнер. «Между прочим, Фолкнер и Солженицына предсказал».

25 марта. Иду в бухгалтерию «Известий» и случайно на улице Горького встречаю Генриха. «Самое приятное — просто ходить по улицам, смотреть на лица». Завожу его в ресторан ВТО. Пьем чай.

— Ваше вторжение в Чехословакию нужно Западу не меньше, чем Востоку, чтобы скомпрометировать эксперимент. Ведь сколько сердец зажглось надеждой на настоящий социализм и у нас тоже (тогда, весной, «я и надеялся, и боялся, и понимал — успех невозможен»).

Поехали к нам на метро. На площади Революции встречаем дочь Машу. Ни до, ни после я никогда просто так на улице ее не встречала... Дома друзья из Грузии.

Пьем чай.

27 марта. В доме В. (молодой философ). Долгий разговор о религии в России, о новом интересе к религиозной философии, о конформизме церковных верхов. Они всегда были верноподданными и сейчас ими остаются.

Генрих говорит о бедах в других странах, о которых здесь не хотят слышать. Чудовищный террор в Индонезии.

Без суда расстреливают тысячи подозреваемых в коммунизме. Террор в Бразилии, в Родезии. В благополучной ФРГ недавно обнаружено ужасное состояние психиатрических больниц — по 60—70 человек в палате.

Он получает много писем от молодых людей, у которых жены или мужья в ГДР. Каждый раз он по этому поводу пишет правительству ГДР и советскому послу Царапкину.

Рассказывает о деятельности групп «Эмнести Интернейшенел» *.

Спрашивает, есть ли талантливые двадцатилетние литераторы. Никто из нас не знает. В. говорит: «Сейчас таланты уходят в другие области». Генрих: «У нас, пожалуй, то же самое».

28 марта. В мастерской Биргера. Аннемари и Генрих радуются новым картинам. Особенно понравилась сероглубая «Дон Кихот и Санчо Панса».

Приходят Б. Балтер и В. Войнович с женой, и снова напряженно-вежливый спор о «наших» и «ваших» бедах. Бёлли очень печальны.

На обратном пути: «Я наконец прочитал роман «Доктор Живаго». Мне не понравилась эта книга».

Лев: «А В., который тебе так нравится, считает ее вершиной нашей литературы. Надо бы вам поспорить». — «Зачем же спорить? Каждый воспринимает по-своему. Зачем одному пытаться переубедить другого? Не хочу и думаю, что невозможно убедить другого человека воспринимать роман так, как воспринимаю я».

20 марта. У Евгения Евтушенко. Вознесенский, Аксенов, Ахмадулина, Окуджава, Евгения Гинзбург и мы со Львом. Аннемари осталась в гостинице, болит голова.

Генрих: «Поймите, за проезд сюда, за встречи с друзьями я вынужден платить, вынужден встречаться с функционерами».

— Кто, по-вашему, лучшие советские прозаики?

Евтушенко: «Платонов... — Потом добавляет. — Зощенко, Булгаков, Бабель, Домбровский».

Белла: «Только Платонов».

Аксенов: «Проза Мандельштама».

Лев произносит тост: «Двести лет тому назад энциклопедисты верили, что если все станут грамотными, если будут хорошие дороги, по которым будут ходить удобные омнибусы, человечество будет счастливо. Сто лет назад

* Тогда я и услышала впервые об этой организации.

наши основоположники верили, что если отменить частную собственность, то при паре, электричестве, железных дорогах не будет войн и все будут счастливы.

А сейчас мы знаем, что и завоевание космоса, и телевидение не устраниют войн и не приносят счастья.

Но и двести и сто лет назад существовали иррациональные ценности, их воплощает ваше ремесло, их воплощает творчество Генриха Бёлля.

Когда мы уже уходили, Белла Ахмадулина шепнула: «Скажите ему, чтобы он за нас молился».

Странно — за столом сидели люди с всемирной славой: Бёлль, Евгения Семеновна, Аксенов, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава...

Поэты начали читать свои стихи, Лев переводил для Генриха. Когда дошла очередь до хозяина дома, гости заторопились уходить.

...Еще недавно они были друзьями, а сейчас их отношения далеки от строки из песни Окуджавы, посвященной Ф. Светову:

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке...

Они не держатся за руки. Они становятся друг другу все более чужими...

Из дневников Л.

Март, 1971 год. Опять письмо от Ш. из «Фройндшафт»*. Они хотят что-нибудь о Бёлле. И как раз вчера получили его неопубликованные стихи. «Кельнский самиздат»! Впервые читаю Бёлля-поэта. Перевожу Р. и друзьям. Поэзия, пробивающаяся сквозь косноязычный перевод. Срочно спрашиваю разрешения опубликовать. И помощи в комментариях. (Кто такой Геренон? В Москве никто из германистов не знает.)

Письмо от Г. Б. Разрешает публиковать стихи. А Геренон, оказывается, популярный кельнский святой мученик, римский офицер-христианин, погиб вместе со своими легионерами, не отступаясь от веры...

Все-таки знаменательно — стихи Бёлля будут впервые

* «Фройндшафт» — немецкая газета, выходящая три раза в неделю в городе Целинограде. Там с сорок первого года живут несколько сот тысяч немцев, высланных с Волги, с Кавказа, с Украины.

напечатаны по-немецки в... Казахстане, в городе Целинограде. Тоже ирония истории!

7 октября. Пришел без предупреждения С., он теперь ведает поэзией в «Новом мире». Жовиальничает и мнетя, мол, как живете, почему не показываетесь, хотя до сих пор мы только здоровались.

Спрашиваю прямо, в чем дело. «Хотим напечатать что-нибудь ваше про Бёлля. Он ведь, кажется, приехать должен? И ему, и вам, и нам будет приятно». Так, все ясно. Показываю номер «Фройндшафт»: «Могу для вас перевести и сделать врезку». Полный восторг! Давайте, давайте скорее. К первому номеру».

Вокруг А. Солженицына ситуация становилась все более сложной. С одной стороны, ширилась мировая слава, в 1970 году он был награжден Нобелевской премией. С другой стороны — нападки в советской прессе на него усиливались.

Бёлль — неустанно, при всех обстоятельствах — защищал Солженицына. Оба непременно хотели встретиться.

* * *

Из дневников Р.

15 февраля 1972 г. Прилетели Бёлли. В аэропорту увидели их сначала издали, в очереди к паспортному контролю. Двигутся медленно, пропускают, как сквозь шлюзы. Он выглядит измученным. И раньше я знала от Льва о травле: шпрингеровские газеты обвиняли Бёлля в том, что он вдохновляет террористов и даже помогает им. Неужели этому верят, могут верить?

Как ему это должно быть мучительно. Нет, не предназначен он для политической деятельности — ни в каком обществе, ни в какой форме.

Едем в гостиницу. Опять «Будапешт». Аннемари рассказывает: с осени они побывали в Югославии, в Венгрии, в Ирландии, в США, в Англии, в Швеции...

17 февраля. В мастерской Биргера. Генрих опять говорил, что у Б. на этих картинах свет — не предмет изображения, а материал, средство художника.

Рассказывает о поездке в США: «В этой стране трудно жить слабым людям, очень трудно». Во всем, что говорит, — неприязнь к богатым, к благополучным, к пресыщенным.

Генрих рассказывает: «Стеженский меня почти истерически упрекал, что я хожу «не к тем людям». Я рассердил-

ся: «Не учи, буду ходить к тем, к кому хочу. Если помешаете, устрою большой скандал».

В СП все эти дни паническая суэта — как предотвратить встречу Бёлля с Солженицыным? В. Стеженский заходил ежедневно, а три года не бывал. Спрашивал каждый раз: «Генрих не у вас?» Я разозлилась: «Поищи под столом или под кроватями». Прибегала вибрирующая Н.: «Они не должны встречаться. Неужели вы не понимаете, что это повредит всем. После этого у нас запретят книги Бёлля». Заходил Костя, ему везде мерещатся филеры — у нашего подъезда, на противоположном тротуаре. И машины, паркующиеся против наших окон.

18 февраля. А. и Г. приехали к нам из редакции «Иностранной литературы» обедать. Они довольны, что у нас никакой торжественности, что мы их не «принимаем», а просто вместе обедаем. Потом Генрих с Л. пошли серьезно, без помех разговаривать в парк.

Вечером собралось почти тридцать человек. И возникло подобие пресс-конференции. Его посадили за стол, остальные разместились на стульях, на диване, на полу. И опять вопросы превращаются в споры. Некоторые очень страстно, напористо наседают на него: почему на Западе бунтуют молодые? Ведь у них там есть свобода слова, свобода печати, свобода собраний; чего им еще недостает?

Он старается объяснить относительность свободы. «У нас по-настоящему свободные журналисты остались едва ли не только на телевидении. Те, кто в газетах, зависят в большинстве своем от издателей, от редакторов, от их партийных покровителей». И снова — беды Африки, Латинской Америки, Азии.

Минутами — будто разговор глухонемых.

Я слышу мало, отрывками, спую между комнатой и кухней.

Из дневников Л.

20 февраля. Мы с Аннемари и Генрихом у Солженицына. Блины. «Прощеное воскресенье». За столом И. Шафаревич — математик, член-корреспондент АН. Молчалив, очень благовоспитан, очень правильно говорит по-немецки...

Генрих лучится радостью. Вспоминает, как в детстве в школе больше всего любил математику. «Немецкий язык и литературу у нас преподавали очень скучно». О делах не говорим. С. уверен, что квартира прослушивается: только пишем на отдельных листах, которые сразу же уничтожаем.

Острое чувство: Бёлль не менее, чем С., — душевно, быть может, даже более, — близок традициям Толстого, Достоевского, Чехова. А мне он ближе и как писатель, и как человек. Для него каждый человек — всегда цель, люди — никогда не средство, не иллюстрация (аллегория, олицетворение) идеи, принципа.

Несколько дней спустя.

Вторая их встреча — на нейтральной почве; все очень конспирируем. С. передал тексты своего завещания и еще кое-что. Ни в первый, ни во второй раз я не заметил филеров; впрочем, теперь у них есть электроника, издалека видят.

Г. Б. и А. С. друг другу понравились. У Генриха это как и всегда: все его чувства на лице написаны и в глазах. Но и С. вроде потеплел, хотя и с ним — говорит о своем и едва слушает.

22 февраля. Бёлли ездили во Владимир с Георгием Брейтбурдом, сотрудником Инокомиссии СП. «Он очень любезен, умен, но в идеологических вопросах жесток, не гибок. Но не так глуп, как Володя. Ему хочется приспособливаться к европейцам».

Позвонил Анатолий Якобсон: «Наташку Горбаневскую освободили! Это тоже подарок Бёллю».

Рассказываю об этом Генриху. Он несколько раз просил за нее и сам, и от имени ПЕН-клуба. Он мог помочь, потому что у него была власть. Но ощущать власть для него — непривычно, нестерпимо. Это его обязывает переписываться, разговаривать с такими людьми, с которыми он вовсе не хотел бы знаться; и тут же оговаривается, что и среди функционеров есть люди... Вот Брейтбурд — функционер, но у него такие печальные глаза, та самая еврейская печаль.

Рассказываю ему о завете Короленко: «Ищите человеческое в человеке». Оказывается, он и Короленко читал. Вспоминает: рассказы Короленко и Лескова впервые прочитал в одном сборнике еще в юности. И тогда же ощутил: они очень хорошие, по-русски и по-украински хорошие. Но как объяснить, в чем их русскость и украинскость, — и тогда не мог, и сейчас не может.

Это ему нужно, он хочет писать о рейнском, рейнско-немецком. Геррес, Гейне, Маркс — прежде всего рейнцы.

С 23 февраля по 6 марта Бёлли были в Ленинграде, Тбилиси, Ялте.

24 февраля. Вчера в «Литгазете» — причесанное интервью с Бёллем. Две статейки против Солженицына —

Мартти Ларни и какой-то гедеэровской дуры. И ко всему — страшное письмо Варлама Шаламова, проклинающего Запад и наших «отщепенцев», и Солженицына.

Так Чаковский подыгрывает Шпрингеру, целеустремленно дискредитируя Бёлля в глазах его читателей. В Союзе писателей, видно, разработана стратегия приручения Бёлля. Стеженский действует нахально, Брейтбурд и К. и Т. — ласково-обволакивающе или уныло-печально. Но Генрих не поддается. Ему очень одиноко. Дома травят, а здесь льстят.

Об этом сердито говорил и нам: «Я политик, я тактик. Их расчеты не оправдаются. И вовсе я не добродушный, как они воображают, да и вы тоже. Я умею быть очень твердым, очень жестким».

Вот и он самого себя не знает...

«За эту неделю не меньше пятидесяти человек требовали от меня, чтобы я помог им спасти Россию. И у каждого свой план, свой рецепт спасения».

Из дневника Р.

7 марта. Л. приводит Генриху запись беседы с ним, которую готовят в журнале «Иностранная литература». Возмущается искажениями смысла, вычеркивает, исправляет.

Несколько раз по поводу «подходов» к нему деятелей СП: «Я могу быть и очень злым». Напоминаю ему слова Горького о Толстом. «Барина в нем было ровно столько, сколько нужно для холопов». «Нет, это другое. По-моему, трагедия Толстого и в том, что он никогда не переставал быть баринном».

Аннемари и Генрих поехали с Л. на Новодевичье кладбище. Поставили корзину цветов на могилу Твардовского. Заходили в церковь. При ней на поминанием о монастыре живут девять стареньких монахинь. Генрих подробно расспрашивал одну о жизни.

8 марта. С утра у Самойловых в Опалихе. Аннемари и Генрих слушают стихи С. в подстрочных переводах Л.

С. читает отрывки и пересказывает поэму «Нюрнбергские каникулы». Поэт, Витольд Ствош, средневековый скульптор, резчик по дереву и сказочный кот идут в «преславный Нюрнберг».

Генрих: «А вы знаете, о чем нам говорит название этого города?»

«Знаю, нацистские парады, а потом — процесс военных преступников. Но мой Нюрнберг, Нюрнберг Ствоша и

Ганса Сакса будет жить дольше того, о котором думают сегодня у вас».

«Приезжайте, я поведу вас в Нюрнберг».

«Скорее я попаду в свой. Ведь мои нюрнбергские каникулы — это убегание от смерти».

Долгие разговоры о ПЕН-клубе, о том, что теперь угрожает Солженицыну.

На обратном пути Генрих в машине мне: «Не оставляй Л. и не болей. Когда Аннемари больна, я — как потерянный. Такие уж мы эгоисты».

Вечером ужин с литераторами. Снова и снова — воспоминания, рассказы о тридцать седьмом годе.

И снова находится радикал: «Вы в ФРГ должны иметь такое правительство, которое нас бы несколько лет бойкотировало, быть может, это сбило бы с наших спесь».

И так говорил еще не самый крайний. Его приятеля не позвали на ужин, чтобы тот не устроил скандала «гнилому либералу» Бёллю.

9 марта. Как все эти дни, с утра звонит Генрих. Голос усталый, печальный. «Мне здесь трудно. Все возлагают на меня самые разные надежды. А я не могу их оправдать. И вам станет легче, когда я уеду. Я ведь вижу, что к вам пристают, как многие жалуются, что меня «показали» не им, а другим».

11 марта. Приехали с Генрихом к Надежде Яковлевне (Мандельштам). «Я должен увидеть эту великую женщину. Чем ей можно помочь? Что я должен для нее сделать?»

Она в постели. Тяжелая одышка.

Он осторожно расспрашивает. Она: «Я жалею, что родилась в России...»

«А я часто представляю себе, что было бы со мною, если б я родился в России или в Китае...»

Она расспрашивает о немецкой молодежи.

Оба не ждут от будущего ничего хорошего.

Вечером звонила Н., которая оставалась у Надежды Яковлевны. Та говорила: «У него на редкость хорошее лицо... Оказывается, есть еще и там люди, которые испытывают ответственность за нас, за нашу страну».

12 марта. Генрих пришел возбужденный, раздраженный. Предстоят визиты к Льву Гинзбургу, потом к Константину Симонову. «С вами и вашими друзьями я говорю все, что думаю и чувствую... А там придется выбирать выражения, там будут и функционеры. Но и с ними я должен ви-

даться, должен для того, чтобы иметь возможность видеть других, своих».

13 марта. Генрих идет на обед с руководителями Союза писателей, они его давно и настойчиво приглашали. Л. очень раздражен: «Зачем это нужно?» Я успокаиваю: «Ведь Генрих — писатель, он должен встречаться не только с друзьями».

После обеда мы у них в гостинице. Они рассказывают: «Были Верченко, Озеров, Луконин — «толстый поэт» — с женами». А до этого в издательстве «Прогресс» Генриху представили Павлова, переводчика Сталина.

За обедом длинные и скучные тосты. Генрих молчал. Озеров все нажимал: «Мы — ваши друзья, а вы нам не верите, встречаетесь не с теми людьми, с кем надо». Генрих: «Я встречаюсь со своими друзьями». — «Это мы ваши друзья, поймите». И говорил еще больше и все одно и то же, о советском миролюбии и советском гуманизме, о некоторых злопыхателях, обиженных тем, что их народ не признает... Сосед Аннемари по столу (видимо, заметив ее отчужденность), сказал: «Вам, наверно, непривычны наши речи». Аннемари: «Что вы, мне такие речи очень привычны, ведь мы оба учились в католических школах». Сосед поперхнулся.

Генрих: «Озеров считает меня школьником, нашкодившим, но не совсем безнадежным».

Вечером у В., новой приятельницы Бёллей. Понедельник, тринадцатое, но вечер получился прекрасным. Л. много пел украинские, русские и немецкие революционные песни. Наши меломаны ужасались, а Генрих и Аннемари были довольны. Просили еще. Генрих: «У меня с песнями сложные отношения. Сначала в скаутах, потом трудовая повинность, потом солдатчина. Подъем в пять утра; стоишь сонный, голодный, и команда — «веселую песню».

Тосты Л: «Упаси нас Бог от спасителей всего человечества и отдельных стран. А Генрих спасает людей. Это единственное, что можно сделать». Генрих: «Мы с Аннемари в Кёльне иногда говорили, что, пожалуй, самые лучшие наши друзья — в России».

Я сказала, что Бёлль научил меня различать причастие буйвола и причастие агнца. Этот выбор нам приходится делать ежедневно.

На обратном пути Генрих: «Я боюсь — завтра в Прагу. Этой поездки я боюсь. Там все гораздо хуже. И там возлагают на меня ответственность, слишком большую».

14 марта. Провожаем Бёллей. Кроме нас с Костей Богатыревым на аэродроме только функционеры. Косоруков смотрит откровенно ненавидяще, остальные отстраняются, едва здороваются.

* * *

8 февраля 1975 года.

Р. Встречаем Бёллей в аэропорту. Они стоят в очереди к пограничнику — проверка паспортов. Ирина Роднянская: «Может быть, лауреату Нобелевской премии можно без очереди?» Но они продолжают стоять.

На этот раз визу ему посол Фалин привез домой.

Оставляем вещи в гостинице и едем к нам пить чай.

Они оба выглядят лучше, чем три года назад. Хотя он вдруг приложил руку к левому уху: «Не слышу. Забыл дома уши». — «Что случилось?» — «Старость». (Оказалось, что частичная потеря слуха после небольшой автоаварии.)

У нас Вильгельмина, Борис, Костя с женой.

Л. Бёлли рассказывают, как ровно год тому назад к ним прилетел Солженицын.

Сначала был телефонный звонок министра: «Примете ли гостя?» — «Конечно, если он захочет». Потом позвонил Брандт с тем же вопросом, получил тот же ответ. А. Солженицына привезли из Франкфурта на машине. И следом — сотни машин корреспондентов со всех стран. Заглядывали в окна, в щели ставен. Дом в осаде. Взвод полиции. На кухне — полицейский командный штаб. Во дворе — полевые кухни.

Александр не успокоился, пока не позвонил в Москву, не поговорил с женой.

«Нам с ним было хорошо. Опять поразила его твердость. Он увидел снимок на стене: «Это ваша мама?» — «Нет, Роза Люксембург». Он очень удивился, но ничего не сказал.

С Цюрихом я поддерживаю все время связь — переписываемся и говорим по телефону, мы хотим вскоре повидаться...

Кто-то предложил, чтобы несколько наших писателей — Ленц, Грасс, Фриш — встретились бы с ним, поговорили, рассказали бы о том, что происходит у нас. У него представления о нашем мире нереальные. Но я был против; из этого ничего не могло получиться...

...Мне очень понравился «Голос из хора» Синявского.

Автор по-настоящему образован, у него чувство юмора, пишет смело...

...Прочитал книгу В. Корнилова «Без рук, без ног» — очень интересно. Сочетание традиционного письма и эксперимента.

Расспрашивает о Надежде Яковлевне: «Как наша старая дама?»

Пришел еще гость, В. Корнилов. Пересказываем похвалу Бёлля.

«...Я эту повесть писал в Якутии. А перед этим все читал «Хлеб ранних лет» ...Мне важнее всего там — два потока времени: медленное прошедшее и быстрое настоящее... В книгах Бёлля есть безумие, оно мне очень близко. Каждый писатель немного безумен. И в отношениях Бёлля с Богом есть безумие».

Бёль слушает задумчиво, переспрашивает. Ему кажется, что это опасная почва для размышлений.

Рассказывает, что редактирует перевод Евангелий. Они обнаружили 2500 ошибок. «Это ведь писали не ангелы, а люди».

Рассказывает:

«Один из недавно эмигрировавших советских литераторов выступал в Западном Берлине на собрании, устроенном Шпрингером и Штраусом, и говорил о епископе Шарфе как о фашисте, Шарф молодым священником был в Сопротивлении, сидел в гитлеровском концлагере, потом — в ульбрихтовском. Он подлинный христианин. Он приходил как священник ко всем заключенным. Приходил и к тому нацистскому болвану, который стрелял в советского солдата. Приходил и к террористам.

А литератор, называющий себя правозащитником, говорил гнусности о Шарфе в аудитории, где половина — старые и новые нацисты».

Только прожив несколько лет в Германии, мы поняли, насколько сложна и трудна была жизнь Генриха в те годы. Мы до такой степени были захвачены всем, что происходило у нас, так много было наших забот и горя, что мы и не могли себе представить все, что пришлось претерпеть ему и его семье в семидесятые годы. Его тогда травил как «вдохновителя» террористов, не прекращались злобные нападки по радио, по телевидению, в бульварных газетах. Его проклинали и некоторые церковные и политические деятели. Полиция проводила обыски в квартирах его сыновей, он получал письма с угрозами.

Мы знали обо всем этом больше, чем наши московские друзья и знакомые. И все же это знание было поверхностным. Извне, со стороны.

Когда Бёлль приехал в Москву в 1970 году, некоторые радикальные диссиденты возмущались: «Как может он приезжать после вторжения в Чехословакию? Как может он общаться с функционерами разбойничьего государства?»

Напрасно старались мы переубедить таких максималистов. Отважные, самоотверженные, фанатичные, но односторонние, они владели абсолютной истиной в двухмерном мире.

Но мы сами и не подозревали, до какой степени односторонними были наши отношения с Генрихом Бёллем. Мы возлагали на него наши заботы, страхи, горести. К нам часто прибегали: «Надо немедленно сообщить Бёллю: такому-то, такой-то угрожает опасность... Такие-то арестованы...» И мы писали ему, телеграфировали, звонили и недостаточно думали о том, что он все чаще, все тяжелее болеет. И что каждая наша просьба отрывает его от работы, и это бывает мучительным...

Бёлль не хотел проводить очередной конгресс ПЕН-клуба в Югославии — там писатели сидят в тюрьмах. Но к нему приехал посол Югославии уговаривать: «Ведь вы можете помочь».

После заседаний Конгресса Тито пригласил его, Пritchetta, еще нескольких коллег к себе. Показывал парк, которым гордится. Долго говорил о соловьях. Бёллю это надоело. «Я стал спрашивать об арестованных. Он сделал вид, что не знал. Обещал помочь. Но обманул, вскоре арестовали Михайло Михайлова».

«Тито говорит по-немецки с акцентом, но свободно. Его заботят национальные проблемы и что будет после его смерти. Любезен. Умная, хорошая жена; вот она просто обрадовалась, когда я заговорил о заключенных».

На перевыборной конференции ПЕНа его спросили: «Почему СССР не вступил в ПЕН-клуб во время вашего президентства?» Бёлль ответил: «Я был против. Они исключают писателей именно тогда, когда тех преследуют власти».

Его спрашивали о контактах; ответил, что контакты были, но односторонние. «Они приглашают, кого они хотят, а к нам посылают не тех, кого мы приглашаем, а вот уже двадцать лет тех же самых old boring boys».

Из дневников Р.

9 февраля. Воскресенье. Утром Аннемари и Генрих у нас. Рассказывали о сыновьях, о поездке в Израиль. Мы познакомили с нашими внуками — Леней и Маришкой.

Едем в Переделкино. Кладбище, могилы Пастернака и Чуковского. Дом Пастернака. Генрих: «Как здесь все запущено, разорено...»

Дом Чуковского — любовно, бережно устроенный музей. Генрих: «Такое вижу впервые. Хотя, кажется, дом Гёте в Веймаре похож. У нас это не принято».

Вечер — на даче Евгения Евтушенко. Празднуется день рождения его жены Гали.

Майя Луговская произносит тост: «Необходимы новые идеи».

Бёлль возражает: «Нет, идея христианства прекрасна, идея социализма тоже хороша, и они друг другу не противоречат. Главное — не идеи, а то, как их воплощают в жизнь».

10 февраля. Еду в мастерскую Биргера. Впервые вижу двойной портрет — Андрей Сахаров с Люсей. Мне нужно долго смотреть, чтобы «войти» в портрет. Жаль, что не видны его глаза, веки приспущены.

Аннемари на обратном пути: «Мне по-прежнему больше нравятся пейзажи, чем портреты».

Генрих вспоминает, как в прошлый раз ездил в Ялту и Грузию, его сопровождали «жадные и глупые функционеры». Ответственный сотрудник Союза писателей прямо выпрашивал у него деньги (то же самое мы слышали от Анны Зегерс и Эрвина Штриттматера).

Генрих прочитал английский перевод книги Л. «Хранить вечно». Когда мы вдвоем: «Хотел бы поговорить с тобой. Понимаешь ли ты, на что вы идете, чем рискуете? Готова ли ты?»

— Я понимаю. Я готова. (Так ответила. А себя спрашивала: готова ли?)

...В посольстве ФРГ возня вокруг приема Бёлля: «Кого приглашать из русских?» Они хотели только деятелей СП и нескольких официальных писателей. Он сказал, что не придет, если не пригласят его друзей. Посол телеграфировал в Бонн, согласовывал. «Нельзя вызывать новую напряженность, у ФРГ много выгодных торговых сделок в СССР». Решили прием делать только для немцев.

12 февраля. У нас. Условились с утра встретиться только вчетвером, а потом придут Сахаровы — познакомиться. Бёлли задержались. Люся с Андреем пришли рань-

ше. Мы с Машей готовим обед. Внезапное открытие: выпить нечего. Андрей идет в «Березку». Маша: «Ну, ты даешь, мама, Сахарова за водкой послала».

Генрих и Андрей — понимание с первых минут. Они, кажется, даже внешне, по манере говорить, чем-то похожи друг на друга.

Сахаровы пригласили всех в Жуковку. Они спешили, им необходимо было уйти сразу после обеда.

«Сейчас роман не пишу. Отдыхаю. Очень устал».

Л. долго рассказывал о Короленко, о Сергее Алексеевиче Желудкове, о его либеральном, экуменическом православии.

«Да, я его помню. Но, к сожалению, здесь я встречаю чаще таких, для кого существуют только их проблемы, и весь мир обязан заниматься только их проблемами».

Аннемари: «Костя все меня убеждал, что вообще не надо было переводить фразу из «Группового портрета»: «Каждый порядочный человек в юности хоть на время увлекался коммунизмом». Он говорил, что здесь эти слова не поймут, что это вызовет неприязнь, может даже от Бёлля оттолкнуть. Неужели он прав?»

Генрих: «Почему здесь не хотят понять, что для нас коммунизм — не опасность, для нас опасность — сдвиг вправо».

13 февраля. Лев болен. Бёлли поехали в Жуковку к Сахаровым с Костей Богатыревым.

14 февраля. В мастерской Эрнста Неизвестного. Эрнст показывает модели огромного монумента — памятник, символ мировой культуры. Должно быть стометровое сооружение, вроде похожее на дерево, с фигурами, буквами, орнаментом. Генрих: «Скульптор такого размаха может быть только в России. У нас вообще почти нет монументальной скульптуры... Где воздвигнуть это великанское творение?) Может быть, в Синае, у Суэцкого канала? На границе между Израилем и Египтом, Азией и Африкой?»

Обед у корреспондента немецкого радио Клеменса. Войновичи, Богатыревы, Корниловы. Генрих рассказывал, как в прошлый приезд Федоренко, Стеженский, Озеров убеждали его в своей любви и дружбе. Озеров даже обнял и расцеловал. «Стеженский меня вчера спрашивал: «А ты ни в ком не разочаровался из тех, кого защищал?» ...Ему я сказал, что ни в ком не разочаровался».

Каждый хочет поговорить с ним хоть несколько минут наедине.

С Войновичем.

— Надо организовать ПЕН-клуб и принимать не только диссидентов. Вот меня приняли во французский ПЕН на следующий день после того, как исключили из Союза писателей. Это была для меня моральная поддержка.

Генрих: «Мы тогда договорились с Пьером Эммануэлем, чтобы вас принять во французский, потому что тогда франко-русские отношения были лучше, чем германо-русские. Чем можно вам помочь сейчас? Я еще не читал ваш роман; вернусь — прочитаю, напишу рецензию».

Войнович: «Буду счастлив. Но еще прошу — напишите мне открытку, просто по почте».

Из дневников Л.

14 февраля. Вечером у нас. Встреча Аннемари и Генриха с четырьмя молодыми христианами. Три женщины и молодой парень. Философы, литераторы, богословски образованы.

Распрашивают, почему западная молодежь так дико бунтует, почему ни церковь, ни Генрих не противостоят советской пропаганде, советской агентуре. Уже по их вопросам ясно: они убеждены, что студенты в Париже, в Берлине, в США и многие левые журналисты одурачены, доведены до безумия коммунистами, агентами КГБ. И вообще идет наступление Антихриста.

Генрих и Аннемари вместе пытаются объяснить, что вызывало недовольство студентов. В Берлине в шестьдесят седьмом году во время студенческой демонстрации против приезда шаха полицейские убили студента, и убийц не судили. Среди профессуры многие с нацистских времен ничего не забыли, ничему не научились. Бёлли говорят о войне во Вьетнаме, о миллионах голодающих в Африке, в Латинской Америке.

Едва успеваю переводить, они все время прерывают, особенно возбужден молодой человек. «А не кажется ли господину Бёллю, что он сам подвергается влиянию коммунистической или, скажем, социалистической идеологии?» Генрих: «А вы не задумывались над тем, почему лучшие писатели Латинской Америки стали социалистами, коммунистами — Астуриас, Маркес, Неруда, Амаду?.. Неужели все они — агенты Москвы? Они социалисты или коммунисты потому, что их народы голодают. И у нас в Германии главная опасность не слева, а справа. У нас левых не больше двух процентов...»

...Прерывают: «В октябре семнадцатого года в России было четыре процента большевиков». Генрих: «Но большевики были единая и воинственная партия. А среди наших двух процентов левых — сотни группировок, они враждуют между собой. Среди них есть и противники насилия, и наивные утописты». — «У вас скрытые симпатии к левым». — «Вовсе не скрытые. Потому что именно среди левых я нахожу многих людей, бескорыстно заинтересованных чужими бедами, которые стараются хоть как-то помочь, в том числе и вам».

«Неужели нет бескорыстных консерваторов?»

«Есть, мы таких знаем и уважаем. Вот я смотрю на вас, слушаю вас и убежден: родись вы в Сицилии, вы были бы коммунистами». И.: «Да, это так. В двадцатые годы я ходила бы в красной косынке. Мой дедушка был народовольцем».

Генрих смотрит участливо, слушает внимательно, но иногда взрывается.

«На меня набросились здесь некоторые ваши писатели — почему я написал письмо в защиту писателя, который сидит во франкистской тюрьме. Ведь здесь куда больше арестованных литераторов. Но такая бухгалтерия отвратительна. Когда подсчитывают, где больше, а где меньше страдающих. Почему люди, полагающие себя христианами, не могут сострадать вьетнамцам, которые погибают от американских бомб, или детям, которые умирают от голода?» Он начинает горячиться. — «Ведь против войны во Вьетнаме выступали и многие церковные иерархии, и гуманные консерваторы в Америке и в Европе...»

Девушки не хотят усугублять спор. Они любят Бёлля, и две возражают, чуть не плача. Переводят разговор на богословские темы. Почему на Западе такое обмирщение церкви? Они слышали, что там уже не боятся отлучения.

Генрих: «А чего ж тут бояться? Ведь отлучает не Бог, а папа. Он тоже человек. Наш город Кёльн разные папы за семьсот лет отлучали то ли семьдесят два, то ли семьдесят три раза. Отлучали за непокорность епископам все население. Это означало, что церкви закрывали, нельзя было ни крестить, ни хоронить, ни венчать; тогда это ведь было очень страшно. Но и тогда находились смелые священники, которые служили тайные мессы в криптах в подвалах церквей, и там причащали, и крестили, и отпевали, и венчали. Они верили в Бога, а не в папу».

Он устал, непрерывно курит, пьет холодный кофе, глотает какие-то таблетки.

Аннемари: «У людей нашего поколения нет больше страха отлучения. Поэтому сейчас и отлучают реже. Стариками еще боялись».

И.: «А мы очень боимся. Отлучение — ведь это ужасно. Это значит быть отвергнутым церковью».

«Почему?»

И.: «Потому что в нас дух послушания».

Генрих: «В этом наше различие. В Восточной церкви сильнее символическое начало. А у нас отлучение всегда было орудием политической борьбы».

«Вы знаете Евангелие с детства. Вы привыкли. А мне оно открылось уже взрослой. Я и раньше видела добро, но всегда бессильное, жалкое. А тут впервые ощутила связь добра и силы. Церковь — это сила».

Аннемари: «А по-моему, христианская церковь и сила, то есть власть, — это понятия несовместимые».

«Но мы говорим о духовной силе, о духовной власти».

Генрих: «Духовная власть может увечить души страшнее любой политической. Я никогда не забуду того, что церковь сделала с моей бабушкой, с моей матерью. Они были рабынями. Они были уверены, что не имеют права даже книги читать. И сегодня действует церковная цензура. В прошлом году к шестидесятилетию известного теолога, иезуита Раннера, готовили сборник в его честь. Мы с ним друзья, он хотел, чтобы и я участвовал. Я написал. Но цензура потребовала снять несколько абзацев. Редакторов я всегда внимательно слушаю, но идеологической цензуры не принимаю. А Раннер не хотел, чтобы сборник выпускали без моего участия. Так он и сегодня еще не вышел...»

«А кто, по-вашему, сегодня настоящие христианские писатели?» — «Церковно верующих очень мало. Я знаю, кажется, только Бернаноса, Мориака, Грина...»

Когда они ушли, Генрих был очень подавлен. «А ведь и вы говорите, что они — из лучших. И я вижу, слышу: они умные, образованные. Но как это страшно — опять фанатизм, нетерпимость...»

Когда мы остались одни, Р.: «Неужели люди, которые очень хотят понять друг друга, не могут ни услышать, ни понять?..»

Из дневников Р.

15 февраля. Прощание у нас.

Около получаса я сижу одна (они все наверху), смотрю на чистую квартиру. Без мыслей. Дальше все разво-

рачивается с невероятной быстротой. Приходят один за другим, все что-то приносят, начинают хозяйничать на кухне. Дом наполняется стремительно. Пью вино — надо расслабиться, чтобы все было безразлично — как выйдет, так и выйдет. Ведь не впервые же. Ни минуты самого Бёлля не вижу. Он с Ритой Райт (она показывает фотографии Воннегута), он с Костей, он с Андреем Вознесенским и Зоей.

...Белла Ахмадулина читает стихи памяти Анны Ахматовой, Андрей читает «Васильки Шагала».

...Наконец многие уходят, молодые моют посуду, убирают, квартира снова почти чистая. Сорок пять человек. Лидия Корнеевна была почти дольше всех. Они еще с Даниэлями выясняют отношения в связи со статьей Синявского. Но это я слышу мельком.

16 февраля. На аэродроме. Л. остался дома, все еще болеет. Приехали Сахаровы, Богатыревы, Мельниковы.

Люся Боннер: «Меня в прошлом году вызывали на допросы в КГБ. И каждый раз я брала с собой «Бильярд в половине десятого». Пока сидела в приемной, перечитывала и страницы, и целые главы. Это помогло мне избежать «причастия буйвола».

А. Д.: «Когда вы приедете в следующий раз?» — «Когда закончу роман». — «Значит, опять три года ждать?» Генрих: «Надеюсь, что нет. Представление, будто писателю нужен абсолютный покой, когда он пишет, по-моему, неправильно. Когда я пишу, мне уже ничто и никто не может помешать. Но вот когда я еще только думаю о том, что буду писать, когда другим кажется, что я ничего не делаю, вот тогда мне необходима тишина, необходимо быть свободным от всего — от поездок, от встреч, от посещений...»

Сахаров: «И от политики». — «Да, и от политики. Мне всегда трудно начинать, входить в работу. Бывало, выбрал ложный вход — ничего не получается. А найдешь верный — пишется легко, просто».

А. Д.: «Какой из ваших романов вы любите больше всех?» — «Больше всех люблю рассказы, повести». — «Какие именно?» — «Не могу сказать. Я забываю старое, когда пишу новое».

Вечером Генрих звонил из Кёльна. Их встречал Винсент. Все здоровы. «Мы тут вспоминаем московские встречи, рассказываем про всех вас».

А ведь мне казалось, когда они идут по трапу, они отрываются, удаляются все дальше, дальше от наших горестей, забот, бед.

А. Д. с Л. перевели их с Генрихом письма в защиту Буковского. И Л. согласовывал по телефону. А. Д. хотел назвать побольше имен, а Г. настаивал: «Лучше меньше, но настойчивее, в одну точку».

* * *

После 1975 года книги Бёлля в СССР не публиковались. Его помощь Александру Солженицыну, его дружба с Андреем Сахаровым, его гневно-горестная статья про убийство Константина Богатырева, его предисловие к книге «Хранить вечно» и горько-ироническая заметка в связи с тем, что у нас отключили телефон, его новые высказывания о политических преследованиях в СССР, в Польше, в Чехословакии — превратили его для наших идеологических инстанций в *persona non grata*.

Восьмого мая 1979 г. Р. написала Генриху письмо, которое Л. перевел на немецкий.

8 мая

Дорогой Генрих!

Четыре с лишним года мы не виделись. Это очень долго.

...Несколько раз мне хотелось хоть на бумаге поговорить с тобой, с Аннемари. Но останавливалась: не хотелось вас нагружать своими тревогами, заботами, горестями. А их больше, чем радостей, хотя — грех жаловаться — радостями нас судьба не обходит.

За долгие годы нашей дружбы — она среди самых ценных накопленных сокровищ — так и не отвыкла немного бояться, немного стесняться, да и языковый барьер мешает общению.

Но вот сейчас, в гостинице маленького грузинского городка, так захотелось написать, что попробую не останавливать себя.

Когда ехали сюда из Тбилиси, я шарила по книжным полкам — что взять с собой на несколько дней? Взяла «И не сказал ни единого слова».

Едва нырнула — окружающий мир перестал существовать... Изредка доносился голос Левы:

— Почему ты плачешь?

— Ничего не хочу, только чтобы Кэте и Фред снова были бы вместе...

В письме это получается прямолинейно, неправдоподобно, но, Генрих, это почти стенографически точно.

Долго не спала. Прочла я теперь не ту книгу... Так и не могу вспомнить в мировой литературе другой, где так нежно, так романтично была бы воплощена влюбленность мужа и жены... Сейчас я впервые прочитала книгу глубоко религиозную. Религиозную традиционно, с протяженностью времени. Именно католическую — свободную в отношениях с «пастырями». Епископы могут быть и равнодушными, и жадными, и «осторожными», и трусливыми. Пусть и слово «Бог» расплывается в глазах Кэте коричневыми пятнами. Но именно вера держит Кэте, вера вместе с любовью, любовь и вера едины.

Генрих, я не стала новообращенной христианкой, не присоединилась к тем, кого ты немного узнал, — их число все растет. Но, видимо, и не осталась на том месте, где была двадцать лет тому назад.

Если б вдруг на седьмом десятке на меня снизошло бы озарение — вряд ли бы стала об этом писать, побоялась бы той дешевки («Доверяй своему аптекарю!»), которая сопровождает эту, как и любую, моду. Завидую твердой, не рассуждающей вере Кэте.

Повесть слышала, видела, осязала, даже обоняла, и сейчас ощущаю один из лучших в мире запахов — утренний кофе и свежие булочки. Вижу девушку из закускойной и ее слабоумного брата. Слышу шум процессии, лязг железной дороги. Мне передается тепло машинного отделения, где иногда спит пьяный Фред.

Хочется, чтобы чувственная радость длилась и длилась, впитываю слова медленно. И то, что прямо написано, и то, что вложено. Тот свет любви, который я сейчас ищу везде. Ищу неустанно. И нахожу. В старинных храмах Грузии — их разрушали, развалины остались заброшенными, но свет не меркнет. Фрески уцелели.

Ищу в сердцах своих близких, в своем собственном. Когда не нахожу, ужасаюсь, жить становится почти невыносимо.

Ищу в Библии, которую мы везде возим с собой.

Для книги Льва о докторе Гаазе понадобилась цитата, перечитала апостольские послания, они приблизились. На первый план вдруг вышли бытовые детали — как, например, Павел просит сохранить его книги в кожаных переплетах. И укрепляется у меня: нет, это не тысячелетие тому назад, не в начале нашей эры, не в неведомых мне Иерусалиме,

Коринфе, Риме. Это сейчас, здесь у нас происходило, происходит. Диссидентство. Отщепенство. Тюрьмы. Несправедливости. «Нет пророка в своем отечестве». Побивание камнями. Ясные знаки и неумение их понять. Проповеди, неистовые, односторонние. Но страстные, захватывающие... Это вечно.

...Многие мысли, впечатления последних месяцев подготовили душу, чтобы по-новому воспринять «И не сказал ни единого слова».

Писатель Генрих Бёлль давно и далеко ушел от этой повести. Но книги имеют свою судьбу.

Позор, что я, Левина жена, так и не выучила немецкий. А как хотела читать Бёлля в подлиннике. Теперь и это поздно. Горький привкус «поздно» неизбежно уже сопровождает мысли, порывы, планы.

А вот любить — никогда не поздно. Это — до смерти.

Генрих ответил (28 мая 1979 г.).

Дорогая Рая, дорогой Лев!

Раино письмо — такое длинное, такое личное, — нас обоих — меня и Аннемари — очень тронуло. Это поразительно — после такого длительного перерыва — тридцать лет! — таким образом вновь встретиться со своей книгой. Узнать, что читательницу в далекой Грузии эта книга (из «развалин»), я до сих пор к ней привязан, так затронула. Раино письмо было утешением, а мы в этом очень нуждались, у нас позади тяжелые месяцы...

...Сейчас уже недолго осталось до нашего приезда. Жаль, что придется на ваше дачное время, но по-другому у нас никак не получается.

Я, разумеется, прочитал «И сотворил себе кумира», даже написал на эту книгу рецензию для радио. Книгу я проглотил, многое из нее узнал, многое научился понимать... Снова и снова перечитываю Раино письмо: подумать только, что может «натворить» книга!

Мы вас всех, всех обнимаем.

Ваш старый-престарый Хайн.

* * *

Мы несколько раз пытались вести дневник вдвоем. Такими общими были и записи лета 1979 года.

Бёлли прилетели вчетвером — с сыном Раймундом и его женой Хайди.

24 июля. Гуляли по Кремлю, Александровскому саду, сидели в кафе «Интурист». Вечером у нас с нашими детьми.

«Когда услышал, что избрали Папу-поляка, сперва не поверил, потом обрадовался. Главное — хорошо, что не немца. Но все же он вызывает у меня сомнения, даже недоверие. Он слишком националист, польский националист. Они там всегда пишут «поляк-католик», на первом месте — поляк. Польский католицизм — это особая религия. Конечно, она им помогла сохранить нацию после всех разделов. Но это не очень христианский католицизм, скорее языческий. У них там много языческого — Матка Боска Ченстоховска, это культ не христианский».

Мы напоминаем ему о таких же локальных культах в Испании, в Италии, в Баварии, в Мексике...

— Да, да, конечно. Пожалуй, во всех католических церквах много языческих пережитков.

Раймунд:

— А мне Папа нравится. Уже тем, что он дает духовную альтернативу — против культуры кока-колы, он по-настоящему встряхнет старую ватиканскую лавочку. Энергичнее всех прежних пап.

Г.: «Да, это правда. Он и телезвезда, и порядочный демагог, консерватор. Я имею в виду не политические взгляды, а церковные, теологические. Я очень любил покойного Папу Джованни. Он хотел оздоровить церковь, оживить, приблизить к жизни. Доброжелательно относился к идеям реформ, обновления... Папа Павел был менее яркой личностью, такой маленький итальянец, добрый, покладистый. А этот хочет восстановить догматы, строгую ритуальность. Он и слушать не хочет об отмене безбрачия для священников, о противозачаточных пилюлях. Те, прежние папы, готовы были уже уступить. Когда он приезжал к нам еще как польский епископ Войтыла, он даже не здоровался с теми епископами, которые ходили в светской одежде, не в облачении. Они для него не существовали. Он будет укреплять церковный бюрократизм и формализм. Хотя политически он более гибок, более активен. И польскому правительству приходится с ним считаться, да и вашему придется».

О канонизации. Раймунд: «Гааза канонизация убьет. Для молодежи он ничего не будет значить».

Отец и сын наперебой рассказывают о том, как производится канонизация или «беатизация».

Г.: «Заседает особая комиссия, годами заседает. Вызывают сотни свидетелей, которых допрашивают, чтобы

узнать мельчайшие подробности о жизни, быте, всех поступках кандидата. Не выкурил ли когда-то сигарету в неподобающем месте? Не выпил ли лишней кружки пива? Не нарушил ли пост? С кем водился, с кем спал? Вот сейчас так готовится канонизация немецкой монахини Эдит Штейн. Она из еврейской семьи, была аскеткой, строго набожной. Погибла в нацистском лагере.

Л.: «Не она ли прообраз Рашели из «Группового портрета»?»

— Нет, никакого отношения не имеет. Она была действительно замечательная женщина, достойная уважения. А теперь всю ее жизнь разбирают по косточкам, ведут уничижительно мелочное расследование. И если канонизируют, то этим убьют вторично.

26 июля. Интервью немецкому телевидению на квартире у Клауса Беднарца. Пока Юрген Б. и его помощники устанавливают аппаратуру в гостиной, пьем кофе. Генрих впервые видит свой только что изданный роман «Заботливая осада», который получил Беднарц. Уже разносная рецензия из кёльнской газеты (упреки в самоповторениях, небрежном языке, скуке и т. п.).

Клаус и другие немецкие корреспонденты рассказывают о подготовке Олимпиады.

Начинается интервью.

К. Беднарц спрашивает, как Бёлль представлял себе Россию до поездок туда.

Генрих:

— В шестнадцать—семнадцать лет я уже читал русских писателей: Достоевского, Чехова, Толстого, Лескова. Россия меня привлекала, казалась огромной и таинственной. Я любил карты, любил смотреть на карты. Это безмерное пространство от Карпат до Тихого океана. И русские мне казались интересными, привлекательными людьми. У нас ведь все любили рассуждать о таинственной славянской душе... Нацистская пропаганда ничего не изменила в моем отношении к России, потому что я никогда не верил нацистам. Они ведь писали, кричали, что все коммунисты — чудовища. А я знал многих коммунистов. У отца в мастерской были рабочие — коммунисты. И по соседству от нас жили коммунистические семьи. Я никогда не разделял их взглядов. Случалось, мы спорили. Но я знал, что они никакие не чудовища, а такие же люди, как все, что среди них есть и хорошие, честные. Как же я мог поверить тому, что

нацисты писали о коммунистах?.. Когда началась война, я фактически по своей собственной воле оказался на Восточном фронте. Я тогда был во Франции, в гарнизоне. И если бы захотел, мог бы там оставаться, — были знакомства, связи. Но мне захотелось испытать, что такое настоящая война. До этого мне не пришлось видеть ни одного боя, не пришлось испытать опасности. Все-таки сказывалось тогда влияние того культа мужества и просто желание испытать самому. В школе нам все учителя рассказывали о Вердене, о Сомме, о великом испытании мужчин огнем и смертью... Вот так я оказался в Крыму, потом в Одессе, и с первых же часов пожалел об этом. А отношение к русским в то время скорее у меня даже улучшилось. Я видел, как у нас в Кёльне во время бомбежек русских военнопленных посылали разбирать развалины, когда еще бомбы падали... Я видел, какие они голодные, истощенные. От этого было и сострадание, и чувство собственной вины, соучастия в преступлениях.

После войны отношение к России углублялось. Особенно после первого приезда в шестьдесят втором году.

С тех пор у меня появились друзья, я узнал, сколько у меня здесь читателей. И сам читал многих русских писателей: Паустовского, Солженицына, Трифонова.

Клаус Беднарц: «К какой нации вы себя причисляете?»

Л.: «Если бы мои деды, родители были немцами, французами, англичанами или китайцами, я бы вам просто ответил: «Я — русский». Но сейчас я вынужден отвечать с оговоркой: «Я — русский еврейского происхождения». Я никогда не исповедовал еврейской религии, не знал еврейского языка, не признавал и не чувствовал себя евреем. Но великий польский поэт Юлиан Тувим, который был поляком еврейского происхождения, очень хорошо сказал: «Есть родство по крови, но не той крови, которая течет в жилах, а той, которая вытекла из жил многих жертв». Мои дедушка, бабушка, тетки были убиты за то, что они были евреями. А сейчас у нас в стране такой массовый жестокий антисемитизм, какого, пожалуй, никогда не было. Поэтому я так и говорю».

Г.: «Я немец. Рейнландец. Не пруссак. У нас на Рейне Пруссию не любили. Поэтому всегда были сильны сепаратистские настроения. Мой отец еще мечтал об отдельном рейнском государстве. Отец еще жил традициями «культуркампа», рассказами о том, как тайком в сараях причащались католические дети, скрываясь от прусских чиновников-протестантов. Вот и Аденауэр был таким же, как мой отец, для него уже на правом берегу Рейна начиналась Сибирь. Но

мы, рейнцы, считаем себя хорошими немцами, не хуже, а даже лучше пруссаков».

Беднарц: «На что вы надеетесь в будущем?»

Л.: «В прежние века, даже еще в прежние десятилетия перед разными народами и разными классами было много возможных и казавшихся возможными путей исторического социального развития. А сейчас перед всем человечеством один выбор: либо человечество в целом как-то поумнеет, т. е. научится жить мирно, либо все человечество погибнет. Я больше не считаю себя ни коммунистом, ни марксистом. Но я не стал антикоммунистом, антимарксистом. Сегодня я могу повторить за вашим старым Фрицем: «Пусть каждый ищет блаженства на свой фасон». У меня нет ни для кого политических рецептов, никаких политических программ, я думаю, что одни народы могут жить в социалистических демократиях, другие — в либеральных республиках, третьи — в конституционных монархиях, четвертые, может быть, — в патриархальных авторитарных обществах. Но, главное, все должны научиться терпимости и пониманию непохожести, инородного. Без этого мы все окажемся в смертельной опасности...»

26 июля, вечером. Прием у Майи и Василия Аксеновых.

Собрались все «метропольцы». Мы рассказывали Бёллю историю этого необычного издания: без цензуры, самостоятельный, но отнюдь не диссидентский сборник. Редакторы даже и не пригласили тех, кто официально считается отщепенцами, вроде нас. И тем не менее сборник, перепечатанный в пяти экземплярах, запретили, участников ругали, двух молодых литераторов не приняли в Союз писателей.

Один из гостей Бёллю: «Союз писателей нас не защищает, он превратился в бюрократическую организацию. Надо создавать новую, лучше всего ПЕН-клуб».

Г. слушает внимательно. «Должно быть не менее двадцати членов-учредителей; нужно подумать, не вызовет ли это репрессии, ведь у вас боятся всяких новых организаций». Обещает поговорить с секретарем и с председателем ПЕН-клуба — шведом. Но предупреждает, что секретарь — англичанин Притчетт — очень благосклонно относится к СП. Он не уверен, что это будет легко осуществить. Но он сделает все, что в его силах.

28 июля. Генрих Бёльль и Андрей Сахаров пришли для серьезного разговора. Сахаров знает немецкий, но когда

дело идет о важных проблемах: «Я не доверяю своим знаниям, точные формулировки нужно переводить точно». Поэтому Л. переводит весь разговор.

Сначала Л. с листа переводил письменный ответ А. Д. на большое письмо Генриха, переданное ему несколько дней тому назад. На двух страницах машинописного текста, по сути, излагаются все те же, уже неоднократно высказанные соображения (Люся: «Андрей считает сейчас именно это самым важным делом своей жизни. Более важным, чем борьба за права человека»)... Строительство атомных электростанций жизненно необходимо для Запада, потому что: 1) иссякают все другие источники энергии, а новые развиваются медленно (солнечная, приливная, внутриземная и др.) и пока очень дорого стоят; 2). Распространенные страхи преувеличены. Уже разработанная техника безопасности достаточно совершенна. От угольных и нефтяных станций значительно больше вреда и для людей, и для природы; 3). Отставание в строительстве атомных станций в то время, как в ГДР, в СССР их строят очень интенсивно, угрожающе ослабляет Запад, обрекает его на зависимость от стран-экспортеров нефти и от СССР — зависимость экономическая неизбежно становится и политической.

Дополняя письмо, Сахаров говорит о неотвратимости и благотворности научно-технического прогресса. Уже сейчас удвоена средняя продолжительность жизни, во всяком случае, в Европе. Бесспорно положительны достижения прогресса в питании, в жилищах, антибиотики.

Г.: «Атомные станции все равно строятся. Не беспокойтесь. Во Франции их строят беспрепятственно, а у нас в ФРГ знающие люди говорят, что уже сейчас у нас энергии втрое больше, чем нужно, и атомные станции вовсе не нужны для увеличения потенциала энергии. Еще надолго хватит существующих возможностей... Но вообще в нашем споре трудно говорить о знаниях. Вы несоизмеримо больше меня знаете об атомной энергии, о ее возможностях. А я знаю об условиях нашей жизни, которую, по-моему, вы себе не представляете... И у нас есть ваши единомышленники. Мой брат Альфред — физик, придерживается почти тех же взглядов, как и вы. Я слышал очень много аргументов ученых, отстаивающих эту точку зрения. Так что теперь наши разногласия уже не на уровне знаний, а на уровне веры. Вы верите так, а я по-другому. Мне очень жаль, что ваши выступления у нас используют очень плохие люди. Те, кто навивается на строительстве атомных станций, вовсе не думая

о свободе, о прогрессе, о благе человечества. И это уже не вопрос политических взглядов, у нас понятия «правые» и «левые» стали весьма относительными. Странники есть в каждой партии. Хельмут Шмидт — социал-демократ — технократически настроен, прагматик — за, а другие — против. Коммунисты против строительства у нас, но за то, чтобы строили в ГДР, и у христианских демократов — тоже раскол. А неонацисты — все против. Но говоря обо всем этом и о прогрессе вообще, представьте себе нашу страну: в самом узком месте ее ширина двести километров, меньше, чем от Москвы до Горького, а в самом широком — пятьсот, меньше чем от Москвы до Ленинграда. И на этом тесном пространстве — шестьдесят миллионов людей. Прогресс — это рост. Но что растёт? Непрерывно увеличивается число автомашин. В США уже сто сорок миллионов автомашин (это он повторяет едва ли не в каждом разговоре). У нас в Кёльне уже сейчас нечем дышать. Детей моложе десяти лет нельзя в центре выпускать на улицу, они начинают задыхаться, рвота, судороги; жители в некоторых малых городах и у нас в Кёльне на улицах устраивают баррикады, заграждения, перекрывая путь машинам. Очень хорошо иметь свою машину. У меня тоже есть, и мощная. Но для того чтобы из Кёльна проехать в Бонн двадцать пять километров, мы иногда вместо получаса едем не менее двух часов. В этом году в июне мы попали в пробку, которая тянулась на девяносто километров... Это страшно. Еле-еле движешься в потоке машин, огромных, роскошных, мощных, и в каждой сидит один-два человека, — какой непроизводительный расход энергии и средств. А дороги? Мы страдаем от загромождения (ферштрассунг). Вокруг Кёльна уже пять кольцевых дорог, широких, по нескольку машин в ряд. Раньше там росла трава, деревья, кусты, паслись коровы, жили люди. А теперь — бетон, асфальт и машины, машины.

Такой прогресс, такой рост губит, а не помогает. Конечно, в странах третьего мира и у вас есть еще много пространства, есть множество людей, которым необходимо дать элементарные блага — пищу, жилье. Но в таких странах, как наша, как Япония, США, нужно как-то ограничивать рост. Не знаю, как, но если не ограничивать, это будет губительно».

Когда речь зашла об аварии в Гаррисбурге, Андрей сказал, что там были незначительные технические неполадки, но печать и радио раздули их в погоне за сенсацией,

вызвали панику. Люся: «А не было ли это диверсией противников строительства атомных станций?»

Бёлль удивленно и печально сказал, что само такое предположение очень характерно для советского образа мышления — всюду подозревать вражеские происки и диверсии. Об этой аварии газеты и телевидение сообщили позднее, чем местные администраторы провели эвакуацию части населения.

Они не убедили друг друга.

Во всяком случае, Генрих не воспринял ни одного из аргументов Сахарова. У того иногда, кажется, возникают сомнения. Но спорили оба необычайно мирно, внимательно слушали, не перебивали, вдумывались, не пытались «уличать» в противоречиях, явно симпатизировали друг другу и даже были похожи.

29—31 июля. Бёлли уехали во Владимир—Суздаль.

1 августа. Пришли обедать Г. и Аннемари. Г.: «Это была очень хорошая поездка. Мы увидели настоящий ландшафт России. Такой бесконечный. Широкий. Иногда — грустный. И очень мягкий, душевный. Раньше мы только один раз там были, зимой; все покрыто снегом. А сейчас прекрасно. Были у монаха отца Валентина — он огромный, жизнерадостный, много ест и пьет. Щедро угощает. Исключительная еда». Когда Л. замечает, что он напоминает монахов из Боккаччо, оба, смеясь, соглашаются. «Да, в России мы такого увидели впервые. Но он, несомненно, добрый, искренний человек. Нам было хорошо с ним, особенно после загорских церковных функционеров».

За обедом Фазиль: «Разрешите очень короткий тост: «Легко быть Генрихом Бёллем, если с тобой рядом Аннемари». Все смеялись, а Генрих сказал вполне серьезно: «Он прав».

Генрих: «Мой интерес к Латинской Америке начался задолго до того, как возникли «семейные связи» с Эквадором, до того, как два моих сына женились на эквадорианках.

Я начал читать книги латиноамериканских писателей».

В этот день повидаться с Бёллем приходили многие приятели, латышская германистка Дзидра Калнынь, москвичи и тбилисцы.

Поехали к Сидуру в мастерскую. Г. смотрел с интересом. Потом он говорил, что ему больше нравятся ранние работы С.: камень, металл, дерево. Экспрессионистские. Более поздние работы — конструкции из различных металлических предметов — понимает, но хуже воспринимает.

Пока мы были у Сидура, Раймунд с женой были в мастерской у Вайсберга. Раймунд: художник очень талантливый, но ему далекий.

Вечером — прием у Дорис Шенк. Войновичи, Даниэли, Аксеновы, Искандеры, Сидуры, Биргеры, корреспонденты. Посланник Береендонг с женой. Разговор Бёлля с посланником. Тот считает, что последние репрессии против писателей ГДР — следствие «воздействия» Москвы, так же как новый жестокий закон, запрещающий фактически любые отношения с иностранцами, прежде всего с жителями ФРГ. Бёлль уверен, что все это — плоды собственной инициативы ГДР, что в вопросах идеологии гедезровские догматики влияют на московских прагматиков, а не наоборот. И в шестьдесят восьмом году вторжения в Чехословакию особенно ревностно добивался Ульбрихт.

2 августа. Последний день. С утра А. и Г. с Вильгельминой и с Л. поехали в музей Толстого. Потом приехали дети с Борисом. Генрих не подымался на второй этаж музея: «Я там уже был несколько раз, и вообще не люблю музеев», — вышел во двор. Там на скамейке у дома записывал справки о наших заключенных. Всего подробнее: Огурцов, Орлов, Руденко, Ковалев, Тихий, Лукьяненко, Глузман.

Генрих согласился принять участие в предстоящем праздновании 200-летия рождения доктора Гааза. Обещал позвонить депутату Мертесу.

Вместе гуляли по Пироговке. Сидели на бульваре за памятником Толстого.

2 августа. Вечер.

К. говорит, что во многих книгах Бёлля, в том числе и в последнем романе, у героев проходят прежде всего зрительные воспоминания, как кинокадры. Они существуют только в сознании героев или их видит сам автор? С чего начинается роман — со зримых представлений? Видит ли он своих героев? Видит ли то, что они делают?

Г. очень твердо: «Нет, не вижу. Видят только персонажи. У меня все начинается со слова. Нет, это не слышимое слово, но и не видимое. Не знаю, как объяснить. Это слово во мне. Я не представляю себе внешности героев, потому не люблю иллюстраций, не люблю инсценировок. Это ограничивает и читателей, и меня. А без этого каждый может представлять по-своему».

Раймунд возражает: «Не может быть, чтобы ты не видел. Ведь когда ты пишешь о человеке, ты сначала должен

его увидеть, представить себе человека, а также местность или здание».

— Нет, это они видят друг друга, они — персонажи — представляют это себе. А у меня слово.

Л. напоминает: «У тебя в одной из богословских статей или интервью говорится, что слово «Бог» — это огромная пустынная планета. Заваленная окаменевшими надеждами и молитвами. Разве это не зримый образ? Не лунный ландшафт?»

Г.: «...Нет, когда я писал, я ничего при этом не видел. «Бог», «планета», «камни» — все это слова».

Р. вспоминает о «кинолентке» жизни Неллы в «Доме без хозяина»: «Это важно для характеристики ее, это она видит. Видит она, а не я».

Уже несколько минут спустя он заговорил, что критики и литературоведы часто выводят одного писателя из других, из его предшественников: «Такой-то вышел из Томаса Манна, такой-то — из Кафки, такой-то — из Фонтане. По-моему, это совершенно неправильно. На писателя влияют не меньше, чем литература, еще и живопись, музыка — вся окружающая жизнь».

«Когда я начал писать, еще до этого, для меня огромное значение имела живопись, я много ходил по картинным галереям. И, конечно, музыка — и светская, и церковная. А вот Райх-Раницкий этого не понимает. Гуляешь с ним и говоришь: «Посмотрите, как прекрасна эта белая лошадь на зеленом лугу». А он: «Да, да, у Кёппена во второй или третьей главе есть нечто подобное».

О Ленце он говорил несколько раз по разным поводам: «Ленц — замечательный писатель и прекрасный человек. Из всех моих коллег — самый лучший, самый мне симпатичный. Я хочу, чтобы он приехал и со всеми вами познакомился».

«Смотрю телевидение много, часами. Мне это не мешает думать. Как легкая музыка. Даже легче сосредоточиться в «пусковой период». Я не могу написать ни одной строки, если кто-нибудь даже в соседней комнате. У нас система звонков — Рената знает, как кому отвечать».

3 августа 1979 года Генрих, Аннемари и Раймунд с женой улетели. Это была последняя встреча Генриха Бёлля с Москвой.

12 ноября 1980 года во Франкфурте нас встречали Рене и Винсент сыновья Бёлля и наши ленинградские друзья Елена Варгафтик и Игорь Бурихин.

Первый немецкий дом, в который мы вошли, был дом, в котором жил Генрих на Хюльхратерштрассе, 7. Он и Аннемари стояли на площадке второго этажа...

16 августа 1985 г. мы с друзьями написали:

«Писатель Бёлль не умер, его слово живет и будет жить. С первых русских изданий (1956) он стал в нашей стране одним из самых любимых, для многих — жизненно необходимых писателей. И хотя с 1975 года, когда он стал неугоден властям, его книги больше не издавались, но они продолжают неизменно читаться.

Умер Генрих Бёлль — друг и заступник страдающих, преследуемых людей. Он был христианином, для которого заповедь любви к ближнему была основой жизни и души. Он был наделен редким даром сострадания.

Когда в Москве, Ленинграде, Киеве преследовали литераторов, арестовывали и судили невинных, вступался Генрих Бёлль.

Он писал прошения, протесты и сам, и от международного-ПЕН-клуба, будучи его президентом, он звонил членам правительства, он ходил к послу СССР в ФРГ, он пытался убеждать руководителей Союза писателей. Так, он защищал Амальрика, Бродского, Даниэля, Синявского, Гинзбурга, Галанскова, Григоренко. Вдвоем с Сахаровым они предложили обмен Буковского и других политзаключенных в СССР на политзаключенных Чили и Южной Африки. Он требовал расследовать убийство Богатырева. Он протестовал против нападок на Биргера, Владимирова, Максимова, Некрасова, Чуковскую, Эткинда, на группу «Метрополь». Сегодня еще нельзя назвать имена всех тех, кому и как помогал Бёлль в СССР, в Польше, в Чехословакии. Помогал словом, деньгами, лекарствами, вывозил рукописи, в том числе и рукописи Солженицына, который именно в его доме нашел первое прибежище. Сахаровы писали из горьковской ссылки: «Передайте нашу любовь Генриху и Аннемари. Слышать Генриха на крутом берегу Оки, да под ледяным ветром — стало тепло на душе — было очень большим событием».

Деятельное милосердие Бёлля неотделимо от его творчества и от его корневых связей с русской литературой.

Он в ранней юности читал и постоянно перечитывал Толстого и Достоевского, Гоголя, Чехова, Гончарова, Горького. Он написал поэтический телесценарий «Петербург Достоевского», предисловие к массовому изданию «Войны и

мира». Он с любовью и ревниво следил за новой русской литературой, писал и говорил в докладах и интервью о книгах Паустовского, Пришвина, Бабеля, Трифонова, Розова, Пастернака, Дудинцева, Евгении Гинзбург, Солженицына, Владимова, Войновича, Корнилова, Распутина, Виктора Некрасова, Аксенова, Синявского и многих других.

Для каждого из нас, для тех, кто его знал, он был не просто литературным авторитетом, но и неизменным нравственным мерилom, олицетворением чистой совести.

На земле немало хороших писателей. Много и воистину нравственных, и деятельно милосердных людей. Но такое, как у Бёлля, сочетание художественного слова и братского человеколюбия мы можем сравнить разве что с тем, что знаем о Льве Толстом и Владимире Короленко.

Без Генриха Бёлля нам всем будет труднее жить.

Василий Аксенов, Сара Бабенышева, Александр Бабенышев, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Сергей Довлатов, Лев Друскин, Лев Копелев, Наталья Кузнецова, Татьяна Литвинова, Виктор Некрасов, Раиса Орлова, Мария Розанова, Андрей Синявский, Ефим Эткинд».

7. НЕВОЛЬНЫЕ ПРОТИВНИКИ ДЕРЖАВЫ

Никто не может подарить мне свободу, если ее нет в зародыше во мне самом.

Борис Пастернак

В несвободной стране мы стали вести себя как свободные люди...

Андрей Амальрик

Двадцать второго января 1981 года в городе Кёльне мы получили два одинаковых письма от советского консула в ФРГ.

«Мне поручено сообщить Вам о том, что указом Президиума Верховного Совета от 12 января 1981 года за действия, порочащие звание гражданина СССР, на основании статьи 18 Закона «О гражданстве СССР» Вы лишены гражданства СССР».

Что к этому привело?

7 декабря 1965 г. Партийное собрание в Институте. Докладчик из ЦК Куницын. Грамотный, цивилизованный начетчик. Добродушен. Однако завел старую пластинку: «Идеологическая борьба обостряется... культ культом, но враги не дремлют». Назвал антисоветчиков: Тарсис, Рабин, Синявский, Даниэль. Тарсис в Англии ведет открытую антисоветскую пропаганду. У Рабина мрачная живопись, очерняет действительность. Даниэль и Синявский арестованы за то, что печатались за границей... Синявский под псевдонимом Абрам Терц опубликовал повесть «Суд идет». (Накануне я доказывал, что автор, должно быть, поляк, сидевший у нас в лагерях примерно до пятьдесят третьего года. Лагерный быт описан точно, но именно — тех лет.)

Задав несколько вопросов, я стал говорить.

— Тарсис действительно писал антисоветчину, — я прочел «Палату номер семь» — бездарная графомания. Хорошо, что его выслали за рубеж. Рабин — талантливый художник, мне нравятся его картины, понимаю, что другим они могут не нравиться. Но называть «антисоветчик», клеить политические ярлыки — это наследие культа.

Синявский — талантливый критик-литературовед. Не верю, что он — Терц. «Суд идет» читал по-английски. Плохая беллетристика. Но арестовывать за это — значит опять же действовать по-бериевски, по-сталински. Что написал Даниэль, не знаю, его стихотворные переводы талантливы. Но что бы эти литераторы ни писали и где бы ни печатали — это нельзя считать уголовным преступлением. Можно критиковать, оспаривать. Идеологическая борьба — это борьба идей. А тюрьма, суды — это для настоящих преступников, для шпионов, для убийц, для таких врагов, которые стреляют, бросают бомбы.

Никто из наших мне не возражал, большинство были явно согласны, но спорить с товарищами из ЦК не привыкли.

Куницын отвечал многословно, по тону дружелюбно, общими фразами о многообразии форм идеологической борьбы, что наши враги, мол, хитры, коварны и т. д.

Несколько дней спустя я изложил то же самое, что говорил на собрании в Институте, в письме, адресованном Куницыну, просил его содействовать освобождению Синявского и Даниэля, и «пусть это дело разбирает Союз писателей».

Следствие было закончено к январю 1966 года. Адвокаты в поисках литературных экспертов обращались к разным членам Союза писателей. Из именитых согласился только К. Паустовский. Отзыв на книгу Синявского написал известный филолог Вяч. Вс. Иванов, а на книгу Даниэля — я.

Приведя научные определения жанра сатиры и гротеска (цитируя Литературную энциклопедию, работы М. Бахтина), я доказывал полную несостоятельность уголовного преследования. И напомнил, что «антисоветскими» назывались в прошлом произведения не только Ахматовой, Зощенко, Пастернака, но и М. Шолохова.

Еще до суда в газетах появились статьи, где Синявского и Даниэля называли корыстными изменниками, отщепенцами, «перевертышами». Это было пугающе знакомо.

Лариса Богораз, бывшая жена Юлия Даниэля, дала в Москве интервью корреспонденту «Голоса Америки». Ссылаясь и на письмо Паустовского, она отвергла все обвинения. Ничего подобного прежде не бывало.

Процесс начался 10 февраля, в день смерти Пушкина и в день рождения Пастернака.

Судья — председатель Верховного суда РСФСР Л. Смирнов — отклонил ходатайства адвокатов о приглашении Паустовского, Вяч. Иванова и меня как официальных экспертов, согласился только приобщить наши заявления к делу. Адвокаты могли на них ссылаться.

Смирнов — холеный, самоуверенный барин, допрашивал подсудимых нарочито презрительно. Они отвечали на вопросы спокойно, но твердо, ни от чего не отрекались, ни в чем не каялись.

Они противостояли суду, прокурору, общественным обвинителям, назначенным Союзом писателей, — бывшему полковнику МГБ, бездарному беллетристу, и критикессе, неперменной участнице всех прошлых «проработок».

В своих последних словах Юлий Даниэль и Андрей Синявский полностью отвергли предъявленные им обвинения. Это было совершенно новым в полувековой истории нашего общества. Записи последних слов сразу же широко распространились по Москве.

Синявский был приговорен к семи годам лагерей, Даниэль — как ветеран Отечественной войны — к пяти.

Из дневников Р.

Два дня хожу по квартирам, собираю подписи под нашим письмом*.

Хорошо и просто с теми, кто сразу соглашается, все понимаемая.

...М. Поповского застала у Ц. Он взял копию и сразу же побежал к своим приятелям... Т. решительно отказалась: «Они совершили подлость, подвели «Новый мир» (опять, как восемь лет назад, когда Пастернак «подвел всю прогрессивную интеллигенцию»).

Никого не уговариваю, стараюсь не вступать в словопрения, тупо повторяю: «Решайте сами, как велит вам совесть...»

Всех ободряют подписи Чуковского и Паустовского...

Эренбург поучал: «Стиль не годится. Вы обращаетесь к партийному съезду, нужно писать языком, к которому там привыкли». Злюсь больше на себя, но возразить нечего. Он исправляет несколько фраз. Недоволен он и другим: «Ну что это еще за подписи! Кроме Паустовского, Чуковского, Каверина, здесь нет известных имен...»

Как ему объяснить, что на самом деле значит каждая подпись.

Высокомерен. Наконец подписывает.

Л[еоид] Е[фимович] П[инский] обнял: «Спасибо что пришли. Я ждал чего-нибудь вроде этого». Он, придиричивый стилист, не стал ничего править. «Здесь детали совершенно неважны. И даже неважно, что вам ответят. Прекрасно, что есть такое письмо. И декабрьская демонстрация была прекрасна...»**

Аркадий А[настасьев] подписал, но тоже стал исправлять. «Меня три года школили в Академии общественных наук, я знаю эту лексику лучше тебя и Эренбурга».

Х и У. долго колебались и не подписали. Z... колебался еще дольше, я ушла, он догнал меня у соседей и подписал.

Костя [Богатырев] подписал, не читая, а потом долго ругался: «Возмутительно беззубое прошение. Надо было резче».

В. огорченно и агрессивно: «Зачем вы ввязались? Сам не подпишу и жалею, что вы этим занимаетесь. Не ожидал...

* Мы писали, обращаясь к XXIII съезду, что не считаем Даниэля и Синявского преступниками и что хотим «взять их на поруки». Письмо составила Виктория Швейцер. Она и Сара Бабенышева собрали большую часть подписей. Я к ним присоединилась.

** См. с. 116.

Помню ваше выступление после двадцатого съезда, как мы вам тогда хлопали. А сейчас — обидно за вас».

Напоминал «славное прошлое». Ровно десять лет тому назад. Тогда казалось: я со всеми и все со мной. Заодно. И Макарьев, и Михалков обнимали, руки целовали. А что я тогда предлагала? Отменить отделы кадров, изменить систему выборов. И все были «за». А сегодня, ни на какие основы не посягая, просим на поруки двух литераторов. И уже шарахаются...

Кто же изменился, что же изменилось — они или я?

24 марта. В Ленинке на лестнице М. М. расспрашивал про письмо. «Ты обязана все записать, как составляли, кто и как подписывал, как и кто отказывается. Боишься подвести людей? Запиши и спрячь подальше, закопай. Представь себе, как этому порадуются историки через сто лет!»

Саша Галич звонил, очень сердитый, — почему его обошли. Объясняю, что это намеренно, его дело песни писать... Он польщен, но продолжает ворчать.

25 марта. На улице Воровского шли с Д. и К. Долгий разговор все о том же. Собрав подписи, могу им, друзьям, признаться, что мне сочинения Терца и Аржака не нравятся; не нравится и то, что печатаются за границей под псевдонимом.

Д. очень зло: «Постыдилась бы! Мы живем, как в лагере, двое попытались убежать. И тебе, видите ли, не нравится та дырка, которую они проделали! А я им благодарен. Они нам всем помогают освободиться».

К.: «Неважно — нравится, не нравится. Какой-то англичанин-мудрец сказал о своем противнике: «Мне отвратительны он и его взгляды. Но я готов до последнего дыхания сражаться, чтобы он мог их свободно высказывать».

Это для нас самое важное, этому нужно учиться...»

10 апреля. Лекция в Колонном зале Дома Союзов, рассказываю московским библиотекарям о новинках зарубежной литературы в русских переводах. Потом, как обычно, вопросы, среди них: «Правда ли, что Луи Арагон протестовал против суда над Синявским и Даниэлем?»

— Правда. И не только Арагон, но и Генрих Бёлль, а Грэм Грин потребовал, чтобы его гонорар за русские издания перевели женам осужденных.

— А как лично вы относитесь к этому суду?

— Считаю осуждение несправедливым.

Большинство долго хлопало.

Домой пришла счастливая.

В апреле были еще две лекции, и на каждой из них повторялся тот же вопрос и тот же ответ. А потом меня вызвали в Бюро пропаганды СП — эти лекции читались по их путевкам.

Заведующий сетовал и словно бы оправдывался;

— Мы получили больше десяти «сигналов». Устроители на путевках пишут, что лекция прошла отлично, на «высоком идейно-политическом уровне». Но сверхбдительные товарищи возмущаются: «Грубая политическая ошибка... открыто защищала осужденных врагов». Вам придется написать объяснительную записку. От меня требуют и МК и правление Союза...»

С тех пор в Москве мне больше не разрешали читать лекций.

* * *

В издательстве «Молодая гвардия» была готова для печати книга Л. «Брехт» в серии «Жизнь замечательных людей».

Директор издательства, член Бюро ЦК ВЛКСМ Юрий Верченко, приказал зав. редакцией рассыпать набор. Тот возразил спокойно:

— Мы заплатили автору шестьдесят процентов гонорара, уже израсходовались на набор, на иллюстрации. Книгу объявили в «Книжной летописи». Магазины уже заказали не меньше пятидесяти тысяч. И в ГДР про эту книгу объявили, у автора там связи на самом верху. Если рассыпем набор, получим выговоры за грубое нарушение финансовой дисциплины, за перерасход. И к тому же стыдно будет. По всему миру ославят. А если выпустим, можем тоже, конечно, получить взыскания за «притупление». Зато ни стыда, ни убытка не будет. Да и уж так ли строго нас покарают?

Верченко согласился на компромисс: задержать издание, предусмотренное в апреле, на месяц-полтора, пока пройдет съезд комсомола.

Съезд прошел. Верченко снова избрали в ЦК ВЛКСМ. Книга вышла в конце мая. Но еще до того как она поступила в продажу и в библиотеки, журнал «Знамя» опубликовал длинейшую разгромную статью Дымшица. Он «защищал память» Брехта — безупречного революционера, марксиста — от злонамеренных идеологических искажений. Резко отрицательные рецензии появились и в некоторых других журналах («Огонек», «Октябрь» и др.). Единственная положительная рецензия была напечатана в грузинской газете.

* * *

В конце марта Л. сообщили, что его предисловие к массовому изданию «Бравого солдата Швейка» в издательстве «Огонек» в последнюю минуту снято без мотивировок. Гонорар будет выплачен. Протестовать бесполезно, тираж уже печатается.

На письмо, которое подписали 63 члена Союза писателей, официального ответа не было.

По сути же, нам ответил Шолохов, сказавший на съезде, что ему стыдно за литераторов, которые заступались за таких преступников. В годы гражданской войны с подобными поступили бы иначе...

На съезде Шолохову никто не возражал. Но Лидия Чуковская отправила ему Открытое письмо, которое стало классикой самиздата.

* * *

Письмо шестидесяти трех литераторов было одним из многих обращений, просьб, предложений съезду.

Крымские татары снова просили, требовали отменить позорное осуждение их народа. (Указом от 18 мая 1944 года весь народ крымских татар был осужден за «измену родине» и принудительно выселен из Крыма в Среднюю Азию.) Письмо XXIII съезду подписали почти 130 тысяч человек.

Партийное собрание Библиотеки Академии наук приняло наказ съезду с требованием: 1. Отменить паспортную систему; 2. Убрать из всех анкет пятый пункт: «национальность»; 3. Вести суд присяжных.

Письмо, тревожно предостерегавшее от попыток реабилитации Сталина и сталинских методов управления, подписали 25 представителей науки, литературы, искусства. Организаторы письма обращались за подписью только к самым известным — академикам, народным артистам, писателям. Среди них были Корней Чуковский, Мстислав Ростропович, Майя Плисецкая, академики П. Капица, Л. Арцимович, И. Тамм и Андрей Дмитриевич Сахаров.

* * *

Л. Синявского и Даниэля увезли в лагерь. Все прошения, и наши, и зарубежные, оказались напрасными. Но все же это не стало победой обвинителей, судей, проработчиков.

Весной 1966 года «подписантов» — тогда впервые появилось это слово, ставшее на несколько лет ходовым, — в правлении Союза писателей уговаривали, упрашивали, пытались всячески пугать, побуждали раскаяться; главным доводом было: «Ваше письмо опубликовано за границей в буржуазной печати... Вы понимаете, что это значит? Тогда это было неправдой — наше письмо появилось на Западе только осенью 1966 года, полгода спустя после съезда.

Когда мы раньше узнавали, что кто-то из наших сограждан публикует свои произведения за границей в эмигрантских или буржуазных изданиях, это вызывало неприязнь, отчуждение.

Р. В декабре 1962 года Ильичев осуждал «идеологические ошибки» Л. и в той же речи ругал Александра Есенина-Вольпина за антисоветские стихи, опубликованные за границей. Нападки на Л. я считала глубоко несправедливыми, а в том, что он говорил о Есенине-Вольпине, меня развело что грубый тон коробил.

Л. Разумеется, мы никогда не участвовали и никогда не стали бы участвовать в проработках Есенина-Вольпина, Амальрика, Тарсиса, которые посылали свои работы на Запад, но мы сами так поступать не хотели. А к Синявскому и Даниэлю после суда я испытывал уже не просто сочувствие старого арестанта, а внятное чувство душевной близости.

* * *

Л. Весной 1967 года А. Солженицын написал открытое письмо IV съезду писателей, предстоящему в мае; сто экземпляров этого письма он послал наиболее известным литераторам.

И опять произошло нечто новое, беспрецедентное — многие открыто его поддержали.

Георгий Владимов писал, обращаясь к съезду:

«...Советская литература... не может жить без свободы творчества, полной и безграничной свободы высказывать любое суждение в области социальной и нравственной жизни народа... Такая свобода существует... Из рук в руки, от читателя к читателю шествуют в машинописных шестых-восьмых копиях неизданные вещи — Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Пильняка, Платонова и других, чьи имена

я не называю по вполне понятным соображениям... Я прочитал многие вещи самиздата и о девяти десятых из них могу сказать со всей ответственностью: их не только можно, их должно печатать. И как можно скорее, пока они не стали достоянием зарубежных издательств, что было бы весьма прискорбно для нашего престижа.

...Я хочу спросить полномочный съезд — нация ли мы подонков, шептунов и стукачей или мы — великий народ, подаривший миру плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это так же твердо, как верит он сам, — но мы-то, мы-то здесь при чем? Мы его защитили от обысков и конфискации? Мы пробили его произведения в печати? Мы отвели от его лица липкую зловонную руку клеветы?..

Извините все резкости моего обращения — в конце концов я разговариваю с коллегами».

Владимир Войнович, Владимир Корнилов и Феликс Светов * послали телеграмму: «Требуем обсуждения письма Солженицына на съезде члены ордена Ленина Союза писателей». (Указ о награждении Союза орденом Ленина был издан накануне.) И даже Валентин Катаев, талантливый писатель и многолетний опытный приспособленец ко всем режимам, телеграфно солидаризировался с письмом Солженицына.

Приятель, собиравший подписи под коллективным посланием, сказал мне: «Дам только читать, не вздумай подписывать, — твоя подпись может повредить». Я тогда не знал, обижаться или гордиться, и написал свое отдельное послание:

«...Вмешательство цензоров в тематику, содержание, стилистику художественных произведений — противоречит Основному закону нашего государства... и решениям трех партийных съездов...»

Деятельность Главлита вредит не только литературе, искажая художественные произведения, деморализуя авторов и редакторов, но и всему народу, так как подрывает доверие к печатному слову, воспитывает лицемерие, приспособленчество, равнодушие ко лжи, гражданскую безответственность.

...Беспримерное и противозаконное расширение прав цензуры не укрепляет государство, а дискредитирует его.

* В. Войнович был исключен из СП в 1974 году и эмигрировал. В. Корнилов был исключен из СП в 1977 и лишен работы. Ф. Светов был исключен из СП в 1980, в январе 1985 года арестован. После тюремной больницы отправлен в ссылку.

Административными средствами можно создать видимость порядка, единства, дисциплины. Но только видимость и только на короткое время...»

Р. Пятнадцать лет спустя Павел Когоут рассказывал нам в Вене, как он читал письмо Солженицына вслух с трибуны съезда чешских писателей летом 1967 года: «Мне страшно было, очень страшно, но понимал: это должно быть прочитано так, чтобы все слышали. Ведь там каждое слово было и про нас. Когда я читал, зав. отделом ЦК вскочил и ушел; не помню, удалось ли ему хлопнуть дверью. Для меня и моих друзей это был праздник».

А для нас в Москве, начиная с января 1968 года, праздничными были новости из Чехословакии.

Л. В январе 1968 года в Москве судили Галанскова, Гинзбурга, Лашкову, Добровольского. Главным обвинением против Александра Гинзбурга была составленная им «Белая книга» о деле Синявского и Даниэля, которую он послал в ЦК, в КГБ и передал в самиздат. Это было собрание документов о процессе — обвинительных и защищающих, ничего, кроме документов.

Защитник Гинзбурга, адвокат Золотухин, говорил: «Гражданин может безразлично смотреть, как под конвоем уводят невинного человека, и может вступить за этого человека. Я не знаю, какое поведение покажется суду более предпочтительным. Но я думаю, что поведение неравнодушного более гражданственно...»

Таких речей в советских судах по политическим обвинениям никогда раньше не слышали. Адвокаты Д. Каминская, Швейский, а за ними и некоторые другие, решительно отстаивали своих подзащитных, дух и букву закона.

Новое гражданское сознание возникло и выросло за годы после смерти Сталина, после XX и XXII съездов, — сознание тех, кто читал «Теркина на том свете», «Один день Ивана Денисовича», «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Софью Петровну» Лидии Чуковской, «Верный Руслан» Георгия Владимова, «Воспоминания» Надежды Мандельштам и др. Это сознание воплотилось в первые месяцы 1968 года во множестве открытых, коллективных и личных писем-протестов, предостережений.

Галансков, Гинзбург, Добровольский были осуждены. У дверей зала, где только что закончился суд, 10 янва-

ря 1968 года Лариса Богораз и Павел Литвинов отдали иностранным корреспондентам свое письмо:

«Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть и достаточно смелости... Сегодня в опасности не только судьба подсудимых — процесс над ними ничуть не лучше знаменитых процессов тридцатых годов, обернувшихся для нас таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться...»

На следующий день это письмо передавали зарубежные радиостанции. И это было новым, беспрецедентным событием.

В январе, феврале, марте шестьдесят восьмого года появилось множество таких писем. Нам приносили их — часто на папиросной бумаге, едва читаемые копии, — мы и наши друзья их перепечатывали, передавали другим, пересылали в другие города.

Председатель латвийского колхоза «Яуна Гуарде» («Молодая гвардия») Иван Яхимович писал:

«Со времен Радищева суд над писателями в глазах передовых мыслящих людей всегда был мерзостью...

Уничтожить САМИЗДАТ можно лишь одним путем: развертыванием демократических прав, а не свертыванием их, соблюдением конституции, а не нарушением ее...»

Режиссер Евгений Шифферс:

Открытое письмо товарищу по профессии:

«...Мне необходимо знать (знать, чтобы жить), опять ли моя Родина по неведению судит своих детей, как в недалеком прошлом. И если это не так, если Родина знает и молчит, то я хочу просить мою Родину приобщить меня к делу невинно осужденных».

Особенно широко разошлось письмо Петра Якира, Ильи Габая и Юлия Кима *.

* Петр Якир — сын известного военачальника гражданской войны, расстрелянного в 1937. Сам в юности много лет провел в лагерях и ссылках. В 60-е годы считался лидером демократического движения. В его квартире постоянно собирались диссиденты, бывали иностранные корреспонденты. Арестован в 1972.

Якир вскоре «раскался», дал показания, после которых более 100 человек подверглись обыскам и допросам. Его показания передавались по телевидению. Умер в Москве в 1982 году.

Илья Габай, поэт и замечательный учитель, отбыл лагерный срок. В 1973 году покончил с собой.

Юлий Ким, талантливый поэт, композитор, артист, к концу 70-х отошел от общественной деятельности.

«...Наивным надеждам на полное оздоровление общественной жизни, вселенным в нас XX и XXII съездами, не удалось сбыться. Медленно, но неуклонно идет процесс реставрации сталинизма. Главный расчет при этом делается на нашу общественную инертность, короткую память, горькую привычку нашу к несвободе... Мы обращаемся к вам, людям творческого труда, которым наш народ бесконечно верит; поднимите свой голос против надвигающейся опасности новых сталиных и новых ежовых... Помните: в тяжелых условиях лагерей строгого режима томятся люди, посмевающие думать. Каждый раз, когда вы молчите, возникает ступенька к новому судебному процессу. Исподволь, с вашего молчаливого согласия может наступить новый тридцать седьмой год».

К марту 68-го года подобные обращения написали и подписали около тысячи человек.

Общая атмосфера в редакциях, в институтах, в Союзе писателей, в квартирах наших друзей была тревожной, напряженной, но радостной, возбужденной. Много, казалось, напоминало настроения весны 56-го года. Но существенно новым был резонанс — голоса зарубежных радиостанций (в 56-м году их мало кто слушал). Об этом писал Иван Яхинович:

«...Я живу в провинции, где на один электрифицированный дом — десять неэлектрифицированных, куда зимой-то и автобусы не могут добраться, где почта опаздывает на целые недели, и если информация докатилась самым широким образом до нас, можете себе представить, что вы наделали, какие семена посеяли по стране...»

В мае 1968 года я был исключен из партии и сразу же вслед за этим приказом директора уволен из Института. Увольнение я пытался обжаловать, так как оно противоречило уставам: научных сотрудников увольняет не директор, а ученый совет. Разумеется, ни профсоюз, ни Министерство, ни суд, куда я тоже подал жалобу, ничего не попытались изменить. Но я не ощущал себя ни гонимым, ни отверженным. В таком положении были многие вокруг нас. И каждому из «наказанных» спешили помочь не только ближайшие друзья. В некоторых редакциях мне предлагали подписывать задним числом (чтобы могли сказать: «дело давнее») договоры на переводы, на составление реферативных обзоров, то есть на такие работы, которые можно было публиковать под псевдонимами либо даже только испол-

звать «на правах рукописи», и спешили выплачивать авансы.

Поэт Борис Слуцкий, раньше очень редко бывавший у нас, пришел и выложил две тысячи рублей. «Это не подарок, должен будешь отработать. Нужны подстрочники к стихам разных иностранных поэтов. Это лишь часть гонорара».

У одного уволенного «за подпись» научного работника были маленькие дети, и семья не решалась снять на лето дачу. Заработков жены не хватило бы. Им принесли пухлый конверт, набитый разными купюрами: на оплату дачи.

В то лето я не встречал ни отчаявшихся, ни запуганных.

И все это время не ослабевало напряженное ожидание: что в Чехословакии?

21 августа 1968 года мы были в Дубне, в городе физиков. В 1947 году я, заключенным, строил какие-то из тамошних зданий, не мог узнать, какие.

Чешские сотрудники Института ядерных исследований — больше двадцати — протестовали против вторжения. Они ездили в Москву, в посольстве их успокаивали, но, по их рассказам, там были также потрясены и возмущены.

25 августа у Лобного места на Красной площади семеро молодых людей — Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга, Вадим Делоне, Павел Литвинов, Виктор Файнберг — подняли плакаты: «Свободу Дубчеку!», «Руки прочь от Чехословакии!», «За вашу и нашу свободу!».

На них набросились кагебисты, били, затолкали в машины, отвезли в тюрьму. Павел Литвинов — муж нашей дочери Майи; она тоже была на площади в группе друзей-свидетелей, окружавших демонстрантов. Ее задержали и в квартире сделали обыск.

В октябре 1968 года демонстрантов судили. Мне удалось с помощью членского билета СП проникнуть на первое заседание суда и подробно записать. На второе заседание меня уже не пустили.

В толпе перед судом я познакомился с Петром Григоренко.

Пятерых демонстрантов осудили на разные сроки ссылки и лагерей. Виктор Файнберг был заключен в спецпсихбольницу, Горбаневскую отпустили как мать грудного ребенка, но полтора года спустя забрали в психиатрическую тюрьму.

В сентябре и в октябре мы вместе с Александром Бабышевым изготовили и размножили несколько маши-

нописных листовок о событиях в Чехословакии и о демонстрации на Красной площади. Распространяли их он и его друзья — опускали в почтовые ящики.

Павла приговорили к пяти годам ссылки и отправили в Забайкалье. Майя с семилетним сыном поехала вслед за ним. Друзья называли ее декабристкой.

* * *

Освобожденный от партбилета и от служебных обязанностей, я не мог освободить себя от чувства и сознания ответственности за действия партии и государства.

Я понимал, что наше зло существует не вне страны, не вне народа и не только над ним, не только в верхних слоях номенклатуры... Но знал также, что среди тех, кто привычно голосует «за», платит партийные взносы, получает премии, гонорары из государственных касс, — множество хороших, честных и даже выдающихся, замечательных людей. Я не мог и не хотел отделять себя от них, безоговорочно противопоставлять себя всем, как те радикальные диссиденты, которые становились фанатичными антикоммунистами.

Жить и поступать по совести мне удавалось потому, что в нашей семье постепенно, стихийно, без каких-либо предварительных обсуждений и соглашений, возникло «разделение труда»: я позволял себе писать и говорить вслух все, что думал, и так, как думал, а позднее позволил себе печатать статьи и книги за границей, давать телевизионные интервью и т. д., потому что Р. заботилась о нашем существовании — моем и наших детей и внуков. После 1966 года вплоть до 1980-го, до дня ареста и высылки А. Сахарова, — она не подписывала тех писем, которые хотела бы подписать, не давала интервью иностранным корреспондентам, которые могла бы дать, не позволяла публиковать за рубежом свои работы, уже хранившиеся там у наших друзей. И поэтому еще до того, как мы стали пенсионерами, мы могли жить на ее гонорары, могли пользоваться благами Литфонда, то есть лечиться в поликлинике, ездить в дома творчества, жить в кооперативе Союза писателей.

...Она оставалась «в законе». И это позволяло ей не только оберегать семью, но и продолжать участвовать в той духовной жизни, в которой некоторое время пытался участвовать и я: читать лекции вне Москвы, консультировать аспирантов, писать статьи и книги. С ней заключали договоры еще и в начале 70-х годов.

Мы оба не говорили и не писали ничего такого, чего не думали. Мы оба дружили с семьей Сахаровых и старались помогать преследуемым, заключенным, их семьям. Но я говорил и писал открыто, а она действовала без огласки, не-приметно; перепечатывала, распространяла и отправляла на Запад рукописи, собирала вещи и лекарства и передавала их семьям заключенных, сосланных.

Р. Все было так, но не только так, и для меня гораздо сложнее. Весной шестьдесят шестого года, когда я подписала письмо в защиту Синявского и Даниэля и собирала подписи под этим письмом, когда открыто на лекциях отвечала на вопросы об этом процессе, — были минуты полного счастья, я была в мире с собой.

Но потом...

«Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть...» (Л. Богораз и П. Литвинов), «Мы обращаемся к людям творческого труда...» (Габай, Ким, Якир), «Я требую ознакомиться с моим письмом всех членов партии...» (Яхимович). Все они обращались и ко мне. А я, во многом разделяя их взгляды, их тревоги, восхищаясь их отвагой, на их призывы не откликалась.

С семьей Сахаровых мы дружили с 72-го года, но я ни разу не стояла с ними у дверей судов, не подписала ни одного из его обращений.

Вести такую жизнь бывало тяжело, бывало стыдно, горько, охватывало презрение к себе.

Но я продолжала жить — ради семьи, ради защиты Л. Хотя, возможно, это была иллюзия. С 1968 года, почти двенадцать лет, я прожила с ощущением грозящей опасности.

Летом 1968 года Л. предложили штатную работу — редактировать бюллетень новых иностранных книг; этот бюллетень начал издаваться при Библиотеке иностранной литературы. Директор, Маргарита Ивановна Рудомино, давно знала Л., ценила как специалиста и просто хорошо к нему относилась. Пожалуй, во всей Москве не найти было тогда начальника более снисходительного. Я записывала в дневник: «Надо идти, надо «быть в законе». Не пошел. Уже не хотел ни в какую упряжку».

...В наш узкий коридорчик входит незнакомый человек. Подчас он поднимает руку, указывая на стены, на потолок. Молчаливый вопрос означает: «У вас есть микрофоны? Вас подслушивают?»

Мы киваем утвердительно и иногда, к удивлению спрашивающего, смеемся.

Мы говорим вслух то, что думаем, мы не подпольщики, у нас нет тайн. Но возникло железное правило: не называть имен других людей...

...Нашей приятельнице звонят по телефону на работу.

— Вас вызывают из КГБ.

— О чем вы хотите со мной говорить?

— О Копелеве.

— Вы вечером включите приемник, послушайте Би-би-си или «Немецкую волну»; Копелев говорит все, что думает. Мне нечего добавить.

Больше ее не вызывали. (Это была И. А. Шихеева.)

То была правда, но не вся правда. Мы знали больше, чем говорили вслух. Мы переправляли письма и рукописи за границу. Все переговоры об этом велись письменно, бумагу мы тут же сжигали. Или, в последние годы, писали на особых пластиковых блокнотиках, которые называли «спутник диссидента».

В 1967 году Л. отнес рукопись Анатолия Марченко в «Новый мир». За это его осудили и некоторые друзья: «За ТАКОЕ Твардовскому придется уйти, могут закрыть журнал». Возникло неприятное самостоятельное расследование. Я записала в дневник: «Зачем мы делаем эту работу за НИХ, зачем ведем себя так, словно мы уже в застенке?..»

Тут меня охватил испуг, но иной: острое ощущение — Л. зашел дальше других, уходит, куда за ним не пойдут. Отрывается от того материка, который и был моим отечеством, моей «патриачика». И в изгнании я судорожно стремлюсь сохранить частицы этого отечества; они в страничках писем, в газетах и журналах, в книгах.

...Изгнание — отрыв от материка — началось, в сущности, еще в Москве.

Но и страх перед угрожающими внешними силами не оставлял. Сколько их было — минут, часов страха?

...Декабрь 1975 года. Мороз, гололед. Л. у Фрица Пляйтгена, корреспондента немецкого радио и телевидения. Обещал вернуться к семи, нам надо собираться, на следующий день мы уезжаем в Ялту. Да еще его ждут приятели — назначил сам. Восемь. Звоню Фрицу, его жена отвечает: «Только что уехали».

Сразу после того — телефонный звонок, чужой голос:

— У вас в квартире проживает такой-то, высокий, бо-

рода седая, большая палка? Должен был на машине вернуться.

— Что случилось?

— Авария с машиной. Гололед!

И трубка брошена.

Что было за эти двадцать минут, не помню. Хлопает входная дверь.

— А вы заждались. Простите, не могли оторваться от телека, такие события, Садат и Бегин...

В бешенстве кричу и ругаюсь, как никогда не ругалась. Он ничего не понимает. Рассказываем. Потом смеемся.

...23 января 1980 года. Меньше семи. Меня будит звонок в дверь. Накануне арестовали и выслали Андрея Дмитриевича Сахарова. До двух часов ночи мы провели на Чкаловской с его тещей и с Лизой, невестой сына; там было полно корреспондентов. И все спрашивали друг друга: «Что дальше?...»

Второй звонок. Накинуть халат, сунуть ноги в тапочки, но сомнений у меня не было. Кто же, кроме НИХ, будет звонить в такой ранний час?

На пороге — Леля Светличная. Каждый раз на пути в лагерь, где ее муж отбыл семь лет, она останавливалась у нас. Сейчас он в ссылке в Горноалтайске, они могли бы жить вместе, но время от времени она должна возвращаться в Киев, иначе отберут квартиру. Говорим шепотом. Пьем кофе на кухне. Она ничего про Сахарова не знала.

Директор Русского института Колумбийского университета, наш старый приятель Шульман напомнил мне в 1981 году в Нью-Йорке, как он, приезжая в Москву, все настойчивее спрашивал нас: «А вам встретиться не опасно? А я могу позвонить? А я могу написать?» Я ему ответила:

— Мы еще не в тюрьме и не будем жить так, будто нас уже арестовали...

Моя храбрая приятельница не раз говорила:

— Я всегда поступала и буду поступать наоборот от того, что ждет от меня КГБ.

Путь от страха к противостоянию, к противоборству КГБ — это путь к свободе. Но это еще не свобода. По-настоящему свободен тот, кто может жить так, будто никакого КГБ не существует.

Мы так старались жить, учились так жить, зная, что ОНИ подслушивают наши разговоры, вскрывают наши письма, стоят под дверьми, что ОНИ грозили по телефону, разбили нам окна...

Да, я должна была, избавляясь от страха, в то же время думать о последствиях, ни на минуту не забывая об осторожности.

Но была и еще более глубокая причина, из-за которой я диссиденткой не стала, — я не хотела и не могла отказаться от своей профессии, от своего призвания, от просветительской деятельности, которая мне продолжала казаться нужной.

Много лет я изучала американскую литературу, писала и рассказывала студентам, учителям, библиотекарям о Хемингуэе, Фолкнере, Сэлинджере. Я думала, что познакомить читателей еще с одним хорошим американским писателем — это значит просверлить еще одну дырку в железном занавесе.

Я искала ответы на проклятые, вечные и каждый раз новые вопросы русской истории: так что же нам делать? Совесть требует участвовать, но если участвовать, тогда...

Обращалась к старым любимым книгам и к моим современникам.

Александр Герцен

«Когда бы люди захотели вместо того чтобы спасти мир — спасти себя, вместо того чтобы спасти человечество — себя освободить, — как много они бы сделали для спасения мира, для освобождения человечества...»

Давид Самойлов

«Нация еще долго будет разбираться в своем прошлом и настоящем. И помочь ей в этом процессе наша интеллигенция может только просветительской работой — т. е. медленным и методическим объяснением культурных и просветительских ценностей на уровне школьного учителя. Просветительство и есть главное дело, несмотря на всю скромность этого названия».

Татьяна Литвинова вспоминает:

«Корнею Ивановичу Чуковскому очень не нравилась моя — такая минимальная! — замешанность в диссидентском движении, и не только потому, что он за меня тревожился, но он считал, что очень неправильно для человека, который несет какой-то культурный заряд, тратить себя на трибуну... что самое главное во все времена истории народа — делать то, что именно ты можешь. Он считал, что хорошая книга, переведенная мною, гораздо важнее, чем выступление на суде».

И она сама развивает ту же тему:

«Положение человека творческой профессии трагично в любом обществе: ведь у него одна коротенькая жизнь, в течение которой он должен... реализовать свое призвание. Отложить эту реализацию невозможно, как и земледельцу пахоту, сев и т. д. А русский литератор — это сплошное наступание на горло собственной песне...»

Для меня и эти вопросы, и эти — и многие другие — ответы были глубоко личными, я искала, как поступать мне. Но ведь это были и общие вопросы, обращенные к моим друзьям, ко многим уважаемым людям.

Моими близкими друзьями были и остаются и те, кого причисляли к диссидентам.

Долгие годы я была связана с друзьями и коллегами, которые не были и не собирались становиться диссидентами, продолжали работать «в системе».

Слова и поступки некоторых диссидентов были мне глубоко чужды. Но я не разрешала себе их критиковать и потому, что я к ним не принадлежала, и потому, что их жестоко преследовали.

Сознание своей постоянной межеумочности, безвыходности в пространстве между двумя мирами, которые все более отдалялись друг от друга, становилось порою невыносимым.

И только старые дружбы, к счастью, не оборвавшиеся и нашим изгнанием, все годы поддерживали и удерживали «на якорях»...

Л. Пятница, 17 октября 1969 г. Р. с утра ушла в редакцию «Иностранной литературы». Я подбирал материалы для лекций. Мы оба должны были с 23 октября читать спецкурсы в университете Еревана.

Звонок. Широколицый в кепке, в темном пальто. Заискивающе:

— Вы — Лев Залманович Копелев? Я — из Комитета государственной безопасности. Пожалуйста, вот повестка. Это срочно, очень срочно... Ваше присутствие необходимо... Я лично не в курсе дела, мне поручили. Что вы, что вы, это займет не больше часа. Вас хотят о чем-то спросить или посоветоваться. Машина здесь. И обратно вас также доставят.

Сперва испуга не было. Любопытство: в чем дело? Кто вызывает? В повестке «КГБ РСФСР. Малая Лубянка». Приглашавший вежлив, даже угодлив. «Пожалуйста, не забудьте паспорт, без паспорта не дадут пропуск».

Садимся в машину, сзади он и я, впереди один шофер. Сразу же наползают воспоминания, а с ними и страх, в котором стыдно признаваться себе. Вот так же в легковой везли в марте 1947 года; двадцать два года прошло. Тогда их было четверо. Потом был холодный подвал, потом Бутырки.

Зачем он просил паспорт? А ласковость, быть может, только прием?

На Малой Лубянке, в небольшом доме — проходная, как в захудалом учреждении или на третьеразрядном заводе. Офицер выписывает пропуск, отдает его вместе с паспортом. Сопровождающий ведет меня на второй этаж.

— Вот товарищ следователь из области хочет поговорить с вами. Он и обеспечит, чтобы вы вовремя домой вернулись.

Парень лет сорока, белобрысый, немного скуластый, простоватый, в скромном пиджаке с вязаным галстуком. То ли квалифицированный рабочий, то ли служащий небольших чинов.

— Я — следователь Комитета Государственной Безопасности... постоянно работаю в Перми, в настоящее время выполняю задание по линии рязанского отделения. Так сказать, товарищеская выручка.

Разглядывает меня без неприязни, с любопытством. Крепкое рукопожатие.

— Присаживайтесь, у нас разговор недолгий будет. Но сначала разрешите некоторые формальности.

Достаёт опросный лист.

— Прежде всего хочу узнать, на каком основании вы меня вызвали? Как подследственного? Как свидетеля?

— Да что вы, что вы! Простой разговор, справки некоторые хотим навести.

— По какому делу?

— Все это я вам сейчас объясню. Пожалуйста, не беспокойтесь. Но мы обязаны все документировать, надо заполнить некоторые данные — имя, фамилия и тому подобное. Да, и еще вопросик: в переводчике, значит, не нуждаетесь?

— Что это значит?

— Поскольку вы нерусской национальности, мы обязаны спросить, не нуждаетесь ли в переводчике?

— На фашистские вопросы отвечать не буду.

— Почему «фашистские»?

Он неподдельно удивлен.

— А потому что ведь из вашего опросного листа ви-

дно, где я родился, где учился, видно, что я был советским, русским офицером на фронте. И после этого подчеркивать нерусскую национальность — это значит расизм, то есть фашизм. Можете так и записать: считаю вопрос расистским, то есть фашистским.

Он не сердится, не обижается, скорее смущен, растерян.

— Ну, зачем такая постановка? Это же стандартный вопросник, чистая формальность. Ну, давайте сформулируем так: какой ваш родной язык? Ведь вы же в Киеве рожденный, может быть и украинский.

Была еще одна заминка. Записав, как меня исключили из партии в мае 1968 года, он сперва почти сочувственно удивился:

— Как же так, без низовой организации, сразу райком, не по уставу получается. А где ваша апелляция, в каких вышестоящих организациях?

— Я не апеллировал.

— Как же так? Почему?

— Потому что считаю решение бюро райкома правильным. Я пытался отстаивать линию двадцатого и двадцать второго съездов партии, хотел продолжать борьбу против культа личности. А сейчас — новая линия, я ее не разделяю, значит, и не могу состоять в партии.

Он смотрит с минуту молча, испытующе, шевелит губами, но ничего не говорит.

Первая страница опросного листа заполнена, я ее подпisał.

— Так вот, Лев Залманович, хотя знакомые, кажется, называют вас Лев Зиновьевич? Если вам так приятнее, я тоже могу... Вам такие лица известны? — называет два имени.

— Нет, неизвестны.

(Отвечаю, несколько подумав, как бы вспоминая, хотя заранее был готов отрицать все, не зная ничего. Старые арестантские инстинкты не ослабели.)

— Так я вам напомню. Эти лица — студенты рязанского техникума — приходили к вам в прошлом году, в апреле месяце.

Едва он сказал про рязанский техникум, как я вспомнил. Впрочем, начал догадываться уже, когда он говорил, что помогает «рязанским товарищам». Хотя сначала тревожно подумал: не подбираются ли к «рязанцу» Солженицыну? Несколько недель о нем ничего не было слышно.

Двух рязанских пареньков я вспомнил. Они пришли ко мне в апреле шестьдесят восьмого года в кардиологическую больницу в Петроверигском переулке. Ходячие больные встречались с посетителями во дворе.

Два тощих мальчика, один — черный, остроносый, губастый, насупленный, говоривший скупой, уверенный в своей гениальности. Второй — светлый, курносый, нервно-суетливый, почтительно взирал на товарища.

— Нас направил к вам Александр Исаевич Солженицын. Мы у него были, показывали ему некоторые наши документы. Мы — марксисты-ленинцы, и он сказал, чтобы мы обратились к вам, поскольку вы тоже марксист-ленинец, а он лично придерживается идеалистических взглядов и вообще политически не заинтересован, а только по линии художественной.

Говорил больше белобрысый неврастеник. Называли друг друга по именам, явно конспиративным.

— Мы — группа революционных марксистов. Мы создаем новую пролетарскую интернационалистическую партию для борьбы против сталинского и послесталинского государственного капитализма, против всех нынешних извращений марксизма-ленинизма, против всех видов ревизионизма. Мы привезли наши документы с тем, чтобы вы их прочитали и направили в самиздат. Вот он, товарищ Семен, полностью разработал теорию современного капитализма.

«Товарищ Семен» мрачно и гордо:

— Неважно, кто. Это документ партийный, а не личный.

Я говорил, что я болен и в общей палате, и потому не могу ничего у себя хранить. Но они, оказывается, выяснили, что после ужина — вторые часы свиданий, и просили посмотреть «документы» в это время.

Белесый дал мне две пластиковые врачебные перчатки, чтобы не «оставлять следов отпечатков пальцев», и достал из сумки несколько связок сфотографированных страниц, в каждой больше сотни листов размером в полоткрытки, скрепленных проволокой.

Прежде чем уйти, они успели мне рассказать, что их уже много, общее число они, разумеется, не вправе называть, что они создают пятерки в Саратове, в Горьком и еще каких-то городах. Участвуют не только студенты, но и рабочие, название партии еще не выработано, его утвердит съезд или конференция, созвать которые в условиях конспирации, разумеется, нелегко. Есть мнение, чтобы называться

«Марксистско-ленинская партия пролетариата». Ближе всего им традиции товарища Троцкого и ленинградской оппозиции. У них есть и свои разработки об особой роли пролетарской интеллигенции.

Вечером они опять пришли. За это время я успел просмотреть листки, заполненные глубокомысленными школярскими рассуждениями. Авторы перетасовывали тезисы оппозиции 23—27-го годов, вставляя в старые фразы новые словечки о научно-технической революции, о возросшей роли интеллигенции, о превращении советского госкапитализма в новый империализм.

Я тщетно пытался урезонить этих революционеров.

Чернявый стал меня почти сразу снисходительно презирать, услышав, что я не верю ни в возможность, ни в необходимость, ни в полезность новой пролетарской революции.

А когда я сказал, что не согласен с их утверждением, будто Фейхтвангер — величайший, мудрейший писатель XX века, книги которого позволяют дополнить и развить теорию марксизма, он презирал меня уже беспроблемно.

Светлоглазый все же продолжал настойчиво спрашивать: «Как ж тогда жить? Что вы предлагаете — мириться с нынешним порядком, с тем, как нарушают заветы Маркса, Ленина, Троцкого?»

Я толковал им о Пражской весне, говорил, что необходимо действовать легально, открыто, добиваясь демократии, которая предусмотрена советскими законами, конституцией.

— Ваши конспиративные планы я считаю бессмысленными, бесплодными и вредными прежде всего для вас самих.

— Почему вредными? Вы же ничего про нас не знаете!

— Потому что я знал очень многих, похожих на вас. И могу вам предсказать: если вас наберется человек десять, то один из них, а может быть, и два, выдадут вас то ли по умыслу, то ли просто по болтливости. И вас, конечно, посадят. Все, что вы собираетесь делать, предусмотрено Уголовным кодексом. И тогда по меньшей мере половина из посаженных начнет каяться и валить друг на друга. Двух-трех самых упорных отправят лет на десять в лагеря. Покаявшиеся получают сроки поменьше. Вот и все, чего вы можете добиться.

Они мне не верили. Не поверили и тому, что никакой «главной» редакции самиздата не существует.

Под конец чернявый вообще уже перестал разговаривать и только что-то насвистывал. А второй стал упрашивать меня взять у них сочинение и хоть показать другим, может, кто-то иначе отнесется, чем я; просто захочет перепечатать или показать товарищам.

Я чувствовал себя нелепо в чуждой мне роли цензора, отвергающего «идеологически невыдержанный» текст. Забрал мешочек с фотокопиями, потом их просто уничтожил.

Вскоре после этого пришел А. Солженицын проведать меня. Я рассказал ему о молодых марксистах. На случай возможных вопросов-допросов мы договорились, что ничего о них не будем помнить.

Вот об этих мальчиках полтора года спустя меня и спрашивал следователь КГБ.

— Нет, таких не знаю.

— Но, может быть, вы их знаете под другими именами? Вот посмотрите...

Он показал снимки, несколько штук. Были там и оба моих посетителя. Разумеется, я никого не узнал.

Он вытащил из ящика письменного стола связки листков фотобумаги, точно такие же, какие они тогда приносили.

— Но ведь вы же читали вот это сочинение — «Современный капитал»?

— Нет, впервые слышу это название, впервые вижу то, что вы мне показываете.

Он начал сердиться.

— Однако у нас есть точные показания, именно вот эти два студента приходили к вам, когда вы находились в больнице... Вы же были в апреле прошлого года в больнице. Они оба показывают, что разыскали вас по совету писателя Солженицына.

— Ах вот оно что! Теперь мне все ясно. Затевается дело против Солженицына. В таком случае у нас с вами вообще никаких разговоров не будет. Я напишу собственноручно, что показаний давать не буду, никакого участия ни в какой форме в таком деле принимать не желаю.

— Да что вы, что вы? Не надо так волноваться, никакого дела Солженицына нет. Это лишь один мелкий факт, который упоминают два подследственные, что он дал им совет обратиться к вам.

Я принес с собой несколько листов бумаги, чтобы делать заметки. Стал писать, что считаю недопустимым, вредным для престижа страны, культуры, литературы трав-

лю, преследование всемирно известного писателя, который стал гордостью советской литературы.

— Вот это прошу включить в ваш протокол.

— Пожалуйста, если вы настаиваете, но только следствию важно другое: упомянутые лица в апреле шестьдесят восьмого года приходили к вам два раза, имели с вами длительные собеседования. Из показаний подследственных видно, что вы лично были против их антисоветской деятельности, осуждали ее, старались их удерживать, как старший товарищ. Не понимаю, почему вы отрицаете? Вас лично все материалы по этому делу характеризуют с положительной стороны, так что мы надеялись, что вы просто поможете следствию и суду.

— Ни о каких собеседованиях ни с какими рязанскими студентами я рассказывать не могу, так как ничего об этом не знаю. Ни положительной, ни вообще никакой роли я в этом деле играть не могу.

Допрос продолжался часа три. Он читал мне выдержки из показаний, в которых оба мальчика довольно точно воспроизводили наши разговоры. При этом в их передаче мои высказывания были куда более «выдержанными», «идеологически благонамеренными», чем в действительности. То ли ребята так их запомнили, то ли не хотели меня подводить.

Следователь повторял все время одни и те же вопросы, иногда сердито начиная: «Следствию известно, что вы такого-то числа в таком-то месте...», а я так же упорно повторял: «Не помню... не знаю... ничего такого не было...» Он стал угрожать: «Ставлю вас в известность, что за дачу ложных показаний вы подлежите уголовной ответственности». Я попросил показать мне соответствующую статью УК, прочитал, что мне грозит штраф или полгода принудительных работ, то есть будут вычитать 25% зарплаты. Хотя я тогда уже не получал никакой зарплаты, я все же изменил тактику, стал вместо «не было» говорить «не помню».

Следователь устал. Он ходил куда-то советоваться. На это время его заменял,— ведь меня не полагалось оставлять одного в кабинете — другой, тоже откуда-то из «глубинки». Тому просто хотелось поговорить. Он спрашивал о Евтушенко, о Твардовском, о том, что в «Раковом корпусе» написано, правда ли, что Солженицын за власовцев.

Вернулся «мой» следователь и сказал, что нам придется еще раз встретиться в понедельник, подписать протоколы,— сейчас пятница, они перепечатать не успеют.

Р. В субботу позвонил Отто Энгельберт, бывший военнопленный ефрейтор, слушатель фронтовой антифашистской школы. С тех пор, как он в 1963 году нашел Л., он ежегодно приезжал в Москву из Гамбурга.

Я стала просить на этот раз отказаться от встречи: иностранец между двумя допросами в КГБ — это уж слишком. Л. успокаивал меня, но и упрямо твердил свое: «Я ни в чем не изменю поведения им в угоду».

Он пошел за Отто в гостиницу, они гуляли и фотографировались на Красной площади и у Большого театра. Л. привел его и еще одну немецкую туристку к нам обедать.

Фотография, сделанная Отто в те дни, была год спустя напечатана в «Ди Цайт» — первый снимок, опубликованный на Западе.

Л. Ареста я тогда не боялся. И потому что обстановка в стране тогда уже и еще не располагала к таким страхам. И потому что общение со следователями воспринималось волчьим арестантским инстинктом как безопасное для меня, как формально бюрократическая игра. Это ощущение не изменилось и в понедельник, двадцатого октября, когда, кроме следователя, меня ожидал еще и начальник следственного отдела областного КГБ, моложавый, с острым злым взглядом из-под очень густых бровей. Он пытался меня уличить.

— Вы говорите, что ничего не помните, что было год назад. Эти парни все подробно, точно рассказали, а вы ничего вспомнить не можете... А ведь вы же лекции читаете. Про вас рассказывают, что у вас замечательная память, стихи наизусть знаете на разных языках, как же вам после этого можно верить?—Где же тут гражданская честность?

— Когда вам будет столько же лет, сколько сейчас мне, вы убедитесь, что хорошо помнятся события, и стихи, и люди, и даже разговоры, которые велись двадцать—тридцать лет назад, и при этом может вовсе не запомниться то, что было на прошлой неделе, тем более — в прошлом году. Это уже возрастные особенности памяти.

Он смотрел на меня с ненавистью.

— Что ж, вам придется все это повторить на суде. Сами подсудимые вас изобличат.

— А мне на суде нечего делать. Я не собираюсь туда ехать.

— За это будете отвечать по закону в уголовном порядке.

Но я уже знал, что за неявку в суд свидетеля ему грозит штраф или принудительные работы.

— Что это у вас за бумажки?

— А я записываю все, что говорю вам. Записываю именно потому, что не доверяю своей памяти.

— Прекратите и отдайте ваши бумажки!

— Ну, что ж, прекращу. Потом придется восстанавливать по памяти.

Я положил записи в карман.

— А отдам только по предъявлении ордера на изъятие моих личных вещей.

В понедельник меня провожал на Малую Лубянку Игорь Хохлушкин и остался ожидать на улице, почти два часа расхаживая перед входом в КГБ. Он сам провел пять лет в сталинских лагерях и тюрьмах. В последующие годы наши с Игорем пути далеко разошлись. Но как бы ни огорчали меня иные его суждения, я каждый раз вспоминаю то, что испытал, увидев его на улице вблизи от проходной.

— Ну, значит, все, пошли домой.

Р. А у меня, у которой не было арестантских инстинктов, все эти дни и позднее был страх. Страх за Л. Что он должен был чувствовать, входя в те двери.

И все наши родные и друзья были в сильной тревоге за Л. Они собрались в нашем старом доме, ближе к Лубянке, ждали, пока Л. не вернулся. Их близость укрепляла, была необходима. Но их страхи усиливали мои.

К тому же каждый давал советы: как надо поступать, как вести себя дальше. Почти все считали опасным, что мы продолжаем встречаться с иностранцами.

Во вторник, двадцать первого октября в ЦДЛ на партийное собрание Союза писателей пригласили всех членов партии, работающих в издательствах, редакциях Москвы. Докладывал парторг ЦК Арк. Васильев, отставной полковник госбезопасности, общественный обвинитель на процессе Синявского — Даниэля.

Вечером после собрания несколько человек пришли к нам и рассказали, что Васильев говорил о Л., говорил, что Л. был в 1945 году арестован и осужден правильно, приводил даже отзыв генерала Огорокова, назвавшего тогда Л. «немецким агентом». «Он не наш человек, он исключен из партии, но, оставаясь в Союзе писателей, он разлагает писательскую организацию».

Меня больно поразило, что никто из трехсот участников собрания не возразил на это, не было ни реплик с мест, ни вопросов.

На следующий день мы уезжали в Армению. Нас обоих еще зимой пригласили Ереванский университет и Институт иностранных языков прочитать по циклу лекций. В Москве нас тогда уже никто не приглашал. Но в другие города и республики московские «черные» списки доходили, к счастью, не сразу.

Мне эти лекционные поездки были необходимы. Общение со слушателями, со студентами, с коллегами и просто с книголюбями стало важнее, чем когда-либо раньше. Отлучение от преподавательской деятельности было для меня одним из самых тяжелых, самых болезненных лишений.

Эти поездки были для нас и радостной работой, и побегами от московской сутолоки, которая временами становилась невыносимой. Уже с утра начинали приходиться посетители, чаще всего незваные (мы сами и наши близкие старались беречь утро только для работы). Из-за приходов невозможно было сосредоточиться, подумать, додумать, дописать фразу, углубиться в книгу.

Уезжали мы и от угрожающих анонимных писем и анонимных телефонных звонков.

Да мы и просто любили ездить. На праздники дарили друг другу железнодорожные и пароходные билеты. Так мы ездили по Волге и Каме, по Волго-Балту, в Ярославль, в Ростов Великий, в Сухуми, в Батуми, Тбилиси...

Уезжали от себя и к себе.

И каждый раз в предотъездные дни нарастала тревога, напряженность: УСПЕЕМ ли уехать?

Кроме КГБ угрожали еще и болезни. Бег времени.

Но в те октябрьские дни напряжение было острее, чем когда-либо прежде или позднее.

Впервые после прошедших со дня реабилитации тринадцати лет крупный функционер вслух заявил, что Л. в 1945 году был осужден правильно.

И вызов в КГБ, который нам уже начал казаться случайным эпизодом, приобретал новый зловещий смысл.

Тем сильнее было желание уехать.

Двадцать второго октября мы сели в поезд. И я оглядывалась: кто из наших попутчиков, кто из соседей по купе к нам приставлен, кто из них подойдет завтра с ордером на арест?

Так было в первый — и последний — раз. Потом уже, в худшие времена, я подобных страхов не испытывала.

Мы почти не сомневались, что Л., а скорее, и нам обоим, лекций читать не придется.

На перроне в Ереване нас встречали две женщины с цветами.

— Приветствуем вас! Как доехали? Но мы должны извиниться, нам самим неприятно...

Мы переглядываемся, все ясно...

—...расписание так составлено, что ваши первые лекции начнутся через сорок минут, мы успеем только отвезти чемоданы в гостиницу, а пообедать вам придется позже. Извините...

В Ереване, кроме лекций, мы оба ходили в театры, в музеи, на концерты органной музыки, в Эчмиадзине слушали проповедь католика Вазгена, осматривали средневековый скальный храм Гегард и развалины Гарни.

И в последний раз мы видели Мартироса Сарьяна. Мы познакомились с ним, когда были в Ереване в 1961 году. Тогда его младший сын Сарик — он учился вместе с Р. в аспирантуре — привел нас в мастерскую отца. Тот встретил нас очень приветливо, долго показывал старые и новые картины. Из дальней комнаты принес самую первую, которую выставлял еще в XIX веке, когда учился в Петербурге, — «Пасека» — буро-желтые ульи на густо-зеленой траве. Никаких примет Армении. Пожалуй, только опытный искусствовед мог бы в яростной желтизне различить завязи настоящей сарьяновской живописи.

Зато в картинах последующих периодов — стамбульского, парижского, ереванского — все гуще, все горячее расцветка земли и неба, одежд и зданий, все резче светотени и все чаще проступают очертания гор, все явственнее жаркие, пряные лучи левантинского, закавказского солнца.

В большой, высокооконной, светлой мастерской ликующие яркие полотна, казалось, усиливают освещение.

Нас поразили тройной автопортрет: Сарьян написал себя молодым, зрелым и старым. Нам казалось явственным — на каждый из трех разных своих обликов художник смотрит хоть и приязненно, однако словно бы отстраненно, иронично, а главное, ему всего любопытнее, что именно изменяется в чертах, в цвете лица, в выражении глаз, а что остается почти или вовсе неизменным.

Старый мастер становился все более оживленным, жена принесла вино, он говорил, что, конечно, многому научился в Петербурге, в Париже, в Стамбуле, но по-настоящему нашел себя только на родине, в этой долине, откуда виден Арарат, а вокруг армянские горы, армянские краски, армянская речь.

Его ученик, смуглый, черно-кудрявый парень, прощаясь, поцеловал ему руку.

Сарьян сказал: «Очень способный парень. Но я люблю его еще за то, что он — настоящий армянин, он — горец, не горожанин, и не мог бы жить ни в какой другой стране...

Мой покойный друг Аветик Исаакян, бывало, говорил: «Как может англичанин быть счастливым, если, проснувшись утром, он вдруг поймет, что он не армянин!»

Посмеялись. Но Сарик, высокий, бледный, рано полысевший, провожая нас, сказал печально: «Вот вы теперь немножко почувствовали, что такое армянский национализм. Отец ведь все-таки еще и настоящий европеец, он мягче других, но и для него Ереван — пуп земли».

Два года спустя Сарик погиб в автомобильной катастрофе. В этот приезд в шестьдесят девятом году нам трудно было решиться пойти к родителям, нашим приходом напоминая им о горе. Но нам позвонили: мастер знает, что вы здесь и будет рад вас видеть.

Сарьян очень одряхлел. Они с женой сидели у телевизора. Оживился, когда речь зашла о Сахарове, вспомнил Мандельштама, надписал свой альбом в подарок Надежде Яковлевне.

Через неделю мы переехали в гостиницу физиков; туда нас перевезла Марина, жена Артема Исаковича Алиханяна, членкора Академии наук, директора Института физики.

Он приехал из Москвы с печальными вестями: Корней Иванович Чуковский умер, а в Рязани Александра Солженицына, говорят, исключили из Союза писателей.

Мы знали, что Корней Иванович болен желтухой, что это в 87 лет смертельно опасно. Мы понимали неотвратимость, и все же сообщение о его смерти оказалось внезапным потрясением.

Мы послали телеграмму Лидии Корнеевне, звонить не решались, мучило бессилие — не найти слов. Очень страшно было за нее — отец занимал огромное место в ее жизни. К тому же теперь она оставалась беззащитной.

Алиханян был дружелюбен, по-свойски гостеприимен: — А я ведь знаком с Александром Исаевичем. Несколько моих друзей-академиков хотели с ним встретиться. Я решил устроить встречу у себя. Он согласился. И когда он пришел, первое, что он сказал: «Я заключенным работал на стройке этого дома. Был паркетчиком. Вот и в этой квартире клал паркет. Ну, как вы оцениваете качество работ?» Мы вдвоем осмотрели, прошли по всей квартире,

ковры поднимали. Я тогда же подумал: этот паркет никогда не переключивать. Пусть останется музейный экспонат — пол, работа Солженицына.

В первый же вечер Алиханян сказал нам: «Вам в Москву возвращаться опасно. Исключили его, теперь исключат вас. Сейчас идет закручивание гаек. В таких случаях, это уж я точно знаю, надо переждать, надо смыться. У меня в горах есть маленькая станция. Мы наблюдаем космические излучения. Там всего несколько человек, надежные ребята. Запасы продуктов на много лет. Хорошая библиотека, стерео-проигрыватель, отличные пластинки. Мы вас сейчас туда отвезем, никто ничего и знать не будет. Зимой туда вообще дороги нет, в случае крайней необходимости — только вертолетом. Живите там год-два, мы вам по радио будем общаться про ваших родных».

Соблазн был велик: высокогорная зимовка, идеальные условия, чтобы писать — и вместе, и порознь. Но как оторваться от родных, от друзей? Нет, мы не хотели, не могли так укрываться.

* * *

Р. Алиханян предложил мне прочитать лекцию о Хемингуэе в клубе физиков. Он сидел в первом ряду, задавал много вопросов, щеголяя своей осведомленностью. Он сам много знал об Америке. А меня дразнил: «Почему вы принимаете за данное, что Хемингуэй — хороший писатель? А я считаю, что он писатель плохой, докажете обратное».

Я злилась и не умела скрыть этого.

Потом он позвонил в гостиницу: «Давайте мириться, приходите на вино».

Л. Он пригласил нас и Сильву Капутикян осмотреть «его» синхрофазотрон, водил по огромному зданию и по таким помещениям, куда вход был строжайше воспрещен.

В своем кабинете прочитал нам лекцию о том, что такое синхрофазотрон, говорил с гордостью: «Двадцать семь лет тому назад здесь стоял маленький домик, где работал только один серьезный физик, а сейчас в нашем институте тысяча триста сотрудников, из них сто двадцать — физики, десять — настоящие крупные ученые».

Он и мне предложил прочесть лекцию в клубе физиков. Шестого ноября, в тот день, когда по всей стране шли традиционные торжественные собрания, посвященные госу-

дарственному празднику, я читал ереванским физикам доклад: «Франц Кафка и современные течения в западной литературе».

Алиханян старался нам понравиться: рассказывал о молодости, когда дружил с «Дау» (Ландау), о дружбе с Шостаковичем, с Ростроповичем, о своей любви к музыке, к литературе. Рассказывал, как сопротивлялся всеильному Берии, отстаивая права своего института на жилплощадь.

Он и впрямь был умен, деловит, разносторонен, энергичен. И все же он оставался чужим.

В Москву мы возвращались окрепшие, наполненные новыми впечатлениями.

Из дневника Р.

11 ноября. Пришла Лидия Корнеевна. Первое ощущение — удар. Она стоит, но такая, будто в гробу. В ней что-то очень резко изменилось, не могу определить, что. Но как только она начинает говорить — она прежняя, такая же, как всегда. Нет, еще более поражающая.

Подробно рассказывает о смерти Корнея Ивановича, о похоронах. Ей необходимо выговориться.

Ушел Чуковский — старейшина нашей словесности, лауреат Ленинской премии, почетный доктор Оксфордского университета, ежегодно отдыхавший в Барвихинском санатории для сановников. Он и умер в кремлевской больнице. И он же постоянно помогал опальным — Михаилу Зощенко, Анне Ахматовой, защищал Бродского, Синявского и Даниэля, помогал семьям заключенных. На его даче и на городской квартире подолгу жил Солженицын, которому он и завещал крупную сумму.

Сначала была только боль: его нет.

Потом все явственнее нарастало чувство сиротства. Чуковский был с тех пор, как мы себя помним. Он был сначала сказкой, книжкой, был рядом, на полке, — и недосыгаемо далеко. А потом стал собеседником, наставником, совсем недавно — добрым знакомым, взыскательным критиком наших работ.

Мы знали, что он очень стар, знали, что хворает. Но мы не представляли себе, что может быть Переделкино без Чуковского, литература без Чуковского.

В годы оттепели пошатнулись было некоторые частоколы, стены, отделявшие власть от подвластных. Когда с 1955 года стало возможно ходить в Кремль, сперва по пропускам, а потом и вовсе свободно, с утра и до наступления

темноты, мы воспринимали это не просто как возможность поглядеть на царь-пушку, царь-колокол, зайти в кремлевские соборы, но и как обнадеживающее знамение. Открытые ворота Кремля, доступность ранее таинственной, неприступной твердыни подкрепляли надежды, что более открытой, более доступной станет и сама власть.

Чуковский был одним из немногих, кто мог, кто был готов посредничать между властями и вольнодумными интеллигентами.

Эти немногие уходили.

В 1963 году умерли Всеволод Иванов и Назым Хикмет, в 1965 году — Фрида Вигдорова, в 1968 году — Константин Паустовский и вот теперь — Корней Иванович.

Из дневников Р.

Солженицын прочитал нам и Лидии Корнеевне проект своего письма Союзу писателей:

«...Слепые поводыри слепых!..»

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие, а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелится ответить ни Шолохов, ни все вы вместе взятые. А готовят на нее административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу ее читают?

...Подгоняют под исключение и Льва Копелева, фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, — теперь же виноватого в том, что заступает за гонимых, что разгласил тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил тайну кабинета. А зачем вы ведете такие разговоры, которые надо скрывать от народа?..»

Лидия Корнеевна: «Теперь полетят сотни членских билетов».

Л. «Не думаю, и я свой билет не брошу по той причине, по которой Рэм не застрелился 30 июня 1934 г., когда Гитлер послал ему пистолет с одним патроном. Он ответил: «Не хочу освобождать моих товарищей от исполнения палаческих обязанностей».

Лидия Корнеевна позже вспоминала об этом в письме к нам:

«Накануне я и двое членов Союза писателей стоворились выйти из СП, если Александра Исаевича исключат. Его исключили в Рязани 4 ноября, а на Секретариате в Москве — 5 ноября. Никто не бросил билета, хотя многие

протестовали. Я решила заявить, что из СП в знак протеста *выхожу*. Написала соответствующее заявление. Пришла к вам показать свое заявление и определить адрес — Президиум?

Александр Исаевич сказал, что посылать заявление о своем выходе мне не следует. «Они будут рады вытурить Вас. Заставьте их собраться, выслушать Вас и исключить». Я послушалась. Придя домой, вечером того же дня сочинила и отправила телеграмму: „Я считаю исключение Александра Солженицына из Союза писателей национальным позором нашей родины. Лидия Чуковская, 11 ноября 1969 года“».

Солженицын рассказывал, как уговаривал Твардовского не уходить добровольно из «Нового мира», но и не «держат меня за фалды...»

...Армянского отпуска как не бывало.

Четырнадцатого ноября Л. послал письмо в правление Союза писателей, копию — «Литературной газете».

«Память и воображение необходимы каждому литератору. Те, кто «прорабатывал» Ахматову, Зощенко, критиков-космополитов, Пастернака, принесли нашей стране только вред. Помня все это, легко вообразить, какие последствия будет иметь исключение А. И. Солженицына.

Для миллионов людей у нас и во всем мире, для всех зарубежных друзей нашей страны Александр Солженицын олицетворяет сегодня лучшие традиции русской литературы, гражданское мужество и чистую совесть художника.

Решение Рязанского отделения СП необходимо отменить возможно скорее».

Президиум СП подтвердил исключение А. Солженицына. И не было массового взрыва негодования, на который надеялась Лидия Корнеевна. Но попытки возражать были.

Восемь известных писателей пошли к секретарю СП: «Как вы могли исключить лучшего писателя России и сделать это тайком? Мы настаиваем на гласности, на открытом обсуждении».

Секретарь суетился, юлил, показывал им эмигрантский журнал, где хвалили Солженицына, под конец ухмыльнулся: «Хорошо, я немедленно доложу ваши требования. Но кому из вас адресовать ответ?»

«Всем и каждому».

В апреле шестьдесят седьмого года открытое письмо Солженицына IV съезду писателей поддержало больше ста членов Союза.

Старая писательница, дружившая с Маяковским и Пастернаком, говорила: «Не надо было заступаться за Синявского и Даниэля, они только мешают нам публиковать Фолкнера. Вот если что-нибудь случится с Александром Исаевичем... то я бы немедленно положила писательский билет».

В шестьдесят девятом она даже не присоединилась к возражениям других.

В защиту Солженицына не выступали многие из тех, кто еще совсем недавно голосовал за присуждение ему Ленинской премии, кто доказывал необходимость публикации «Ракового корпуса», и те, кто протестовал против судов над Синявским и Даниэлем, Галансковым и Гинзбургом.

Р. Я ощущала, что новый сдвиг, перелом в нашей жизни был более резок, чем в прошлом, шестьдесят восьмом году, когда Л. исключили из партии и лишили работы.

Но я еще не допускала мысли о публикациях за рубежом. Ведь это означало бы полное отчуждение от мира друзей, товарищей, от того мира, в котором я жила. И не только у меня, но в кругу наших друзей и знакомых не было мысли о возможности покинуть страну.

Л. Наступление нового, дурного времени я ощутил раньше, весной, когда после хоккейного матча было свергнуто правительство Дубчека.

Победу чешских хоккеистов над советскими праздновали во многих чешских городах. И некие хулиганы, которые так и остались «неизвестными», разбили несколько витрин в советских учреждениях. Не было жертв, не было арестов. Но за грубой провокацией последовал государственный переворот, и новое правительство начало вытапывать остатки Пражской весны. Тысячи людей увольняли, исключали из партии. Академики становились ночными сторожами. Был разогнан чехословацкий союз писателей.

* * *

В ту осень мы все чаще слышали и сами повторяли: «наступают заморозки».

Но мы еще не понимали до конца, что это означает для нас, для духовной жизни страны.

И у нас, и в некоторых других домах в те годы пили «за успех нашего безнадежного дела» (Б. Шрагин). Я этого ощущения безнадежности не разделял.

На что же я надеялся?

...29 августа 1969 года, в первую годовщину вторжения в Чехословакию во многих чехословацких городах прошли безмолвные демонстрации протеста. Жители бойкотировали автобусы и трамваи. И во все другие дни чехи и словаки бойкотировали советские товары, фильмы, выставки.

В 1970 году в Польше бастовали рабочие в Гданьске, в Щецине, в Варшаве. Волна забастовок смыла правительство Гомулки. Его сменил «западник» Герек, который приходил на рабочие собрания, обещал демократию.

Французская, испанская, итальянская и некоторые другие компартии продолжали осуждать оккупацию Чехословакии и преследования советских диссидентов. Возникло новое понятие «еврокоммунизм».

Но и у нас все еще говорили публично и писали в газетах о необходимости реформ, о том, что старыми методами не разрешить сложные проблемы народного хозяйства. А я был убежден, что экономические реформы неосуществимы без контроля снизу, то есть без демократизации всей общественной жизни, без гласности, без строгого соблюдения всех законов.

Однако благие намерения и разумные пожелания оставались в лучшем случае на бумаге. Робкие попытки реформ провалились. Громоздкие машины партийного и государственного аппарата, пробуксовав, сползали в старые колеи.

(Январь 1987 года. Ежедневно из Москвы приходят известия: в речах новых руководителей, в газетах, по радио, по телевидению — настойчивые требования радикальной перестройки хозяйства, всей системы управления страной, гласности и — впервые с незапамятных времен — даже судебной реформы.

Открыто высказываются те же простейшие истины и те же требования, которые еще недавно считались ревизионистской, диссидентской крамолрой.

Теперь пытаются осуществлять даже более радикальные реформы, чем нам мечталось двадцать лет назад. В газетах не только разносят самых высоких сановников (а потом и снимают с постов), но и открыто говорят и пишут о запущенных язвах, о противоречиях и пороках общества, «всей системы»...

Существенно новое: сторонники реформ не боятся говорить и о сопротивлении, которое им оказывается на всех уровнях, не скрывают собственных сомнений и опасений.

Однако многие из тех, кто призывали, по существу, к тому же — к демократизации, к ответственности, к свободе критики, все еще в тюрьмах, лагерях и ссылках.)

А тогда мы оба не хотели верить в то, что оттепель кончилась, что заморозки — навсегда. Казалось, это подтверждалось новыми примерами гражданского сопротивления. С весны 1968 года выходила самиздатская «Хроника текущих событий». В мае 1969 года возникла «Инициативная группа по защите прав человека». И впервые советские граждане обратились с официальной жалобой на свое правительство в Организацию Объединенных Наций. Они просили защитить попираемые в Советском Союзе человеческие права.

В ноябре 1970 Андрей Сахаров, Андрей Твердохлебов и Валерий Чалидзе образовали Комитет Прав Человека.

В ссылку к Ларисе Богораз, Павлу Литвинову, Револьту Пименову и другим ездили не только родственники, но и друзья. Постоянная переписка велась и со многими сосланными, лагерниками и заключенными в тюрьмах. Им посылали книги, журналы, газеты. Их стихи, статьи и даже несколько звукозаписей их речей, сделанных в лагерях, переправляли за границу.

После сообщения о новых обысках, арестах, судах новые люди уже не только в Москве, Ленинграде, но и в других городах выступали в защиту преследуемых.

* * *

Вокруг нас звучали разные, совершенно противоречивые голоса. Преуспевающий литератор, член партии, недавний поборник «оттепельного прогресса», говорил убежденно:

— И чего вы трепыхаетесь? Неужели ты не понимаешь, что вся система против нас? Все, сверху донизу, насквозь — неисправимая сталинщина. По сути — настоящий фашизм. Тут никто ничего не может изменить... На что надеяться? Не знаю. Может, катастрофа какая произойдет... А наше дело — сидеть за своим столом и писать, писать и для заработка, и в ящик, для потомков. Как говорил тут один, «утром пишу нетленку, а вечером — гонорар».

Другой литератор, тоже весьма «прогрессивный», тоже член партии, поучал меня:

— Ты все-таки безнадежный марксист, нестареющий комсомолец тридцатых годов. Толкуешь о социальных про-

тиворечиях, классах, сословиях, международных связях. Неужели ты не понимаешь, что в мире идет борьба рас и держав. Китайцы всегда были и будут враждебной нам расой, они враждебны европейцам, враждебны белым, враждебны русским. И нам предстоит война расовая, а не классовая... А на Западе державы борются за политические сферы влияния. Наше государство — национал-социалистическое. Все, что мы пишем в газетах и говорим на собраниях, заведомая брехня, и мы все это знаем. Твои надежды на Чехословакию были пустой утопией. Там — наша сфера влияния, и ее нельзя уступать. И все ваши письма, заявления, декларации, вся болтовня о правах человека — вредная суэта. Вредная, потому что отвлекает многих честных, толковых людей от реально полезной деятельности. Вредная, потому что пугает и раздражает власти, а из-за этого усиливаются репрессии, усиливается КГБ. Вредная, разумеется, и вам самим... Государство у нас поганое, но лучшего мы с тобой не придумаем.

Молодой ученый-естественник гордился тем, что ни он, ни его семья никогда не признавали советскую власть. Он с детства исправно ходил в церковь, был сведущ в богословии, знал много стихов, любил Пастернака, Мандельштама, Солженицына, Н. Я. Мандельштам, читал самиздат и тамиздат. Он не подписал ни одного из писем протеста, ни разу ни за кого из преследуемых не вступился. Но он сожалел, что Сахаров «слишком либерален», он решительно осуждал не только советский режим, но все виды социализма, сомневался в демократии: «России, во всяком случае, она не нужна». В 1970 году он ездил в научную командировку в Чехословакию, а потом говорил: «Нация швейков, показали им танки, и они уже приспособились».

В одной из национальных республик мы познакомились с преуспевающим журналистом «не коренной национальности», который встретил нас очень дружелюбно как «московских диссидентов». Он и его друзья рассказывали нам о чудовищной коррупции, беззаконии, произволе, о феодально-крепостнических нравах в колхозах. Он был и осведомленнее, и радикальнее других, и несколько раз повторял: «Для меня теперь все люди делятся на две категории. Я могу уважать только тех, кто не признает, кто ненавидит эту систему. И для меня не существуют те, кто с ней мирится, кто еще надеется на какой-то социализм». Но в то же самое время он публиковал статьи и брошюры, популяризирующие очередные «мудрые решения партии и правитель-

ства» с обильными цитатами из Брежнева, Косыгина и своих местных руководителей, и нам же рассказывал, что это он пишет тексты для речей и докладов «местных сатрапов».

Мы встречали немало таких, как он, кто, особенно после 1968 года, непримиримо судил о советской общественной системе, но при этом был уверен, что любое сопротивление, противостояние бессмысленно, даже вредно.

Один давний знакомый, уже немолодой, серьезный историк, говорил с неподдельной злостью:

— Ты уверен, что действуешь по совести? Ты никак не можешь не возвестить: «Нарушили закон!...» «Опомнитесь! Где ленинские нормы?» «Защищайте права человека!...» Но ты-то уж должен был бы знать, что это никому не помогает. Зачем же это тебе нужно? Ради самоутверждения? А ведь после такого письмеца издательство может расторгнуть договор с твоей женой. Тебе-то уж нечего вроде терять, а от нее и от твоих друзей партийные организации могут потребовать определить свое отношение к твоей деятельности. Александра Яковлевна Бруштейн писала: «Когда пойдешь на костер, будь осторожен, не толкни ребенка или старуху, не отдави лапу собаке». А такие праведники, как ты, способны затоптать и сжечь самых близких во имя своих принципов, своего самоутверждения.

Возражать бывало трудно, но и жить по-иному я уже не мог.

Другие уговаривали и нас, и самих себя: «Надо готовиться к долгой зимовке... Опору можно искать только в себе самом, в кругу самых близких... Царство Божие внутри нас, а все, что извне,— от дьявола... Нужно честно делать свое дело, избегать столкновений с властями и ради этого исполнять некоторые ритуалы: ходить изредка на собрания, участвовать в липовых выборах, платить взносы...»

И напоминали мне одну из «растрепанных мыслей» Станислава Леца: «Допустим, ты пробьешь головой стену. Что ты будешь делать в соседней камере?»

* * *

Р. 16 февраля 1975 г. Генрих и Аннемари Бёлли улетели в Кельн. Еще раньше они договорились, что Сахаров напишет письмо советскому правительству, которое они оба подпишут, с просьбой освободить В. Буковского и других советских узников совести, в крайнем случае обменять их на политзаключенных Чили, Южной Африки и др.

Вечером А. Д. пришел к нам, и они с Л. перевели это письмо. Бёлль позвонил из Кёльна, и Л. согласовал текст по телефону с незначительными поправками.

В это же время пришел Рой Медведев — как обычно, без предварительного звонка. Принес новый вариант своей работы о Шолохове. Нам пришлось развести их по разным комнатам. Снова звонок в дверь: профессор Маршал Шульман только что прилетел из США на заседание советско-американской комиссии по сокращению стратегических вооружений. Его отвели на кухню. Он успел поговорить несколько минут с Сахаровым, условиться о встрече. А потом долго разговаривал с Медведевым, с которым познакомился три года назад на той же кухне.

Следующее утро началось тревожным звонком: ученица Михаила Бахтина сообщила, что состояние его резко ухудшилось, надо достать свежие помидоры — единственное, что он может есть. Мы обратились к тогдашнему корреспонденту «Вашингтон пост», вскоре привезли помидоры из валютного магазина, и приятель отнес их в соседний подъезд к Бахтину.

Вечером мы получили пакет — копии писем и телеграмм американских писателей в защиту арестованного В. Марамзина. Среди них — телеграмма Владимира Набокова. Он по просьбе Карла Проффера в первый и последний раз выступил в защиту преследуемого советского литератора. Суд предстоял 19 февраля.

Эти материалы необходимо было срочно доставить в Ленинград: а вдруг хоть как-то помогут, вдруг сократят сроки? Один из наших молодых друзей уехал той же ночью с тем, чтобы вернуться на следующий день, — ему надо было на работу.

...Эти два дня были необычны. Однако и в этом сгущении чрезвычайных, исключительных событий отразились некоторые особенности нашей московской жизни.

Л. Абрам Александрович Белкин, литературовед, исследователь Достоевского, Щедрина, Чехова, любимый преподаватель в школе МХАТа, был свидетелем защиты на моем процессе. Он был научным сотрудником Энциклопедии и вместе с заведующим редакцией литературы В. В. Ждановым заказывал статьи многим вернувшимся из тюрем, в том числе и мне.

Он был другом нам обоим — верным, пристрастным, ревнивым и требовательным другом. И часто нас упрекал:

«Вы тратите время и силы на суету. Это безразлично — партийное собрание, научная сессия или трепотня на кухне. У тебя пропало четырнадцать лет жизни — фронт, тюрьма. Лекции — это хорошо, если остается стенограмма или подробный конспект. Но ты ведь больше всего наслаждаешься вниманием слушателей и особенно слушательниц, наслаждаешься, как петух — своим кукареканьем.

Вы не уважаете свою работу. К вам в любое время может прийти кто угодно или держать часами на телефоне.

Вы что, вообразили Союз писателей Учредительным собранием?!.. Репетиловщина все это, «шумим, братцы, шумим!..» Я-то знаю, что у вас все это от сердца. У тебя сердце умнее головы. Но кое-кто считает, что это тщеславие: хочешь на всех свадьбах плясать, со всеми знаменитостями за ручку, всем дыркам затычкой быть.

Ты ведь литературовед. Но как ты читаешь? Наспех, в метро, за едой, книги вперемешку с газетами. А читать нужно медленно. Это наше ремесло, наше призвание, наш долг. Без этого не поймешь ни Пушкина, ни Бёлля. Надо вчитываться, вслушиваться, вдумываться, внюхиваться в каждую страницу, фразу, иногда в отдельное слово.

Вот я не знаю, уж в который раз читаю чеховские «Крыжовник», «Студент», перед каждой лекцией перечитываю, всегда радость и всегда нечто новое...»

Еще более требовательной, а порою и гневной бывала Лидия Корнеевна Чуковская:

«Вы живете, как на вокзале,— шум, непрерывное движение, спешка. Мелькают лица — друзья, знакомые, вовсе не знакомые. Не понимаю, как вы можете работать?

Вы знаете, что до обеда я к телефону не подхожу. Но вчера позвонили из Ленинграда, меня позвали; и все — продолжать не могла, переехали строку. И потом уж не знаю, сколько часов, а быть может, дней понадобится, чтобы войти в колею. Вы было повесили на входных дверях объявление-просьбу, чтобы не звонили до пяти. Но сегодня у вас гостя из Саратова, вчера гость из Тбилиси, завтра прилетят из Америки... Нет, литератор не имеет права так жить».

При этом сама Лидия Корнеевна то и дело заступалась за арестованных, возражала клеветникам. Но каждое ее письмо было работой словесника. Дав нам текст, она иногда посылала вдогонку поправки, заменяла слова, перестраивала фразу.

Тяжело больная, слепнущая, она работала неукротимо, вопреки запретам врачей, работала с сильнейшими

лупами, и все же находила возможность читать рукописи друзей и редактировать их придирчиво, сурово. Наши рукописи, испещренные ее замечаниями на полях или на отдельно пришпиленных листках, мы храним, как сокровище.

Каждый выход из дому становился для нее все более сложным и трудным: несколько шагов по лестнице усиливали аритмию. Но когда заболел кто-либо из друзей или нуждался в срочной помощи, она забывала об этом. Когда арестовали Солженицына, 13 февраля 1974 года, Лидия Чуковская вместе с А. Д. Сахаровым ходила в московскую прокуратуру узнавать, где он. Когда арестовали и послали А. Д. Сахарова, она постоянно проведывала его тещу.

Но от участия в любых организациях, группах, редколлегиях она решительно отстранялась.

* * *

К нам приходили те, кто сперва называл себя демократами или даже революционерами, а позднее — правозащитниками или диссидентами. И среди них у нас были друзья, приятели, добрые знакомые. Но приходили и едва знакомые — молодые и немолодые, образованные и полуграмотные. И каждый на свой лад уговаривал, доказывал, просил, а то и требовал.

— ...Сейчас необходимо объединять силы. Нужны организованность и наступательная тактика. Наша либеральная интеллигенция, как всегда, труслива. Одного сняли с работы или не пустили за границу, и уже все хвосты поджали, в штаны наделали. Если мы будем сидеть по углам, получится, как в Новосибирске, в Академгородке: тамошние либералы самые шумные были, но теперь все как воды в рот набрали. А несколько лучших ребят — кого выгнали, кого уже посадили... На интеллигентов нужно постоянно нажимать, давить — пусть подписывают жалобы, прошения, пусть дают деньги. Кто боится идти к суду, выходить на демонстрацию, обязан помогать тем, кто не боится, обязан помогать заключенным, сосланным, их семьям, оплачивать адвокатов, передачи.

Среди таких радикалов были и самоотверженно храбрые, бескорыстные идеалисты — генерал Петр Григорьевич Григоренко, Анатолий Марченко, Анатолий Якобсон. Но были и самоуверенные честолюбцы, самоутверждающиеся в политической борьбе, и просто случайные люди, последовав-

шие в диссидентство за своими друзьями, и несколько вовсе бессовестных проходимцев.

В 1970 году Юлий Даниэль, отбыв лагерный срок, вернулся в Москву. Он сразу же сказал друзьям и знакомым, что не собирается заниматься никакой общественной деятельностью, хочет работать, наверстывая упущенное: писать и переводить стихи. Один из радикалов, услышав об этом, заявил: «С его желаниями мы считаться не будем. Его имя стало знаменем, и он не имеет права отстраняться, обязан быть с нами».

Вполне порядочный человек добавил к очередному коллективному письму-обращению в ООН несколько десятков подписей, которые он собрал под другим письмом на другую тему и направленному по другому адресу.

Об одном вожаке его восторженный почитатель рассказывал: «Вот кто настоящий боец! Вчера один струсил, так он ему морду набил. И на прошлой неделе надавал по щекам болтуну. Жаль только, зашибает иногда. Инкоры таскают ему виски, джин, а он меры не знает, сосет и сосет... Но его все уважают, даже гебешники. Его знают и в Академии, и за границей».

Когда несколько лет спустя этого «вождя» арестовали, он публично покаялся.

Ко мне приходили и такие, кто убеждал принять участие в руководстве их группой, в составлении или редактировании документов и требовал, чтобы я связал их с Солженицыным, с Бёллем или с другими зарубежными друзьями.

— Что вы своего Солженицына прячете? Что это за довод — «его дело — писательство, а не политика»? И он и вы — бывшие зеки — не имеете права от нас увилывать. Вы что, ссучились, забыли арестантское братство?

— Значит, получается так, пусть Марченко гниет в лагере, а братьям-писателям их романы важнее, от них и подписи в защиту нельзя выпросить!

Многие упреки было горько слушать и трудно опровергать.

Но я не хотел и не мог никому подчиняться, ни за кем следовать, не хотел никем руководить.

* * *

В 1976 году в Москве, Киеве, Вильнюсе, позднее в Тбилиси и Ереване возникли так называемые хельсинкские группы (Группы содействия выполнению хельсинкских со-

глашений). Московской руководил физик Юрий Орлов, киевской — поэт Микола Руденко. И тот и другой — безусловно порядочные, благородные люди. И я охотно выполнял их просьбы, помогал им пересылать документы, старался популяризировать их деятельность на Западе и в кругу моих знакомых. Но не вступал ни в какие организационные связи.

Хельсинкскую группу в Тбилиси организовал Звияд Гамсахурдия, филолог, американист, переводчик Хемингуэя и английских поэтов, сын Косты Гамсахурдия, чрезвычайно популярного автора исторических романов.

Звияд начал выпускать самиздатский журнал «Золотое руно», который почти открыто продавался по рублю за номер.

Будучи официально членом Комиссии по охране памятников старины, он обращался к грузинским и центральным властям с требованием прекратить артиллерийские стрельбы на полигоне, устроенном вблизи древнего монастыря Давид Гареджи, так как взрывные волны и шальные осколки разрушали орнаменты и древние фрески. Переписка, возникшая у него по этому поводу с генералами и командующими военного округа, свидетельствовала о невежестве и солдафонской тупости его адресатов.

Он приезжал в Москву, бывал у Сахаровых и у нас. Копии его писем я передавал за рубеж, их публиковали в ФРГ, в США.

В конце концов Звияду удалось добиться того, чтобы полигон перенесли на несколько километров в сторону.

В Грузии он стал одним из популярнейших лидеров национальной и религиозной молодежной оппозиции. Однако многие интеллигенты относились к нему с недоверием, считали самовлюбленным, тщеславным, неразборчивым в средствах.

Нас отталкивал его беззастенчивый шовинизм, злая неприязнь к армянам, к абхазцам, к русским. Ему казалось, что от евреев он может не скрывать своей ненависти к России. Когда я резко возразил ему, он стал многословно объяснять, что я его неправильно понял, что у него есть друзья армяне и русские, что он боготворит Достоевского и Сахарова.

В январе 1977 года он выпустил новый самиздатский журнал «Меркурий» — «Вестник Грузии».

...Поздним вечером в Переделкине — мы там гости-

ли — неожиданно появился тбилисский филолог, давний знакомый, промерзший, запыхавшийся.

— Простите, я прямо из аэропорта. Дело идет о моей чести! Этот мерзавец Звияд назвал меня в своем журнале агентом КГБ. Я ему столько раз помогал, а он возненавидел меня за то, что я ему прямо в лицо говорил о неправильном поведении. Он не считается ни с кем из товарищей, манкирует работой, пропускает лекции, семинары, никого не предупредив. И вот он подло отомстил. Выпустил свой «Меркурий» со списком тайных агентов КГБ, стукачей, тридцать семь человек назвал... И среди них меня, покойного Отара Джинорию и еще нескольких, за которых я ручаюсь, точно знаю, что он лжет, сводит личные счета. Я грузин, мне честь дороже работы и всех званий, партийного билета и жизни.

Вы меня знаете и вы его знаете, с вашим мнением у нас считаются, вы должны мне помочь...

И я написал открытое письмо:

«ДРУЗЬЯМ В ГРУЗИИ

...Все, что я знаю о деятельности Звияда Гамсахурдия и его товарищей — об их отважных выступлениях в защиту прав человека и национальной культуры, о рукописном журнале «Золотое руно», о борьбе против варварского разрушения древних сокровищ (монастыря Давид Гареджи) и т. п., — внушает глубокое уважение. Эта деятельность приносит ее участникам заслуженно добрую славу далеко за пределами Грузии, но тем самым возлагает на них высокую ответственность, предъявляет строгие нравственные требования...

Самиздатский журнал «Золотое руно» опубликовал список агентов КГБ.

Среди них назван профессор Н. Я знаю его 15 лет, знаю близко как ученого, литератора и друга. Наши мировоззрения во многом существенно различны, наши взгляды нередко расходятся. Но мое уважение и доверие к Н. безоговорочны. И я решительно отвергаю обвинение, выдвинутое против него.

С начала шестидесятых годов не реже раза в год я бываю в Грузии, общаюсь со многими людьми. Постоянно принимаю в Москве грузинских гостей. Обвинение я готов опровергнуть в любом суде чести.

Смею утверждать, что знаю об Н. больше, чем те, кто выдвигает против него постыдное обвинение. Оно столь же несправедливо, сколько и вредно для идеалов, которые хотят

защищать обвинители. Оно вредит престижу грузинской интеллигенции и подрывает доверие к «Вестнику».

И еще одно обвинение, высказанное в том же номере, должно быть отвергнуто. Покойного Отара Джинория, германиста, я знал почти 15 лет. С ним я чаще всего сталкивался как с темпераментным противником в идеологических и литературных спорах. Он очень сурово критиковал мою книгу о «Фаусте» (Лит. Грузия. 1967. № 9), обвинял меня в абстрактном гуманизме и других «идейных грехах». Он и лично ко мне относился весьма неприязненно. С тем большей уверенностью я могу утверждать, что ничто не дает основания называть Джинория «агентом КГБ». Он мыслил, как мне представляется, крайне догматично, полемизировал слишком резко и субъективно-предвзято. Однако он всегда открыто высказывал свои взгляды, не пытался ни скрывать, ни смягчать выражение своих антипатий. Особенности его характера и поведения были противоположны тому, что требуется от «агента»...

...Дорогие друзья! Я сердечно люблю вашу прекрасную страну, ее древнюю и вечно молодую душу, люблю ваш народ, богатый доблестями и талантами... поэтому и написал это письмо».

Несколько недель спустя в Тбилиси состоялся суд чести, разумеется, не официальный. Собрались литераторы, научные работники, журналисты. Звяд пришел с двумя приятелями.

Когда прочитали мое письмо, он закричал: «Не боюсь я этого русского медведя, он ни черта не понимает в грузинских делах».

Заседание было шумным. Договорились собраться еще через месяц, пригласить новых «свидетелей».

Когда мы весной приехали в Грузию, мы узнали, что Звяд и двое его друзей арестованы.

На суде он покаялся и был приговорен к двум годам ссылки, которую отбывал в дагестанском ауле вблизи от Грузии, а вернувшись, был восстановлен в прежней должности научного сотрудника. Его «подельник» Мераб Костава еще и в 1985 году оставался в лагере.

Наш друг, назовем его Г., помогал нам в самые трудные дни восстанавливать душевное равновесие. Хотя рассказывал он часто о жестоких нелепостях и мерзостях, о преступно бессмысленном планировании, о дорогостоящих стройках, которые начинались, но не могли продолжаться, об электростанциях, которым некуда девать их мощность, об автоматизированных заводах, о том, как бесчестные и бестолковые чиновники разваливают целые предприятия, совхозы, колхозы... Но при этом он везде находил бескорыстных энтузиастов, подвижников, выдумщиков, изобретателей и просто людей, которые не хотят и не умеют плохо работать. Таким людям приходилось преодолевать бумажные завалы, тупое равнодушие, а то и злобное сопротивление начальства. Слишком упрямые нередко попадали в беду.

Тогда Г. спешил им помочь, писал очерки, статьи, корреспонденции для радио и телевидения, посылал докладные записки во все надлежащие инстанции, обивал пороги самых высоких учреждений. У него были знакомства в редакциях центральных газет и в ЦК. Иногда он добивался успеха.

Он был страстным, увлекающимся, но трезвым и скорее даже скептически мыслящим, талантливым публицистом.

— ...В иные дни зубами скрежетать хочется. Ну, почему у России такая судьба?! В космосе порхаем, а у себя на земле по горло в дерьме сидим. Хозяйничаем хуже, чем при царе Горохе. На старую телегу авиамотор нацепили, и она разваливается, а не едет. Вся система косная... Но разве что-нибудь исправишь вопрошаниями: «Ох, кто же виноват? Ах, что же делать?» Боярыня Морозова и Софья Перовская замечательные женщины были. И сегодня у нас не перевелись их правнучки. Но поднять страну такие не могут. Столыпин и Ленин, до чего уж деловые мужики, а ведь ни у того, ни у другого не получилось так, как хотели. Но сегодня я и таких не вижу. Да и способы уже не годятся. Ни столыпинские отруба, ни ленинский размах «Даешь коммуны по декрету»... Прекрасный человек Андрей Дмитриевич Сахаров, великий разум, великая душа. И все, что он говорит,— чистая правда. Но ведь его не слушают, кто утопистом считает, кто юродивым.

Новоявленные господа-ретрограды зовут назад к серпам, сохам. Александр Исаевич вождей учит назад от Петра подаваться. Пока в деревню, в тишь-благодать, на молочные реки, на Северо-Восток. И многие наши «деревенщики» тоже вроде этого, уверены: все беды от машин, от погибельных западных влияний. А мы-ста завсегда всех умнее были, всех сильнее, всех душевнее, пока лаптем щи хлебали, иноземным соблазнам не поддавались.

Другие спасатели наоборот — на кибернетику-автоматику, на роботов надеются. А вы вот норовите глаголом жечь сердца людей: опомнитесь, православные, несправедливо живете, культы разводите, права нарушаете, невинных обижаете!

Я вас люблю, но я с вами не согласен. наших чиновников-захребетников никакими словами не проймешь. Бороться против них открыто значит либо тюрьмы, лагеря наполнять, либо — опять смута, новая опричнина. Так что уж нет, господа-товарищи-друзья-соотечественники, мы пойдем, как говаривал Владимир Ильич, другим путем. Кто это «мы»? нас называют делягами, прагматиками, технарями, постепеновцами. Новые славянофилы подозревают, что мы западники и у нас патриотических чувств не хватает. Еврейским интернационализмом отравлены. Пытался я им объяснить, что даже в ранней юности так и не успел побывать никаким интернационалистом. Мальчишкой был, когда война началась, оккупация, и сразу же ярым националистом стал. всех фрицев ненавидел и на иных сограждан иноплеменных, чужого Бога чертей, зло поглядывал. об этом даже сейчас вспоминать стыдно. Но Россию я люблю и уж никак не меньше этих собирателей икон и прялок, славянороссов, русичей, или как там их еще называют?

Я хочу Россию богатую, сильную, просвещенную, не лапотную, не убогую, не черносотенно-хамскую. И нам нужна НТР, нужны машины, компьютеры, дороги нужны. А главное, люди нужны, делатели, работники, а не маниловы, не прекраснодушные болтуны. необходимо, чтобы и рабочий, и мужик себя хозяином понимал, чтоб работать было и доходно, и занятно, чтоб жена по очередям часами не болталась. Вот тогда можно и о красоте природы, и о правах человека, и об изящных искусствах толковать.

А ведь это все возможно. Видел я хорошие цеха и хорошие заводы, и даже замечательные колхозы и совхозы, видел на Украине, в Ярославской области, в Эстонии, в Молдавии. Только везде это, как оазисы в пустыне. Но ведь

существуют все-таки! Хотя немало хороших директоров, председателей, бригадиров завертело в аппаратных шестеренках, скольким кости переломало, кого до белой горячки, кого до тюрьмы довели...

Когда мы в последний раз сидели у нас на кухне, мы говорили, что для нас Сахаров — олицетворение лучших надежд России. Он разлил водку по рюмкам.

— Выпьем за Андрея Дмитриевича, за святого русского подвижника. Дай Бог ему здоровья. А все же для меня лучшие надежды России воплощает прежде всего Федор Кузькин — тот хитрый колхозник, которого так здорово описал Можжев и так здорово показал Любимов на Таганке. Недоумки запретили спектакль. Но Кузькина им не запретить. Он живой, правильно пьесу назвали «Живой».

* * *

Шофер из Майкопа. Плечистый, круглоголовый атлет. Говорит тоном уверенного в себе, бывалого всезнайки. Представился:

— Я постоянный слушатель всех зарубежных «голосов». От них и про вас узнал. А про себя могу доложить: отсидел два года. Намотали срок, как любому намотать могут: шоферские нарушения, хулиганство, спекуляции и тэдэ и тэпе. Ведь у нас девяносто, а то и девяносто пять процентов так живет, что любого под Уголовный кодекс подвести можно. Чистенькими только дураки и трусы бывают... Я прошел такие университеты, что могу хоть на доктора ГУЛаговских наук сдавать, и теперь хочу одного: свободной жизни где-нибудь при капитализме. Раньше думал, можно чего-то добиться, качал права, доказывал, собственной дочке врагом стал, она комсомолка, не желает с отцом-антисоветчиком в одном доме жить. В Донбасс уехала, хорошо бы там под троллейбус попала... Ну, извините, может, не то сказал, перебрал. Я вгорячах говорю, как чувствую.

Теперь я понимаю, что у нас тут никакой свободы быть не может, сплошной социализм. Наверху новый класс жрет икру с коньяком, внизу Ваньки-работяги, каждый за пол-литра душу продаст, и я решил: «Прощай, Россия!» Хочу хоть в Париж, хоть в Нью-Йорк, хоть в Южную Африку. Вот об этом и прошу вашей помощи. Ну и вы, господа, столичная интеллигенция, диссиденты всемирно известные, вы тоже не такие, как я раньше думал. Когда про вас по Би-би-си и по «Немецкой волне» слушал, душа играла. Ока-

зывается, есть и у нас настоящие люди. А стал приезжать в Москву, то здесь, то там — лбом в стенку. У наших защитников-поборников тоже номенклатура. К Лидии Чуковской на порог не пускают — слишком рано пришел, они, видите ли, спят. А я, рабочий человек, всю ночь в общем вагоне ехал к ней за правдой. И на другой день не пустили, они, видите ли, нездоровы.

Писателя Владимова его жена охраняет, никаких пропусков — «Работает. Пишет». Значит, его работу уважает, а если я свою работу бросил, за тысячу верст к нему приехал, то мне — извини-подвинься.

К Сахарову пришел, там евреи сидят, с ними какие-то американцы или англичане, чего-то доказывают. Сказал: «Приду на другой день», — объясняют: «Прием только по вторникам». Такая меня печаль-тоска взяла. Я же на Сахарова молился, а мне там даже чашку кофе не подали, не спросили, а может быть, вы, товарищ рабочий, устали, может, вы голодные? Так кого же вы защищаете, господа диссиденты? Одних только евреев, чтобы их выпускали в ихний Израиль? А русских рабочих кто защищать будет? Где же у вас правда?

На протяжении примерно двух лет этот правдоискатель появлялся у нас. А в промежутках писал письма, звонил, настойчиво просил, чтобы ему посылали новинки самиздата и тамиздата. Приезжая, рассказывал, что у него кружок друзей и сторонников; с ним иногда приходил грузный молчаливый зубной техник. Один раз пришел застенчивый лейтенант милиции, — «Он свой парень. Наши жены — сестры. И он у меня на крючке. Мы в Ростове на базаре полную машину помидоров продали, так обоим на самолет хватило и еще останется».

В 1979 году он получил разрешение выехать за границу. В Москве ему кто-то из отказников устраивал проводы.

Тогда мы уже не получали из-за границы никаких писем. Но от него из Вены пришло письмо, что он «вынужден стать антисемитом». Окончательно убедился, что «это все-таки очень вредная нация... Они в свой Израиль не едут, потому что там стреляют. Они все делают гешефты в Вене и норовят в Америку».

В 1976 году в нашей квартире на первом этаже дважды разбили окна. В первый раз это произошло через несколько дней после того, как в соседнем доме «неизвестные» проломали голову Константину Богатыреву.

Осенью 1976 года нам звонили, судя по голосам, молодые парни и не слишком образованные, судя по лексике и стилистике. Матерились, удивлялись, что я еще «не подох»...

В январе 1977 г. нам отключили телефон, в марте 77-го года меня исключили из Союза писателей.

Мой старый друг Леонид Ефимович Пинский, философ, литературовед, бескорыстный покровитель молодых поэтов и художников, самозабвенный собиратель, изготовитель и распространитель всяческого самиздата, был огорчен и даже рассержен, когда я отказался стать членом «Комитета по защите свободного искусства».

Многие знакомые не могли понять, почему я упорно отказываюсь от почетного звания диссидента и отклоняю все приглашения участвовать в Комитетах, Инициативных группах и др. Это приходилось объяснять.

Дочери Майе и зятю Павлу Литвинову я писал в 1977 году (они уже были в США):

«...Упрямо индивидуалистическое отношение к общественной деятельности я отнюдь не считаю единственно правильным и не хочу никому служить «ни примером, ни уроком» (Сергей Ковалев). Многие из тех, кто придерживается иных взглядов, кто становится приверженцем какой-либо религии, идеологии, участвует в комитетах, редколлегиях, группах и др., внушают мне глубокое уважение, симпатию, некоторые вызывают восхищение... Но я хочу жить по-своему и могу состоять лишь в таких организациях, которые, подобно ПЕН-клубу, предполагают неограниченную индивидуальную свободу, разномыслие, исходя из того, что все независимые друг от друга участники согласны между собой в самых общих принципах и никто никому не начальник...

У нас понятие «диссидент» приобрело почти партийную определенность. Таковы уж, видно, традиции...

Универсальность этого понятия, как его толкуют многие инкоры и, конечно же, власти, по-моему, ложна... Недавно я выбросил в мусорную корзину послание некой груп-

пы «бывших политзаключенных», которые злобно поносят «либеральную интеллигентщину-образованщину», призывают к борьбе против «сахаровщины».

Сегодня я убежден, что в России, подчеркиваю, именно в России, так как не решаюсь судить о других частях нашей империи, любой нелегальной, подпольной или даже полулегальной оппозиционной группе почти неизбежно угрожает заражение БЕСОВЩИНОЙ и вульгарнейшим провокаторством. Иногда я слышу возражения, что все же польза от оппозиционной деятельности перевешивает вред, причиняемый такими попутными явлениями. Ссылаются на пример большевиков, которые победили, несмотря на бесовский фанатизм Ленина и на всех провокаторов. Но я думаю, что побеждали они не столько вопреки, сколько благодаря своей бесовской природе. И «спасибо за такую победу!»

Другие возражающие полагают, что сила добра, заключенного в нашем диссидентстве, преодолет в конечном счете бесовщину и мрак будет оттеснен светом. Готов согласиться с этим...

Но главное для меня все же в том, что не только злые бесы, но и самые добрые, самые благородные деятели, претендующие на то, что именно они «знают, как надо», убежденные в своем праве руководить, предписывать, настойчиво советовать, указывать, призывать под знамена, мне совершенно противопоказаны.

Как правило, подписываю только такие коллективные письма, которые защищают конкретных людей или содержат конкретные предложения (например, политическая амнистия, отмена смертной казни, возвращение крымских татар на родину и др.).

...И если окажусь за рубежом... то надеюсь жить и поступать именно так, как живу и поступаю здесь, оставаясь предельно свободным и неподвластным никому, кроме своей совести...»

* * *

Бойкая дама, «приятная во всех отношениях» и уже прославленная в нескольких иностранных газетах, пришла по поручению группы «свободных избирателей» сообщить, что они выдвигают мою кандидатуру на выборах в Верховный Совет. Она уговаривала Раю:

— На прошлых выборах мы выдвигали Роя Медведева, он согласился, но тогда в Центральной избирательной

комиссии придрались, что мы не соблюли какие-то формальности. А теперь мы все заблаговременно подготовили как надо. Мы все так уважаем вашего мужа, его книги так читаются, я лично так люблю его этого солдата Чонкина, весь день хохотала... Ах, это не он? Простите, девичья память, все напутала. Конечно, он же написал этот прекрасный роман про собаку, про Руслана. Весь мир знает... Опять ошиблась! Ну, значит, ранний склероз...

Эта неумная дама ходила с тем же предложением к Андрею Дмитриевичу. Он ответил:

— Мы живем в трагическое время, и в фарсах я не участвую.

В 1977 году возник самиздатский журнал «Поиски». Нам были близки и общее его направление, и многие статьи. Мы знали некоторых участников и глубоко уважали Раису Борисовну Лерт.

Но когда один член редколлегии настойчиво предлагал мне войти в содружество, я ответил подробным письмом:

«Теперь я уже явственно сознаю, что не успею написать и десятой доли того, что давно задумано, что составляет для меня смысл и цель жизни. Не успею, потому что убывают и память и работоспособность. В этом, пожалуй, первая причина того, что я не хочу и не буду участвовать ни в каких движениях, комитетах, редколлегиях, группах, совещаниях и т. п. и т. д. Вторая причина: я стал на старости наконец понимать, что наделен такими существенными недостатками, как абсолютное преобладание эмоционального восприятия над разумным, рассудочным, неумение совладать с чисто субъективными пристрастиями, вкусами, привычками, и все эти свойства делают меня совершенно непригодным для любой серьезной коллективной деятельности. Древняя максима — «в спорах рождается истина» — для меня уже недействительна, я убежден, что в спорах только портятся отношения. А споры на социально-политические темы рожают, как правило, злую вражду. За последнее время я установил для себя известную степень свободы. В тех случаях, когда чья-то судьба или какое-либо событие побуждают высказаться публично или подписать коллективный документ, который мне представляется необходимым, так и поступаю, но не связываю себя никакими обязательствами участвовать в пресс-конференциях, подписывать все заявления, декларации и т. п., которые составляются даже самыми близкими мне людьми...»

В детстве и в юности я свято верил в превосходство коллектива над личностью. Но снова и снова я убеждался, — еще до войны и во время войны, и в тюрьме, и на воле, — что коллективы, объединяемые даже самыми благими намерениями (целями, программами), подавляют личность, становятся либо послушными, дисциплинированными «отрядами», которыми управляют вожди, и тогда все определяется достоинствами или недостатками командиров и их ближайших помощников, либо превращаются в толпы, реже доброжелательные, чаще — злобные, либо оказываются клубками враждующих, склочничающих фракций и в лучшем случае просто распадаются.

Нет, я не хотел и не мог уже участвовать ни в каком коллективе, не хотел и не мог уже быть ни ведущим, ни ведомым.

Р. Сентябрь 1979 года. Международная книжная ярмарка в Сокольниках. Американские издатели хотят устроить прием в честь своих советских авторов. Такой прием они устраивали и в 1977 году. Тогда он и прошел как-то незаметно в череде больших и малых коктейлей, обедов, конференций.

Председатель Ассоциации издателей, его сотрудники приходят к нам домой, только и разговору, что о предстоящем приеме, надо составлять списки приглашенных. Мы несколько раздражены, нам кажется, что надо заниматься совсем другим — рукописями, обсуждать возможности, очередность, рассказывать им хоть кратко о тех писателях, кого мы считаем особенно интересными, говорить об авторских правах, о переводах... А они, не обращая на это внимания, ладят свое: надо устроить большой прием, собрать всех вместе — и «разрешенных» и «запрещенных» писателей. Мы отступаем под их натиском.

Самый большой зал «Арагви». Л. пришлось стоять у дверей, рядом со швейцаром, вылавливая своих; большинство вовсе непривычно к приемам. А в холле ресторана расхаживают гебешники, почти не маскируясь.

Собралось около 60 человек: Андрей Сахаров с Еленой Боннер, Лариса Богораз с Анатолием Марченко, Зоя Крахмальникова и Феликс Светов, Рой Медведев, Владимир Войнович, Владимир Корнилов, Георгий Владимов с женой,

почти вся группа «Метрополь»: В. Аксенов, Ф. Искандер, С. Липкин, И. Лиснянская, Евг. Попов, Викт. Ерофеев, Андрей Битов, Л. Баткин, член редколлегии журнала «Поиски» П. Егидес...

Было несколько литераторов, никак не причастных к оппозиционной деятельности.

Были также дипломаты и много иностранных корреспондентов. В первый и в последний раз в истории правозащитного движения под одной крышей собрались представители разных группировок. Многие видели друг друга впервые.

Вначале было несколько коротких речей: председатель Ассоциации Хьюз, Сахаров, Медведев, Копелев. А потом разбрелись небольшими группками, неловкость первых минут исчезла, гости знакомились между собой, спрашивали, отвечали, давали интервью. Анатолий Марченко угрюмо твердил: «Никому из вас вообще не надо было сюда ездить. Вы тем самым только поддерживаете наших злейших врагов». Это утверждение многие оспаривали, мы — я переводила Марченко, — в том числе. «Нет, не надо бойкота, и потому, что стоит длинная очередь, чтобы просмотреть книги, сделать выписки, а для самых предприимчивых — и в карман положить... Это все — прорывы железного занавеса, не надо нам его строить с другой стороны. Но и для тех, кто здесь собрался, тоже бойкот только вреден...»* Спорили, но мирно.

Многие деловито обсуждали конкретные издательские вопросы: когда какая книга выйдет, переводы и др.

Сегодня вспоминать об этом дне, перебирать его участников печально: всех разбросало, все разбрелись, кто погиб, кто в тюрьмах и ссылках, кто в эмиграции.

Возникшее тогда на несколько часов ощущение если не единства, то все же близости, связанности всё таяло и таяло.

От самых разных людей мы слышали:

— Эти сытые западные либералы ничего про нас не знают и еще меньше понимают. Левые на Западе — это агенты КГБ или невежественные болваны. Им, видите ли, необходимо спасти вьетнамцев, чилийцев, разных африканцев...

* В 1981 году в Нью-Йорке была организована «контрвыставка»; американцы призвали другие издательства бойкотировать советскую книжную ярмарку. Хотели продолжить бойкот и в 83-м году. А в 85-м году те же организаторы приема в «Араги» снова были в Москве. Мы оба все время были противниками бойкота.

А сумасшедших студентов-хулиганов просто пороть надо... Их, видите ли, угнетают, им ихней свободы мало... Когда наши танки давили «Пражскую весну», они в Западном Берлине со своими профессорами воевали... Вот когда дойдут наши танки до Парижа, до Лондона, когда погонят их этапами на Колыму, на Воркуту, тогда опомнятся, да поздно будет...

На одной из московских кухонь мы в который уж раз опять говорили о Чехословакии, о том, где, когда, кто ошибался, можно ли было предотвратить вторжение. О многом спорили, но, кажется, в одном все соглашались: шестьдесят восьмой год был решающим в нашей истории и в жизни каждого из нас.

Среди гостей был молодой мексиканский художник К., недавно приехавший в Москву. Он с трудом, но понимал русский.

— Вы все время говорите «шестьдесят восьмой год». А что, собственно, у вас произошло в том году?

Ему стали наперебой рассказывать, удивлялись, неужели он ничего не знает о советском вторжении в Прагу. Говорили кто сердито, кто презрительно, кто раздраженно.

— А я не мог тогда знать, я тогда сидел в тюрьме. В мае тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года была большая демонстрация молодежи в городе Мехико, войска и полиция стреляли, больше пятисот человек было убито, среди убитых были мои друзья. Тысячи раненых, тысячи арестованных. Меня год держали без суда, потом отпустили — у отца были связи. В тюрьме не было ни газет, ни радио, кормили впроголодь, часто били.

Нам в этот вечер стало стыдно. Мы об этих событиях ничего не знали.

И мы, хотя нам казалось, что мы вовсе не так, как многие вокруг нас, поглощены только своими — нашими — бедами, только нашими проблемами, и не считали, что весь мир должен думать только о нас, однако и мы не знали о пятистах юношах и девушках, убитых на улицах большого города.

Мексиканский поэт Октавио Пас, который в то время был послом в Париже, подал в отставку, потому что не желал представлять государство, которое убивает свою молодежь...

И об этом мы узнали много лет спустя.

Проблема диссидентства не ушла из жизни страны. Не ушла и из нашей. Практически: как помочь тому, кого преследуют, что, с кем послать, кого попросить выступить в защиту, — не ушла и в размышлениях. Как и почему становятся диссидентами сегодня, вольными ли или невольными противниками державы, как ими не становятся или перестают быть, оставаясь честными тружениками русского просвещения, что за новые люди приходят сейчас... Об этом мы можем только гадать...

Здесь, в изгнании, мы получили письмо от девятнадцатилетней девушки. Она словно отозвалась на наши трудно формулируемые мысли и ощущения:

«...Очередное прощание. Не представляю, как может жить моя мама, когда у нее такая большая, такая хорошая часть друзей — там!!! ТАМ — не слово, а стена какая-то. И семья часть — там же. За что, Господи, такие мучения?

...Почему так жестоко нужно расплачиваться? Счастье сказать правду, поступить не по лжи? Я много об этом думала. Ведь я жила всеми этими делами с 14 до 16 лет, да и сейчас все дела друзей, знакомых волнуют меня... Я проникла в суть, как мне казалось... Началось все с сексуальных моментов. Увлелась Д. и таскалась за ним повсюду. Но духовно мир этих людей охватил меня со страшной силой. Я никогда не строила себе иллюзий... Ум у меня более чем скептический... поэтому не могу сказать, что я кого-нибудь боготворила, но любила и уважала — да!

Я столкнулась с абсолютной, очевидной бессмысленностью действий. Хотя в том, что эти действия нужны, я не сомневалась...

И тогда я пришла к выводу, что не могу иначе... Я не знаю, может быть, мной руководит юношеский максимализм, динамизм. Лучше, очевидно, естественнее пойти на площадь, чем сочинять бумажки. Но я вот думаю, что на площадь идти не нужно...

Мне понятнее и ближе, когда помогают семьям, посылают лекарства, вещи. Это очень нужная и реальная помощь.

Счастье сознавать, что твои друзья и родные — очень хорошие люди.

Так устроен мир, очевидно. Но и за это счастье тоже нужно платить...»

Мне близки ее слова. Я благодарна судьбе за то, что диссиденты были и есть, за то, что многих я узнала, что они сидели у нас на кухне, что я их слышала вблизи. Счастье знать хороших, благородных людей, омраченное страшными судьбами многих из них.

...Две фотографии. Юрий Орлов, организатор московской хельсинкской группы в 1976 году. Я его хорошо помню — буйная шевелюра, блестящие глаза, быстрая речь, нетерпение, энергия, активность — «надо что-то делать...»

И другое фото — семь лет спустя, семь лет лагеря строгого режима. Старый, сгорбленный годами, несчастьями, муками человек. Слово между снимками — больше тридцати лет. Плата за диссидентство. И он еще не расплатился, ведь ссылка продолжается. А что впереди?

...Такие, как он, немало повернули в тяжелой истории нашего общества.

Л. В пору оттепели и впрямь подтаял ледяной материк советского «морально-политического единства». От него оторвалось ледяное поле, на котором беспорядочно толпились люди, переходя с места на место, радостно взволнованные неожиданным потеплением. Но им — всем нам — казалось, что мы движемся вместе, сообща, в одном направлении.

А меж тем поле раскалывалось. Отдельные «льдины» разносило все дальше друг от друга. Иные прибивались снова к материку, примерзали, других уносило в чужие моря.

И вокруг нас все более четко, все более резко отделялись друг от друга группировки: демократическое движение, «истинно православные», сионисты, украинские, латышские, грузинские и другие национальные движения; между ними связей уже почти не было.

Поэтому многие отечественные и зарубежные наблюдатели утверждали, что с новым освободительным движением в России покончено, что остались только разбитые судьбы заключенных и сосланных.

Разумеется, КГБ удалось многое подавить. Обыски, аресты, тюрьмы, лагеря, психушки, ссылки — сотни людей

были насильственно изолированы, и среди них Сахаров, Орлов, Марченко*.

Тысячи растерянных, разочарованных, отчаявшихся отказались от всякой общественной деятельности.

Тысячи хотели или вынуждены были эмигрировать.

Но тем не менее духовное сопротивление продолжалось и продолжается.

В 1969—1970 годах, когда за рубежом больше всего писали и говорили о советских диссидентах, существовало только одно самиздатское периодическое издание — «Хроника текущих событий» в Москве. А десять лет спустя, когда пессимистам казалось, что после арестов, ссылок, эмиграции не осталось ничего, кроме выжженной земли, самиздатские журналы и сборники уже появились не только в Москве и Ленинграде, но в Киеве, Таллинне, Риге, Вильнюсе, Тбилиси, Ереване и во многих других городах.

Мы уже здесь, на Западе, узнавали о все новых изданиях, о новых именах участников, узнавали о демонстрациях в прибалтийских городах, на Кавказе, на Волге.

Узнавали и о новых содружествах — например, о «Группе за создание доверия между народами СССР и США», о новых коллективных письмах.

В ноябре 1978 года Андрей Сахаров писал о правозащитном движении...

«Сейчас та маленькая горстка инакомыслящих, которых я знаю лично, переживает трудный период. Арестованы многие прекрасные, мужественные люди. Усиливается кампания клеветы и провокаций, частично непосредственно исходящая из КГБ, а частично использующая или отражающая расслоение, брожение или разочарование среди некоторых диссидентов или им близких кругов. Жизнь сложна...

И все же я считаю, что нет оснований говорить о поражении движения в защиту прав человека. Это вопрос, где арифметика имеет очень мало отношения к делу. За последние годы борьба за права человека в СССР и в Восточной Европе кардинально изменила нравственный и политический климат во всем мире. Мир не только получил бога-

* Все это было написано летом 1985 года. За прошедшее время Анатолий Марченко умер (8 декабря 1986 года), Юрия Орлова выслали за границу в мае 86-го года, А. Сахаров с женой 23 декабря 1986 года вернулись в Москву. Освобождение политзаключенных — медленное, обставленное многими препятствиями, но все же освобождение — продолжается...

тейшую информацию, но и поверил в нее. И это такой факт, который никакие репрессии и провокации КГБ уже не в силах изменить. Это историческая заслуга движения за права человека. Сейчас, как и раньше, единственное оружие этого движения — гласность, свободная, точная и объективная информация. Это оружие остается действенным».

Нам представляется, что эти слова справедливы и сегодня.

ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО РАЗГОВОРА

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. Пушкин

В 1974 году в Севастополе мы начали эту книгу. Продолжали в Москве, в Жуковке, в Переделкине, в Сухуми, в Пярну, в Дубултах, в Комарове. А потом — в Кельне, Бад-Мюнстерайфеле, Кротоффе, Бильштайне, Зальцбурге. Писалась она медленно, трудно, с большими перерывами.

Ранним утром двенадцатого ноября 1980 года мы в последний раз закрыли за собой двери московского дома, в последний раз проехали по знакомым улицам и уже через три часа оказались в другой стране, в другом мире. Необратимость отъезда мы осознали два месяца спустя, когда нас известили о лишении гражданства.

Иногда мы слышим: «Вам посчастливилось, вы наконец вырвались на свободу, избавились от всех бед, от страха». Такие слова вызывают у нас обоих горькие чувства.

Р. Я испытывала отчаяние. Ведь в этом есть и доля правды. После того как нам разбили окна, когда повторялись угрозы и проклятия по телефону, когда начали вызывать в КГБ наших друзей и знакомых, после высылки Сахарова и статьи в «Советской России» «Иуда в маске Дон-Кихота» (5 февраля 1980 г.), в которой нашу квартиру называли «вражеским гнездом», наши родные и друзья настаивали, что мы должны уехать, что я обязана спасти жизнь Л. — так нам писали дочь и зять из Америки, друзья из Парижа. Я пыталась не слушать, пыталась закрывать глаза, надеяться, сама не зная уже, на что именно. Мол, авось как-нибудь переменится. Я не хотела никуда уезжать, ни на минуту не испытывала такого желания.

Л. А я начал думать о необходимости уехать. Чтобы хоть несколько лет прожить там, где я мог бы писать, не опасаясь, что завтра написанное заберут при обыске. Где мог бы разговаривать с людьми, уверенный, что нас не подслушают.

Когда мы прилетели в Германию, я не собирался заниматься политической деятельностью. Я хотел, пока еще способен видеть, слышать, передвигаться, побывать в тех краях, о которых мечтал с детства, которые пытался изучать, исследовать, понять... Ведь для меня всегда было непреложным сознание: наша страна — хоть она для нас, вопреки всем бедам — самая прекрасная, лишь часть огромной земли людей.

В последние московские годы я все острее, вся тягостнее ощущал безнадежность, безвыходность и невыносимость нашей жизни. И не только потому, что неожиданный звонок в дверь — слишком поздний или слишком ранний, — шум шагов на лестнице возбуждал омерзительное чувство тревожного ожидания. Но еще больше потому, что все явственнее было: мы становились опасными для наших близких, для тех, кого вызывали в КГБ, для тех, кого могли на работе, в Союзе писателей преследовать за связь с отщепенцами.

Мы оба не хотели эмигрировать. Но я надеялся, рассчитывал, убеждал себя и Раю, что если нам разрешат поехать в гости к Бёллю или по приглашению Дармштадтской Академии, то должны будут разрешить и вернуться. И для таких расчетов были основания. Когда весной 1980 года Эгон Бар, представитель с.-д. партии (тогда правящей) приехал в очередной раз в Москву, он сказал мне, что ему обещали: если в Германии я не буду выступать на политические темы, то через год-два могу вернуться. И я понадеялся на здравый смысл властей: ведь они бы на это время избавились от одного из настырных инакомыслящих, а я кончил бы книгу о докторе Гаазе и работу «Гете и театр», многое повидал бы, часть написанного оставил бы там на сохранение.

Когда в ОВИРе нам сказали, что визу предоставят не на два года, как мы просили, а на год, я обрадовался: это ограничение подтверждало мои оптимистические прогнозы.

«Неужели вы не хотите уехать?» — так меня спрашивали множество раз и московские, и зарубежные знакомые, приятели, корреспонденты... «Хочу не уехать, а поездить. Очень хочу, но только с обратным билетом».

И мы действительно улетели из Москвы с обратными билетами: Франкфурт — Москва, 12 ноября 1981 года...

Р. В Москве я тоже хотела верить, что мы вернемся. Должна была верить. Он без меня не хотел улетать. Но мне было очень страшно расставаться с родными, с детьми, с друзьями... Здесь многие понимают, что значит не видеть дочерей, внуков. Но мало кто понимает, что там, в Москве, остался весь мой мир. Со всеми его несчастьями и ужасами, этот мой единственный и, вопреки всему, любимый мир. И на расстоянии, в безнадежном удалении он становится еще милее, он высветляется.

В первые месяцы после того что нас лишили гражданства, казалось, я сойду с ума. Приходить в себя я начала постепенно, медленно... Вглядывалась в чужую жизнь, пыталась понять ее. И теперь пытаюсь. Первое время ежедневно писала письма в Москву и Ленинград, и теперь пишу очень часто. Живу и здесь, и там, и в этом все еще чужом, очень гостеприимном для меня, но все же не моем, и в том, навсегда моем, мире.

Л. Все, что происходило с Р., я видел, понимал, чувствовал и боялся. Иногда отчаивался от бессилия помочь... Но я все время верил, что она выберется, что какой-то выход найдется. Выздоровливать она начала, пожалуй, весной 81-го года, когда в Геттингене стала учиться на курсах немецкого языка.

Р. Нет, пожалуй, немного раньше. В марте в Бад-Мюнстерайфеле, когда начала писать по заказу Каролы Штерн очерк для радио «Двери открываются медленно». Из него потом выросла книга. Но приступы отчаяния повторялись, повторяются и сейчас.

Л. И все же она нашла настоящее, свое место в этом мире, нашла скорее, чем я надеялся. Еще год тому назад ни Р., ни я не могли ожидать, что она будет публично читать по-немецки отрывки из своей книги, будет понимать вопросы слушателей и отвечать на них, и они ее будут понимать. Хотя падежи и спряжения Р. путает, кажется, действительно, безнадежно.

Р. Но тем не менее, этот новый мир, в котором мы очутились, мы видим совершенно по-разному.

Л. Не только этот. Дома, в Москве, я тоже по-другому воспринимал действительность, отчетливее, чем она, сознавал опасность, надвигающуюся на нас и на всех, кто был с

нами связан. А здесь я с самого начала не чувствовал себя чужаком. И сейчас продолжаю остро чувствовать ту радость, которой долго был лишен дома,— радость общения со слушателями, с читателями, особенно с молодыми, которых интересует все, что и мне представляется важным, которые читали мои книги.

И поэтому я так охотно соглашаюсь читать лекции, давать интервью, участвовать в дискуссиях... все чаще устаю, почти до изнеможения. Но каждый раз, когда вижу много внимательных глаз, когда слышу неожиданный, умный вопрос, да и когда встречаю противников — из позавчерашних нацистов или догматических леваков, то не знаю сам, откуда только силы берутся. И часами спорю, доказываю, рассказываю. И все еще не перестаю радоваться, сознавая: сегодня пишу и могу напечатать завтра, через неделю в газете, в журнале, через несколько месяцев — книгой. И теперь главная забота: поспевай закончить в срок, не задержать корректуры, подготовиться к очередной лекции.

Р. За пять лет на Западе Л. опубликовал больше книг и статей, чем за всю предшествующую жизнь. Правда, большей частью это было написано еще дома, однако здесь приходилось не только переводить, но и редактировать, дополнять. В общем, у Л. здесь все складывается совсем по-особенному, совершенно исключительно. И у меня сейчас много работы, больше, чем я способна вытянуть. Но ведь мы оба продолжаем жить в Москве. Ведь и Л. окончательно не выписался оттуда.

Л. Это правда. Мы ездим по разным городам и странам, ходим по Лувру, по Прадо, по мюнхенским пинакотекам, любуемся красотами гор и морей, слушаем дивную музыку, встречаем замечательных современников. И не забываем, не хотим и не можем забыть: Толя Марченко голодает в тюрьме, Иван Светличный парализован, Юрий Орлов болеет в ссылке, Андрея Сахарова насильно кормят и тайком снимают чекисты в белых халатах...

Р. В июне восемьдесят первого года я встречала Сару Бабенышеву, приехавшую из Москвы. Она сказала: «Здесь все так прекрасно. А я не могу забыть глаза Лары Богораз, в них такое отчаяние. Анатолий опять в тюрьме».

Л. Мы не раз уже слышали печальные или иронические вопросы, мол, чего же вы, эмигранты, достигли вашими

просьбами, требованиями, напоминаниями? Ведь ничего не меняется. Вы все пишете, говорите о Сахарове, о Марченко, Орлове, Руденко, называете имена новых арестованных, но они остаются в лагерях, в ссылках. Да ведь и мы сами себя спрашиваем о том же. Как не прийти в отчаяние?

Отчаяние уже вовсе никому не может помочь. Мы говорили, писали, и будем говорить, и писать, и всячески помогать группам Эмнести, и напоминать, чтобы отсюда посылали письма, телеграммы, запросы, просьбы. И каждый раз, когда я слышу вопросы и возражения скептиков, то рассказываю о письме, которое мы получили из Москвы в ответ на наши жалобы, что ничего не можем добиться: «Вы не правы. Вы должны сами понимать и другим объяснить, что без писем, без ходатайств, без давления отсюда нашим заключенным было бы гораздо хуже». В иных случаях наши общие усилия здесь могут сказаться там в дополнительном свидании, в облегчении лагерного режима. Ведь мы читаем письма из советских ссылок, которые получают здешние настойчивые участники групп Эмнести.

Однако частью нашей жизни остается не только лагерная Россия. Ведь мы читаем московские журналы и «Литгазету», которую в Москве перестали было выписывать, несоизмеримо внимательнее, чем когда-либо раньше. Иногда и впрямь кажется: «Что прошло, то стало мило». За неимением подходящих русских слов я называю это ностальгической аберрацией. Много там, дома, сегодня отсюда видится лучшим, чем представлялось раньше. Возможно, лучшим, чем оно есть в действительности.

Р. У меня это началось еще дома и всегда было в более острой форме, чем у Л.

Когда у нас уже были визы, И. спросила меня:

— А ты не допускаешь мысли, что тебе не захочется вернуться?

— Ни на мгновение. Зато, возможно, там, на Западе, впаду в ярое почвенничество.

Л. Отвечала Р. искренне. Но никто из нас не может впасть в «ярое почвенничество». Нам бывает больно, нас возмущает, мы зло спорим, когда иной немецкий, американский, французский, чешский или польский интеллигент, столь же самоуверенный, сколь и невежественный, начнет рассуждать, мол, русские испокон веков были варварами и холопами, неприспособленными к свободе, к демократии.

И сегодня, как всегда, «заслуживают свое правительство»... Но ведь ярые почвенники утверждают, по существу, то же самое, только с обратными знаками. Они полагают исконными добродетелями все то, что высокомерные западники считают исконными пороками... У Р. бывают порывы к почвенничеству, и они понятны, хотя и несостоятельны. Потому что в ней, как и во мне, достаточно глубоко сидит интернационализм, то мироощущение, именно ощущение, даже больше, чем воззрение, которое мы впитали в школах, в пионеротрядах, впитали из песен, из книг, а позднее из встреч, из дружб с людьми других стран.

Р. От интернационализма я не отрекаюсь. Я перестала быть коммунисткой, но интернационализм, не лозунговый, не политический для меня и сегодня очень важен. Это можно назвать и космополитизмом — как называли Гете и Герцен. Но это не мешает мне чувствовать себя почвенницей. Я повидала много разных стран, но для меня Россия лучше всех.

Л. Споры нет. Значит, мы оба почвенники. Но мы стали ими не в 1980 году. Истоки и корни нашего почвенничества в стихах Пушкина, Некрасова, Тютчева, Ахматовой, Твардовского, Самойлова... В «Войне и мире», в «Трех сестрах». Но и в прозе сегодняшних «деревенщиков», в песнях Окуджавы, Высоцкого, Галича. Наше почвенничество в юности было более инстинктивным, чем осознанным, но уже с 22 июня 1941 года мы сознавали его вполне отчетливо.

* * *

Этот разговор начался в июле 1983 года в городе Зальцбурге и возобновлялся потом еще много раз. Мы спорили, иногда сердито. И в конце концов убедились: это такие мучительно-неразрешимые противоречия, о которых мы сейчас писать не можем.

Напишем ли когда-нибудь?

Л. В школе меня считали «знатоком» литературы. Я помнил наизусть много русских, украинских, немецких стихов. Когда в Харьков приезжали Маяковский, Сельвинский, Асеев, старался не пропустить ни одного из их вечеров, восхищался Тычиной, Сосюрой, очень любил Есенина. Но ничего не знал об Ахматовой.

Помнил строки: «Умер вчера сероглазый король...», «Я на правую руку надела перчатку с левой руки...» И представлялась нарядная барыня: большая шляпа, меховое боа. Очень красивая, но красота чужая.

1928 год. Харьковский театр. Маяковский широко, твердо шагал по сцене, широко, твердо стоял. Рубашка без галстука. Пиджак по-домашнему на стуле. («Я здесь работаю».)

Он читал «Сергею Есенину», «Письмо любимой Молчанова», «Письмо писателя Владимира Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому», «Тамара и Демон»...

Меня огорчало, что он «обижает» Горького, фамильярничает с Пушкиным. Но от стихов о Бруклинском мосте, о взятии Шанхая — холодок восторга. Маяковский был свой, наш. И хлопали мы неистово.

Потом он отвечал на записки — небрежно, иногда брезгливо или сердито. И тогда угол рта оттягивала книзу тяжелая челюсть. Одну записку прочел, насмешливо растягивая слова: «Как вы относитесь к поэзии Ахматовой и Цветаевой? Кто из них вам больше нра-вит-ся?»

Сложил листок и — внятной скороговоркой: «Ахматова-Цветаева? Обе дамы одного поля... ягодицы».

На галерке мы громко смеялись. Смеялись и в партере. Но кто-то крикнул: «Пошлость. Стыдитесь!»

Роман Самарин был старше меня на год, но образованнее на много лет. Сын профессора литературы, он рос в благодатной тени отцовской библиотеки. Роман открыл мне Гумилева. И меня завоевали навсегда стихи о капитанах, о Нигере, о храбрецах и таинственных дальних краях.

Ахматова была для нас жена Гумилева, которая тоже писала стихи.

Языческий храм моих мальчишеских и юношеских идеалов был варварски загроможденным капищем. То вспыхивали, то чадно угасали камины перед разнообразными кумирами. Петр Первый и Суворов умещались рядом с Робеспьером и Маратом, Пушкин, Гёте, Шиллер и Диккенс оказывались неподалеку от Желябова и Ленина, так же, как Алексей Константинович Толстой и Тарас Шевченко, Лев Толстой, Владимир Короленко, Чехов, Карл Либкнехт и герои гражданской войны. Маяковский, Есенин, Микола Кулиш, Лариса Рейснер, Роальд Амундсен, Киплинг.

...Нашелся там красный угол и для Гумилева; он оттеснил Блока и опрокинул Брюсова. Для Ахматовой там не было места.

Ее стихи застревают в памяти, вспоминались «под настроение». Но я считал: как ни прекрасны краски, звуки, главное — идеи, содержание слов. Правда, А. К. Толстой, Киплинг, Гумилев были и вовсе «по ту сторону баррикады».

На том же вечере Маяковский отвечал на вопрос о Гумилеве:

— Ну, что же, стихи он умел сочинять, но какие: «Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя». Говорят: «Хороший поэт». Это мало и неправильно. Он был хорошим контрреволюционным поэтом.

О Киплинге у нас писали: «бард британского империализма...», «певец колонизаторов...»

Однако мужественные воинственные стихи Гумилева и Киплинга мне были необходимы почти так же, как «ретроградные» баллады А. К. Толстого.

В двадцатые годы мы, «...надцатилетние», еще не превратились в оказанных, узколобых фанатиков. Рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско» мы разбирали на уроках; читали советские издания Шульгина, Аверченко, мемуары Деникина и Краснова.

Тогда еще допускали, что и классовые враги, и непримиримые идейные противники могут быть бескорыстны, благородны, мужественны. И такой «либеральный объективизм» еще не стал смертным грехом, уголовным преступлением.

Но в последующие годы наш художественный мир быстро скудел. Наступал «великий перелом» — коллективизация, пятилетки, разоблачение вредителей. Новые силы оттесняли и непокорных муз, и недостаточно последователь-

ных «попутчиков». Наши поэтические храмы пустели и закрывались — как и церкви, с которых сбивали кресты, снимали колокола и превращали в склады, в клубы...

В те годы я, кажется, только один раз встретился с именем Ахматовой.

В 1934 году харьковская газета «Пролетарий» праздновала десятилетний юбилей. На банкет, необычайно обильный для той поры (соевые пирожные, мороженое), пригласили не только известных литераторов, но и рабкоров. Рядом с главным редактором сидел почетный гость, помощник прокурора республики Ахматов — моложавый, с «кремлевской бородкой», утомленно-снисходительный партийный интеллигент. На нижнем конце стола вместе с нами, рабкорами, пировал Максим Фадеевич Рыльский. Предоставляя ему слово, тамада-редактор сказал: «Еще недавно мы называли Рыльского «знаменем украинского национализма», но сегодня мы рады приветствовать его в нашей среде как товарища и соратника в борьбе за социалистическое строительство, за победу пятилетки».

Рыльский напевно продекламировал куплет в честь юбилея газеты. А затем прочитал экспромт, встреченный хмельным одобрением:

Хай плаче Анна Ахматова,
Блукаючи в сивім тумані,
А нас поведуть Ахматови
За грані.

Прокурор Ахматов исчез в тридцать седьмом году. Анна Ахматова для меня еще долго оставалась «плачущей и блуждающей в тумане».

...Март сорок второго. В «Правде» стихи:

Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Негромкое стихотворение прозвучало внятней всех — барабанных, фанфарных, огнестрельных... В моем планшете оно лежало вместе со «Жди меня» и «Землянкой»; позднее всех оттеснил «Теркин».

Тогда казалось, что ахматовские строки волнуют и радуют лишь как подтверждение великой объединяющей правды нашей войны. И она, чужая Прекрасная Дама, с нами заодно — так же, как старые георгиевские кавалеры,

как патриарх Сергей, как Деникин и Керенский, призывающие помогать Красной Армии.

Но стихи жили в памяти.

Речь Жданова и постановление ЦК 1946 года я прочел в лагере. Неприятны были брань, хамский тон. Не мог понять, зачем это нужно именно сейчас, после таких побед. Почему именно Ахматова, Зощенко, Хазин и уж вовсе непричастный Гофман — опасны, требуют вмешательства ЦК, разгромных проработок?.. Но тогда у меня были другие мучительные заботы и тревоги. И личные — второй год заключения, дело «за Особым Совещанием» — и общие: послевоенная разруха в стране, начало холодной войны.

Прошло еще десять лет, прежде чем я начал постепенно, спотыкаясь, запинаясь, открывать поэзию Ахматовой.

Р. Впервые я услышала имя и стихи Ахматовой в 1935 году от кого-то из подруг на первом курсе института. С тех пор остались — забылись, потом всплыли — отдельные строки. Строки жили, как фольклор, с голоса. Книги Ахматовой я впервые увидела лет двадцать спустя.

В мое разгороженное на строгие рубрики сознание Ахматова вошла в клеточку «любовные стихи». И я решила: «Об этом мне уже все сказал Блок».

Гумилев, который никогда не был моим поэтом, все же чаще присутствовал в моей юности, чем Ахматова. И сейчас не могу объяснить, почему в моей комсомольской душе так гулко отзывалось

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыплется золото с кружев
Розоватых брабантских манжет...

Гумилевские стихи были одним из источников песни «Бригантина», написанной Павлом Коганом. Она стала нашим ифлийским гимном.

Многие современницы Ахматовой воспринимали ее стихи как страницы дневников влюбленной, ревнующей, покинутой и бросающей, оскорбленной женщины. Почти всегда несчастной. Тогда многие любили «по Ахматовой»: Осознавали или придумывали свою любовь, свои страсти и беды по ее стихам. Со мною не было ничего подобного.

Ахматова была женой Гумилева. Красавица. Челка. Шаль. Но долго я даже не знала, жива ли она еще.

Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» застало меня в поездке. Я тогда работала в ВОКСе, и меня послали с делегацией корейских писателей на Кавказ. У них был переводчик, плохо владевший русским, чуть получше — английским. Мы и переводили вдвоем: разговоры на бытовые темы, вопросы о фабриках Тбилиси и Еревана и туристские выжимки из древней истории. Но в день публикации постановления Ли Ги Ен, глава делегации, спросил меня об Ахматовой. Ответить я не могла. Меня это постановление ЦК не возмутило, не испугало, просто не задело. В моем тогдашнем мире Ахматовой не было. Зощенко я знала гораздо лучше. Читала рассказы, «Голубую книгу» и «Возвращенную молодость». Не очень его любила. Не полюбила и потом. Покоробило в тексте постановления ЦК слово «подонок».

Ругань всегда неприятна. Но раз сказала партия!..

Ахматова пришла ко мне в середине пятидесятых годов. Тогда же я впервые испытала ожог Цветаевой. Эти имена — Ахматова и Цветаева — часто называли рядом. Для меня сначала Цветаева была важнее. А потом стихи и судьба Ахматовой медленно, но неотвратимо прорастали, заполняя все большую часть моей души.

Л. Анну Андреевну Ахматову я увидел впервые в мае 62-года. Меня привела к ней Надежда Яковлевна Мандельштам.

Большой дом на Ордынке, прямо напротив того, где я прожил шесть довоенных московских лет.

Грязная лестница. Маленькая комната в квартире Ардовых. Ахматова — в лиловом халате. Большая. Величественная. Однако полнота рыхлая, нездоровая. Бледно-смуглая кожа иссечена морщинками, обвисла на шее. Четко прорисованный тонкогубый рот почти без зубов. От этого голос, мягко рокочущий, низкий, иногда не мог преодолеть шепелявость...

Но она была прекрасна. Именно прекрасна. Подумать «старуха» было бы дико. Рядом с ней — медлительной, медленно взглядывавшей, медленно говорившей, — сидела Фаина Раневская. Она острила, зычно рассказывала что-то веселое, называла Анну Андреевну «рэбе», и показалась шумной, громоздкой старухой.

Анна Андреевна и Раневская — на тахте. Мы с Надеждой Яковлевной — на стульях, почти вплотную напротив. Никто больше уже не мог бы войти. Некуда.

От смущения и страха я онемел. Что говорить? Куда девать руки и ноги?.. Очень хотел все запомнить. Смотрел, но заставлял себя отводить взгляд, не тарашиться. При этом, кажется, глупо ухмылялся. Бормотал какую-то чушь. Раневская вскоре ушла. И Ахматова внезапно спросила, как бы между прочим:

— Хотите, я почитаю стихи? Но только прошу ничего не записывать.

И стала читать из «Реквиема». Я глядел на нее, уже не стесняясь, неотрывно. Должно быть, очень явственным было изумленное восхищение. Она, конечно, все понимала — привыкла. Но любой новый слушатель был ей нужен.

Она читала удивительно спокойным, ровным — трагически спокойным голосом.

Ушла и Надежда Яковлевна. Она продолжала читать.

И если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне...

Глаза у меня были мокрые. Она, вероятно, и это заметила.

Сдавленным голосом я попросил:

— Пожалуйста, можно это еще раз?

В те минуты я думал только: «Запомнить побольше».

Она прочла еще раз Эпилог. Музыка стихов рождалась где-то в груди и в глубине гортани. Я уже не слышал шепелявости, не видел ни морщин, ни болезненной грузности. Я видел и слышал царицу, первосвященницу поэзии. Законная государыня — потому так безыскусственно проста, ей не нужно заботиться о самоутверждении. Ее власть неоспорима.

Естественным было бы опуститься на колени. Но у меня достало отваги лишь на несколько беспомощных слов, когда она, помолчав, спросила:

— Вам нравится?

— Если бы вы не написали ничего, кроме этих стихов, вы остались бы самым великим поэтом нашего времени.

Она даже не улыбнулась. А я понял, что ей — поэту и женщине — никакие похвалы, ни поклонение не могут быть избыточны. Десятилетиями ее жестоко обделяли признанием, постыдно хулили и травили.

Я старался запомнить и, едва выйдя за двери, повторял:

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

...Затверженные отрывки «Реквиема» я в тот же день прочитал Рае. И она тоже запомнила.

Потом, нарушив обещание, все, что вспомнилось, записали — каждый своей «тайнописью».

Р. Мы с Лидией Корнеевной Чуковской сидели в садике нашего двора на улице Горького. Я стала вспоминать «Реквием». Лидия Корнеевна оглянулась по сторонам и сурово прервала:

— Мы — нас, кажется, десять — молчим об этом уже больше двадцати лет.

Мне почудился в ее голосе даже некий гнев «посвященного» на вторжение чужака в сокровенное святилище. Но через несколько минут она смягчилась и вполголоса прочитала целиком Эпилог.

Потом я несколько раз слышала чтение самой Ахматовой. Однако «Реквием» и сегодня звучит во мне голосом Лидии Корнеевны.

Она же 20 мая 62-го года привела меня к Ахматовой по делу.

В журнале «Октябрь» пасквильянт напал на статью литературоведа Эммы Герштейн «Вокруг гибели Пушкина». Анна Андреевна дружила с Эммой Герштейн и высоко ценила ее работы. Она пригласила меня как секретаря секции критики — Союз писателей должен вступить за грубо, незаслуженно оскорбленную исследовательницу.

Я внимательно выслушала все, что сказала Ахматова, записала, обещала сделать все, что в моих силах. Глаза поднять боялась.

— Невежество дремучее этот «Октябрь», этот пасквильянт. Надо протестовать. Но плохо, что Бонди в чем-то несогласен с Эммой. И не промолчит. Всегда-то мы меж собой не согласны.

Лидия Корнеевна рассказала, что мой муж недавно побывал у Ахматовой, влюбился, а я пришла посмотреть на соперницу.

Она, без тени улыбки, величаво:

— Понимаю, мы, женщины, всегда так поступаем. Немного погодя:

— В тысяча девятьсот тринадцатом вернулся Николай

Степанович из Африки,— это она о Гумилеве,— приехал в Царское, а меня нет, я ночевала у знакомых. Я рассказала об этом отцу: «Папа, ведь я за все шесть месяцев только один раз ночевала не дома». А он мне: «Так вы, женщины, всегда попадаетесь».

Спрашивает:

— Вы читали в «Новом мире» о приемной МГБ? Это из романа Бондарева «Тишина».

И вспоминает:

— Я ходила туда десять лет. Переступаешь через порог, а чин тебе: «Ваш паспорт». Это чтобы к ним поменьше ходили. Советские граждане знают, что нельзя расставаться с паспортами... В Ленинграде я бывала и трехсотую.

А когда сына арестовали в сорок девятом году, я в Лефортове несколько раз оказывалась совсем одна. Было очень страшно. Пожалуй, страшнее, чем в очередях...

Как вы думаете, Лидия Корнеевна, не откажется ли Твардовский печатать отрывок из «Поэмы без героя» из-за того, что вокруг будут бродить и другие отрывки, крамольные? И он ждет предисловия Корнея Ивановича...

В ответ на гневные возгласы Лидии Корнеевны — неужели нельзя печатать «Поэму» без предисловия? — Ахматова говорит, что ей и самой интересно, чтобы Корней Иванович запечатлел свое отношение к поэме, которую он знает двадцать лет.

Показывает машинописные листы, предназначенные для журнала. Лидия Корнеевна находит опечатку. Обе громко возмущаются. Они гnevаются так, как едва ли способны литераторы других поколений: святыня осквернена, не та буква.

Анна Андреевна говорит, что ей до зарезу нужен человек, который бы совсем не знал «Поэмы», чтобы он прочитал свежими глазами. Но она такого не нашла ни в Москве, ни в Ленинграде.

Стихи в этот день она не читала. Сказала:

— Меня вычеркнули из программы.

Я не сразу поняла.

— Да ведь меня, грешную, поносили во всех школах и институтах от Либавы до Владивостока шестнадцать лет. Сын Нины Антоновны *, хозяйки этого дома, недавно напился, поцеловал мне руку и говорит: «Какое счастье, что вас больше не будут прорабатывать в школах».

* Н. Ольшевская, жена В. Ардова, подруга Ахматовой.

В тот же вечер я все это записала в дневник.

Несколько месяцев спустя я слышала от Ахматовой, чем отличается поэзия от музыки и живописи: немногим дано сочинять или воспроизводить музыку, немногие способны творить красками на холсте; к обыденной жизни эти занятия не имеют отношения. А поэзия создается из слов, которыми все люди пользуются ежедневно, из слов, доступных всем, — «пойдем пить чай».

И первый, и последующие наши разговоры были обыденны: что опубликовано, что запрещено, кому нужна помощь, кто как себя вел, нравится или не нравится чей-то роман, стихи.

Но за этим проступало иное. И чем больше времени проходило, тем сильнее ощущалось то иное измерение, мне недоступное, не поддающееся ни записи, ни рассказу.

Не только ее поэзия, но и она сама.

Мы стали встречаться. Изредка. Она дарила нам свои книги. Подарила и рукописный экземпляр «Поэмы без героя». Иногда звонила.

Л. Летом 1962 года к нам на дачу в Жуковку приехал Александр Солженицын. Как обычно, прежде всего сказал, сколько часов и минут может пробыть, начал задавать заранее приготовленные вопросы — и спросил об Ахматовой. Узнав, что у нас есть рукопись «Поэмы без героя», сразу же стал читать.

Мы все ушли на реку купаться, он остался, переписал всю «Поэму» микроскопическим почерком, уместив по две колонки на странице блокнотика.

«Один день Ивана Денисовича» готовился к печати. Анна Андреевна прочитала рукопись. Всем друзьям и знакомым она повторяла: «Это должны прочесть двести миллионов человек».

Встретился он с Ахматовой осенью того же года. Анна Андреевна рассказывала:

— Вошел викинг. И что вовсе неожиданно, и молод, и хорош собой. Поразительные глаза. Я ему говорю: «Я хочу, чтобы вашу повесть прочитали двести миллионов человек». Кажется, он с этим согласился. Я ему сказала: «Вы выдержали такие испытания, но на вас обрушится слава. Это тоже очень трудно. Готовы ли вы к этому?» Он отвечал, что готов. Дай Бог, чтобы так...

Вскоре после встречи с Ахматовой он пришел к нам, спросил:

— Кого ты считаешь самым крупным из современных русских поэтов?

Я ответил, что особенно мне дороги Ахматова, Цветаева, Пастернак, из других поколений — Твардовский, Самойлов... Одно-единственного выделить не могу.

— А мне только Ахматова. Она одна — великая. У Пастернака есть хорошие стихи; из последних, евангельских... А вообще он — искусственный. Что ты думаешь о Мандельштаме? Его некоторые очень хвалят. Не потому ли, что он погиб в лагере?

— Нет, не потому. Он — великий поэт.

— А по-моему, Мандельштам не русская поэзия, а скорее — переводная, иностранная...

— Ахматова считает Мандельштама величайшим поэтом своего поколения.

— Не знаю, не знаю. Я убежден, что она самая великая...

Солженицын передал Ахматовой пачку своих стихов: автобиографическую поэму, описание путешествия вдвоем с другом на лодке вниз по Волге, как они встретили баржу с заключенными, а на ночном привале были разбужены отрядом лагерной охраны, преследовавшей беглецов. Много стихов — любовь, разлука, тоска по свободе. Грамотные, гладкие, по стилю и лексике ближе всего Надсону или Апухтину. (Когда-то на шарашке они мне нравились.)

Ахматова рассказала:

— Возможно, я субъективна. Но для меня это не поэзия. Не хотелось его огорчать, и я только сказала: «По-моему, ваша сила в прозе. Вы пишете замечательную прозу. Не надо отвлекаться». Он, разумеется, понял, и, кажется, обиделся.

Об этой второй и последней их встрече нам она больше ничего не говорила. Но от него мы узнали, что она прочитала ему «Реквием».

— Я все выслушал. Очень внимательно. Некоторые стихи просил прочесть еще раз. Стихи, конечно, хорошие. Красивые. Звучные. Но ведь страдал народ, десятки миллионов, а тут — стихи об одном частном случае, об одной матери и сыне... Я ей сказал, что долг русского поэта — писать о страданиях России, возвыситься над личным горем и поведать о горе народном... Она задумалась. Может быть, это ей и не понравилось — привыкла к лести, к восторгам. Но она — великий поэт. И тема величайшая. Это обязывает.

Я пытался с ним спорить, злился. Сказал, что его суждения точь-в-точь совпадают с любой идеологической критикой, осуждающей «мелкотемье»...

Он тоже злился. И раньше не любил, когда ему перечили. А тогда уж вовсе не хотел слушать несогласных. Больше мы к этой теме не возвращались.

С Анной Андреевной он больше не встречался, и мы с ней о нем уже не говорили.

* * *

Надя Мальцева девочкой писала по-взрослому печальные стихи. К нам ее привел Григорий Поженян. Он зычно восхищался открытием «новой, шестнадцатилетней, Ахматовой».

Толстушка в очках увлеченно играла с двенадцатилетней сестрой и со всеми переделкинскими собаками и менее всего напоминала Ахматову. Но стихи нам понравились, поразили неожиданной зрелостью. Надя стала бывать у нас. Я рассказала о ней Анне Андреевне, попросила разрешения представить.

— Приводите завтра вечером.

В столовой у Ардовых шел общий разговор. Надя молчала, нахохлившись, смотрела только на Анну Андреевну, а та говорила мало, иногда замолкая на несколько минут и словно бы не видя никого вокруг. Но внезапно, после такой паузы, спросила Надю:

— Может быть, вы почитаете стихи? Хотите здесь читать или только мне?

— Только вам.

И Анна Андреевна увела ее в свою маленькую комнату. Из-за двери доносилась несколько монотонная скороговорка Нади. Она читала долго.

Потом послышался голос Анны Андреевны. Она читала стихи. И тоже лишь для одной слушательницы. И тоже долго. Настолько, что я ушел, не дождавшись конца,— было уже очень поздно.

Анна Андреевна потом говорила:

— Очень способная девочка. Много от литературы. Много книжных, не своих стихов. Но есть и свое, живое. Она может стать поэтом. Но может и не стать. И тогда это несчастье.

Надя рассказывала:

— Ну я ей читала. Всю тетрадку почти прочла. Прочту стихотворение и спрашиваю: «Еще?» Она кивает: «Еще». А говорила мало. Спрашивала, кого люблю? Знаю ли Блока, Пастернака, Мандельштама? Сказала, что надо читать побольше хороших стихов. Нет, не хвалила, но и не ругала. Но говорила о моих стихах так, что мне теперь хочется писать. А потом сама спросила: «Хотите, я вам почитаю?» Я боялась, что устанет. Она за полночь читала. И ведь мне одной. И сказала, чтоб я еще приходила. Ну, это из вежливости.

Второй раз Надя не пошла. Говорила, что стесняется, робеет. А много лет спустя призналась — не пошла, потому что боялась попасть под влияние, стать «послушницей» — до потери собственного голоса.

Л. подарил Ахматовой свою книгу о «Фаусте» с такой надписью: «Анне всея Руси от одного из миллионов читающих и любящих верноподданных».

В мае 1963 года мы были в Ленинграде и на «авось» пошли к Ахматовой. Она была в просторном кимоно, расшитом золотом по черному. По-молодому захлопала в ладоши.

— А я с утра чувствовала, что сегодня будет радость.

Эта встреча и смутила, и осчастливила. Разговор сразу пошел непринужденный. Она расспрашивала о московских новостях. Ее интересовало все — приятное, и неприятное: как вели себя Эренбург и Вознесенский, почему начальство набросилось на Евтушенко, что представляют собой работы Эрнста Неизвестного, кто и как ругал Л. за «абстрактный гуманизм»?

Потом вспоминала о своем:

— Все знают про сорок шестой год. А ведь это было во второй раз. Обо мне уже в двадцать пятом году было постановление. И потом долго ничего не печатали. В эмиграции пишут, что я «молчала». Замолчишь, когда за горло держат. Постановление сорок шестого года я увидела в газете на стене. Днем вышла, иду по улице, вижу — газета и там что-то про меня. Ну, думаю, ругают, конечно. Но всего не успела прочесть. Потом мне не верили: «Неужели вы даже не прочли?..» Но я в тот день стала замечать — знакомые смотрят на меня, как на тяжело больную. Одни осторожно заговаривают, другие обходят. Я не сразу сообразила, что произошло. А на следующий день примчалась из Москвы Нина Антоновна.

Показала недавно полученный первый том сочинений Гумилева, изданный в США.

— Тут предисловие господина Струве.

В предисловии строки из «Ямбов», посвященные разрыву с молодой женой, комментируются так: «Об этой личной драме Гумилева еще не пришло время говорить иначе, как словами его собственных стихов: мы не знаем всех ее перипетий, и еще жива А. А. Ахматова, не сказавшая о ней в печати ничего».

И гневно:

— Видите ли, этому господину жаль, что я еще не умерла.

Мы пытались возражать, — это просто неуклюжий оборот.

— Нет, это именно так. Ему это просто мешает. «Ахматова еще жива!» И он не может всего сказать. Написать ему, что ли? «Простите, пожалуйста, что я так долго не умираю»? И посмотрите, как гадко он пишет о Леве: «Позднее, при обстоятельствах, до сих пор до конца не выясненных, он был арестован и сослан». Невыясненные обстоятельства! Что ж они там предполагают, что он банк ограбил? У кого из миллионов арестованных тогда обстоятельства были ясными... Не понимают. И не хотят понять. Ничего они не знают. Да, да, они предпочли бы, чтобы мы все умерли, чтобы нас всех арестовали. Им мало двух раз. Посмотрите, вот тут же: «Но в 1961 году за границу дошли слухи (быть может, и неверные) о новом аресте Л. Гумилева». И Струве не один: они все там бог знает что пишут — Маковский, Одоевцева, оба Жоржика...

Заметив недоумевающие взгляды:

— Были такие два мальчика при Николае Степановиче — Георгий Иванов и Георгий Адамович. И вот теперь сочиняют невесть что. Одоевцева уверяет, что Гумилев мне изменял. Да я ему еще раньше изменяла!

Для нее оставались злободневными соперничества, измены, споры, которые волновали ее и ее друзей полвека тому назад.

В тот день она читала стихи из цикла «Шиповник цветет», из «Реквиема».

Ее комната в дальнем конце коридора была узкая, длинная, небрежно обставленная старой случайной мебелью. Диван, круглый стол, секретер, ширма, туалет, этажерка. Книги и неизменный портфельчик с рукописями лежали на круглом столе.

Потом повела нас в столовую — показать картину Шагала. Здесь она была так же, как во всех московских при-

станицах, «не у себя дома», а словно проездом, в гостях...

Вышла на кухню, вернулась огорченная.

— А у нас опять ничего нет, гостей не ждали, угостить вас нечем.

Мы рассказали, как Панова благоговейно говорила о ней и читала ее стихи. Она слушала отстраненно, мы не сразу поняли, что она не хочет говорить о Пановой. Едва услышав, что та собирается писать книгу о Магомете, взметнулась, глаза потемнели от гнева, голос задрожал:

— Магомета ненавижу. Половину человечества посадил в тюрьму. Мои прабабки, монгольские царевны, диких жеребцов объезжали, мужей нагайками учили. А пришел ислам, их заперли в гаремы, под паранджу, под чадру.

Мы услышали лекцию по истории ислама, о первых халифатах, настоящую лекцию серьезного, разносторонне образованного историка. О Магомете она говорила с такой ненавистью, как говорят лишь о личном враге, еще живом.

Р. В сентябре 1963 года американский поэт Роберт Фрост впервые приехал в Россию. В детстве он мечтал о таинственной стране белых медведей. Юношей и зрелым поэтом он жил в магнитном поле русской литературы.

...Но как же нам писать
на русский лад романы об Америке,
если наша жизнь так безмятежна?..
...От наших писателей требуют, ждут,
чтобы все они Достоевскими стали,
тогда как их беда — избыток успехов и благ...

В день торжественного введения Кеннеди в должность президента Фрост был почетным гостем праздника, и впервые в истории США этот государственный акт был ознаменован чтением стихов. В Москву он приехал как посланец президента Кеннеди.

У нас его принимали необычайно почетно. Когда он заболел в Пицунде, Хрущев навещал его в номере гостиницы, сидел у постели, развлекал анекдотами.

Приехав в Ленинград, Фрост попросил, чтобы его познакомили с Анной Ахматовой. Мы несколько раз слышали, как она рассказывала об их встрече.

— Не у меня же в будке его принимать. Потемкинскую деревню заменила дача академика Алексева. Не знаю уж, где достали такую скатерть, хрусталь. Меня причесали

парадно, нарядили, все мои старались. Потом приехал за мной красавец Рив, молодой американский славист. Привез меня заблаговременно. Там уже все волнуются, суетятся. И я жду, какое это диво прибудет — национальный поэт. И вот приходит старичок. Американский дедушка, но уже такой, знаете, когда дедушка постепенно становится бабушкой. Краснолицый, седенький, бодренький. Сидим мы с ним рядом в плетеных креслах, всякую снедь нам подкладывают, вина подливают. Разговариваем не спеша. А я всю думаю: «Вот ты, милый мой, национальный поэт, каждый год твои книги издают, и уж, конечно, нет стихов, написанных «в стол», во всех газетах и журналах тебя славят, в школах учат, президент как почетного гостя принимает. А на меня каких только собак не вешали! В какую грязь не втаптывали! Все было — и нищета, и тюремные очереди, и страх, и стихи, которые только наизусть, и сожженные стихи. И унижение, и горе. И ничего ты этого не знаешь и понять не мог бы, если бы рассказать... Но вот сидим мы рядом, два старичка, в плетеных креслах. И словно бы никакой разницы. И конец нам предстоит один. А может быть, и впрямь разница не так уж велика?

Осенью 1963 года я послала Ахматовой письмо из больницы:

Дорогая Анна Андреевна!

Никогда я не решилась бы написать Вам, если бы не чрезвычайное обстоятельство. Я болела все лето и осень, и это закончилось тяжелой операцией, после которой мне как-то стало все все равно. Не читала, не думала, лежала на больничной кровати, не смотрела на своих родных и близких. И тогда Лев Зиновьевич принес мне томик Ваших стихов — попробуй читать. И Ваши стихи стали для меня мостиком к этому миру. Я читала давно знакомые и будто совсем незнакомые строки и возвращалась. Потому мне и захотелось очень написать Вам с глубокой личной благодарностью теперь, когда стало легче (я все еще в больнице), пытаюсь разобраться, что же за чудо произошло в ту ночь, когда я опять, несмотря на все уколы, не спала и пробовала читать.

Меня поразило мужество поэта. Я часто думала о Вас, о Вашей судьбе, как о примере необыкновенного, редкого мужества. Но только теперь я поняла главное — Вы знаете, что человек смертен, Вы знаете самую сердцевину трагедии человеческой («...но кто нас защитит от ужаса, который...»)

Знаете и в отвлеченно-философском, и в самом конкретном земном смысле («...даже ветхие скворешни»). Знаете и учите людей жить, не закрывая на это глаза (как я прожила), а — зная. Мне раньше Ваши стихи казались холодно-прекрасными, мраморно-прекрасными. И только теперь, может быть, причастившись страданий сама, я ощутила раскаленную лаву, которой овладел художник.

В поэзии Цветаевой страдание льется через край, захватывает читателя боль, содрогание... А здесь страдание преодоленное, снятое. И в этом огромная победа художника, победа нравственная и победа эстетическая. Мне эта преодоленность, скромность страдания кажется чертой очень русской...

Еще раз спасибо Вам, низко кланяюсь Вам за то, что Вы есть, за все, за то, что Вы писали и пишете сейчас прекрасно молодые стихи. Перед моими глазами — Ваш портрет, не тот, что в книжке, а мой любимый, теперешний, в белом цвету, где изображена величественная, необыкновенно счастливая женщина — великий поэт — олимпиец на вершине славы, увенчанный всеми мыслимыми отечественными и иностранными лаврами, собраниями сочинений и пр.* Ведь те лавры главные — в читательских сердцах, они у Вас действительность, а не иллюзия. Спасибо Вам. С надеждой увидеть Вас, если позволено будет — мы приедем на ноябрь в Комарово.

Нежно Вас обнимаю.

В ответ получила телеграмму:

«Ваше письмо принесло утешение и помощь в тяжелый час. Благодарю Вас. Ваша Ахматова».

В этом письме — только правда, но не вся правда. Я не писала и никогда не говорила ей, как поздно я пришла к ней и почему поздно.

Она была убеждена, что возможен лишь один выбор между опасной правдой и спасающей ложью, и считала, что именно эта коллизия определяла существование всех советских людей.

* В моем письме только предчувствие. Тогда, в 63-м году, не было еще ни «Бега времени», ни поездок за границу, ни премий. Все это начало приходить года два спустя, признание и в России, и далеко за рубежами.

В 1983 году мы узнали, что в Ленинграде существует музей Анны Ахматовой.

30 мая 1964 года былая вера моей молодости и новообретенная мною правда Ахматовой столкнулись в один день — и наглядно, как на школьном уроке.

В двенадцать часов в музее Революции собрание: 70-летие Артемия Халатова. В шесть часов в музее Маяковского — вечер, посвященный 75-летию Анны Ахматовой.

Ни о том, ни о другом событии газеты не писали. Для официальной истории они всего лишь заметки на полях.

Смотрю на знамена музея. А слышу не торжественный шелест, нет, отчетливо слышу металлический звук — так дребезжат цветы на искусственных венках. Когда похороны кончаются, венки прислоняют к могиле, все расходится по домам. Живые цветы вянут, а эти дребезжат.

Над столом президиума — фотопортрет: ассирийская курчавая борода и шевелюра Халатова. Красив, молод, взгляд устремлен вдаль, в будущее. Когда его убили в 37-м, ему было 43 года. До революции — «профессиональный революционер», потом — профессиональный начальник. Начальник столовых, начальник вагонов, начальник книг.

Мой отец работал с Халатовым с первых лет революции; куда бы того ни переводили (тогда говорили: «бросали»), он брал с собой несколько сотрудников, в том числе и отца. С матерью, с сестрой Халатова мои родители сохранили дружбу и после его гибели. Потому я и оказалась в музее Революции 30 мая 64-го года.

Сквозь пустые, бесцветные слова академика Островитянова изредка прорывается живое: «Говорят, что и на Колыме Артемий Багратович заведовал малым Нарпитом * — делил арестантские пайки».

Большинство присутствующих — отсидевшие или их родственники. Рядом со мной — Ханка Ганецкая **, мы с ней учились в ИФЛИ. Третьекурсницей ее арестовали. Она шепчет: «Плохо сделано собрание, вот я сделала в честь папы — все плакали...»

В речах — ни следа преступлений. Просто чествуют человека, умершего в своей постели. О нем, как всегда о мертвых, только хорошее.

* Народное питание — Управление столовых, ресторанов, кафе.

** Умерла в сентябре 1977 года.

Когда я читала книгу Кестлера «Мрак в полдень» *, герой Рубашов виделся мне похожим на Халатова. Властный, сильный, умный. Но чего-то важного, вероятно, самого важного, у Рубашова не оказалось. Вероятно, не было и у Халатова. Не должно было быть у человека того рода, к которому оба они принадлежали. К которому стремилась принадлежать и я.

Люди этого рода должны были непременно освободиться от себя, от своего мнения, от своей совести. Не освободившись, нельзя было принадлежать к этой когорте. Кто не умел освободиться до конца, как я, постоянно ощущал тоскливую неполноценность. А того, кто освобождался окончательно, можно было сделать кем угодно: и чудовищем, палачом, и безропотной жертвой. Кончилось для многих, как для Рубашова, для Халатова, пулей в затылок.

В музее Революции собрались старые люди. На фотографиях, выставленных в фойе, они моложе и реальнее, чем теперь. Я больше смотрю в зал, чем на трибуну, больше слушаю, что говорят вокруг меня.

Халатов еще верил в то, что под красными знаменами «с «Интернационалом» воспрянет род людской».

Во что верят люди, собравшиеся здесь жарким весенним днем не то чтобы тайно, но и не совсем открыто? Об этом собрании знал только узкий круг друзей, знакомых. Они сильно отличаются от тех, кто правит сегодня. Научила ли жизнь и гибель Халатова кого-нибудь чему-нибудь?

Можно ли восстановить связь времен? Или она разорвана?

О вечере Ахматовой тоже не было объявлений ни в печати, ни по радио. Программа утверждена, разослали пригласительные билеты по спискам.

Музей Маяковского. Маленький зал заполнен. Меньше людей, чем было утром. И совсем другие люди. Я попадаю из одной языковой среды в другую, из одной действительности в другую.

Начинает Виктор Максимович Жирмунский:

«В конце марта мы отмечали пятидесятилетие «Четок», книги, установившей славу Ахматовой в русской поэзии... Пятьдесят лет — время немалое, такой промежуток времени отделяет смерть Пушкина от возникновения русского

* Опубликовано в русском переводе под названием «Слепящая тьма».

модернизма. Однако, как вы видите и показываете своим присутствием, стихи не устарели. Мы собрались здесь, чтобы слушать стихи большого русского поэта, стихи уже классические, но еще современные, переведенные теперь на все языки мира».

Пятьдесят лет назад он рецензировал этот первый сборник Ахматовой. Полвека. Эта связь времен тоже испытывала потрясения, но не разорвалась. Укрылась в глубинах. А сейчас восстанавливается.

Что значил Халатов для Жирмунского? Он хотел, чтобы такие, как Халатов, не вторгались в его работу, в его жизнь, не мешали ему заниматься своим делом. А они обычно мешали.

В апреле 1930 года из журнала «Печать и революция», из готового тиража, по приказу Халатова был вырезан портрет Маяковского и приветствие редакции в связи с выставкой «Двадцать лет работы». Это был один из последних ударов, нанесенных поэту.

Госиздат под начальством Халатова не опубликовал ни одного сборника Ахматовой.

Жирмунский говорит о стихах, которые он знал и любил юношей: «Ахматова создала много замечательных стихов. Далеко не все появились в печати. Но ответственность не на поэте, а на известных обстоятельствах эпохи культуры личности...»

Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был...

«Известные обстоятельства эпохи культуры личности» оказались враждебны и Ахматовой, и Халатову. Есть ли еще хоть что-либо общее в их судьбе?

Жирмунский говорит о гражданственности поэзии Ахматовой, о ее воспитательном значении. В музее Революции тоже говорили о воспитании, о том, что Халатов — пример для молодых.

О молодых людях, для которых примером был бы революционер, большевик, я читаю в иностранных журналах и книгах о новых левых. Их герои — Ленин, Троцкий, Роза Люксембург, Фидель, Хо Ши Мин, Че Гевара, Мао...

Юноши и девушки вокруг меня в большинстве своем пытаются следовать иным образцам.

Поэт Арсений Тарковский сказал:

«Музе Ахматовой свойствен дар гармонии, редкий даже в русской поэзии, в наибольшей степени присущий Ба-

ратынскому и Пушкину. Ее стихи завершены, это всегда окончательный вариант. Ее речь не переходит ни в крик, ни в песню, слово живет взаимосвечением целого... Мир Ахматовой учит душевной стойкости, честности мышления, умению сгармонировать себя и мир, учит умению быть тем человеком, которым стремишься стать».

«...Сгармонировать себя и мир» — не к этому ли стремились люди, внуки и дети которых собрались в музее Революции? Хотя эта фраза прозвучала бы для них как чужая.

«Язык Ахматовой больше связан с языком русской прозы. Ее произведений не коснулся великий соблазн разрушения формы, то, что характерно для Пикассо, Эйзенштейна, Чаплина».

Имени Маяковского он не произносит. Но как же не вспомнить о нем, говоря о поэзии XX века? Особенно в его доме.

Лев Озеров грозно спрашивал: «Долго ли еще будет тетрадкой эта всеми ожидаемая книга?» В 1965 году вышел однотомник — «Бег времени», но «Реквием» оставался тетрадкой*.

Владимир Корнилов читал стихи:

Век дороги не прокладывал,
Не проглядывалась мгла.
Блока не было. Ахматова
На земле тогда жила.

Халатов был убежден, что он прокладывает дороги в новый век. Его дороги заросли, оказались тупиками. А дорога Ахматовой — открыта.

Неужели эти миры разделены так безнадежно? Неужели различие их трагедий исключает всякую общность? Ведь в наших душах, в наших судьбах они как-то совместились...

* * *

Л. В 1964 году Анне Ахматовой была присуждена поэтическая премия Этна Таормина. И она полвека спустя после довоенных путешествий поехала на Запад.

Задолго до того, как стало известно об итальянской премии, она прочитала нам стихи:

Те, кого и не ждали в Италии,
Шлют оттуда знакомым привет,

* «Реквием» впервые опубликован в СССР в марте 1987 года.

Я осталась в своем зазеркальи,
Где ни света, ни воздуха нет...

Провожало ее несколько московских друзей, я привез на вокзал вместе с цветами только что вышедшую книгу Р. «Потомки Гекльберри Финна» с надписью: «Дорогой Анне Андреевне в знаменательный день, когда она покидает Зазеркалье».

В вагоне она сидела напряженно-серьезная, с необычной высокой прической. Мне показалось: напудренная, как маркиза.

Поблагодарила за книгу и сказала как-то спокойно подчеркнуто:

— Ну, что ж, еду представлять коммунистическую Россию.

— Анна Андреевна, помилуйте, вы представляете великую державу — Русскую Поэзию.

— Нет уж, мои дорогие, я-то знаю, зачем меня посылают.

Ленинград. Анна Андреевна рассказывает об Италии:

— Нет, никакого триумфа не было, — говорит весело, насмешливо. — Там совсем по-другому относятся к поэзии, чем у нас. Я раньше все осуждала «эстрадников» — Евтушенко, Вознесенского. Но оказывается, это не так уж плохо, когда тысячи людей приходят, чтобы слушать стихи. А в Италии одинокие поэты сидят по разным городам. Их не читают. И они сами почти не знают друг друга.

Свидание с Италией полвека спустя, когда она уж и надеяться перестала. Впервые такое праздничное, международное чествование. Хотя она и говорила «никакого триумфа», но в действительности это было торжество. Десятки поэтов из разных стран Европы собрались ради нее, подтверждая всемирное признание ее творчества.

И там, в свободном мире, она увидела одиноких поэтов. Она-то, казалось, сосредоточенная на своей, на нашей трагедии, могла и не заметить этого. Но она восприняла также их заботы.

Здание старинного монастыря, где происходило чествование, на высоком холме. Крутая лестница.

— Ступени высоченные, каждый шаг кажется последним. Ну, думаю, сейчас вызовут «неотложку» и потащат меня отсюда на носилках. Будут, что называется, похороны

по четвертому разряду. Покойник сам правит катафалком. Нет, думаю, надо взойти. И взойшла.

Показывает снимки: на трибуне с ней Вигорелли, Унгаретти, министр. За ними — античные бюсты.

— Это, кажется, Марк Аврелий... Смотрите, как презрительно косится: это еще кто такая? Поэтесса? Сапфо знаю; Ахматова — слышу впервые...

— Дали мне какой-то конверт. Положила на стол. А министр открыл мою сумочку и всунул его туда. Оказывается, чек на миллион лир...

— Устала смертельно, вернулась к себе в номер. Только бы добраться до постели. Прибежал Сурков. «Все наши собрались. Очень просим. Хоть на несколько минут». Потащила в другой номер, кажется, к Твардовскому. Там и Симонов был и еще кто-то. А на столе — она, милая. П-аллитра. И селедка. Ели по-студенчески, закуски чуть ли не на газете...

Рассказывает весело, с удовольствием.

Немецкий писатель Ганс Вернер Рихтер написал очерк для радио:

«...Знаете ли вы, кто такая Анна Ахматова? Нет, вы не знаете этого, а если скажете, что знаете, то... либо вы образованнее меня, либо хотите казаться образованнее... Мне позвонили из Рима как раз перед полуночью... Я должен немедленно прибыть в Таормину, это очень важно, сказал тихий женский голос... официальное приглашение... господи, да что мне делать в Таормине? И тогда прозвучали слова: «Анна Ахматова». Что ни говори, эти слова звучали неплохо. Пять «а» подряд, а я люблю «а».

Рихтер шутливо описывает свой полет в Сицилию, ожидание и подготовку торжества.

«Анна Ахматова здесь, — услышал я. — Это было в пятницу, в двенадцать часов дня, и солнце сияло в зените. Здесь, уважаемые слушатели, я должен сделать цезуру, необходима пауза, чтобы достойно оценить это счастье. Потому что из-за этого голоса, из-за этого облика могла бы произойти первая мировая война, если бы для нее не нашлись другие причины.

Да, здесь восседала сама Россия посреди сицилийско-доминиканского монастыря, на белом лакированном садовом стуле, на фоне мощных колонн монастырской галереи... Великая княгиня поэзии давала аудиенцию в своем дворце. Перед ней стояли поэты из всех стран Европы — с Запада и

с Востока — малые, мельчайшие и великие, молодые и старые, консерваторы, либералы, коммунисты, социалисты; они стояли, построившись в длинную очередь, которая тянулась вдоль галереи, и подходили, чтобы поцеловать руку Анны Ахматовой... Каждый подходил, кланялся, встречал милостивый кивок, и многие — я видел — отходили, ярко раскрасневшись. Каждый совершал эту церемонию в манере своей страны: итальянцы — обаятельно, испанцы — величественно, болгары — набожно, англичане — спокойно, и только русские знали тот стиль, который достоин Анны Ахматовой. Они стояли пред своей монархиней, они преклоняли колена и целовали землю. Нет, они этого не делали, но выглядело именно так, или так могло бы быть. Целуя руку Анны Ахматовой, они словно целовали землю России, традицию своей истории и величие своей литературы. Среди них только один был насмешником — я не хочу называть его имени, чтобы уберечь его от немилости Анны Ахматовой. После того как и я совершил обряд целования руки в стиле моей страны, он сказал: «А знаете ли, в тысяча девятьсот пятом году, в пору первой русской революции, она была очень красива?»...

Она читала по-русски голосом, который напоминал о далекой грозе, причем нельзя было понять, удаляется ли эта гроза или только еще приближается. Первое стихотворение было коротким; очень коротким; едва она окончила, поднялась буря оваций, хотя, не считая нескольких русских, никто не понимал ее языка. Она прочла второе стихотворение, которое было длиннее на несколько строк, и закрыла книгу.

...После этого присутствовавших поэтов попросили прочесть стихи, посвященные Анне Ахматовой. Один поэт за другим подходил к ее стулу и читал стихотворение для нее и для публики, и каждый раз она поднимала голову, смотрела влево, вверх или назад — туда, где стоял читавший поэт, и благодарила его любезным кивком каждый раз, будь то английские, исландские, ирландские, болгарские или румынские стихи. Все происходившее напоминало — пусть мне простят это сравнение — новогодний прием при дворе монарха. Монархиня поэзии принимала поклонение дипломатического корпуса мировой литературы, причем выступавшим здесь дипломатам не требовалось предъявлять верительные грамоты. Потом кто-то сказал, что Анна Ахматова устала, и вот она уже уходила... Видя, как она шествует, я внезапно понял, почему в России время от времени могли править именно царицы».

В Риме пришла к ней в гостиницу журналистка.

— Какая-то Аделька из «Иль Мондо». И написала потом чушь и гадость. Она, видите ли, надеялась, что я останусь. Изберу свободный мир. И наврала же она! И про внешность. И будто я говорю только о себе. И все время: «Ах, Гумилев! Ах, Пастернак! Ах, Мандельштам!» Даже об этом халате написала: «времен русско-японской войны, все пережил»...

— А мне Рим не понравился. Он все время за вами гонится...

Она рассказывала, как ночью ехала в поезде и кто-то сказал, что недалеко Венеция. Стояла у окна. Хмурый, туманный рассвет. Горбатый, покосившийся мост. Фонари. Цепочка фонарей словно проводы на кладбище. Подумала: о такой Венеции еще никто не писал. Пройдет час — наступит утро, и тогда Венеция станет жемчужной, какую веками воспевали поэты.

Она говорила, и ее слова были тоже предутренние, предрассветные. Слова еще до рождения стиха. Будто на миг приоткрылось тайное святилище.

На столе письма, бандероли. Издатель Эйнауди телеграфировал: «Горд, что Италия достойно встретила вас». Приглашение из Англии. Пакет из Америки — там издали «Реквием» по-чешски.

— Никогда не думала, что над этими стихами кто-нибудь будет смеяться. А вот вы сейчас будете. Посмотрите, как они представляют нашу тюрьму.

На обложке рисунок. В окне — редкая, совсем не тюремная решетка, за ней — «сочинский» ландшафт. Светлая просторная камера.

— Ничего не понимают. И, должно быть, никогда не поймут...

Расспрашивает о переводчице Анатолии Гелескуле. Правда ли, что он собирается переводить Рильке?

— Дай Бог, теперь, может быть, наконец будет русский Рильке. Он и сам, конечно, пишет стихи. Вы их знаете?

Мы не знаем его стихов, кажется, он их никому не читает, не показывает.

Она уверенно:

— Все будет, все придет. Он полубог, он все может. Передайте ему, что он самый первый класс...

Бродский прислал написанные в ссылке новые стихи.

— Я однажды призналась Бродскому в белой зависти. Читала его и думала: вот это ты должна была бы написать и

вот это. Завидовала каждому слову, каждой рифме. Могла бы позавидовать и стихотворению «На смерть Элиота», но все же не так.

Мы рассказали ей о воспоминаниях Зинаиды Николаевны Пастернак, — мы оказались среди нескольких слушателей этих воспоминаний в Переделкине. История ее молодости, любви, семейной жизни. И неожиданно откровенные описания интимных отношений, подробные, будто ответы на вопросы у врача.

Мемуаристка старалась прежде всего доказать, что прообразом Лары, возлюбленной Юрия Живаго, была не Ольга Ивинская, а она — законная жена. И что Пастернак всегда оставался «настоящим советским человеком», «беспартийным большевиком». О Мандельштаме написано с нескрываемой неприязнью, как о назойливом попрошайке, который «подводил» Пастернака.

Анна Андреевна слушала раздраженно и сердилась не только на Зинаиду Николаевну, но и на Бориса Леонидовича.

— Обожествлял самых пошлых баб, особенно когда они мыли полы... И когда «Фауста» переводил, Гретхен получилась грубее, чем у Гете, такая же мещанка, как Зинаида Николаевна. Но теперь ее надо охранять. Если молодежь узнает, что она там пишет о Мандельштаме, то ее просто разорвут.

Упоминает о своей пьесе-трагедии. Мы не поняли, о той ли, которая была сожжена в Ташкенте, или о новой.

— Она шебуршится только в Комарове. А в других местах молчит.

«Шебуршится» — она восстанавливает сожженное или новый замысел?

В тот послеитальянский день она была оживленней, чем всегда.

Говорит о верстке «Бега времени»:

— Они опять перепутали строки в чистых листах. У меня просто предынфарктное состояние.

— Анна Андреевна, что же будет?

— Я послала телеграмму. Но они не посчитаются со мной. Они-то выйдут из положения: вклеят портрет Насера. Вы смеетесь, а надо плакать.

Но и сама смеется.

Л. Август шестьдесят пятого года. Мы с Генрихом Бёллем в Ленинграде. Он тогда работал над сценарием телефильма «Достоевский и Петербург».

Владимир Григорьевич Адмони и Тамара Исаковна Сильман предлагают повезти его к Ахматовой в Комарово. С утра я спешу рассказать Бёллю про Ахматову. Он очень внимательно слушает, переспрашивает. Я пытаюсь объяснить особенности ее поэзии. Из этого возникает вовсе «посторонний» разговор о том, почему в современной русской поэзии преобладают рифмованные мелодические стихи, а в немецкой они почти исчезли.

Приезжаем в Комарово. За деревьями маленький домик — «будка». Через застекленную террасу-пенал идем в комнату.

Анна Андреевна в нарядной шали, держится чопорнее, чем обычно, — «принимает» иноземного гостя.

Нас много, едва умещаемся. Анна Андреевна говорит по-французски. Бёлль отвечает по-французски с трудом. Потом они переходят на английский, это ей нелегко. Тогда мы с Владимиром Григорьевичем становимся толмачами.

Оказывается, Бёлль читал ее стихи и по-немецки, и по-английски. Сказал, что ему немецкие переводы нравятся больше, чем английские. Немецкий язык по духу, по степени свободы ближе русскому, чем английский.

На обратном пути я упрекнул его: зачем он молча слушал мою «лекцию»? Он хитро улыбался: «Я услышал кое-что новое. А если бы я сказал, что знаю, ты перестал бы рассказывать, стал бы меня экзаменовать».

Кто-то говорит, что в этом году Нобелевская премия будет присуждена Ахматовой. Она царственно: «И хлопотно, и не нужно, и один швед сказал, что не дадут». Мы вопросительно глядим на Бёлля: «Кто знает, кто знает...»

Анне Андреевне нравится замысел фильма «Достоевский и Петербург». Нравится, что Генрих хочет возможно больше текстов Достоевского и образы Петербурга. Не как иллюстрации к ним, а самостоятельно, как фон. И его собственные короткие вставки будут не комментариями, а просто справками об улицах, о домах.

Она спрашивала, что Бёлль уже видел, где побывал.

— И про Сенную площадь не забыли?

Бёлль рассказывает о внуке Достоевского — ленинградском инженере. Выйдя на пенсию, он стал неутомимым, дотошным исследователем и биографом деда. Нас он заставлял считать шаги от «дома Раскольников» до «дома процентщицы», показывал дверь, за которой был спрятан топор. Посетовал, что несколько обнаруженных им квартир Мармеладовых не совпадают с описаниями, и доверительно сказал: «Вероятно, в романе квартира, так сказать, синтетическая...»

Бёлль ответил ему вполне серьезно:

— Вы, конечно, правы. Писатели иногда делают такие синтезы.

Анна Андреевна смеялась.

Прощаясь, Бёлль поцеловал ей руку. Такое мы увидели впервые. И совсем необычно для него торжественно сказал:

— Я очень рад, очень горжусь, что увидел главу русской литературы. Достойную главу великой литературы.

Анна Андреевна говорила потом:

— А он, пожалуй, лучший из иностранцев, которых я встречала. Они ведь почти все — дикари. А он удивительно милый человек.

Р. Ахматова попросила меня задержаться.

— Как наше дело?

Дело Иосифа Бродского. Я рассказала о новых ходатайствах, наших и зарубежных. В прокуратуре в последний раз сказали, что скоро освободят.

На обратном пути мы встречаем Даниила Гранина, и он успевает мне шепнуть: «Нас с Дудиным вызвал Демичев, он дал команду пересмотреть дело Бродского».

Л. Февраль 1966 года. Процесс Синявского—Даниэля. Постыдное судилище.

И президиум Союза писателей одобрил приговор — семь и пять лет лагерей.

В те дни Анна Андреевна вышла из больницы после инфаркта. Она несколько раз звонила нам, приглашала. А я не решался, трусил из-за радиорепортажа Рихтера о Таорминском чествовании, — общие знакомые рассказывали Анне Андреевне, что брошюру он прислал нам.

И она каждый раз говорила:

— Пожалуйста, не забудьте захватить с собой статью этого немца, говорят, она занятная.

Но как показать ей этот лихой репортаж, с шуточками

по поводу ее возраста, внешности? Я ссылаясь на какие-то срочные дела, оттягивал, авось удастся прийти и без злополучной брошюры.

Анна Андреевна звонила снова. Уклоняться было уже невозможно. Она сказала, что приготовила нам свои новые книги — «Бег времени» и сборник переводов.

Двадцать седьмого февраля мы пришли на Ордынку. Она была такой же, как и раньше, величаво приветливой. Казалось, нет и следов болезни.

— Врачи меня называют медицинским чудом. Когда привезли в больницу, считали, что я умру немедленно. А я обманула медицину.

Но через некоторое время стало заметно: устает, бледнеет.

Расспрашивала о процессе Синявского—Даниэля. Тогда мы еще надеялись на кассацию, на помилование, на предстоящий съезд партии.

— Я только сейчас узнала, что академик Виноградов участвовал в этой подлости, был председателем экспертной комиссии. А ведь он настоящий ученый, мы пятьдесят лет знакомы, даже дружны. Он интересно писал о моих стихах. Но теперь нельзя подавать ему руки.

Спрашивала, кто из литераторов защищал арестованных.

— Это хорошо. Все-таки другие времена. Хорошо. Показала темно-серую толстую книгу.

— Вот, можете полюбоваться, как американцы издают Ахматову. Собрание сочинений, том первый. Возмутительно! В предисловии напутано и наврано. Всунули два чужих стихотворения неведомо чьих. Я ничего подобного написать не могла. Везде ошибки. Множество опечаток.

Мы пытаемся возражать.

— Хорошо все-таки, что книга есть. Напечатан «Реквием». Ошибки исправят во втором издании. А чужие стихи? Может быть, это стихи Журавлева, который украл два ваших? Вот американцы ему и «возместили» — око за око.

Смеется коротко и отмахивается.

— Нет, нет, возмутительная книга.

Показывает старые снимки.

— Здесь я в том же платье, что на портрете Альтмана, и поза такая же.

...Снимок тоненькой гимнастки, лежит на животе, голова закинута, упирается в пятки. Сильные, красивые ноги.

— Вот кем я должна была бы стать — циркачкой.
...Снимок, полученный из ЦГАЛИ; там хранится книжечка из бересты — сборник стихов Ахматовой, записанных по памяти в женском лагере. Отчетливо врезанные в бересту строки:

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

Заметив наши умоляющие взгляды, подарила снимок, на обороте дата и ее «А», пересеченное летучим росчерком.

Переводил ей с листа Рихтера, разумеется, пропустив шутку о «красавице 1905 года», путаницу в разных мужьях. Она слушала с явным удовольствием. Несколько раз смеялась.

— Да, да, именно так было. Ах, этот смешной долговязый ирландец, никто не понял, что он читал... Прелестно. Вот как надо писать репортажи. Хоть бы кто-нибудь из наших у него поучился. Может быть, послать Рихтеру мою книгу? Или лучше снимок — ведь он по-русски не читает.

Мы боялись, что утомили ее, несколько раз порывались уйти. Но она не отпускала. Прочла несколько стихотворений:

Другие уводят любимых,
Я с завистью вслед не гляжу,
Одна на скамье подсудимых
Уж скоро полвека сижу.
Сменяются лица конвоя
В инфаркте шестой прокурор...

Когда мы прощались, она сказала:

— Оставьте мне, пожалуйста, эту книжечку Рихтера. Хочу проглядеть.

Л. 28 февраля.

Утром звонок. В голосе — улыбка.

— Я все прочла и оценила ваше джентльменство. А теперь очень прошу — переведите для меня всё. Полностью, без купюр. Мы сегодня с Ниной Антоновной уезжаем в санаторий, но Виктор Ефимович и мальчишки будут к нам ездить. Пожалуйста, пришлите перевод, как только закончите.

Переводил я старательно. Машинистка спешно перепечатывала. 5 марта в 10.15 я позвонил Ардову, он должен был ехать в санаторий. Договорились, что он по пути захватит перевод. Через час позвонил он:

— Анна Андреевна умерла. Примерно тогда же, когда мы с вами разговаривали.

Дневник

Значит, 27 февраля я в последний раз слышал ее голос. Растерянность. Горе. Звоню, звоню, звоню. Труднее всего сказать Лидии Корнеевне. Позвонил в Берлин Рихтеру. Это ведь словно завещание...

Позвонила Аня *. Рассказала, что накануне Анна Андреевна просила прислать ей Новый Завет — хотела сличать тексты Евангелия с текстами кумранских рукописей. Утром пятого марта проснулась очень веселая. Но завтракать не пошла, чувствовала слабость. Сестра сделала ей укол. Она шутила с ней. И умерла, улыбаясь.

Седьмого марта утром панихида в церкви Николы в Кузнецях — заказала Мария Вениаминовна Юдина. Собралось человек сорок.

Молодой священник служил серьезно, сосредоточенно. Двое певчих, причетницы в черных платках. Когда пели «Со святыми упокой...», древние, печально утешающие слова, глаза намокли. Стояли с маленькими свечками. Хорист махнул нам — «Вечная память». Все пели. Вечером в доме у друзей поминки. Слушали голос Анны Андреевны. Грудной, очень низкий, усталый голос. Несколько стихотворений, сопровождает перестук дождя за окном. От этого все значительнее, величественнее и печальнее. И слышней, внятнее глубинная отстраненная мудрость стихов. «Я» звучит, как «Она»; и страстные признания — непосредственная действительность любви и тоска чувственных воспоминаний, пронизаны мыслью — трезвой, пронзительно ясной мыслью.

Шестое, седьмое, восьмое марта: непрерывные телефонные звонки, долгие переговоры. Союз писателей поручил Арсению Тарковскому, Льву Озерову и Виктору Ардову сопровождать гроб в Ленинград. Но что будет в Москве? Руководители Союза явно трусят, боятся, чтобы не было «демонстрации», хотят, чтобы все прошло возможно скорее.

* Дочь Ирины Пуниной, в те дни была с Анной Андреевной.

Снова и снова звонят друзья, знакомые и незнакомые, спрашивают: «Неужели правда, что не дадут проститься?»

Когда-то Ахматова писала:

Какой сумасшедший Суриков
Мой последний опишет путь?

И получилось так, что, не облеченный никакими полномочиями, я стал, не отходя от телефона, действовать от имени «комиссии Союза писателей по похоронам Ахматовой».

Давний и самый надежный способ — обращался не к большим начальникам, а к малым исполнителям. Звонил на аэродром, в отдел перевозки грузов, бархатным голосом поздравлял девушек с наступающим праздником, объяснял, какой великой женщиной была Анна Ахматова, вот такое горе, такая печаль накануне Женского дня. Без труда получил разрешение привезти гроб на два и даже на три часа позднее указанного срока, прямо к самолету. Всем, кто нам звонил, мы говорили, чтобы утром шли прямо к моргу, минуя промежуточную «явку» в Союзе.

Девятого марта. На рассвете приехали Эткинд и Дудин. Я снова позвонил на аэродром, убедился, что новая смена будет выполнять вчерашнее соглашение. К десяти поехали в морг. Холодный дождь. Мокрый серый маленький дворик на задах больницы Склифасовского. В небольшой серо-белесой каморке, на постаменте — гроб.

Платиновая седина. И розовое лицо, сглаженное, почти без морщин. Все черты скульптурно отчетливы. Не смерть — Успение.

У гроба Нина Антоновна Ольшевская, Аня, Надежда Яковлевна Мандельштам, Ника Глен, Юля Живова. И все шли, медленно теснясь, задерживаясь, безмолвные люди. Много знакомых лиц, но больше совсем незнакомых.

Рая поехала за Лидией Корнеевной. Очень тревожно за нее, за ее сердце. Люди идут и идут. Несут цветы. Венков не видно — это не казенные похороны.

В тесноте, в печальном шепоте, всхлипываниях внезапное ощущение единства. Печальное единство. Естественное и свободное.

Случится это в тот московский день,
Когда я город навсегда покину
И устремлюсь к желанному притину,
Свою меж вас еще оставив тень.

Когда хоронили Пастернака, тоже не было извещения, тоже не хотели, боялись прощания. И тогда в жаркий июньский день многие приехали в Переделкино вопреки, назло гонителям. Среди тысяч провожавших сновали десятки иностранных корреспондентов, топтуны и фотографы КГБ, метались чиновники Литфонда... У его гроба прозвучали не только печальные, но и гневные, обличительные слова...

Прощание с Ахматовой было иным. Только скорбным. И скорбь — тихая, смиренная и гордая. Всё ей враждебное — трусливые происки, злые страхи — далеко от гроба, где-то там, за дверьми кабинетов Союза писателей и других учреждений.

У входа в морг на замызганные ступени вышел Ардов. — Товарищи, начнем траурный митинг.

Он произносил обычные слова — надгробная риторика. Но в голосе — неподдельное горе. Потом говорил Лев Озеров:

«...Ахматова! Это имя — огромный вздох...» Эти слова пятьдесят лет назад вырвались из уст Марины Цветаевой. И мы повторяем их сегодня. И будем повторять всегда, потому что у больших художников нет смерти, есть только день рождения... Завершилась большая жизнь Анны Андреевны Ахматовой. Начинается, уже началось ее бессмертие...»

Ефим Эткинд говорил:

«В статье о Пушкине Ахматова писала, что Николай Первого и Бенкендорфа теперь знают лишь как гонителей Пушкина, как его ничтожных современников... Мы живем в эпоху Ахматовой. И наши потомки будут относиться к гонителям Ахматовой так же, как мы сегодня относимся к гонителям Пушкина».

Р. В тот же вечер было собрание в Союзе писателей — «Итоги литературного года». Кто-то из президиума объявил:

— Умерла Анна Ахматова. Почтим ее память вставанием.

Тамара Владимировна Иванова говорила взволнованно и гневно:

— Во дворе морга мне было смертельно стыдно за нашу организацию. Ведь времени было достаточно. Митинг мог быть и не самостоятельным, мог бы быть и здесь.

Ей отвечал Михалков:

— Хочу дать справку: это закономерно, что в адрес президиума тут ряд записок о смерти Анны Ахматовой.

Спрашивают, почему московские писатели не получили возможности проститься. Считаю долгом рассказать, чтобы не было кривотолков. Она умерла в санатории, оттуда, как положено, была доставлена в морг Склифасовского — накануне праздника Восьмого марта. Тут уж ничего нельзя было поделывать. По просьбе родственников вчера была по русскому православному обычаю панихида. А через три дня в Ленинграде будет гражданская.

Тамара Владимировна с места, громко:

— Все неправда! Все не так!

Михалков:

— Я имею информацию от Союза писателей, от руководства, совершенно точную. Мы обращались в ряд инстанций, никаких препятствий нет. Меня самого многое удивило, но...

На этом собрании говорила и я (это оказалось моим последним выступлением в Союзе).

Говорила о замечательных рукописях, которые все еще не стали книгами: «Реквием» Анны Ахматовой, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Софья Петровна» Лидии Чуковской, «Новое назначение» Александра Бека, вторая часть романа «За правое дело» Василия Гроссмана («Жизнь и судьба», но тогда я этого названия не знала). И тоже спрашивала: почему московским писателям, почему москвичам не позволили проститься с великим поэтом?

Ответ секретаря московского отделения:

— Два слова о похоронах. Михалков сказал правду. Регламент был такой установлен. Но, конечно, московскому отделению — и я себя тут не отделяю — надо найти возможность проводить Ахматову. Эту ошибку надо исправить, сделать большой вечер. А покойников бояться не надо!

Никакого «большого вечера Ахматовой» в Союзе писателей не было. А покойников боялись по-прежнему. Даже тех, кого хоронили торжественно — Эренбурга, Паустовского, Твардовского. Их гробы охраняли, сопровождали до могилы мундирные и штатские стражи, не подпускали «посторонних»...

Из дневника Л.

9 марта. В полночь я уезжал в Ленинград вместе с Иваном Дмитриевичем Рожанским и Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. На вокзале толпились уезжающие и провожающие. Михаил Ардов с приятелями принес чемоданы Анны Андреевны, среди них главный — с рукописями, тет-

радиями, записными книжками. (В последующие годы я с горьким чувством вспоминал, как мы своими руками отдали их на вокзале встречавшим нас родственникам. Ирина Пунина разорила и разбазарила потом бесценный архив, продавала по частям в ЦГАЛИ, Ленинградской библиотеке Салтыкова-Щедрина, постыдно судилась с единственным законным наследником Львом Гумилевым.)

...Большой сине-белый собор. Пришли втроем с И. и М. Внутри — толчея. Обедня заканчивалась ритуальными здравицами, потом поминаниями по спискам. Толпа все густела. Вижу много знакомых лиц, ленинградские литераторы. Началось отпевание, но не видно, где гроб. Угадываю — там, куда шел митрополит. Люди с фото- и киноаппаратами снимают, подсвечивают, взбираются на табуретки. Внезапно пронзительный крик: «Хулиганы! Прекратите! Здесь храм!» Кричит Лев Гумилев... Пели, молились дольше, чем в Москве на панихиде. Служили пышнее и казеннее... По-своему казенно. Но вопреки всему, по-новому внятно сжимает сердце «Прости грехи вольные и невольные, с умыслом и без умысла... и сотвори вечную память...»

Сотвори память!

Когда началось прощание, мы сперва протиснулись к выходу, уже оттуда пробились к гробу. Юноши и девушки, сцепив руки, стояли живой оградой вокруг.

...Анатолий Найман заметил нас с И., пропустил. У гроба Аня, в темно-лиловом шарфе, заплаканная, усталая. По-светски знакомит с нами Льва Николаевича: «Это московские друзья Акумы»*. Он похож на мать лицом и какими-то интонациями, оттенками голоса. Но весь мельче. Невысокий. Болезненно одутловатое лицо. Глаза тусклые. Сердито кивнул нам, отрывисто, словно отмахиваясь, торопливо пожал руки. Отдаю ему стихи Беллы Ахмадулиной, посвященные смерти Ахматовой.

— Никаких стихов у гроба не надо. Пошлость!

Вокруг много молодых. Бледный, взъерошенный Иосиф Бродский, угрюмо потемневший Толя Найман, незнакомый нам парень, широколицый, волосы в кружок, рот искривлен болью.

Вдоль гроба идут и идут — петербургские старухи в шапочках, повязанных шальями, нарядные девушки, юноши, интеллигенты, работяги в старых ватниках и снова петербургские старушки. Они целуют в лоб, покрытый белой

* Так называли Анну Андреевну в семье Пуниных.

полоской с черной славянской вязью. Некоторые плачут тихо, другие вслух причитают: «Боже, какая красивая».

Распорядитель испуганно бормочет:

— Товарищи, пожалуйста, прошу поскорее, другие тоже хотят проститься: В Союзе писателей надо быть в два.

Кто-то сказал:

— Какая огромная ахматовка.

Молодые цепью оттесняют толпу. Выносим гроб к катафалку. Церковный двор запружен. На паперти — нищие, громко переговариваются.

— Она молитвенная была, прилежная... Завсегда подавала не меньше двугривенного, а то и по рублю на праздник. Хорошая была женщина, Царствие ей Небесное...

Пытаемся догнать катафалк на такси, на Литейном постовой милиционер задерживает: — Въезда на Воинова нет. Правительственные походыны.

Еще недавно ее поносили, прорабатывали от Владивостока до Либавы, но похороны «правительственные».

У Дома писателей толпа. Очередь на несколько кварталов. Сую писательский билет сначала лейтенанту, потом майору, потом полковнику, нас втискивают вне очереди в главный парадный вход. Сочувствующий милиционер: «Вы нажмите, утрамбуются». Там давка. Движемся медленно, шажками, подолгу стоим. За несколько минут одну ступеньку.

На втором этаже у гроба идет гражданская панихида.

В Комарово на кладбище двинулись несколько автобусов и множество легковых машин. У выезда из города внезапная остановка, все повернули обратно. Оказывается, забыли крест. Легковые машины обогнали катафалк. Большая толпа встречала его у ворот кладбища. В Комарово еще настоящая зима. К вечеру стало подмораживать. Топтались в снегу более ста человек. Олег Волков сказал:

«Семья просит, чтобы вы говорили у могилы». Речь у меня была подготовлена, впервые написал заранее. Волков несколько раз настойчиво называл мою фамилию ленинградскому литератору, открывшему траурный митинг.

Первым говорил Юрий Макогоненко. Вместо меня называли Михалкова. Он в толпе грелся, попрыгивая, толкал соседей плечами, едва ли не хихикая. Достал из кармана бумагу с машинописным текстом и прочел нечто бесцветное, бездумное.

Потом говорил Арсений Гарковский, с трудом сдерживая слезы.

Последнее целование. Священник посыпал земли, положил листок с молитвой. Гроб забили. Когда забросали могилу, возник спор, куда ставить крест, в головах или в ногах. Спорили все более шумно, ссылаясь на обычаи и церковные правила. Высоким голосом сердился Лев Николаевич. Возражал ему священник. И опять кто-то сказал: «Посмертная ахматовка».

В ту же ночь мы уехали в Москву. В вагоне Надежда Яковлевна Мандельштам рассказывала о поминках в комаровской будке: «Пунины ненавидят Леву, он их тоже. Теперь начнется с архивом. Ирина Пунина еще натворит...» Она оказалась права.

* * *

Л. Первый вечер памяти Ахматовой устроили студенты математического факультета МГУ 31 марта 1966 года.

За полчаса до начала Тарковского и меня пригласили в деканат. Секретарь парткома и заместитель декана, встревоженные и смущенные, спросили, о чем мы собираемся говорить. Не можем ли показать тексты или хотя бы «тезисы выступлений».

Мы отказались:

— Никаких текстов и тезисов нет. Будем говорить то, что знаем, помним.

— Но вы понимаете, не надо заострять, ведь возможны политически сомнительные моменты. Среди наших студентов, то есть у некоторых, есть нездоровый интерес... Ведь было известное постановление ЦК, оно еще не отменено. Но, с другой стороны, конечно, великая поэтесса... Это первый вечер, нельзя допускать, чтобы возникла нездоровая политическая сенсация.

Мы с разной степенью раздраженности отвечали, по сути, одно и то же. Мы не собираемся устраивать никаких политических демонстраций, все будут говорить о великом поэте.

Начал студент *В. Гефтер*.

«Анна Андреевна обещала нам в прошлом году, что в первый же приезд в Москву придет к нам. Она не пришла, но она с нами».

Арсений Тарковский

«...Анна Ахматова умерла в том возрасте, когда людей принято считать старыми. При каждой встрече с ней я радовался тому, что ее ум становился все глубже, поэзия все

больше адресована векам. Процесс внутреннего развития продолжался у нее до самого конца...»

Маргарита Алигер рассказывала о том, как она очутилась с Ахматовой в одной каюте, когда уезжали в эвакуацию:

«Анна Ахматова всегда была достойна времени, когда жила... Она была соизмерима с великими событиями истории и за это историей вознаграждена...»

Семен Липкин

«...Все говорили здесь о гармонии. Это верно. Но есть еще одна вещь, которая делает поэта поэтом. Это мысль. Без глубокой мысли нет поэзии, хотя она не составляет всего в поэзии... Когда читаешь Ахматову,— а я читаю ее всю жизнь,— как Пушкина, Лермонтова, Тютчева, поэтов ее ряда, всегда ощущаю, она умнее тебя...»

... Вы, математики, знаете: то, что несправедливо, то неверно. А раз неверно, то и бессмысленно. Нет такой силы, которая отняла бы у Ахматовой Россию, а у России — Ахматову».

Вяч. Вс. Иванов

«Анна Ахматова много читала, много думала и о том, что отличает древнюю культуру Востока от Запада, и о том, что значит современная наука и чем она похожа на современное искусство. Но меня уводит от воспоминаний об этих разговорах мысль о ее судьбе. Большой поэт всегда смотрит-ся в судьбу, как в зеркало...»

Ее судьба была страшной. Анна Андреевна сама это понимала, но знала наперед, что связана именно с этой судьбой.

После тифа в Ташкенте ей пригрезилась пьеса, которая оказалась настолько похожей на то, что случилось потом, что она пьесу сожгла... Ей были присущи ясновидение, колдовство, ворожба, это особый дар, без которого не бывает великих поэтов... При этом она человек на редкость здравого смысла, веселый. Трудно представить себе, насколько веселый. До самого последнего времени для нее не существовало возраста. Иосиф Бродский, стихи которого она так ценила, был для нее таким же современником, как и Мандельштам, которого она всегда выделяла из ряда великих поэтов».

В заключение слушали магнитофонные записи. В большом зале, в безмолвии нескольких сотен молодых людей ее голос звучал совсем по-иному, чем раньше, когда мы слушали ее дома, звучал по-новому печально и торжественно.

В тот же вечер я прочитал речь, которую не удалось произнести у могилы.

«Поэзия Ахматовой, ее судьба, ее облик — прекрасный и величественный — олицетворяет Россию в самые трудные, трагические годы ее тысячелетней истории.

«Анна всея Руси» — так называла ее Марина Цветаева.

Анна всея Руси! Это гордость, непреклонная и в унижениях, и в смертельном страхе. Это смирение, именно смирение, а не кротость, и насмешливая трезвость даже в минуты высокого торжества. Величавая скорбь и вечно молодая озорная улыбка, женственность самая нежная и мужество самое отважное. Сильная изящная мысль ученого, ясновидение строгой пророчицы и неподдельное, наивное изумление перед красотой, перед тайнами жизни, та ведовская одержимость, когда чародейка и сама зачарована любовью, дыханием земли, колдовскими ладами заговорного слова.

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.

Анна всея Руси, венчанная двойным венчанием — терновым венцом и звездной короной поэзии.

Ее поэзия целостна и многолика, она растет из живых противоречий, из единства сердца и разума, неостудимо-жаркого смятенного сердца и разума, блистательного, прозрачно-ясного. Ее поэзия открыта, распахнута настежь и сокровенна, таинственна, как ее жизнь, исполненная безмерных страданий и беспримерных побед, долгих печалей и мгновений радости...

В стихах Ахматовой — напевы русских песен — скорбных плачей, тихих молитв, лукавых частушек, безысходной острожной тоски, неизбывные мечты о счастье и бездны отчаяния.

В самых разных стихах — разных по настроению, по темам, по словарю — всегда явствен ахматовский лад, звучит ее неподражаемый голос. Но явственно также их корневое родство с Пушкиным, родство прямого поэтиче-

ского наследования, родство слова и мироощущения, глубоко национального и вселенского. Ее поэзия запечатлела строгие ритмы петербургского гранита; свечение белых ночей; шелест царскосельских роц, северных лесов и садов Ташкента; дыхание Невы и Черного моря, разрывы бомб на улицах блокадного Ленинграда; историю и современность России.

Пушкинская «всемирная отзывчивость» (Достоевский) присуща и Ахматовой, так же, как едва ли не всем нашим лучшим поэтам. В ее стихах живут образы древней Эллады и Рима, библейского Востока и современной Европы. Мужество Лондона, пылающего под бомбами, боль Парижа, захваченного гитлеровцами, это и ее мужество и ее боль...

Ее величие тем более явственно, что проступает отнюдь не в пустыне. Анна Ахматова была и наследницей и современницей великанов. Наш век озарен несравненным созвездием — Блок, Хлебников, Белый, Гумилев, Маяковский, Есенин, Мандельштам, Ходасевич, Цветаева, Пастернак. Она замыкает ряд, завершает эпоху.

...Она бессмертна, как бессмертно русское слово. А ее хулители осуждены либо на высшую меру полного забвения, либо на вечное, геростратовски-постыдное заключение в нонпарели комментариев к последнему тому будущего академического Полного собрания ее сочинений.

Для всех, кто знал Анну Андреевну, кто испытал счастье видеть ее и слышать, жизнь стала беднее, тусклее.

Однако нам остается память о ней, печальное и гордое утешение.

...Вечная память. Это не только слова молитвы — заупокойной скорбной мольбы и надежды. Это убежденное знание. Сознывая и чувствуя первоначальный смысл этих слов, мы твердо знаем и верим — вечная память».

ЧУДО КОРНЯ ЧУКОВСКОГО

1. Идем издалека

Л. Вначале был «Крокодил». Эта книга — одна из первых, которую читал самостоятельно, не по складам. Значит, примерно в восемнадцатом году. Стихи нравились и запоминались сами собой. А книжка, хотя и сказочная, полная веселых нелепиц, казалось, таила еще и некий сокровенный смысл. То ли от бонны-немки я услышал, то ли кто-то из ребят во дворе рассказывал, то ли сам додумался, но в первый

школьный год я был убежден, что «Крокодил» — книга про революцию, что звери — это красные, а городской и Ваня Васильчиков — белые, сам же Крокодил — вместо Ленина и Троцкого.

...Несколько лет спустя в газетах и журналах шумели о «чуковщине». Тогда ниспровержение сказок и фантастики меня не смущало, все это — пережитки старого режима, а детей новой эпохи следует сызмальства приучать к правде, к разумному, научному пониманию природы. Нигде и никогда не было и нет никаких великанов, гномов, русалок, фей; ни звери, ни вещи не могут разговаривать. Значит, незачем сочинять и печатать выдумки...

Книгу «От двух до пяти» я прочел, когда работал в заводской газете. Читал с удовольствием. Запомнил словечки, смешные фразы. Но это были милые безделки, пестрые бирюльки у подножия великих строек пятилетки.

Студентом в Москве я несколько раз слышал, как Чуковского и «чуковщину» сердито поминали в лекциях по педагогике и педологии. Товарищи, ходившие на вечер памяти Маяковского в клуб МГУ, рассказывали будто Шкловский набросился на Чуковского чуть ли не с кулаками. Этаким коротыш накинулся на верзилу. Кричал: «Вы всегда ненавидели Маяковского, а теперь примазываетесь...»

Увидел я Чуковского впервые весной 1940 года. На большом собрании литераторов и театральных работников обсуждали его статью о шекспировских переводах Анны Радловой, которые он критиковал уничтожающе резко. Многие примеры неудачно переведенных слов и выражений были убедительны. Однако запальчивый тон, категорические оценки и выводы представлялись несправедливыми, предвзятыми. Консервативный стародум отвергал новаторские дерзания.

Дискуссией руководил Михаил Михайлович Морозов, заведующий кабинетом Шекспира при ВТО. Он был тогда — не только для меня — самым авторитетным шекспироведом и явно благоволил Радловой. В кулуарных доверительных разговорах он давал понять: Чуковский набросился на Радлову теперь, хотя переводы опубликованы давно, потому что ее некогда похвалил Радек, которого недавно осудили в процессе «Троцкистско-бухаринского центра», и, вероятно, теперь никто не осмелится заступиться. А сам Чуковский и его сын хотят либо заново переводить Шекспира, либо редактировать старые переводы. «Корней — хитрейшая бесня, ничего не делает без расчета...»

Выступая в дискуссии, Морозов обильно цитировал

Шекспира по-английски, щеголяя оксфордским «королевским» произношением, и доказывал, что переводить великого народного британского драматурга, который писал изысканнейшим, возвышеннейшим, грациознейшим поэтическим стилем, однако не пренебрегал и сочным, смачным, грубоватым, воистину площадным просторечием, следует отнюдь не архаичным, высоким стилем и не усредненным, приглаженным книжным языком, а живой, современной речью. И вполне допустимы вольности.

Радлову защищали Шершеневич, Левидов, Михоэлс и другие. Они либо прямо оспаривали критические суждения Чуковского, либо, не упоминая о них, просто хвалили талантливые смелые переводы, более пригодные для сцены, чем все прежние.

Тогда он показался мне высокомерным и речь его нарочитой, искусственной, будто он разыгрывал, поддразнивал слушателей.

Весной 1940 года в Куоккале, занятой нашими войсками, в доме Репина нашли письма и дневники, распространились слухи, будто Чуковский уговаривал Репина не возвращаться в Россию, когда тот уже было собрался. Все это только усилило мою неприязнь.

В 1944 году после госпиталя я побывал дома. Слушал, как дочери твердили наизусть: «Одеяло убежало, улетела простыня...» Это очень радовало, но об авторе стихов думал примерно так: сильный талант, стихийный, «нутряной» — тот поэтический дар, который сродни долитературному, фольклорному словотворчеству. Но как человек и гражданин весьма сомнителен. Говорят, был кадетом, а теперь лицемерит, приспособливается.

В марфинской спецтюрьме мой приятель Гумер Измайлов доказывал, что Чуковского травили и едва не посадили за сказку «Тараканище», потому что это сатира на Сталина — он тоже рыж и усат.

Я оспаривал кощунственное толкование. Но сомнения остались.

Вторично я увидел Чуковского в 1959 году в холле Дома творчества в Переделкине. Поразила молодость, jovialные повадки. Он сидел, окруженный большой группой слушателей, и рассказывал о вдове Чернышевского: какая она была пустая, распутная бабенка, как бесстыдно хвасталась своими романами; приходили к ней молодые литераторы, благоговейно спрашивали о покойном муже, а она охотнее вспоминала о любовниках-офицерах.

Мне не понравилось, что и как он говорил. Не дослушав, я отошел от этой группы. И когда позднее кто-то из обитателей Дома творчества предложил познакомиться с Чуковским, я уклонился.

Узнав об этом, Фрида Вигдорова рассердилась.

— Признавайтесь, вы не читали ничего, кроме «Мойдодыра». А он писал о Некрасове, о Чехове, о Блоке. Он и художник, и ученый. Вы ничего о нем не знаете, и у вас глупая предвзятость. Корней Иванович — это чудо. Он — один из самых лучших и самых интересных людей.

И стала рассказывать, как Чуковский пишет защитительные письма в суды, ходатайствует в редакциях о рукописях молодых авторов, в райисполкомах и в Моссовете о квартирах, в Министерстве просвещения о поступающих в институты, как устраивает в больницы, посылает деньги.

Она прочитала нам свой очерк о Чуковском для «Литгазеты», рассказала о стычках с редакторами, которые норовили одно смягчить, другое убрать, чтобы только не «перехвалить».

Фрида и познакомила нас с Корнеем Ивановичем.

Р. Мама читала мне стихи:

Папа схоронился в старом чемодане,
Дядя под диваном, тетя в сундуке...

Папа, скорчившись, еще может поместиться в старом чемодане, да и дядя, пожалуй, залезет под диван. А вот полная тетя в наш маленький сундучок никак не заберется.

Нынче с визитом ко мне приходил
Кто бы вы думали? Сам крокодил.

Нарисован человечиче. Угощает крокодила чаем.
Толстый нос, волосы вихрами, длинные-предлинные ноги.

Когда мы с сестрой заболели, приходил старый доктор, брал большой лист бумаги и писал назначения. А мы переглядывались и шептали:

Да спасибо, наш профессор Бегемот
Положил ему лягушку на живот.

«Лягушка на живот» — универсальный рецепт остался в нашей семье и у дочерей и у внуков.

Зимой тридцать второго—тридцать третьего года я училась в шестом классе двенадцатой школы «Памяти декабристов». Новый учитель литературы Семен Абрамович Гуревич старался всячески прихотить нас к чтению. Он приносил на уроки целый рюкзак с книгами, раскладывал их по партам, вел литкружок, приводил писателей. Однажды привел самого Чуковского. Высокоченный человек, показалось, не уместится в классе. Входя, чуть не сломался. Длинные ноги торчали из-под учительского стола. Чуковский положил на него альбом и произнес странное прищелкивающее слово «Чукоккала». Называл имена — кроме Блока, Маяковского, Репина, все для меня незнакомые.

Студенткой я прочитала книгу о художественном переводе «Высокое искусство». Тогда же из книги «От двух до пяти» запомнила только смешные детские речения.

Обе эти книги жили во мне отдельно от детских стихов и от забывшейся «Чукоккалы». И сейчас для многих, для большинства читателей детские стихи Корнея Чуковского живут отдельно от его необозримого, но малоизвестного творчества.

В статье Фриды Вигдоровой я впервые прочитала о том окне в Переделкине, где свет зажигается в 5—6 часов утра. Окно Чуковского.

Я долго шла к Чуковскому. Почти так же долго, как шла к самой себе. Внезапно прорвалось понимание: он был задуман на тысячу лет. А начал так рано, словно боялся не успеть.

И прожил несколько жизней.

2. Корней Иванович рассказывает

«...Когда Бунину присвоили звание почетного академика, я как раз приехал в Москву читать лекции в Политехническом. Зашел к Бунину поздравить, у него сидел Сергей Львович Толстой. Я спросил:

— Иван Алексеевич, а ведь вы теперь академик, должны были бы научную работу представить?

— И представлю. У меня почти готово исследование русской матерной брани.

Показывает картотеку — несколько ящиков, разделы по губерниям, даже по уездам, где как матерятся.

Я любопытствовал, какая губерния на первом месте?

— Конечно, Новороссийская, там портовые города, моряки — самые изощренные ругатели.

Тут вмешался Сергей Львович.

— Не согласен. Я тебя со всеми твоими картотеками одним тульским уездом перематуюгаю.

Бунин засмеялся, не поверил. Но Сергей Львович вошел в раж и стал доказывать. Матерился он так великолепно, что восхищенный Бунин хотел жену позвать.

И тут же решил устроить поединок — «матовый турнир». Судьей-рефери пригласили Шаляпина. Местом встречи избрали отдельный кабинет в ресторане. Шаляпин пришел необычно важный, торжественный, с огромным альбомом в сафьяновой обложке.

Бунин с картотекой за одним столиком, Сергей Львович напротив, Шаляпин — между ними, за особым судейским столом. И мы, несколько свидетелей, — за четвертым, в стороне.

Судья и свидетели пили шампанское. Чем кончился турнир, не помню, я спохватился, что опаздываю на лекцию.

Шампанского много выпили, а я ведь не привык. Помчался сломя голову, вскочил в трамвай на ходу. А там уж публика волновалась, что лектора нет. Дежурный полицейский встретил меня сердито-укоризненно.

— Что же это вы, сударь, как можно так опаздывать?

А я только ухмыляюсь:

— Извините, говорю, выпил.

Это его расположило ко мне. Полицейские любят пьяных.

О чем я тогда читал, убейте — не помню.

Кажется, это была лучшая моя лекция».

«...Мария Игнатьевна Бенкендорф, — сейчас ее знают как Марию Будберг, а в те годы говорили просто «Машка» — была дивно хороша собой, очаровательная, остроумная собеседница. Энергии — сверхчеловеческой. Всегда добивалась чего хотела. Первый ее муж, граф Бенкендорф, был дипломатом. Во время войны она вернулась в Петербург, держала открытый дом. У нее бывали придворные, дипломаты, думцы, писатели, артисты, адвокаты. Многие о ней говорили дурно, одни называли немецкой шпионкой, другие — английской, кое-кто подозревал ее и в связях с охранкой. Но не упускали возможности побывать у нее.

У нас были приятельские отношения (когда он говорил об этом, нам показалось, что за улыбкой, прищуром, внезапно молодым блеском взгляда, обращенного внутрь, кроется воспоминание об иной степени близости...).

В восемнадцатом году она пришла ко мне с чемоданом: — Больше не могу. Веди меня к Горькому.

Приехали на Кронверкский. У Горького, как всегда, полно народу — просители, ходатаи, начинающие авторы. Я прошел в кабинет. Горький страшно взволнован, на глазах слезы: «Сегодня никого принимать не буду, арестован принц Ольденбургский, я сейчас же еду в Смольный... Скажите там, чтобы все уходили, я не решаюсь — они меня не выпустят».

Я вышел.

— Господа, Алексей Максимович просит извинить, никого принимать не будет. Случилась беда, он должен немедленно уезжать...

Все ушли. Машке говорю: придется отложить до другого раза, а пока что-нибудь придумаем. Но она ни в какую. Поставила чемодан посреди комнаты между дверью в прихожую и кабинетом и села на него. А когда Горький появился, она только подняла глаза, взмахнула ресницами, как опахалами, — этаким вид угнетенной, страдающей невинности, — он было обошел ее, но повернулся и:

— Пожалуйте, сударыня...

Так она и осталась в доме. Поначалу в должности ванщицы. В квартире Горького действовала ванна. А в Петрограде это было уже редкостью. Ему доставляло удовольствие «угощать» приходивших к нему: «Не хотите ли принять ванну?»

Маша выдавала мыло, мочалки, заведовала бельевой, — иным гостям и белье меняли.

Маша начала сопровождать его в поездках в Москву. Но когда кто-то осмелился пошутить по этому поводу, Алексей Максимович очень рассердился.

В 1919 году ее арестовали вместе с Локкартом. Горький сражался за нее, как лев. Он и слышать не хотел, что она шпионка, любовница Локкарта, и добился ее освобождения.

А Локкарт, когда англичане обменяли его на Литвинова, требовал, чтобы его Марусю отпустили с ним, хотел на ней жениться, но она предпочла остаться с Горьким. В 1920 году приехал Уэллс. Маша была переводчицей, и тот тоже влюбился. Начал звать ее в Англию. Год спустя Горький уехал за границу; видимо, она сыграла в этом немалую роль.

В эмиграции вышла замуж за барона Будберга. Дольше всего была подругой Уэллса — вплоть до его смерти.

А теперь эта вдовствующая баронесса владеет двумя писательскими архивами — Горького и Уэллса».

«...О Чехове принято было говорить: расслабленный интеллигент, сумеречный писатель, изображает хлюпиков, слабохарактерных интеллигентов и мещан, Горький — напротив — буревестник, певец сильных людей.

А в жизни было все наоборот.

Чехов был человек железной воли. Мягкий, деликатный в обращении, он был непреклонно стоек, никому никогда не подчинялся. И жил и умирал, как настоящий мужчина. А Горький многократно попадал под любые влияния, каждая смазливая мордочка, каждая юбка могла утянуть его за собой куда угодно.

И слезлив был неумеренно, и настроения менялись, как у нервной барышни. Он и Чехов противоположны во всем».

«В конце девятнадцатого года было собрание в Петрограде, приехал из Москвы Луначарский. Наша редакция «Всемирная литература» заранее подготовила подробные требования, очень важные для нас: необходимы были бумага, пайки, распоряжения типографиям. Обо всем этом должен был говорить Горький. Мы его накачивали целый день. И вот после доклада Луначарского его приглашают на трибуну. Мы все стоим сзади, у входа в зал. Горький идет к сцене. Вдруг откуда-то из рядов выскакивает Гумилев, почти что хватая его за лацкан пиджака, провожает вдоль прохода и настойчиво, убежденно шептывает. Я сразу понял: он внушает Горькому что-то свое. Гумилев тогда все воевал с пролеткультовцами.

Горький поднялся на трибуну, косо поглядел в свои записи.

— Я тут хотел поговорить о нашей «Всемирной литературе», но, пожалуй, сначала скажу о другом. Ведь что творит Пролеткульт...

И пошел, и пошел... Для «Всемирной литературы» уже почти не осталось времени».

«...В девятнадцатом году Гумилев читал лекции на курсах Пролеткульта. Сидели перед ним матросы, гимназисты, рабочие. В первый раз взойдя на кафедру, он объявил: «Я синдик пуэзии». В торжественных случаях он произносил: «пуэт», «пуэзия». Они поняли, что синдик — это

некто весьма важный. С тех пор верили уже каждому его слову. И очень его любили. Когда он перебирался из Царского в Петроград, — с поездами перебои были, — так эти пролеткульты всю его мебель, столы, этажерки на руках перетаскали.

А я одно время читал лекции бывшим проституткам. Их собрали в особый дом в Разливе — перевоспитывать. Навезли туда реквизированных швейных машинок, а шить было не из чего. Да и машинки многие неисправны. Девушки бесились от безделья, соблазняли своих воспитателей, те с ними пьянствовали, блудили. Одного за другим двух начальников дома расстреляли. А третий — этаким аскетический чекист — стал их просвещать. Привез к ним Коллонтай, она речь произносила: «Дорогие сестры по классу!» Некоторые свистели, другие каверзные вопросы задавали.

Я им рассказывал об античной поэзии, о Пушкине, о Некрасове. Слушали, в общем, хорошо, как занятные побасенки.

Новый начальник нашел им работу — соскребывать надписи с могильных плит.

Тогда комендантом Петрограда был племянник Зиновьева, пригожий мальчишка, фат. Он любил декадентскую поэзию. Содержал красавицу, то ли артистку, то ли графиню. Ходил всегда в черной коже — фуражка, куртка, галифе. А за ним два огромных дога.

Этот комендант задумал крематорий учредить, первый в России. Выбрал здание старых бань с большими печами. Со всех кладбищ свозили мраморные надгробия, соскребывали надписи, а потом этими плитами облицовывали здание.

Однажды он пригласил меня все по поводу этого крематория в свою штаб-квартиру, в Адмиралтейство. Вечер. Все двери заперты. И он открывал их, стреляя из маузера в замок. Так прошли целую анфиладу — бах, бах у каждой двери.

Для торжественного открытия крематория трупы специально в морге выбирали. Я тогда считал нужным воспитывать детей на суровой правде, взял с собой Колю и Лиду. Они и выбрали труп какого-то нищего старика, тощий, синий. Он долго не мог сгореть. Жару не хватало.

Комендант приехал с любовницей, произнес речь о новом быте, об огненном погребении».

Некоторые из этих рассказов мы за несколько лет слышали дважды, трижды в кругу разных людей. События, ха-

рактистичеки, многие подробности не изменялись. Видимо, давно уже были обкатаны, превратились в законченные художественные миниатюры.

Но каждый раз он говорил так увлеченно, словно вот-вот сейчас вспоминает впервые.

«Казалось, он растрчивает себя в этих бесконечных изустных рассказах. Но так только казалось. На самом же деле он в них заряжался, как аккумулятор во время движения автомобиля. Это был непрерывный, проверенный годами и десятилетиями тренаж памяти», — писал литературовед С. Машинский.

3. На людях и наедине

Корней Иванович с несколькими спутниками стоит у ворот своей дачи. По улице идет Андроников. Он издали, балетным па, чуть ли не подпрыгивая на одной ноге, широко, приветственно взмахивает правой рукой. Корней Иванович повторяет то же движение; тучный Андроников двигается плавно и легко, у Чуковского получилось угловато, резко, но не менее изящно. Андроников приближается скользящим шагом и кланяется низко, «помавая» перед собою незримой шляпой по-мушкетерски. Корней Иванович повторяет и это. Андроников опускается на колени, молитвенно протягивая руки:

— Я счастлив бесконечно.

Корней Иванович рушится острыми коленями на асфальт и берет тоном выше:

— Нет, это я счастлив, и куда бесконечнее.

Его тщетно пытаются поднять.

Андроников двигается навстречу, семеня коленями.

Корней Иванович спешит к нему тем же способом.

Они обнимаются, восторженно восклицая:

— Нет, это я!

— Нет, это для меня честь!

— Это вы...

— Нет, это вы...

И, наконец, бережно поднимают друг друга.

Окружающие хохочут. Андроников, утирая потное лицо, жалуется:

— Его не переиграешь! С кем я связался?!

Корней Иванович протягивает кепи:

— А вы что бесплатно смеетесь? А ну, давайте раскошеливайтесь сиротинкам на чекушку!

...Мы пришли примерно через неделю после его возвращения из Англии.

— Вот кто еще не видел моей мантии. И шапочки. Нет, уж нет, рассказы потом.

Он быстро взбежал наверх и через минуту появился в серо-красной оксфордской мантии и докторской шапочке с плоским квадратным верхом. По лестнице он спускался вприпрыжку.

— Ну, каков!

Охорашивался, вертелся, требовал восторгов.

— Вот он, сэр доктор Чуковский!

И несколько раз подпрыгнул на месте.

Отнес мантию наверх. А через полчаса пришли новые гости, и все повторилось.

На людях он был и казался веселым, насмешливым, озорным. У себя дома с гостями, в кабинете или в саду, на улицах Переделкина, в Доме творчества — был средоточием оживленных слушателей, которые либо молчали, стараясь не пропустить ни слова, либо смеялись.

Однако тот, кто оставался с ним наедине, видел другого Чуковского — серьезного, печального. Но только наедине. Стоило войти третьему человеку, он мгновенно менялся. Либо с наигранным пафосом восклицал:

— Ах, вот кто к нам пожаловал! Каким счастливым ветром вас принесло?!

Либо сердито напускался:

— Не подходите к столу! Я знаю, знаю, книжки воровать будете. У нас ведь украсть книжку не считается грехом...

Либо менял разговор, резко переключая тональность.

На людях он бывал лектором, наставником, артистом. Уже два-три человека становились зрительным залом.

Наедине он беседовал. Мог долго рассказывать, но и долго слушать, расспрашивать.

Р. Я подарила К. И. свою книгу об американской литературе «Потомки Гекльбери Финна» (1964). Он прочитал и говорил мне серьезно и строго:

— Умеете писать, но мало сказали о художественных особенностях. Какое мне дело до политических взглядов Сарояна или Хемингуэя. Не более интересно, чем их взгляды на чайник или облака. Важно, что внес каждый из них в художественную сокровищницу. Вы владеете таким оружием, как слово. И вы должны писать именно о слове...

Трудно? Конечно, очень трудно. Первую статью об Уитмене я написал шестьдесят один год тому назад. С тех пор многое изменилось. Великолепно теперь переводят наши молодые. Старые переводы сегодня выглядят, как бревна. Хорошие переводчики для русского слова делают больше, чем многие бездари с их «оригинальными» произведениями.

Гуляя с Корнеем Ивановичем, я рассказывала ему о необычайно многолюдном собрании московских писателей. Пришли даже Паустовский и Эренбург. Выбирали правление шумно, горячо споря. Тогда у нас еще действительно выбирали.

— А вот я дожил до таких лет, потому что я никогда не ходил на собрания. Всегда считал, что главное — написанная строка. Только так мы можем противостоять ИМ... Василий Смирнов страшен потому, что действительно верит, будто этот балаган кому-то нужен. Но и вы, к сожалению, тоже в это верите. Чем весьма осложняете вашу жизнь и вашу работу литератора... А я с самого начала знал, что они лгут. Всегда лгали и теперь лгут. Сейчас японцы показывают, что можно сделать при так называемом свободном капитализме. Наши правители должны бы стать на колени на Красной площади и закричать: «Простите, православные, за все, что мы натворили!» Но они продолжают лгать... Все ваши собрания — это борьба за трамвайную правду. Какая разница, кого выберут московские писатели, если наверху ничего не меняется...

Тогда я впервые увидела и услышала его таким. Он говорил серьезно и печально.

— Для вас это неожиданно? А я всегда знал, что у нас балаган. Недавно заглянул в Ленина, — мало кто у нас его действительно читает. И я убедился: ни одного живого слова, ни развития стиля, ни развития мысли.

Я пыталась возразить, говорила о драматизме последних ленинских работ. В них и язык иной, чем в прежних.

— Ну, может быть, самые последние. Но и он не вышел на Красную площадь, не стал на колени, не покаялся. А ведь что наделал! Нельзя было начинать такое в нищей, безграмотной, крестьянской стране. В стране, где мало было интеллигенции. Нет, нельзя!

Л. На прогулке зашла речь о трудностях перевода с родственных языков. Чем ближе язык, тем труднее. Польские стихи умеем переводить, а украинские еще не научились. Корней Иванович внезапно остановился.

— Пастернак гений. Но и ему трудно давался Шевченко. Однако «Марию» перевел прекрасно. Помните?.. Забыли?! Идемте и сейчас же будем читать Шевченко. По-украински.

Он привел меня в дом, достал с полки «Кобзарь», начал читать «Марию». На второй строфе голос стал еще выше. Задрожал, перехватило. Он плакал. Протянул книгу.

— Читайте. Но только без пафоса, по-человечески. Я читал, а Корней Иванович плакал. Иногда переби-вал:

— Повторите.

...Ну, спасибо. Идите. Уходите.

4. «Трест добрых дел»

Фрида Вигдорова называла Корнея Ивановича Директором Треста добрых дел.

Когда при нем об этом упомянули, он пожал плечами:

— Злые люди меня просто удивляют. Ведь им самим плохо от злости. А я самый богатый старик на этой улице. Богатый и скупой.

...Мы пришли к нему с младшей дочерью, застенчивой и молчаливой. Корнею Ивановичу она понравилась. Гостей было много. Он достал из шкафа две коробки конфет: одну отечественную, а другую — подарок из Америки.

— Американскую конфету — только Машеньке. А вам и этого достаточно.

Все посмеялись, но он поступил именно так: угостив окончательно смутившуюся Машу американской конфетой, он тщательно спрятал коробку.

«...У Корнея Ивановича было несколько друзей и знакомых, которым он считал своим долгом ежемесячно помогать деньгами», — вспоминает секретарь Клара Лозовская.

В то время когда его коллеги, столь же или еще более богатые, устно и письменно клялись в любви к читателям, к народу, он, ничего похожего не возвещая, на свои средства построил библиотеку для детей Переделкина и окрестных деревень. 30 октября 1957 года он пишет своим друзьям:

«Библиотека действительно вышла на славу. Три уютные комнаты, светлые, нарядные, множество детей (в день не меньше сорока человек), которые читают запоем и тут же в библиотеке — за всеми столами — и делают уроки, и радуются каждой новой книге, которую я привожу из Москвы. Но трех комнат маловато... Я вылетел в трубу: уголь для

отопления, сторожика, новые стеллажи, абажуры, занавески, линолеум, графины для воды, рамки для портретов, доска для выставки новых книг, цветы, пальмы, кактусы — все это высасывает мои скудные средства, но сказать себе «довольно» я не могу и с азартом продолжаю разоряться...»

Библиотека оставалась до конца его любимым детищем — предметом гордости, источником горьких забот, гнева, отчаяния.

После его смерти она хирела. Казенные служащие и попечители превратили этот сказочно-веселый дом для детей в заурядное, запущенное учреждение.

Весной 1978 года вспыхнул пожар. Сгорели часть здания и книги с писательскими автографами. Зияют закопченные провалы в крыше и стенах. Символ?

Сотрудница одного из петроградских издательств двадцатых годов вспоминает, как К. И., узнав, что жене Тынянова отказали в авансе, что он нуждается, «...тут же попросил меня выписать деньги из его аванса, ничего жене Юрия Николаевича не говоря. И попросил меня вообще никому ничего не говорить. Я знаю, что и сам Корней Иванович с его большой семьей не всегда был обеспечен...»

В Ташкенте, в эвакуации школьники читали Чуковскому свои стихи. Среди них был четырнадцатилетний Валя Берестов. Он заболел тяжелой пеллагрой. Корней Иванович устраивал его в больницу, доставал путевку в санаторий. «Таким образом я обязан Чуковскому еще и жизнью», — писал Берестов.

Когда Аркадий Белинков вернулся из лагеря, Чуковский заботился о жилище для него, заработках для его жены. Когда Белинковы жили в Переделкине, им ежедневно носили обеды из дома Корнея Ивановича. И прежде всего он содействовал публикациям Белинкова.

Когда арестовали Иосифа Бродского, Корней Иванович подписывал коллективные письма и сам писал, звонил, пытался убеждать и председателя Верховного суда Л. Смирнова (они вместе входили в комиссию по литературному наследию А. Ф. Кони), руководителей Союза писателей. Взывал и к чувствам сострадания, справедливости и к практическому здравому смыслу. Он писал: «Зачем молодому человеку такая ранняя слава, а нам зачем мировое бесславие?»

Юлиан Григорьевич Оксман, известный ученый-филолог, с 1937 года провел много лет в лагерях и ссылке. В 1955 году его реабилитировали, и он вернулся в Москву,

был восстановлен в Союзе писателей, публиковал научные работы, редактировал новые издания Пушкина, Лермонтова.

В 1964 году, после обыска и многочисленных допросов в КГБ, Оксмана исключили из Союза писателей за «связи с антисоветскими элементами за рубежом». Среди его корреспондентов были и русские эмигранты. Вслед за исключением из Союза начали изымать книги Оксмана, уже опубликованные, прекратили издание новых, подготовленных.

Корней Иванович написал директору Гослитиздата, требуя восстановить издание книг Оксмана. После этого даже осторожный Иракий Андроников заявил, что снимает свое имя титульного редактора собрания сочинений Лермонтова, если будет вычеркнуто имя второго редактора Оксмана. Издательство уступило.

* * *

Чуковский исследовал английские переводы повести «Один день Ивана Денисовича» и гневно критиковал тех переводчиков, которые, спеша опубликовать политически сенсационное произведение, не поняли, не потрудились передать художественное своеобразие языка, художественное мастерство автора.

Когда в сентябре 1965 года были арестованы А. Синявский и Ю. Даниэль и КГБ захватил архив А. Солженицына, Чуковский, всегда избегавший столкновений с властями, всегда отстранявшийся от неприятностей, пригласил Александра Солженицына приезжать в любое время и на любой срок, чтобы жить и работать у него, где захочет — в московской квартире или на даче.

Корней Иванович не был «благотворителем вообще», добрым дедушкой, равно щедрым ко всем, кто просил помощи. Он считал своим долгом поддерживать прежде всего таланты.

Сам он никогда не знал ни барской, ни богемной беззаботности. В молодости испытал нужду. Рано женился. Семья была большая — четверо детей. Ему приходилось постоянно много работать. Он не позволял себе отказываться и от литературной поденщины.

Бывало: одержим новым замыслом, неотвязной темой, а вместо этого нужно выполнять срочный заказ для завтрашнего гонорара.

«...Я уверен, что если бы я так рано не попал в плен

копеек и тряпок, из меня, конечно, вышел бы очень хороший писатель: я много занимался философией, жадно учился, а стал фельетонистом по пятаку за строчку», — писал он сыну в 1924 году, предостерегая его от ранней женитьбы.

Но в самые трудные поры Корней Иванович узнал, что значит поддержка друзей — Репин дал ему деньги на покупку дома в Куоккале. Леонид Андреев анонимно прислал большую сумму, и лишь через много лет после его смерти Чуковский обнаружил, кто был неизвестный даритель. Его поддерживали Короленко и Горький.

Чуковский рассказывал, как Чехов помогал литераторам и просто нуждающимся, «помогал тайком, успешно избегая благодарности».

Корней Иванович продолжил и эту традицию русской литературной жизни.

«Он просто не мог не помочь, иногда даже сердился, но помогал. Какая-то короленковская черта», — писал М. Слонимский.

5. Черты автопортрета

Он создал портретную галерею мастеров русской культуры за доброе столетие. В разнообразии и многолюдье этой прозы нам внятно слышатся и лирические мотивы.

Корней Иванович говорил об известном литературоведе С. Бонди:

«То обстоятельство, что в России был Пушкин, является для Бонди неиссякаемым источником счастья, и ему удается заразить этим счастьем и нас. Его работа — работа влюбленного. В ней нет ни одной равнодушной строки».

Это применимо и к самому Чуковскому.

Русская словесность для Чуковского — неиссякаемый источник личного счастья. Всю жизнь он стремился делиться этим счастьем, приобщать к нему возможно больше читателей, слушателей, заражать их своей влюбленностью в русское слово.

Он был очень добросовестным историком: исследовал прошлое, не «опрокидывая» в него свои новейшие размышления и злободневные страсти. Но в тех временах и в тех литературных судьбах, которые его особенно привлекали, открывалось и нечто родственное ему самому.

Он писал о Квитко:

«„На хлебах у голода“ прошла вся его горькая молодость... Он выстрадал свой оптимизм, который, конечно,

не имел ничего общего с оптимизмом Панглосса, нарочно закрывавшего глаза на «свинцовые мерзости» жизни и готового ликовать даже там, где нужно бы вопить от негодования и злобы».

Это и о Чуковском. О его голодной молодости, о его выстраданном оптимизме.

Он писал о Луначарском:

«Я видел, как он слушал Блока (когда Александр Александрович читал свою поэму «Возмездие»), как слушал Маяковского, как слушал какого-то неведомого мне драматурга, написавшего историческую драму в стихах: так слушают поэтов лишь поэты. Я любил наблюдать его в эти минуты».

«Я любил читать Репину вслух. Он слушал всеми порами, не пропуская ни одной запятой, вскрикивая в особо горячих местах».

Именно так сам Корней Чуковский воспринимал прозу, стихи, публицистику. Он слушал именно так, как его «герои» — Луначарский и Репин.

* * *

Он подробно исследовал связи и противостояния, взаимодействия и противоборство писателя и среды.

Он писал о тех, кто побеждал среду, как Чехов. О тех, кто и падал, и поднимался, как Некрасов, как Горький. О тех, кто отступал, терпел поражение.

Больше всего его привлекали люди, которые вопреки обстоятельствам все же упрямо прокладывали свой творческий путь.

Очерк «Поэт и палач» (Некрасов и Муравьев) был написан в 1921 году. В его завязке — события 1866 года, когда после неудавшегося покушения на царя (выстрел Каракозова) аресты, шумные патриотические манифестации, верноподданнические речи, «адреса», гласные и негласные доносы нагнетали атмосферу массового озлобления и страха. Царь предоставил неограниченные полномочия генералу Муравьеву, который в 1863 году прославился беспощадно жестоким усмирением Польши, его называли «Муравьев-Вешатель».

«Это был массовый психоз, эпидемия испуга, охватившая всех без изъятия. Что же странного, что ей поддался Некрасов?.. Некрасов был у всех на виду, он был признанный вождь радикалов, самая крупная фигура их лагеря... Мудрено ли, что он испугался».

Некрасов настолько испугался, что на торжественном банкете в честь Муравьева прочитал посвященную ему оду.

За это его осуждали знавшие и не знавшие его. На поэта обрушились укоры, брань, проклятия, обвинения в «подлости», «предательстве», «гносном раболепии». Его врагам эта ода служила постоянным доводом для обвинения в лицемерии, двоедушии. И сам он до конца дней не мог простить себе «неверный звук».

Друзья и читатели, боготворившие поэта, старались не вспоминать о постыдном грехопадении.

Корней Чуковский писал:

«Многие искренне радовались спасению царя. Когда в числе этих радующихся мы находим редакцию обличительной «Искры», редакцию писаревского «Русского слова», мы понимаем, что эта беспредельная радость — паническая; что здесь тот же самый испуг, который через несколько дней погнал Некрасова на обеденное чествование Вешателя... У Некрасова на карте было все, у Некрасова был «Современник», который он создал с такой почти нечеловеческой энергией, с которым он сросся, которому уже двадцать лет отдавал столько душевных сил. И вот все это гибнет; мудро ли, что Некрасов с необычайной поспешностью бросился по той же дороге, по которой, в сущности, шли уже все, за исключением горсти фанатиков, героев, мучеников».

Чуковский передает атмосферу того страшного года с точностью научной и художественной. Но не ограничивается историей одного события. В тесных пределах времени, пространства, сюжета возникал пластический образ эпохи и ее поэта. Не мгновенный снимок, не импрессионистическая зарисовка, а Некрасов, каким он был раньше и позже.

Чуковский ни о чем не умалчивает, однако он любит и старается понять, объяснить и, следовательно, простить.

Но простить не значит оправдать.

Он убежден, что ода Муравьеву — не случайное, болезненное отклонение. Приводит суровые отзывы современников, и врагов и друзей о Некрасове — дельце, торгаше, картежнике, барине, сибарите. И сам — проницательный исследователь — находит подтверждения некоторым из этих отзывов.

«На черновых рукописях стихотворений Некрасова нет... дворянских рисунков, женских ножек, кудрей, лоша-

дей, силуэтов, которых столько, например, у Пушкина, а всё цифры, счета, целые столбики чисел... рубли и рифмы, рифмы и рубли. У кого из поэтов, кроме Некрасова, возможно такое сочетание!»

Любовь Чуковского была страстной, но зрячей и трезвой. Ученый-исследователь любил свой предмет. Художник любил своего героя. Поэт любил своего учителя и собрата. И потому, что любил, не боялся никакой, даже самой горькой правды.

Корней Чуковский и сам, так же, как Некрасов, был подвержен влиянию разных «духов» своего времени. Так, например, он утверждал, что внутренние противоречия, «пресловутая двойственность» Некрасова произошли от «чисто социальных причин», ибо тот «принадлежал к двум противоположным общественным слоям, был порождением двух борющихся общественных групп. Родился в переходную, двойную эпоху, когда дворянская культура приближалась к упадку, утратила всякую эстетическую и моральную ценность, а культура плебейская... намечалась лишь робкими и слабыми линиями».

Однако эти плоские упрощенно-социологические рассуждения — лишь один из тонких слоев многомерного портрета, в котором неотделимо сплавлены самые разные, казалось бы, несовместимые черты психологии, характера, взгляды и привычки, идеалы и нравы.

«В этом обаяние Некрасова: он был бы лицемером лишь тогда, если бы прятал в себе какую-нибудь из противоречивых сторон своей личности и выставил бы напоказ лишь одну. Пусть он жил двойной жизнью, но каждую искренне. Он был искренен, когда плакал над голытьбою подвалов, и был искренен, когда пировал в бельэтаже. Он был искренен, когда молился на Белинского, и был искренен, когда вычислял барыши, которые из него извлечет... Неужели он был таким гениальным актером, что мог в течение всей своей жизни так неподражаемо играть... столь различные роли? Нет, они... были органически присущи ему, он не играл их, но жил ими».

Когда мы впервые прочитали эти строки, мы вспомнили очерк-памфлет «Белый волк». Его написал драматург Евгений Шварц, который в молодости был секретарем Корнея Ивановича; Шварц изобразил его злым, лицемерным корыстолюбцем. Темные, резкие штрихи этого очерка — только тени сложного многоцветного живого облика.

Мы не знаем, когда был написан этот очерк, долго ходивший в самиздате *.

В 1957 году тот же Е. Шварц опубликовал к 75-летию К. И. Чуковского вполне хвалебную статью.

Давний приятель Е. Шварца говорил нам о «Белом волке»:

— Портрет талантливый, во многом несправедливый. Но есть и точные наблюдения. И характеризуются там не только некоторые особенности тогдашнего Чуковского,— подчеркиваю, тогдашнего, он менялся,— но и тогдашнего Шварца...

Сегодня пьесы Шварца ставят во многих странах, о нем пишут воспоминания, научные труды. А тогда его никто не знал; он писал стихи, публиковал, но их в лучшем случае не замечали, а то и высмеивали. Сам-то умный Евгений Львович очень остро ощущал свой талант. А вынужден был работать секретарем на побегушках у литератора, которому легко дались и известность и слава, Шварцу казавшаяся незаслуженной; он был убежден, что его стихи не хуже тех, что писали Чуковский и Маршак.

Рукопись «Белого волка» мы впервые получили от Фриды Вигдоровой. Она любила и Корнея Ивановича, и Евгения Шварца. Сама прочитала очерк с большим огорчением, просила нас никому его не показывать и даже не говорить о нем. Но и Фрида признавала, что иные штрихи не придуманы злой фантазией автора, а передают теневые черты реального, живого облика.

Облик этот был протеевски изменчив. Менялся характер Чуковского — в иные мгновения, так сказать, не сходя с места; но еще больше менялся с годами и десятилетиями. Многое изменилось вокруг него. И смещались масштабы.

Он выросал не только потому, что рос он внутренне, душевно богатея, но и потому, что уходили другие, великие. И он, остающийся, оказывался выше других оставшихся. Куда выше, чем представлялось раньше.

«„Белый волк“ уходил в пустыню одиночества»,— этими словами заканчивался очерк Шварца. Нет, Чуковский трудно, мучительно пробирался через те пустыни, в которых оказался после смерти Короленко, Блока, Горького... То были и пустыни сомнений, неверия в себя, отчаяния...

* Память: Ист. сб. 1979. Т. 3.

Книгу о Некрасове и Муравьеве он писал тогда, когда в России уже не оставалось свободных газет и журналов; многие русские литераторы, философы, художники покидали родину, отвергая новую власть, спасаясь от преследований, от голода; умер от истощения Блок, был расстрелян Гумилев...

Большевистские наследники Чернышевского и Писарева возбуждали у ближайших друзей Чуковского страх, не менее гнетущий, чем тот, который внушал их отцам и дедам генерал Муравьев.

Обжигающее и ледящее дыхание военного коммунизма просквозило рассказ о поэте и палаче так же, как пушкинскую речь Блока, «Несвоевременные мысли» Горького, роман Е. Замятина «Мы».

Сейсмическая чуткость художников к своему времени становилась пророческой.

Чуковский запечатлел ужас массового психоза, трагедию поэта, гонимого и властями, и толпой. Рассказ о прошлом оказался провидческим. Десять, и пятнадцать, и тридцать лет спустя приступы массового страха, бешенства и мании преследования поражали самые различные слои общества. Они губительно сказывались и в судьбах множества людей и в жизни литературы. С тех пор все новым палачам слагали оды все новые стихотворцы. Одни одописцы позднее каялись, другие не дозревали или не доживали до покаяния...

И все более мучительные трагедии одолевали художников, которые, блуждая, металась между «фронтами», противостояли властным противникам, боролись со своей непокорной совестью.

«Поэт и палач» впервые опубликован в 1922 году, вторично в 1930-м, в третий раз — в 1967 в новой редакции и под новым названием «Звук неверный»*.

Изменено начало, сделаны купюры по всему тексту. Отброшены два заключительных раздела, занимавшие 12 страниц из 48 первоначального текста. Именно в изъятых разделах едва ли не самые яркие, поэтически выразительные характеристики Некрасова-человека. Оттуда все приведенные цитаты.

Изменения разрушили структуру и ритм повествования, исказили его основной лирический тон. Это, несомненно, было мучительно для автора. Существенно изме-

* Чуковский К. И. Собр. соч. М., 1967. Т. 5.

нился портрет Некрасова; но в этих изменениях по-новому проявились таившиеся в нем черты невольного автопортрета.

В заключительных строках первоначального текста о Некрасове говорится так:

«Цельность — это качество малоодаренных натур... Если он так дорог и родственно близок нашему поколению, то именно потому, что он был сложный, грешный, раздраемый противоречиями, дисгармонический, двойной человек... Мы из уважения к его подлинной человеческой личности должны смыть с него... бездарную ретушь, и тогда перед нами возникнет близкое, понятное, дисгармоническое, прекрасное лицо прекрасного человека».

* * *

Чуковский любил Некрасова. Всю жизнь изучал его, издавал его стихи, писал о нем книги, возможно, даже безотчетно ощущал себя родственным ему.

Но абсолютным идеалом его был Чехов.

«Чеховские книги казались мне единственной правдой обо всем, что творилось вокруг... Я не переставал удивляться, откуда Чехов так знает меня, все мои мысли и чувства.

...Чехов был для меня и моих сверстников мерилom вещей, и мы явственно слышали в его повестях и рассказах тот голос учителя жизни, которого не расслышал ни один человек из так называемого поколения отцов, привыкших к топорно публицистическим повестям и романам... От многих темных и недостойных поступков нам удалось уберечься лишь потому, что он, словно щелоком, вытравил из нас всякую душевную дрянность. Других учителей у меня не было».

Поклонение Чехову нередко побуждало молодого критика все мерить только чеховской мерой, судить слишком сурово, односторонне.

Так, он осудил Горького в книге «От Чехова до наших дней»:

«...Комнатная философия... аккуратность... однообразие... симметричность... Вот главные черты самого Горького как поэта. И читатель понимает, что за аккуратностью его скрывается узость, фанатизм, а за симметричностью — отсутствие свободы, личной инициативы, творческого начала... Горький узок, как никто в русской литературе» (2-е изд. 1908).

В этой статье Чуковский утверждает, что Горький «симметрично по линейке» делит всех своих героев и вообще всех людей на ужей и соколов. «Певец личности, он является на деле наибольшим ее отрицателем».

Так, одержимый «чеховской меркой», он пытался втиснуть Горького в некую двухмерную плоскость, отождествляя художника с его героями-мещанами.

Прошло полтора десятилетия. Чуковский узнал новые произведения Горького, сам стал более зрелым человеком и писателем. В книге «Две души Максима Горького» (1924) он судит о нем глубже, объективнее, разностороннее.

Многие оценки по-прежнему резко отрицательны.

Однако Чуковский обнаружил, наконец, и Горького-художника. Признавал это еще с оговорками, но уже любовался:

«Не беда, что Горький публицист, что каждая его повесть — полемика... Публицистика не вредит его творчеству... Вся беда его в том, что он слишком художник, что едва только эти образы закружатся у него перед глазами, потекут перед ним звучной, разноцветной рекой, как он, зачарованный ими, забывает о всякой публицистике и покорно отдается им».

Шестидесятники, которых чтит Чуковский, верили во всевластие среды, обстоятельств, верили в то, что общество всегда важнее одного человека, требовали подчинить Делу все личные дела, призвания, таланты, страсти...

А Чехов преодолел все посягавшие на него влияния, личные и общественные, казенные и дружеские.

«Выйдя из рабьей среды и возненавидев ее такой испепеляющей ненавистью, которая впоследствии наполнила все его книги, он еще подростком пришел к убеждению, что лишь тот может победоносно бороться с обывательским загниванием человеческой души, кто сам очистит себя от этого гноя... Чехову удалось — как не удавалось почти никому... полное освобождение своей психики от всяких следов раболепства, подхалимства, угодничества, самоуничтожения и лъстивости...»

Чуковский называл это чудом. И сам он с юности также стремился воспитывать и перевоспитывать себя, «дрессировать» свою волю, утверждать свое достоинство.

И тоже был постоянно недоволен собою.

Он пишет другу 16 июля 1964 года:

«Сейчас я по уши в корректурах 1-го тома Собрания сочинений... Причем уже после сверки все написанное мною

кажется мне столь отвратительным, скандально-постыдным, что я ломаю всю верстку, к ярости издательства, и требую снова на сверку».

Будучи уже известным, прославленным, он все еще сохранял ненасытную любознательность, ощущение неполноты своего образования, всегда был готов не только учить, но и учиться.

Его «среда» была могущественнее, чем та, которая противостояла Некрасову и Чехову. Революционные смерчи, матеряющее тоталитарное государство, казенная идеологизированная литература, трудный советский быт теснили, давили куда жестче и неотвратимее, чем все жандармы и цензоры одряхлевшего самодержавия и чем любые соблазны успеха и богатства.

Давление это было всепроникающим.

Чуковскому случалось и уступать и отступать. В разные времена. И в последнее десятилетие тоже.

Он долго настаивал, чтобы его статья о переводах повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» сохранилась в очередном томе Собрания сочинений; несколько раз подробно рассказывал, как упрямо борется с редакторами, с цензорами, грозил, что вовсе откажется от издания. Но в конце концов книга вышла без этой статьи.

В подобных же обстоятельствах его дочь, Лидия Чуковская, отказывалась от публикации своих работ, не подчинялась требованиям цензуры.

Нам он говорил:

— Я хитрый старик, хорошо устроился: «правые» осияют — у меня есть Коля. «Левые» возьмут верх — у меня Лида есть.

Весной 1968 года он сказал одному из литераторов-«подписантов», которого грозили уволить с работы, лишить возможности печататься:

— А почему бы вам не покаяться? Я всегда в таких случаях каялся. После ругательной статьи в «Правде» написал покаянное письмо, назвал свою сказку глупой.

Корней Чуковский не хотел подражать Некрасову и не мог подражать Чехову.

Он признается:

«Изучая писателя, я всегда ставил себе задачей подметить те стороны его дарования, которые он сам не замечает в себе, ибо только инстинктивное и подсознательное является подлинной основой таланта».

Так и мы пытаемся обнаружить в творчестве Чуковского его особенности, не до конца им осознаваемые, хотя его профессия критика, исследователя предоставляет меньше свободы силам подсознания.

Чуковский не только любил Некрасова сильнее, чем Горького, но и постоянно ощущал большее расстояние от него, неоспоримо великого.

А Горький был его современник, лишь немногим его старше. И вероятно, он ощущал прямую родственность их личных судеб.

Горький тоже плебей, тоже самоучка, выбился в большую литературу, обрел внезапную и, казалось, не всегда заслуженную славу. Ведь он едва ли не затмил Чехова!

Однако с годами Чуковский открывал в Горьком такие инстинктивные, подсознательные основы таланта, которых не замечал, не хотел замечать раньше.

«Любить для него — значит добиваться. Под всеми личинами в нем таится ненасытный жизнелюбец, который по секрету от себя самого любит жизнь раньше смысла ее, любит даже ее злое и темное. Все равно, какая жизнь, лишь бы жизни! Пусть она струится перед ним разноцветными волнами, он как зачарованный будет смотреть на нее и твердить: „Господи, Господи, хорошо все как! Жить я согласен веки вечные“...»

Уже сама патетическая музыка этих слов явственно свидетельствует, что и Чуковскому неотделимо присуще такое же могучее жизнелюбие. И он воплощал его не только в поэтических сказках, в работах о языке «живом как жизнь». Когда он исследовал творчество и личные судьбы писателей давних времен и современников, его магнитно привлекали силы неподдельного, стихийного жизнелюбия.

Об Алексее Толстом он писал:

«...Это был мажорный сангвиник. Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника, а насупленные, хмурые люди были органически чужды ему... Вообще он органически не выносил разговоров о неприятных событиях, о болезнях, неудачах, немощах...»

Мы сидели в комнате у Лидии Корнеевны. Вошел Корней Иванович, шумно обрадовался гостям, удобно расположился в кресле, явно готовясь к длительной беседе.

Л. начал вспоминать эпизоды из своей практики зекамедбрата. Чуковский потускнел, сразу поднялся:

— Спокойной ночи.

Лидия Корнеевна потом сказала:

— Нет, нет, ничего не случилось. Просто Дед не выносит неприятных тем.

Он признавался в одном письме: «...я сделан ведь из такого материала, что больше пяти дней не умею горевать».

Марина Чуковская, невестка Корнея Ивановича, пишет: «...его не тянули к себе ни смерть, ни тлен, ни размышления о потусторонней жизни. Как будто эти вопросы он решил для себя раз и навсегда — и никогда к ним не возвращался».

Властное жизнелюбие было свойственно Корнею Ивановичу с молодости. Однако и эти глубинные силы, определявшие многие черты личности Чуковского и многие особенности его творчества, изменялись.

В 1958 году он писал приятельнице (у которой в один день умерли отец и сестра):

«...Я, потерявший сына, дочь, нежно любимую Марию Борисовну * и ежедневно теряющий самого себя — необыкновенно быстрыми темпами,— понимаю вас и вашу тоску лучше многих. «Я изучил науку расставанья» ** и понял, что главное в этой науке — не уклонение от горя, не дезертирство, не бегство от милых ушедших, а также не замыкание в горе, которому невозможно помочь, но расширение сердца, любовь — жалость — сострадание к живым...»

Секретарь и преданная сотрудница Клара Лозовская вспоминает:

«Последние годы Корней Иванович тщетно надеялся, что отыщется собеседник, с которым он душевно и (по его словам) с аппетитом поговорит о смерти... это была настоятельная потребность, и никто не мог утолить ее».

Он все чаще читал из Тютчева («Когда слабеющие силы...»).

«...— Всю жизнь я изучал биографии писателей и знаю, как умирали Некрасов, Щедрин, Уитмен, Уайльд, Толстой, Чехов. Я хорошо изучил методику умирания и знаю, что умирать не так страшно, как думают...»

— Я совершенно ясно представляю себе, как в тысяча девятьсот восьмидесятом году, проходя мимо нашего балкона, кто-то скажет: «Вот на этом балконе сидел Маршак!» — «Какой Маршак? — поправят его.— Не Маршак, а Чуковский».

* Жена.

** О. Мандельштам.

В самых трудных, для многих людей непосильных размышлениях о своей смерти он оставался литератором, историком литературы, сохранял юмор.

В последние часы в больнице, сознавая близость конца, сочинял шуточные стихи.

Так мужественный художник дописал свой автопортрет.

6. Старейшина цеха

Последнее, что писал Лев Толстой за несколько дней до смерти, — ответ на письмо Чуковского.

Чуковский просил литераторов, художников, общественных деятелей выступить «...против неслыханного братоубийства, к которому мы все причастны, которое мы все своим равнодушием, своим молчанием поощряем.

...пришлите мне хоть десять, хоть пять строк о палачах, о смертной казни...»

Он получал ответы от Репина, Короленко, Л. Андреева и др.

Более полувека Корней Иванович дружил с Анной Ахматовой. На протяжении нескольких лет почти ежедневно бывал в мастерской Репина. Работал рядом с Горьким во «Всемирной литературе». Хорошо знал Бунина, Шаяпина, Маяковского, Пастернака. Запросто встречался с ними, писал о них, исследовал тайны их ремесла. Зиновий Паперный вспоминает, как К. И. внезапно сказал:

«Мне сейчас померещилось, что за столом сидят Блок, Маяковский... Как будто приснилось».

Чуковский был исследователем классиков и их собеседником. Но и на высокогорьях культуры сохранял пыл репортерской молодости. Когда он полюбил Уитмена, переводил его, проникал в его чужезычный и чужеродный стих, он потом еще и «подавал» его как чрезвычайное событие, сенсацию. Футуристов он воспринимал сначала как нечто скандальное, как героев фельетонов и памфлетов. Но очень рано ощутил, понял огромность таланта Маяковского.

Он ни на мгновение не забывал, что литература началась задолго до него и будет продолжаться бесконечно. И полагал, что она создается не только великими, прославленными, но и множеством рядовых мастеров и подмастерьев слова.

— Тот, кто написал хоть одну талантливую строку на скрижалях русской словесности, жил не зря.

Это мы слышали от него много раз.

В первом десятилетии века он высмеивал в рецензиях-памфлетах книги Чарской, Вербицкой, Лукашевич, журнал «Задушевное слово», слыл «убийцей литературных репутаций».

Большинство серьезных литературоведов чаще всего отмахиваются от модной халтуры — обречена, скоропреходяща, ничто так быстро не стареет, как вчерашняя сенсация. Чуковский пристально изучал «литературный базар», хотел понять, чем авторы бестселлеров увлекают читателей. В нем не было ни олимпийского, ни снобистского высокомерия. Он ревниво относился к тому общему литературному делу, на которое посягал халтурщик. Ревновал читателей, тех, кто, отравляясь на литературных базарах дешевыми поделками, своим спросом набивают цены, плодят все новую отраву.

· Тем более он радовался каждому союзнику.

Он писал о Кони:

«...была у Анатолия Федоровича одна милая слабость, чрезвычайно для меня привлекательная. Он упорно, с непримиримой запальчивостью отстаивал те нормы русской речи, которые существовали во времена его юности. Они казались ему абсолютными. Он фанатически верил, что они нерушимы, и страстно ополчался против тех, кто так или иначе нарушал эти нормы».

Чуковский тоже ощущал себя охранителем, стражем тех законов языка и стиля, которые считал непреложными.

Но этот охранитель, консерватор, умел воспринимать и талантливые отступления от дорогих ему традиций. Он умел распознавать дарование и в самом дерзком обновителе-разрушителе. Так было в молодости, когда он — почитатель Некрасова и Чехова — услышал Уитмена, Маяковского. Так было, когда он восхищенно принял Зощенко. Так было и когда он ринулся на защиту начинающего Василия Аксенова, которого уже обкладывали тяжелыми калибрами проработочной критики. Хотя, казалось бы, жаргон аксеновских «звездных мальчиков» должен быть бесконечно чужд почитателю классиков.

...Декабрь 1966 года. Переделкино. Дом творчества. У нас в комнате поет Александр Галич. Внезапно входит Корней Иванович. Мы испугались. Ведь песни Галича — их язык, стиль, страсти прямо противоположны всему, что он любит. Но слушал он благодарно, увлеченно. Галич пел «Аве Мария», «Караганда» — тогда только сочиненные.

Корней Иванович стал заказывать. Оказалось, что раньше он уже слышал пленки. Весело повторял:

Как про Гану, все в буфет
За сардельками...

И пригласил Галича петь у него в доме. Концерт состоялся через несколько дней.

Из дневника Р.

«...Я уже столько раз видела поющего Сашу, что могу позволить себе роскошь и наслаждение — не отрывать глаз от Корнея Ивановича.

Удивительно: ведь у Галича современный, сверхсовременный язык. Сиюминутный. Чуковский живет на земле девятый десяток лет. Как за это время изменились слова, лексика, интонация. Казалось бы, все это должно быть чужим. Отчасти и раздражающим. И реалии неведомые: можно поручиться, что К. И. и не видел никогда, как «соображают на троих»...

Но он воспринимает каждое слово, выделяет то, единственное, избранное из сотен тысяч, найденное. Он схватывает полифонию галичевских песен, оттенки значений сразу, мгновенно.

И еще — для К. И. слово Галича вкусно. Он его смакует, пробует на зуб, воспринимает чувственно, не только головой, душой, сердцем, даже пальцами. Своими удивительными, длинными пальцами как бы ощупывает, проводит по буграм, по извилинам, по всем многозначьям слова... Вскрикивает. Вскрикивает. Смеется. Темнеет.

Чуковский подарил Галичу свою книгу и надписал: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь...»

Вскоре после этого тот под хмельком пришел к Чуковскому просить коньячку — и был попросту выставлен. — Не смейте приходиться ко мне пьяным».

* * *

Он прожил долгую жизнь в литературе. И все эти годы вблизи, вдали возникали течения, группы, кружки: символисты, акмеисты, футуристы-будетляне, имажинисты, конструктивисты, «Серапионы», перевальцы, пролеткультовцы, рапповцы и др.

Сторонники едва ли не каждого из этих течений были

убеждены в том, что именно они пролагают новые, «столбовые», единственно верные пути русской, советской, а то и мировой литературы, только они достойно представляют свое, новое, новейшее время.

Чуковский не примыкал ни к одному течению, ни к одному кружку. Но пристально и пристрастно наблюдал за всеми битвами и перепалками. Да и сам в них участвовал. Однако выступал под знаменем более широким, чем все групповые штандарты и вымпелы,— знаменем единой русской литературы.

В ту пору, когда Блок и Гумилев враждовали, он сохранял добрые отношения и с тем, и с другим. Он был приятелем и серапионов, и Маяковского. В этом сказывался отчасти его характер, умение ладить с любыми, даже совершенно чужими людьми. Оставаясь самим собой, шутя, насмешничая, он в работе — издательской, редакционной — был бескомпромиссно требователен, но и безупречно корректен.

Все это было возможным еще и потому, что писателей он различал не по «измам», не по символам веры, а по тому, хороши они или плохи.

«...Он убеждал меня, что все существующие литературные направления — только выдумка неучей и досужих ученых. Есть только два направления, сказал он,— талантливое и бездарное» (А. Дейч).

Чуковский оставался верен этим взглядам и в самую неблагоприятную пору, когда само понятие «единого потока» считалось ересью.

В отличие от Блока, он не вслушивался в «музыку революции». Но в отличие от Бунина, Куприна, Мережковского, он не эмигрировал и не пытался противоборствовать большевистской власти.

Он хотел в новых условиях продолжать прежнюю работу литератора-просветителя. И увлеченно, даже азартно использовал те возможности, которые советское государство в самые голодные военные годы предоставляло интеллигентам, соглашавшимся с ним сотрудничать. Вместе с Горьким он готовил новые издания русских и иностранных классиков. Читал лекции студентам, матросам, рабочим, публиковал статьи и книги о старой и о современной литературе,— о Блоке, Ахматовой, Маяковском.

Он пытался делать все это независимо от идеологии, которая становилась господствующей. Одно время, должно быть, надеялся, что может сохранить независимость.

Но уже в середине двадцатых годов он убедился, что о людях и проблемах современной ему литературы он не может высказывать вслух то, что думает. Что непозволительно хвалить эмигрантов, и слишком резко — как он привык — критиковать тех, кто числился пролетарскими писателями. Он искал новые поприща, еще не обставленные идеологическими заборами. Он отступал перед преградами, но не уходил с поля боя.

Все больше писал детские стихи. Их с восторгом принимали маленькие читатели, их родители и педагоги. Однако партийная печать открыла огонь по «чуковщине». Начала поход Крупская. И только вмешательство Горького, пришедшего из Италии письмо в «Правду» (1928 г.), приостановило травлю и спасло сказки Чуковского от запрета.

Он переключил свою неиссякаемую энергию, главным образом, на новые издания русских классиков и на переводы зарубежных. Участвовал в составлении школьных хрестоматий*. Он был просветителем по призванию. «Вырастить два колоса там, где рос один,— вот настоящее дело, посильное каждому»,— повторял он.

Он часто встречался с учителями, библиотекарями, долгу беседовал с ними, со многими переписывался.

Отступая на одном участке, он наступал на другом, переходил от одного поля деятельности к другому. Он соглашался на уступки редакторам, цензорам во второстепенном, стремясь сохранить главное.

В Оксфордской речи он сказал:

«...Мне, старику, литератору, служившему литературе всю жизнь, очень хотелось бы верить, что литература важнее и ценнее всего и что она обладает магической властью сближать разъединенных людей и примирять непримиримые народы. Иногда мне чудится, что эта вера — безумие, но бывают минуты, когда я всей душой отдаюсь этой вере».

* * *

— Есть ли Бог? С бородою нету. А другой...

Замолчал.

В молодости, соблюдая церковные обряды, он — воспитанник позитивистов-шестидесятников и Чехова, вероятно, мало задумывался о Боге.

Влюбленный в поэзию, музыкально воспринимавший

* Ни одна не была издана.

слово, самозабвенно восхищавшийся стихами, он верил — то, что вызывает любовь и восторг, можно разумно истолковать, объяснить.

Но принимаясь объяснять, он сам иногда великолепно опровергал эту свою наивно-просветительскую уверенность.

Он чутко воспринял «женственную стихию» блоковской лирики, стихи, возникающие властно, как бы сами собой, вопреки воле покорного им поэта. Обилие женских рифм, «влажные звучания» у Блока он услышал как филолог и как художник.

Он любовался гармонией ахматовского стиха, его кристаллически граненой стройностью. Он одним из первых угадал величие поэта в Ахматовой — юной красавице, которая большинству критиков казалась лишь одной из плеяды петербургских светски-богемных поэтесс.

Пастернака он увидел «под открытым небом, под ветром и солнцем, в поле, в лесу, среди трав и деревьев».

И в то же время стремился объяснить читателям (и себе?), как непосредственно и конкретно отражает поэзия реальный мир — природу, предметы, события.

Ночь, улица, фонарь, аптека...

Чуковский был едва ли не единственным критиком, который, говоря об этих строках, кроме всего прочего вспоминал реальную аптеку на берегу канала; мимо нее Блок проходил ежедневно:

...чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач.

...Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Для большинства читателей нескольких поколений эти зарисовки едва различимы в таинственном тумане, окутавшем

берег очарованный
и очарованную даль.

Но Чуковский напоминает: булочки вывешивали тогда над лавками золоченые крендели; за шлагбаумами на станции Озерки в то лето копали канавы.

И в карнавальной фантазмагории ахматовской «Поэмы без героя» он видит исторические реалии. Зимой тринадцатого года действительно была гололедица, и кареты валялись с мостов. Извозчики, поджидавшие театралов, жгли костры. Красавица-актриса Ольга Глебова-Судейкина — «белокурое чудо» — была близкой подругой Ахматовой.

В пастернаковской поздней лирике Чуковского радует узнавание именно переделкинских рощ и того ручья, которым начинается речка Сетунь.

Такая пристальная зоркость критика-реалиста помогала и помогает приблизиться к великой поэзии, проникнуть в ее сокровищницы. И многие начинают сознавать, что стихи, словно бы непостижимо далекие, вырастают из реального мира. И поэты, считавшиеся непонятными, чужими, — сродни понятному с детства Некрасову.

Чуковский в критике — просветитель и рационалист. А в поэзии — сказочник, фантазер. В его мире разговаривают крокодилы и умывальники, летают одеяла и посуда.

Долго, трудно пришлось ему отстаивать право на сказку, на веселый абсурд.

Но именно веселый и в конечном счете возвращающий к понятному и доброму миру, где терпят поражение тараканища и бармалеи.

Чаще всего он избегал мрачного, болезненного, ущербного; стремился к ясности, здоровью. Веселых леших он предпочитал печальным демонам.

Ему был чужд Достоевский, он не жаловал Цветаеву.

Он — литератор-труженик — с молодости, со времен газетной поденщины сохранил привычку работать повседневно, упорно, непрерывно. Он рано отказался от богемных и светских развлечений: не пил, не курил, не играл в азартные игры, не охотился, не рыбачил, не собирал коллекции...

Он в десять часов вечера ложился спать. Пока хватало сил, работал по дому, таскал воду, колол дрова. Хорошо ходил на лыжах, плавал, греб, любил долгие прогулки. В старости не покидал Переделкино; до начала последней болезни был неутомимым пешеходом.

Литература всегда оставалась его главной страстью — его работой и досугом, игрой и повинностью. Из этого единства выросла «Чукоккала». Он любил общество; был веселым тамадой на трезвых пирах слова, мысли и шутки. Для большинства их участников эти встречи оставались просто при-

ятными воспоминаниями. Он же в дневниковых записях, которые вел на протяжении десятилетий, отмывал из потоков досужей болтовни драгоценные крупинки для сокровищниц своей памяти.

* * *

Когда мы впервые пришли в его дом, он был уже общепризнанным и прославленным. Старики, знавшие его стихи с детства, читали их внукам. Его книги издавали в Западной Европе, в Японии, в Америке. К нему ежедневно прорывались писатели, журналисты, редакторы, режиссеры и операторы кино и телевидения, библиотекари, учителя... Постоянно звонил телефон, почтальоны тащили охапки писем, бандеролей, авторы книг и статей просили об отзывах.

Он не был смиренником. Он знал цену своему слову, образованности, известности. Ревниво дорожил своим временем, которого никогда не хватало. Его рабочие часы были священны. Случалось, он резко, даже грубо отваживал тех, кто мешал ему.

Но, закончив статью, очерк, заметку или деловое письмо, он тут же спешил прочесть написанное вслух — друзьям, знакомым, и отнюдь не только профессиональным литераторам.

Нам он читал свои предисловия к сборнику Пастернака, к «Чукоккале», статью о «Поэме без героя», некоторые письма и жалобы; давал с собой рукописи своих очерков о Зощенко, о Гумилеве. Первый раз нас это ошеломило, да и позднее всегда поражало, как настойчиво он требовал критических суждений.

— Прежде всего скажите, что именно не понравилось. Что режет ухо. Что кажется недостаточно убедительным, недостаточно понятным.

Многие уже тогда считали его олимпийцем. Добрым дедушкой всех советских детей. Старейшиной литературного цеха...

Таким изображали его юбилейные статьи, литературные обзоры, позднее — некрологи и воспоминания...

Нет, он никогда не застывал в монументальном величии. И менее всего был благостным патриархом.

«Молодость долго не покидала его», — писал он о Пастернаке. Молодость Чуковского длилась еще дольше. Молодыми были все его повадки-ухватки, ненасытная любознательность, порывистый нрав, неутомимое прилежа-

ние и юношески страстная приверженность к печатному слову.

Первую статью «Что такое искусство» он опубликовал семнадцатилетним. И в последующие семьдесят лет он каждый раз волновался, тревожился из-за каждой новой публикации. Клара Лозовская рассказывает:

«Когда рукопись, наконец, отвозили в редакцию, он нетерпеливо ждал сначала набора, потом корректур, первую и вторую, потом чистые листы, потом авторские экземпляры книги. Он засыпал меня вопросами... Малейшая задержка чудилась ему катастрофой, потому что каждый год, каждый день своей жизни он считал последним подарком судьбы».

Престарелый автор десятков книг каждую новую заметку готовил, напряженно беспокоясь, ждал ее появления нетерпеливо, трепетно и встречал радостно, как начинающий репортер.

Это безудержное стремление публиковать оказывалось иногда сильнее потребности высказать все, что первоначально хотел и именно так, как думал, ощущал. Властное желание увидеть свое слово напечатанным приводило к тому, что иногда он позволял это слово урезать, корчить.

* * *

— Писатель в России должен жить долго!

Эти слова мы не раз слышали от Корнея Ивановича. Он повторял их, говоря о новых публикациях Ахматовой, Булгакова, Мандельштама, Зощенко, вспоминая о своих тяжбах с редакторами. Впервые он сказал это, кажется, в 1956 году, когда начали воскресать из забвения и люди и книги.

Тогда стало обнаруживаться и то, как необычайно богат он, шутливо именовавший себя самым богатым стариком в Переделкине. В его памяти и в его архивах были накоплены несметные сокровища: образы людей, творивших русскую культуру, события, речи, стихи, рукописи, черновики... Он столько накопил и сохранил потому, что жил долго; и потому, что страстно любил все это; и потому, что его природа, его душевный строй позволили ему усвоить, осмыслить опыт своей жизни и многих других жизней, творческий опыт литературы, исторический опыт народа.

Первые напористые просветители XIX века — шести-

десятники и семидесятники, «ходившие в народ», и все их либеральные и революционные последователи — пролеткультовцы, рабфакотцы, энтузиасты ликбеза, — верили, что вершины культуры можно победно штурмовать в лоб, завоевывать лихими атаками, верили, что от миллионов букварей ведут прямые, короткие пути к Пушкину, к Толстому, в Эрмитаж, во МХАТ, к созданию новых, еще более значительных сокровищ культуры.

Подобными иллюзиями жили Чернышевский, Горький, многие старшие и младшие современники Чуковского; и он сам тоже не избежал влияния просветительских утопий.

Но с годами он постепенно убедился: чтобы вырастить колос, недостаточно самого сильного желания, — необходима долгая, упрямая, часто неблагодарная работа. И необходимо время. Он убеждался, что на высоты культуры нельзя вбежать, что ни колос, ни человек, ни книга не созревают ускоренно, досрочно.

Ему посчастливилось. Годы оттепели пришлось ему как раз впору. Его сосредоточенная воля восторжествовала. Он дожил до той поры, когда его сокровенные накопления стали жизненно необходимы для множества людей. И он — щедрый скупой рыцарь — успел раздать немалую часть своих сокровищ.

Под его рабочим столом в переделкинском кабинете стоял сундучок, в котором лежали стопы пожелтевших листов, тетради, записные книжки. К. И. годами собирал рукописи Некрасова.

В том же сундучке хранились рукописи Толстого и Чехова; их подарил Анатолий Федорович Кони — сенатор, тайный советник, академик, ученый, юрист и писатель — был председателем того суда, который в 1876 году, вопреки воле императора, оправдал революционерку Веру Засулич. Кони встречался, переписывался, дружил с Некрасовым, Гончаровым, Львом Толстым, Достоевским, Чеховым, Репиным. И в последние годы жизни дружил с Корнеем Ивановичем Чуковским.

В кабинете, где стоял заветный сундучок, Корней Иванович слушал стихи молодых поэтов, читал рукописи начинающих писателей, разбирал их, критиковал, хвалил.

И тогда связь времен становилась явственной, зримой, осязаемой.

Входя в эту комнату, мы испытывали и жадное любопытство, и счастливое сознание причастности.

Корней Чуковский олицетворял бесконечность, непрерывность жизни русского слова.

Каждый раз мы уходили от него со смешанными чувствами — стыда и радости. Стыдно было за то, что так мало сделали сами, так легкомысленно расходуем время и силы, так невзыскательны к себе и к друзьям...

И всегда радовались, что он есть. Дожил. Вопреки всему — успел. Не только посеял, но и увидел хоть некоторые плоды.

Он жил долго. К счастью для русской культуры.

В рабочем кабинете все сохранилось, как было в тот день, когда его увезли в больницу. Те же книги на столах; те же игрушки; снимки; тот же листок календаря. Дом стал музеем. Без помощи каких-либо учреждений. Его сохранили только любовь и самоотверженность дочери, Лидии Чуковской, внучки, Елены Чуковской (Люши), их сотрудниц, Клары и Фины.

Приходят люди из разных городов и разных стран. Приходят в одиночку, группами, многолюдными экскурсиями...

Дважды в год — в день рождения и в день смерти Корнея Ивановича — дом полон гостей. Они рассматривают выставки, специально подготовленные материалы из его архива. Читают воспоминания, слушают страницы из его дневников. Слушают звукозаписи его голоса. И нередко звучит смех. Почти так же, как бывало при нем...

Остались книги — слова, мысли, запечатленный голос, остались ученики.

Но нет Корнея Чуковского, который всем своим существом воплощал и олицетворял неразрывность живых нитей, тянувшихся от журналов Некрасова к «Новому миру» Твардовского, от Владимира Короленко к Фриде Вигдоровой, от современников его молодости Чехова, Репина, Блока к его новым молодым современникам.

Хорошие детские стихи писали и будут писать другие поэты. Историю литературы, язык и психологию детей исследовали и будут исследовать другие ученые. И, возможно, с большей свободой и большей глубиной, чем удавалось ему. Высокое искусство перевода, которому он обучил столько талантливых литераторов, совершенствуют новые мастера. За чистоту, за обогащение живого русского языка продолжают бороться и союзники и противники Чуковского...

Однако нет слова — понятия, чтобы определить его особое дарование, то, которое сделало его соединителем,

сцепщиком эпох, поколений, культур, влекло к нему людей разных возрастов, разных стран и разных взглядов.

Это неуловимое и неподражаемое дарование трудно обнаружить в одной книге, нелегко проследить и по собранию сочинений. Но его отсветы явственны в беспримерной «Чукоккале», в тысячах писем, в несчетных лекциях, речах, беседах...

И следы его живут в творчестве многих литераторов, зараженных, вдохновленных примером Чуковского, его помощью, критикой, шуткой... При нем люди становились лучше, женщины обаятельнее, мужчины — мужественнее, и все хотели быть умнее, талантливее, добрее.

Во всем этом не было ему равных, и нет у него ни наследников, ни учеников.

Р. говорила в доме Чуковских 1 апреля 1980 года: «Мы собираемся за этим столом с тех пор, как умер Корней Иванович, в двадцать первый раз. Но сегодняшней день отличается от предшествующих двадцати. Потому что все мы очутились в другом времени.

Оно началось для меня, как, вероятно, и для других сидящих здесь, двадцать второго января тысяча девятьсот восьмидесятого года. Когда был насильственно оторван от Москвы человек, бесконечно дорогой многим и многим *. Одно его присутствие вселяло надежду. С того дня живу в непрекращающейся тревоге за него, за близких, сознавая трудно переносимое бессилие чем-либо помочь. Может показаться, что наши новые общие и личные беды никак не связаны с памятью о Корнее Ивановиче. Но это только так кажется.

Нас разъединяют все нарастающие злые силы. Вольно или невольно порою и мы сами способствуем разъединению. Потому так бесконечно важно все то, что нас может объединить. Ваш дом, дух Чуковского нас объединяет.

Очень это трудно, но прошу вас, Лидия Корнеевна, вас, Люша, вас, Клара, вас, Фина, пока можете — продолжайте.

Об этом же прошу всех нас...»

* А. Д. Сахаров.

Л. Она умерла 25 мая 1977 года в семь часов утра. Хоронили на следующий день.

Никаких траурных объявлений не было. Известить удалось лишь немногих.

С ночи зарядил дождь — серый, холодный, осенний, то затихавший, то нараставший. К полудню маленькая ее квартира была полна. В тесной прихожей в углах и вдоль стен груды — плащи, пальто, зонты.

Гроб в комнате на столе.

Она неузнаваемая. Шафранно-желтая старушка. А ведь никогда не казалась старухой, даже в самые трудные дни болезни.

Все время входили и выходили друзья, знакомые, читатели. Бывшие колымчане и воркутинцы, жители соседних домов... На кухне курили. Толпились на лестнице, в подъезде.

В углу комнаты — проигрыватель. Бах. Негромко.

Ее сын Василий Аксенов, почерневший, осунувшийся, молча здоровался, медленно двигался, менял пластинки.

Гроб выносили под дождем. Автокатафалк, автобус, несколько легковых. До самой могилы провожало не меньше ста человек.

Кузьминское кладбище. Старое. Просторное. Зеленое. Широкая главная аллея. Гроб везут на каталке вроде больничной.

Свернули в боковую узкую аллею. Остановились. Дальше нужно было пробираться по щелям-проходам между оградами.

Потемневший крест на могиле мужа Антона Вальтера. Рядом свежая глинистая яма.

Дождь утих. Гроб опять открыли. Еще явственней неестественная желтизна чужого лица. Я спросил у Васи: «Можно говорить?» Он кивнул.

«Она была рождена для счастья. Чтобы быть счастливой и дарить счастье. Чтобы любить и быть любимой. Растить сыновей. Писать стихи и прозу. Учить студентов. Учить прекрасному. А на нее — на молодую, красивую, жизнерадостную женщину — обрушилось такое несчастье, такие беды и страдания, которые сломили многих крепких

мужчин; она испытала все ужасы сталинской каторги, погубившей сотни тысяч людей. Там она узнала о гибели старшего сына... А после десятилетнего заключения, после короткого промежутка надежд — новый арест, новые муки, осуждение на вечную ссылку. И уже на свободе — смерть мужа, доктора Вальтера, и все новые горести, новые разочарования. Короткие радости и долгие беды. И, наконец, мучительная, страшная болезнь. Но всегда и везде она оставалась сама собой. Всегда и везде была настоящим человеком, настоящей женщиной. Подобно тем деревьям на Севере, где она столько выстрадала, — деревьям, которые растут вопреки морозам и ураганам, растут и приносят плоды. Так и она каждый раз поднималась над своими несчастьями — работала, дарила радость и сама умела радоваться.

Ее книга приобрела всемирную славу. Эта книга была первой в ряду, который еще продолжается и будет продолжаться. Все, кто с тех пор писал и пишет воспоминания, кто старается запечатлеть, осмыслить наше прошлое, трагическую судьбу нашей страны, мы все пошли по ее следам. «Крутой маршрут» — это начало новой главы в истории нашей общественной мысли и нашей словесности... Какое счастье, что она успела сама вкусить хоть частицу своей славы. Увидела Париж, побывала у Бёлля в Кёльне. И как прекрасно радовалась она этой поездке... Горько, что не дожила до издания второй части.

Она мучительно умирала. Смерть была избавлением от мук. И все же это нелепо жестокая смерть, которая принесла всем нам горе, боль... Но смерть прошла. А бессмертие будет длиться. Она будет жить, пока живы те, кто ее помнит. Будет жить еще дольше, как тот язык, на котором написана ее книга, и те языки, на которые эту книгу перевели и переводят».

Потом говорила Зора Ганглевская, бывшая эсерка — невысокая седая женщина, говорила тихо, глуховатым, ровным голосом:

«...Когда к нам на Колыму прибыл тюремный этап, я тогда работала в больнице сестрой, женщины принесли ее очень больную, истощенную. В жару. Принесли и сказали: «Лечите ее. Женя должна жить, обязательно должна. Она самая лучшая, самая талантливая. Она обо всем напишет». Мы ее выходили. И в нашей больнице все ее очень полюбили. С тех пор у нас была дружба. И вот она жила и писала. А сколько могла бы еще написать... Кто ее знал, никогда не забудет, всегда будет любить. Прощай, Женя...»

Подошла к гробу еще одна давняя подруга, Вильгельмина Славуцкая.

«Я хочу сказать Алеше,— Алеша стоял напротив, высокий, красивый, рассеянный, в пестром кепи,— твоя бабушка, Алеша, начала писать свою книгу как письмо внуку. Мы все тебе за это благодарны. Но ты должен быть достоин этой книги. Это высокая честь. Помни бабушку».

...Последнее целованье. Стук молотка. Отрывистый, надмогильный стук. Он и в крематории — в машинно-стандартном цехе смерти — напоминает о кладбищенских прощаниях.

...Поминки были за тем же столом, на котором утром стоял гроб. Обычные поминки, печальные и хмельные, когда к концу уже иногда смеются чаще, чем плачут.

Вася вспоминал, как ездил с матерью в Париж. Дочь Тоня в этот день прилетела из Оренбурга, где гастролировала ее театр, опоздала к выносу, к похоронам и одна сидела вечером у могилы. На поминках она рассказывала, как мать любила праздничать, как веселилась и заражала весельем.

Кто-то сказал:

— Надо писать о ней. Надо, чтобы написали все, кто ее помнит.

2

Р. Я ее увидела впервые в августе 1964 года у Фриды Вигдоровой, которая торжественно сказала:

— Евгения Семеновна Гинзбург-Аксенова, написавшая «Крутой маршрут», приехала из Львова.

Когда я раньше, читая рукопись, пыталась представить себе автора, передо мной вставало страдальческое, трагическое лицо старой женщины.

Моложавая, хорошенькая, веселая. Полная, но движется легко. Волосы на прямой пробор, сзади пучком. Не по моде. На шее — завитки. Никакая не страдальца. Скорее, благополучная дама. Холеная, ухоженная. У таких бывают домработницы, дачи, машины.

Глаза светятся умом.

В ее лице — в мягко, но широко развернутых скулах, в разрезе глаз,— и татарские, и российски-простонародные черты. Этим она по-сестрински походила на Фриду,— отсветы давних событий истории в лицах русско-еврейских интеллигентов.

Однажды я видела, как она разговаривает с татарской

крестьянкой. Обе круглолицые, скуластые, пригожие. И говор у обеих округлый, мягкий. Резко отличный от того среднеинтеллигентского языка, который обычно звучит вокруг нас.

— Если верить в переселение душ, то я в прошлой жизни была деревенской бабой.

Через месяц после первого знакомства мы поехали во Львов в командировку. Идти к ней я боялась. Но она так приветливо встретила нас в городе, который показался чужим, неприятным, что нигде не хотелось бывать без нее. Расставались, когда мы уходили читать лекции.

В первый же вечер засиделись допоздна, начался ливень, и она оставила нас ночевать.

— У меня никакого угощения, только чай, яйца.

К еде равнодушна.

Маленькая квартирка, скудно обставленная, чистенькая. Репродукция Мадонны Рафаэля — она потом переехала в Москву. Фотография Пастернака висит так, что входящие ее не видят, — я бы не заметила этого, но она сама показала — только для своих. Стопки нот.

Мы говорим, говорим, перескакиваем с темы на тему — ее и. Левины тюрьмы и лагеря, московские новости, политические и литературные, книги Василия Аксенова, львовская газета, в которой она работала внештатным корреспондентом.

Много рассказывала о покойном муже, Антоне Яковлевиче Вальтере. Немец из Крыма. Врач, увлекся фольклором, записывал немецкие песни, сказки. Несколько раз встречался с Жирмунским. И арестован был «по делу Жирмунского».

Когда Евгению Семеновну и доктора Вальтера реабилитировали, они поселились во Львове. Вальтеру очень понравился город — улицы, костелы, здания, сохранившие дух немецкого зодчества.

Они оба начали там работать. Все шло к лучшему. Однако внезапно вернулась лагерная цинга.

— Авитаминоз, хотя было полно фруктов, но его организм уже не усваивал... Антон ведь долго был на общих в шахте. Семь ребер сломано. Лечила его в Москве, похоронила в Кузьминках.

Она читала нам стихи Коржавина. От нее я и услышала впервые:

...Так бойтесь тех, в ком дух железный,
Кто преградил сомненьям путь,

В чьем сердце страх увидеть бездну
Сильней, чем страх в нее шагнуть...

У меня в дневнике записано: «По мировоззрению — коммунистка, по мироощущению — нет».

Она сама сначала не хотела восстанавливаться в партии. Но партследователь спросил: «А что же вы будете писать в анкетах? КРТД? *»

— Для Антона мое восстановление в партии было ударом. Восстанавливал Комаров. Хвалили за то, что я проявила большевистскую стойкость, ничего не подписала ни о себе, ни о других.

С Павлом Васильевичем Аксеновым, бывшим мужем, вновь встретились в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году в Казани.

— Как был ортодоксом, так и остался.

Для нас тогда именно это различие: ортодоксы и либералы — во многом определяло отношение к людям.

Девятого апреля 1965 года она писала из Львова:

«Раечка, дорогая, спасибо вам большое за пересылку письма Солженицына, которое доставило мне большую радость... Пожалуйста, перешлите ему мою записку с благодарностью за внимание и доброе слово. Очень мне хотелось бы с ним встретиться, но это так трудно, поскольку и он и я живем в провинции».

Они встретились в Москве. По телефону назначили свидание неподалеку от того дома, где он обычно останавливался, когда приезжал из Рязани. Взглянули друг на друга и отвернулись. Продолжали ждать. Потом все же сделали несколько шагов, стали неуверенно переглядываться и оба почти одновременно сказали: «Я вас совсем не так представлял себе!»

* * *

Сохранился снимок — мы у подъезда ее львовского дома, улица Шевченко, 8. Она улыбается, щурится, глазачелочки.

Другой снимок — в профиль. Закальвает шпильки. Поправляет волосы. Древнее женственное, кокетливое движение. Высоко поднят локоть. Изящна линия руки. Она зна-

* КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность.

ла, что ей идет этот жест. Любуюсь. И больно. Тридцать четыре года ей исполнилось в тюрьме. Освободилась она после пятидесяти.

Глядя на молодых, нарядных женщин, она иногда говорила с горечью:

— Такой я не была, это у меня отняли, украли.

Утрата «женских расцветных годов», как она сама их называет, была, пожалуй, горше, чем утрата работы, чем утрата самой свободы.

Во Львове она познакомила нас со своим другом, Леонидом Васильевичем. Полковник в отставке — высокий, светло-русый, красивый. Он восхищался ею, она радовалась его восхищению.

Осенью она писала нам, что он уехал в Тулу к умирающей матери: «Я лишена постоянного понятливого собеседника именно в то время, когда он особенно нужен».

В 1965 году в Киеве и Львове арестовали нескольких молодых поэтов и художников. По обвинению в национализме. Опять началось с Украины — там и тридцать седьмой начался в тридцать четвертом.

На первомайской вечеринке возник спор: правы ли молодые люди, надо ли было затевать рукописный журнал, арестовывают ли теперь без основания и т. д. Одни защищали, другие осторожно осуждали арестованных. Леонид Васильевич хотел что-то сказать, но вырвался лишь хрип, и он упал на руки Евгении Семеновны мертвым.

После смерти Леонида Васильевича ей уже невмочь было оставаться во Львове. Она писала (4.I.1966): «...сколько бы вы ни желали ускорить мне обмен жилья с Москвой, а он, увы, опять сорвался. В этом есть что-то фатальное... Видно, Лычаковское кладбище никак не хочет уступить меня Кузьминскому (видали юмор висельника?)».

Временами выходом становились дома творчества. Сын доставал ей путевки. Ей нравился размеренный режим, прогулки, возможность работать без помех, возможность общения.

Когда она впервые приехала в Малеевку, регистраторша спросила:

— Вы член семьи?

Она ответила привычно:

— Нет, у меня самостоятельное дело.

Перебраться в Москву было трудно. Но помогли друзья, помогли читатели — знакомые и незнакомые, боль-

ше тридцати человек. Особенно много сделали Рой Медведев и Григорий Свирский, в ту пору оба члены партии. Ходатайствовал за нее и работник ЦК Игорь Черноуцан.

Одни помогали коммунистке, которая осталась верной знамени и после восемнадцати лет лагерей; другие — жертве режима; третьи — писательнице, поведавшей правду и значит, вне зависимости от ее намерений, разоблачающей систему; четвертые — заботились о друге.

В 1966 году она въехала в однокомнатную квартиру на Аэропортовской в писательском кооперативном доме.

Давая свой номер телефона, говорила:

— Начало, как у всех в наших домах, — сто пятьдесят один, а дальше все про меня: первое — когда? — тридцать семь, а второе — сколько — восемнадцать.

После переезда в Москву она иногда спрашивала:

— А может быть, я должна была тихо сидеть во Львове, писать и писать свое?!.. Но ведь живой же человек?!

Противоречия, раздор, даже раскол между писателем и человеком — один из источников драматизма последних лет жизни Евгении Гинзбург.

Она писала 5 апреля 1965 года из Львова: «Да, Раечка, вы верно почувствовали, что за моим кратким поздравлением к двенадцатому празднику 8 Марта стоит довольно грустное настроение. Да с чего бы, собственно, веселиться? Оставшиеся мне считанные годики, а может, и месяцы (это не пессимизм, а просто реальный учет возраста) бегут стремительнее, а то, что надо доделать, все еще не доделано, тонет в торопливости каждого дня...»

Она не была самозабвенно жертвенным служителем Слова. Ее могли отвлечь от работы большие и малые радости, будничные заботы и праздники, порой и просто суета. Но она преодолевала стремление к радостям — такое неутоленное, преодолевала болезни, преодолевала страх.

Память и долг властно возвращали к старой пишущей машинке без футляра, аккуратно прикрытой красной рогожной накидкой.

Переехав в Москву, она не вступила ни в Союз писателей, ни в группком при издательстве. Прикрепилась к партийной группе при домоуправлении как пенсионерка. Платила членские взносы. Выпускала дважды в год стенгазету. Исправно ходила на собрания (она все делала исправно). И продолжала писать «Крутой маршрут».

— В моей партиячке одни отставники, «черные пол-

ковники» *, понятия не имеют, кто я, вообще понятия не имеют о самиздате.

Необходимость хоть изредка их видеть, слышать, ходить на собрания тяготила ее все больше, внушала отвращение. Но именно эта парторганизация дала ей в 1976 году характеристику для поездки в Париж.

Рукопись «Крутого маршрута» с начала 60-х годов читали, передавали друг другу, перепечатывали. В ИМЭЛе сделали 400 экземпляров (туда рукопись переслали из журнала «Юность»).

Рой Медведев, который подружился с Евгенией Семеновной (она ласково называла его «племянник», его отец погиб в годы террора), дал «Крутой маршрут» А. Д. Сахарову. В Институте физики рукопись размножили на «Эре». Еще жива была первая жена Андрея Дмитриевича. Прочитав, она сказала:

— Так вот в какой ужас Рой хочет ввергнуть тебя и всех нас.

Подобная реакция в те годы была редкой.

Одна из читательниц Е. С. продиктовала всю книгу на магнитофонную пленку.

В последние годы Евгения Семеновна часто повторяла:

— Я благодарна Никите не только за то, что всех нас выпустили — не то лежала бы в вечной мерзлоте с биркой на ноге, — но и за то, что избавил нас от страха. Почти десять лет, пока не арестовали Синявского и Даниэля, — я не боялась.

Если бы можно узнать истинные самиздатские тиражи, — думаю, что «Крутой маршрут» занял бы одно из первых мест.

Рукопись попала на Запад. В 1967 году итальянский издатель Мондадори выпустил книгу одновременно по-итальянски и по-русски. Многие главы передавали по Биби-си.

Министр Госбезопасности Семичастный на собрании в редакции «Известий» заявил, что «Крутой маршрут» — «клеветническое произведение, помогающее нашим врагам». Это сказал всесильный глава всесильного КГБ.

Еще во Львове мы узнали, что есть другой вариант рукописи, гораздо более резкий. Озаглавленный «Под сенью Люциферова крыла». Она рассказала об этом шепотом в безлюдном парке.

* Так называли вождей диктатуры в Греции.

Несколько лет спустя я спросила об этой рукописи. Она ответила:

— Сожгла. Испугалась и сожгла.

Окрик Семичастного вернул былые страхи... Иначе и быть не могло. Не вижу я того героя, который после восемнадцати лет не боялся бы повторения. Да разве только зеки? Боятся сыновья и дочери лагерников. Сыновья и дочери тех, кто тогда боялся лагеря. Боятся подавляющее большинство, и не без оснований.

Она сама пишет в конце книги:

«Можно еще понять, а поняв, простить тех, кто навеки ушиблен страхом, кто не в силах победить свою нервную память. Рецидивы страха,— впрочем, не доводящие до отречения от прошлого, от друзей, от этой книги,— я и сама порой испытываю при ночных звонках у двери, при повороте ключа с наружной стороны».

Испугались за нее друзья. Стали придумывать, как защитить. Устроили интервью с корреспондентом газеты «Унита», которому она сказала: «Книга издана за границей без моего ведома и согласия».

Это было правдой. Но тому, что рукопись стала книгой и в Италии и в Германии, во Франции и в США,— она радовалась.

Я переводила ей рецензии из американских и английских газет и журналов. Ее раздражало, что некоторые рецензенты объединяли «Крутой маршрут» с книгой Светланы Сталиной «Двадцать писем другу», вышедшей почти одновременно. Наши попытки защищать Светлану были безуспешны,— она ненавидела все, что хоть как-то было связано со Сталиным.

Вскоре сняли Семичастного.

Непосредственная опасность для нее миновала...

3

Л. В октябре 1970 года в Москву приехал президент Франции Помпиду. В числе сопровождавших его журналистов был Кароль — известный публицист-политолог, автор книг о Китае и Кубе. Он родился в Польше, в семье коммунистов, в 1939 году шестнадцатилетним бежал от гитлеровцев на Восток; окончил школу в Ростове, поступил в университет, стал солдатом; был арестован за «антисоветские разговоры». Из лагеря опять попал на фронт в штрафбат. После войны репатриировался в Польшу и оттуда уехал во Францию.

Кароль — «независимый левый». Весной 1963 года он, сотрудник журнала «Экспресс», участвовал в издании «Автобиографии» Евгения Евтушенко, которая вызвала ярость партийных чиновников и некоторых руководителей Союза писателей. Именно Кароль обратился тогда за помощью к Тольятти, и тот вступился за поэта. Кароль очень обрадовался, когда мы его познакомили с Евгенией Гинзбург.

— Ваша книга — замечательное произведение. И документальное, и художественное. Мало сказать правду, нужно еще, чтобы ей поверили. И поверили не только те, кто ничего не знает, но и предвзятые, обманутые. Ваша книга и убеждает, и переубеждает.

Кароль понравился ей так же, как и нам. Они разговаривали вполне дружелюбно, пока он расспрашивал, слушал. Но едва он сочувственно отозвался о Че Геваре, о студенческих бунтах в Париже в мае 1968 года, она рассердилась:

— Да что вы такое говорите! Этот Гевара — обыкновенный бандит, фанатик, а ваши мальчишки и девчонки просто ошалели от дурацких лозунгов, от наркотиков. Мolestя на этого Гевару, а еще хуже — на Мао.

Кароль пытался возражать, но она прерывала его все запальчивее, все громче:

— Простите, но вы ничего не понимаете. Мао — новое издание Сталина. Иногда натыкаешься на их радиопередачи — такие противные, визгливые дисканты. Как они славят своего великого кормчего, самого великого. Все то же самое, что было у нас. А ваш Сартр — идиот или подлец. Да как можно говорить о революции после всего, что было? Все революции преступны. Безнравственны! Бесчеловечны!

Ее голосисто поддерживали еще некоторые участники беседы. Каролю с трудом удавалось прорываться.

— Позвольте, позвольте, я не могу понять. Вы не верите вашим газетам, когда они пишут о Западе или о вашей стране. Почему же вы им верите, когда они врут о Китае? А я там был. Дважды. И подолгу. Ездил по стране. Разговаривал и с Чжоу Энляем, и со студентами, и с рабочими. У них там многое плохо, отвратительно. Есть и фальшь и жестокость. Но их система совершенно иная, чем ваша. Культурная революция была сначала именно революцией. Молодежь восстала потому, что не хотела мириться с бюрократией и не хотела таких порядков, как у вас. Мао был достаточно умен и не только не пытался подавлять это дви-

жение, но стал направлять его. Конечно же, в Китае много страшного, жестокого. И я об этом писал. Но у них там совсем другие порядки, чем у вас. И политика противоположна вашей. В Китае впервые за сотни лет нет голодающих. Нет голода, нет нищеты... Вы воспитаны в сталинской школе нетерпимости. Вы бросаетесь из одной крайности в другую. Я понимаю ваш гнев. Вчера и сегодня я был с Помпиду на приемах. Бюрократические спектакли. Пошлые, глупые ритуалы. Я хожу по улицам и вижу, как не похож мир Кремля и министров на мир улиц, магазинов, пивных и на этот ваш мир. Между ними пропасти. Но сейчас я наблюдаю странный парадокс — эти разные миры совпадают в одном: они чрезвычайно консервативны. Можно понять, почему ваше правительство не хочет самостоятельности масс. Но, оказывается, и вы отвергаете все революции, потому что они безнравственны. Что же, вы хотите их запрещать? Не допускать? А вам нравятся землетрясения или тайфуны? Они тоже безнравственны и бесчеловечны!

— Ах, неизбежность революции! Это сказка, придуманная Марксом. У нас в двадцатые годы троцкисты кричали о мировой революции. А теперь и вы о том же, Шведы и англичане обошлись безо всяких революций. У них безработные живут лучше наших рабочих и наших профессоров.

— Вы забываете, что и там были в свое время революции. Да и сегодня не все там согласилось бы с вами, что они живут как в раю. А неизбежность революции — совсем не сказка. Пример — май тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, он застал нас врасплох. Это была настоящая стихийная революция. Никто не знал, что делать. Коммунисты растерялись больше всех. Теперь мы стараемся извлекать уроки. Мы должны быть готовы к неизбежным потрясениям, чтобы предотвратить такие разрушения, такие жертвы, которых можно избежать, чтобы революция не выродилась в террор, в тоталитаризм. Мы не хотим повторять ни вас, ни китайцев.

— Не хотите, не хотите, но умиляетесь китайским палачам, так же, как Ромен Роллан и Фейхтвангер умилялись нашим палачам. Вы пресыщенные снобы, вы с жиру беситесь, сами не понимаете, что делаете! Вы и себя погубите в конце концов. Опомнитесь, когда уже поздно будет!

Кароль тоже разгорячился, перестал сдерживаться и кричал уже почти как его оппоненты:

— Это не так, это все не так! Мы стараемся вас изучать и понимать. Поймите же и вы — кроме ваших вчераш-

них бед сегодня есть и другие страшные беды. На земле миллиард голодающих. Ежедневно от голода умирают сотни тысяч людей. Во Вьетнаме, в Индонезии ежедневно убивают людей. Убивают, и пытаются, и мучают... Мы сочувствуем вам. Мы говорим и пишем о Солженицыне, Синявском, Даниэле, Гинзбурге, Галанскове, ходатайствуем, протестуем. Но мы не можем забывать о страданиях других людей в других странах. Вы кричите: «пресыщенные снобы». Но вы же ничего о нас не знаете. Да, у некоторых из нас достаточно денег, чтобы спокойно жить, писать статьи, книги, наслаждаться искусством, путешествовать. Но мы ввязались в политическую борьбу только потому, что так нам велит совесть, велит сострадание... А вы это называете снобизмом?

Спор иссякал безысходно. Кароль ушел едва ли не в отчаянии.

На следующий день он говорил мне:

— Гинзбург — замечательная женщина. Я и раньше знал, что она прекрасная писательница. А вчера любовался ее пылом, ее молодой страстностью. Она была похожа на наших студенток, на самых радикальных, тогда, в мае. Но она их проклинает, не хочет понимать. Это ужасно, что лучшие ваши люди становятся такими убежденными реакционерами. Это одно из самых жестоких последствий сталинизма.

А Евгения Семеновна, вспоминая о Кароле, говорила:

— Он, конечно, умен и многое знает. Но только мозги у него набекрень. Типичный троцкист. Я их встречала в молодости. Один из таких даже ухаживал за мной. Противный был крикун. Я их всегда не любила. И вот извольте — полвека спустя опять то же самое: «мировая революция!», «управлять стихиями»; они там, на Западе, совсем обезумели.

4

Р. Она привыкла быть первой. В тюремных камерах, в ссылке, да, вероятно, и много раньше — в школе, на рабфаке, в университете. Она везде естественно становилась центром, средоточием любого общества. Потому что она была хороша собой, общительна, остроумна, чаще всего бывала самой образованной, поражала необычайной памятью, увлекательно и артистично рассказывала.

Она отлично уживалась и с соседками по большой коммунальной квартире. Поэтому к ней тянулись старые и

молодые, утонченные интеллигенты и рядовые партийцы, эсеры и сталинисты, светские дамы и колхозницы...

Живой ум, энергия, темперамент, а с ними и стремление первенствовать, конечно же, прирожденны, как музыкальный слух или память. Но в юности эти ее свойства вивались и усиливались в среде казанской партийной интеллигенции, а позднее — на тюремных нарах, в этапах.

Она ощущала и сознавала, что привлекательна, сознавала неизбежность своих жизненных сил. И это сознание еще больше укрепляло их.

Она испытала много несчастий, но не знала ни тоски женского одиночества, ни боли безответной или обманутой любви. Она вынесла, преодолела, сдюжила ужасы восемнадцатилетней каторги. Так возникло гордое сознание победы.

Сначала, должно быть, радостное удивление. Вот оно, значит, как! Все-таки сумела!

Но была и горечь — сколько жизни упущено безнадежно, утрачено безвозвратно!

Чем больше времени отделяло ее от Колымы, чем громче звучали голоса почитателей, тем чаще, тем злее донимали и горькие мысли:

— Как вы не понимаете, я просто больная старуха! Все слишком поздно! Постучу на машинке полчаса и устаю, будто лес валила. Одышка, аритмия. Ах, бедная, бедная Женя, какая была когда-то неутомимая. А теперь даже думать трудно. Теперь я понимаю, что это значит — растекаться мыслью по древу. Раньше всегда считала, что это вычурный образ. А теперь сама ощущаю, как мысли растекаются, расплзаются... И никому я не нужна. Противно глядеть на себя и на весь Божий свет.

Но уже через несколько дней или даже через несколько часов она могла с гордостью рассказывать:

— Сегодня я прошла двадцать тысяч шагов. Точно по шагомеру. Вначале была одышка, но я себя заставила. И вот теперь как огурчик. И уже не меньше четырех часов просидела за машинкой. Не знаю, что получилось, но восемь с половиной страничек почти готовы. Значит, есть еще порох в пороховницах!

Окончательно переехав в Москву, она уже не всегда и не везде чувствовала себя первой. Еще реже — единственным средоточием внимания. Новые друзья, новые знакомые были ей интересны, многие приятны, иные становились душевно близки. Она снова и снова слышала похвалы,

ею восхищались известные литераторы, ученые. Но в их обществе, да и среди менее знаменитых, однако не менее самоуверенных и говорливых москвичей ей приходилось как бы каждый раз заново самоутверждаться.

Ее московская квартира была обставлена без претензий, старосветски уютно: пианино, диван с подушками, старое мягкое кресло, шаткий телефонный столик, овальный стол, накрытый скатертью с бахромой, много книг — на полках, на столе, на стульях. Большая репродукция Мадонны, привезенная из Львова. Много снимков: сыновья, Тоня в разных ролях, Антон Вальтер, Пастернак, Солженицын, Рой Медведев, родители. Она сама в молодости. К ней приходило множество разных людей, иногда и вовсе не знакомых друг с другом. К ней приходили солагерники, соэтапники, их дети и друзья, «разночинные» интеллигенты, литераторы, врачи, юристы, работники издательств, редакций, научных институтов, театров. Поэтому день рождения Евгении Семеновны 21 декабря праздновался обычно в два, а то и в три приема. Она относилась к этому очень серьезно, распределяла, тщательно подбирала: кто с кем совместим за одним столом. И это было тоже желанием вернуться назад, отпраздновать, как прежде.

Л. Она судила о стихах, о книгах и о некоторых людях, как нам иногда казалось, несправедливо, пристрастно: то чрезмерно сурово, то очень уж снисходительно.

В «Крутом маршруте» она писала: «За весь этот год было, пожалуй, одно радостное событие: в начале весны нам удалось получить из библиотеки большой однотомник Маяковского.

Несколько недель мы живем только Маяковским...»
А нам говорила:

— Разлюбила я Маяковского. В молодости очень любила, а теперь нет. Грубый, крикливый. Газетчик, а не поэт. И уж так советскую власть славил. Агитатор! Горлан! Нет, разлюбила. Правда, после него многие еще хуже были... Я ни от кого не требовала послания «во глубину сибирских руд». Но подличать зачем? Ведь почти все советские писатели прямо сотрудничали с властями, проклинали врагов народа и, значит, всех нас. А русская литература всегда была за угнетенных, за униженных и оскорбленных.

— ...Вы читали новые стихи Н.? Ах, вам они не нравятся. Уж это Лидия Корнеевна вас так научила. Вы литературные максималисты и ригористы. А я простая учитель-

ница словесности. И еще я рядовая газетчица. И я благодарна за каждую честную книгу, за каждое искреннее стихотворение. Ведь не могут же все писать, как Толстой, Твардовский или Солженицын. И этот роман (повесть, поэму) надо мерить другим аршином. В своих масштабах — это вполне достойное произведение. В нем высказана правда, пусть не вся, пусть осторожно — но хоть кусочек правды. Есть хорошие мысли...

— Почему вы плохо говорите о Д.? Может быть, он и не блещет умом, но он вовсе не дурак. И по характеру очень добрый человек, вполне порядочный. Вы на него опять за что-то сердитесь? А ко мне он очень хорошо относится. Вчера опять звонил, хочет устроить мне одну литературную работенку. Нет, ни за что не поверю, что он способен на дурной поступок. Правда, он иногда боится, перестраховывается. Но это можно понять. Он ведь на службе. Это нам с вами хорошо, вольным казакам. Нет, нет, напрасно вы к нему придираетесь...

— Вчера опять проскучала весь вечер с Т. Но с ней я спорить не могу. Она, знаете ли, такая правильная, ортодоксальная. Однажды Вася при ней стал высказываться, и она пришла в ужас: «Женя, как вы допускаете, чтобы ваш сын так думал, так рассуждал? Ведь это хуже, чем ревизионизм! Это уже посягательство на основы основ, на самое святое! Вы должны повлиять на него. Он же член Союза писателей, он ездит за границу!» Я ее успокаиваю, дескать, это просто шутки, у молодых теперь такой *façon de parler*. Но она все кудахтала, ужасалась, чуть не плакала... Нет, возражать ей бесполезно. Ведь она восемнадцать лет была в лагере. А теперь даже Сталина пытается защищать: «Ах, он все-таки был большевик, он строил социализм». Но я ее люблю, и она меня любит. Ничего не поделаешь, старая дружба. Однако мою книгу ей не давала и не дам. Она хочет все забыть. Если бы прочитала, умерла бы от ужаса, от огорчения. И вас я не зову, когда она приезжает, — а то еще ляпнете что-нибудь похуже, чем Васька.

К близким друзьям и даже просто к хорошим знакомым она обычно была терпима. Спорила. Иногда сердилась. Но многое спускала. Так она уже в последние годы прощала Рою Медведеву его марксистскую идеологию, полемику с Сахаровым и Солженицыным. Бывшему арестанту Льву Матвейчу — его наивно ортодоксальный «старобольшевизм», Тамаре Мотылевой — верность партийным основам, при всех либеральных оговорках...

Личная приязнь или неприязнь ей были важнее любых разногласий.

— Женю Евтушенко я очень люблю. Он такой большой ребенок. Искренний до наивности. Передо мной вдруг упал на колени: «Я хочу, чтобы вы были моей мамой, считайте меня сыном». Ну, совершеннейший мальчишка. А стихи у него есть прекрасные — «Наследники Сталина», «Бабий яр» и «Станция Зима», по-моему, они по-настоящему поэтичны. Или, например, «Исчезают в России страхи...» Ведь прекрасные же стихи, и Шостаковича они вдохновили. Эти снобы теперь завели моду его ругать. А по-моему, он лучше Вознесенского. Тот очень талантливый, но какой-то искусственный, машинный.

5

Р. Каждый год Евгения Семеновна проводила по две-три недели на теплоходах.

— Открываю и закрываю навигацию.

Она любила эти плавания, радовалась волжским просторам, прогулкам по новым городам и полированному комфорту. И строго соблюдала свой неизменный режим.

Весной 1970 года с ней поехала ее старая казанская подруга. И поставила условие:

— Никаких разговоров о «Крутом маршруте». Ты пенсионерка, а я еще на службе. Так что о себе никому ничего не рассказывай.

К их столику все чаще подсаживался высокий, сухощавый, сутулившийся мужчина. Глаза прозрачно-бледной голубизны. Инженер, бездетный вдовец, Евгений Николаевич.

Теплоход приближался к Казани. Пассажиры сгрудились на палубе.

Кто-то заметил:

— Вот моя alma mater. Я здесь кончил юридический еще до революции.

— А я историко-филологический в двадцать пятом году,— не удержалась Евгения Семеновна.

И сразу же услышала голос Евгения Николаевича:

— Значит, вы учились вместе с Евгенией Гинзбург?

— С какой Гинзбург??

— Неужели вы не слышали? Автор «Крутого маршрута».

— Кажется, встречала.

Она ответила сухо, растерянно, обернувшись к подруге.

Евгений Николаевич посмотрел огорченно. Больше к их столику не подсаживался.

Его каюта была напротив рубки радиста. Порыв сквозняка распахнул двери в коридор, и несколько писем вылетело. Он поднял и увидел на конверте: «Евгении Семеновне Гинзбург». Принес ей письмо.

— Оказывается, это вы...

Мы рассказывали друзьям и знакомым эту майскую сказку. Значит, все же бывают чудеса.

В сентябре того же семидесятого года у нее оказались лишние билеты на теплоход «Добролюбов» Москва—Пермь—Москва. Мы обрадовались ее предложению плыть вместе и тогда познакомились с Евгением Николаевичем. Двенадцать дней мы вместе завтракали, обедали, ужинали. Часто гуляли вчетвером. Сидели на палубе.

В ресторане каждый из них платил за себя. Они называли друг друга по имени-отчеству. Изредка случались обмолвки: «ты», «Женя». Мы делали вид, что не замечаем.

Он старомодно ухаживал. Она кокетничала, молодела, хорошела. А он сиял от гордости.

И я заново влюбилась в нее, как тогда во Львове. Любовалась ее радостью — такой поздней и такой заслуженной.

Он казался прочной опорой — женщина может прислониться. О себе рассказывал мало. Больше о детстве на Волге, о рыбалке. В споры не вступал. Политику откровенно презирал — всегда. От литературы был далек. И не притворялся, будто ему важно все то, что так занимало нас троих.

Главное — он ее любил.

...Вечер. Палуба. Она читает «Русских женщин». Мы отдыхаем. Волга. Свобода. Беспечные люди.

А я пытаюсь представить себе тюремные камеры, где она читала Некрасовскую поэму, дарила стихи своим несчастным товаркам — и тем, кто слушал впервые, и тем, кто вспоминал, слушая ее.

В главе «Седьмой вагон» она писала, что героини поэмы Некрасова «воспринимаются сейчас как соседки по этапу. Никто бы не удивился, если бы рядом с Клавой Михайловой и Надей Царевой здесь была бы Маша Волконская и Катя Трубецкая».

При Николае Первом тоже арестовывали, ссылали на

каторгу, убивали своих, даже тех, у кого сам царь крестил детей, с чьими женами и сестрами танцевал на балах.

И география неизменная — Шилка, Нерчинск. Многое похоже.

Но как усовершенствовалось мучительство за столетие! Иркутский губернатор уговаривал Екатерину Трубецкую не ехать дальше. В тридцать седьмом году не было, да и теперь вряд ли найдешь таких «губернаторов».

Снова чувствую, как я люблю Некрасова, как мне необходимо его стихи.

Евгений Николаевич восторгался:

— Какая память, а? Кто еще так может?

Мы оба вполне искренне:

— Никто!

И верно: ни один из окружающих меня людей не может прочитать наизусть «Евгения Онегина».

Два вечера подряд мы слушали «Горе от ума». Она не забыла ни одной реплики, ни одной ремарки.

В салоне теплохода несколько человек играют в карты. Люди незнакомые, но она к ним обращается:

— Зачем вы играете в карты, когда вокруг такая красота?

Л. пытается ее удержать:

— Женя, у вас большевистские замашки. Им хочется играть в карты, почему вы навязываете им свои вкусы?

— Ну, знаете, так можно далеко зайти. Например, оправдывать гомосексуализм или марихуану. В лагере я больше понимала женщин, которые спали с охранниками, чем лесбиянок или педерастов.

Когда в дождливые дни Л. с Евгением Николаевичем выпивали граммов по сто, по двести, она сердилась:

— Вам только повод нужен. Это просто распущенность.

Евгений Николаевич покурил, прятаясь от нее.

Первое время многие друзья так же, как и мы, радовались их союзу.

Она никому не позволяла называть их мужем и женой.

— Просто мы товарищи по старости.

Но вскоре в этом товариществе начали возникать трещинки и трещины.

Он просил ее соединиться, жить вместе. Но она отказывалась, говорила, что не может уехать из этого дома, что рядом Вася, друзья. Что она любит именно эту свою квартиру.

Она не могла без длительных прогулок, без поездок за город. Зимой она снимала комнату в Переделкине. А ему трудно было жить там, где отсутствовал минимальный комфорт.

Главное же — она не любила. Она лишь позволяла любить себя.

Ее приятельница говорила:

— Просто она необыкновенная, а он — обыкновенный. Может, и так.

Она заболела, он старел, хворал. Они все реже виделись. Он переехал в дом для престарелых и вскоре покончил с собой.

6

Едва ли не при каждой встрече она говорила:

— Скорее бы уже добраться до третьей части. До ссылки.

Добралась.

А в марте 77-го года на крыльце переделкинского дома заклинала:

— Дожить бы до осени. До издания второй и третьей части.

Не дожила.

Однажды она написала хвалебную рецензию на плохую книгу, и мы поспорили. Она соглашалась, что книга плохая, но упрямо отстаивала свое право — хвалить, потому что ей нравится автор, он добрый человек. Мы спорили сердито, раздраженно.

А потом она читала начало третьей части, и мне было стыдно за свои злые слова.

...Освобождение. Ни на минуту лишнюю ее не удержать за колючкой. Ничем, даже колымским бураном... Она бежит с тяжелым чемоданом в руках.

Хочу, чтобы она читала и скорее, и медленнее, — не пропустить бы ничего.

Двое влюбленных после тягостной разлуки бегут на встречу друг другу.

В литературе экзистенциального отчаяния они не могли бы встретиться, они были бы отчуждены, даже если бы жили вполне благополучно в одном доме.

Но «Крутой маршрут» принадлежит к иной литературе.

Евгения Гинзбург и в аду хотела оставаться сама со-

бой. Противилась жестокой стандартизации лагеря: кусочек старого меха, пришитый к телогрейке, красные домашние тапочки, платок няни Фимы...

В Магадане она была ссыльной. Туда, в барак, к ней приехал сын Вася. Ее разлучили с малышом — встретила юношу двенадцать лет спустя. И оказалось, они любят одни и те же стихи. Всю ночь читали друг другу.

23 октября 1964 года она писала нам из Львова:

«Две недели был Вася. Мне кажется, что этот его приезд должен положить конец тому нелепому отчуждению, которое создалось между нами за последние два года. Были у нас с ним на этот раз настоящие разговоры, такие, как десять лет тому назад в Магадане. Читали друг другу свои опусы и угадывали замечания. Даже стихи читали вместе, как когда-то.

Правда, остается все же то, чего мне не понять в нем: страсть к гусарским развлечениям, разболтанность в быту, какая-то странная непритязательность в выборе друзей. Не знаю, может быть, это возрастные барьеры?»

В последние годы и эти барьеры были преодолены. Судьба подарила матери и сыну счастье дружбы.

Новые главы она уже не выпускала из дома.

— Приходите, читайте. У меня на кухне читальня для друзей.

...Второй арест, «Дом Васькова» — магаданская тюрьма. Жутко так, будто это происходит сейчас со мной.

Рассказ этот я слышала от нее раньше. Одно время даже казалось — это можно опубликовать в «Юности», вслед за ее очерками о двадцатых годах.

* * *

— Я всегда знала, что буду писать. И все мои знали. Делились пайкой. Надо же, наконец, начать. Но первые три года на воле не было ни кола ни двора. Просто негде было поставить стол.

Начала летом пятьдесят девятого в Закарпатье. В лесу, на пне, в школьной тетради. Были там с Антоном и Тоней. Но я еще в тюрьме, в лагере сочинила отдельные главы. Твердила, как стихи, наизусть.

Вероятно, потому она писала сравнительно легко, быстро.

— Я прочитала главу «Бутырские ночи» первому слушателю Антону, он заплакал. Тогда я внезапно почувствовала, что ему недолго осталось жить.

К семидесятому году она хотела дописать только одну последнюю главу: «За отсутствием состава преступления».

В ту осень у нее часто болело сердце, донимала бессонница, она говорила, что не успеет закончить, что смерть перегонит.

И каждый раз я упорно повторяла:

— Вы обязаны не только закончить «Крутой маршрут». Вы должны написать и еще одну книгу — как у Томаса Манна «Роман романа»: как возникла рукопись, как росла, ее пути самиздатские и тамиздатские.

Эту книгу она написать не успела.

Случилось так, что я перечитывала «Крутой маршрут», уже закончив вчерне эти воспоминания. Сквозь первые страницы продиралась с некоторым трудом, задевали словесные штампы, сентиментальность, а то и газетные обороты.

Но все это скоро исчезло, наплывало негодование, ужас, сострадание, стыд. И я уже не думала, не хотела думать о том, как это написано. Некоторые словосочетания изредка продолжали коробить, но теперь уже неприятно, что я их замечаю.

Не знаю, какими художественными средствами автор передает мне невыносимость напряжения двух предтюремных лет. Вместе с героиней-автором приближаюсь к страшному, знаю, к чему, и тем не менее — скорей бы конец... Хоть какой-нибудь...

После первой встречи с этой рукописью мы прочитали в самиздате и тамиздате множество разных воспоминаний о лагерях — документальных и беллетризованных, наивно-бездарных и высокоталантливых. В «Крутом маршруте» теперь уже не осталось эпизода, мысли, настроения, фактов, которые не перекликались бы с фактами, мыслями, эпизодами, настроениями других книг. И об Архипелаге ГУЛага я, не побывавшая там, словно бы теперь знаю так много: Арест, Обыск, Допрос, Камера, Лагпункт, Этап, Нары, Придурки, Вертухаи. Все эти и многие иные слова того мира прочно вошли в наш быт, в сознание, в подсознание.

...Перечитывая «Крутой маршрут», не могла оторваться. Нет, я ничего не знаю. И совершенно безразлично, есть ли на свете другие книги об ЭТОМ.

Она как-то сказала: «И всех-то нас история запишет под рубрикой « и др.». Ну, Бухарин, Рыков и др.» Нет, не-

правда. Она, Евгения Гинзбург, написавшая «Крутой маршрут», она — единственна.

Живу ее жизнью. Теряю. Обретаю. Познаю безмерность горя и унижений.

Если все это так мне передается, так сохранилось, значит, это не просто документ, не просто «Хроника времен культа личности». Такое под силу только искусству. И неприязательность, общедоступность, наивность — это не слабости книги, это ее особенности.

...В начале 60-х годов мы надеялись, что вслед за «Иваном Денисовичем» выйдет и «Крутой маршрут». В том экземпляре «Крутого маршрута», который я перечитывала в 1977 году, вскоре после смерти автора, в главе «Седьмой вагон» — одной из сильнейших — меня что-то задевает. Не сразу соображаю, почему «Евгения Онегина» в этапе декламирует не Женя, а некая Шура (она же «Васенькина мама»). И вдруг словно озарение: глава готовилась к печати в СССР. Поэтому имена вымышленные...

...Увяли оттепельные надежды. Перестали писать в справочниках, в юбилейных изданиях: «погиб в годы культа личности». Не воплотилась мечта Евгении Семеновны, что ее внук в 1980 году прочитает советское издание «Крутого маршрута».

Но книга существует. Слово сильнее череды наших бессловесных вождей. Победила она!

7

Во Львове она читала нам свои стихи — они казались посредственными.

В Москве, в пору ее большой славы, работники издательства «Молодая гвардия» предложили ей найти себе тему для книги в серии «Жизнь замечательных людей». Она назвала несколько имен, в том числе забытую поэтессу Мирру Лохвицкую. Быть может, и стихи Лохвицкой вместе с Надсоном — тоже в истоках ее собственных поэтических опытов.

В начале семидесятых годов в Израиле вышла антология «Русские поэты на еврейские темы». Составители включили стихи на библейские темы, в книге представлены стихи едва ли не всех русских поэтов за три века — от Державина до Слуцкого.

Есть там и одно стихотворение Евгении Гинзбург:

...И вновь, как седые евреи,
Воскликнем, надеждой палимы,
И голос сорвется, слабея:
— На будущий в Ерусалиме!
...Такая уж, видно, порода!
Замучены, нищи, гонимы,
Все ж скажем в ночь Нового года:
— На будущий — в Ерусалиме!

Она сочинила это стихотворение накануне Нового, 1938 года в Ярославской тюрьме. Прочла сокамернице. Ерусалим был условным — символом свободы.

Она обрадовалась публикации, показывала антологию друзьям и знакомым. И удивлялась — издатели сборника, видно, восприняли буквально то, что для нее было поэтической метафорой.

Она не только не чувствовала, не признавала себя еврейкой, но даже и говорила:

— У меня никогда не было и не могло быть романа с евреем. Потому и в вас, Левочка, я влюбиться не могла бы...

— Женичка, вы просто антисемитка, расистка.

(Ни когда она сочиняла эти стихи, ни когда читала нам их во Львове, ни когда увидела напечатанными в Израиле, ни она — да и никто другой?... не могли себе представить, что метафора реализуется. Начиная с 1973 года, и ей пришлось прощаться с друзьями, со знакомыми, уезжающими в Израиль.)

8

Л. Ее сердили неодобрительные отзывы о зарубежных выступлениях Солженицына, Максимова, Коржавина.

— Ну и пусть они иногда преувеличивают. Это естественно. У них праведный гнев. Они пытаются объяснить этим западным идиотам, что те предают нас и губят себя. Ну и пускай Генрих Бёлль недоволен. Он ведь тоже ничего не понимает. Добрый, наивный немец. Я его очень люблю. Но он не способен понять ни Володю, ни Александра Исаевича, — он не испытал того, что испытали они и мы. Он только читал про тюрьмы, этапы, Колыму, Воркуту. Он добрый, всем сочувствует — и чилийцам, и вьетнамцам, и разным неграм. А для нас это несравнимо...

— Володя Максимов — добрый, душевный человек. Он так хорошо говорил со мной. Он по-настоящему любит Васю. И «Континент» — хороший журнал. Отличный. Во-

лодя столько рассказывал о новых планах. Нет, нет, вы несправедливы к нему. И Генрих несправедлив. Дались ему эти Шпрингер и Штраус. Никакие они вовсе не фашисты. Это леваки их так обзывают. И врут. Шпрингер издает книги и журналы всех направлений. И он помог нашим издавать «Континент». Почему же ваш Брандт этого не сделал? Потому что он боится рассердить наших правителей. Как же, им важнее всего разрядка, торговля. Шпрингер — молодец, не побоялся...

— Володя Максимов называет братьев Медведевых агентами КГБ. Этому я, разумеется, не верю. Ройчик — наивный, хороший человек. Я его люблю, но с ним совершенно не согласна. Он все еще живет в мире марксистских иллюзий и догм. Конечно, нашему правительству его точка зрения ближе, чем сахаровская. Поэтому его меньше преследуют. Это плохо, когда Рой нападает на Солженицына. Тот делает великое дело. И он так одинок. Я сама знаю, что в «Архипелаге» есть и неточности, и ошибки. Ни о ком нельзя говорить: «комически погиб». Но ведь, в общем-то, «Архипелаг» — великая книга, грандиозная. Он там и на меня несколько раз ссылается. И вас упомянул. И в «Теленке» он очень дружелюбно о вас писал. А вы к нему несправедливы и огорчаете меня больше, чем Рой. Тот ведь с ним никогда не дружил. Нет, я не могу с этим согласиться. У нас у всех один противник, страшный противник. Он весь мир давит. И нас готов опять придушить. Зачем же еще между собой враждовать?

— Вашу книгу о Джоне Брауне *, Раечка, я прочла с интересом. Много узнала. Но герой мне отвратителен. Он — настоящий революционер. Ни себя, ни других не жалеет. Вы слишком снисходительны к нему. Нет, таким людям нельзя прощать. От них все несчастья. Ведь негров все равно в конце концов освободили бы безо всяких кровопролитий и уж, конечно, без этого изувера Джона Брауна. А впрочем, мне ни до каких негров дела нет. Я была в рабстве похуже, чем дядя Том.

Л. Она была доверчива. Она доверяла и малознакомым, и просто случайным собеседникам, если они ей нравились. Она часто повторяла, что ложь считает одним из самых непростительных, смертных грехов.

* Поднявший меч. 1975.

Но сама она могла настолько увлечься вольным полетом воображения, что иногда беглое наблюдение, недослышанные или недочитанные слова преображались в ее сознании весьма причудливо...

Один из наших общих друзей сказал мне:

— Оказывается, ты скрываешь, что крестился. Евгения Семеновна говорит, что ты уже давно принял православие. И только не хочешь этого афишировать.

Вскоре я услышал, что еще несколько человек говорили о том же, ссылаясь на нее. Обойтись без выяснения стало невозможным.

— А знаете, Женечка, обо мне опять диковинные слухи пускают. В прошлом году один деятель из Инокомиссии доверительно рассказывал везде, что я — стукач и, мол, только потому мне спускают все грехи, даже не исключают из Союза писателей; однако Солженицын и Бёльль узнали и поэтому якобы порвали со мной отношения. Потом кто-то в Союзе и, кажется, в Гослите уверял, что я подал заявление на отъезд за границу. А теперь говорят, будто я принял православие и тайно хожу к исповеди.

— Но вы же сами говорили, что вы крестились!

— Что за бред?! Где? Когда? Кому?

— Да вы что, забыли? Вы же мне говорили. У вас дома. Я заметила над вашей постелью крест. Вы сказали, что это подарок Игоря Хохлушкина. И потом мы очень хорошо поговорили о Боге, о религии. Ведь вы уже с детства предрасположены к православию, я читала ваши воспоминания. И не пойму, чего вы боитесь — вы беспартийный. Это мне приходится скрывать, что я — верующая католичка. Ведь я состою в рядах. Мои черные полковники разорвали бы меня на части. Но католическая церковь разрешает тайное исповедание.

— Женечка, опомнитесь! Да если бы я стал верующим, я бы уже и вовсе ничего не боялся. И конечно, ни от кого не стал бы этого скрывать. И менее всего от друзей, от близких.

— Я никогда не врала. Может быть, вы тогда хотели пошутить. Но такие шутки...

— ...недопустимы. Согласен. И никогда так не шучу. Кажется, я догадываюсь, как у вас могло возникнуть такое представление. Вероятно, я сказал вам, — я это уже не раз говорил многим, — что больше не считаю себя атеистом. Я убедился, что наш атеизм, наше воинствующее безбожие — самая вредная, самая изуверская из всех религий.

Но я не стал верующим. Я агностик — а *gnosco* — не знаю. Не верю в бытие Бога и не могу, да, впрочем, и не хочу доказывать его небытие. Но я убежден, что если существует некая высшая сверхреальная сила, то эта сила настолько превосходит всех смертных людей, что никто не вправе считать себя ее представителем, ее единственно справедливым толкователем. И уж, конечно, не вправе именем Бога устанавливать законы, преследовать иноверцев и отступников... Христианство мне ближе других вероучений. Никогда не стану утверждать, будто оно лучше, справедливее всех. Если б я вырос в Индии или Китае, вероятно, я предпочитал бы буддизм или даосизм. Но уж так я воспитан, что и нравственно и культурно-исторически мне ближе всего христианство. И я думаю, что христианские нравственные принципы насущно необходимы сегодня для того, чтобы не погибло человечество... А православие мне действительно близко с детства. Няня учила меня молиться на ее иконы, водила в церковь. Мы вместе пели «Отче наш» и «Богородицу», благоговейно слушали колокола Софийского собора, Печерской лавры. Не меньше радуют меня творения католического искусства — Сикстинская Мадонна, мессы, реквием... В Штетинской тюрьме я случайно нашел в мусоре возле котельной католический молитвенник; выучил наизусть «Патер Ностер», «Аве Мариа», «Кредо», повторял в темной одиночке. И когда во Львове в костеле «Катедра» пел мощный хор с органом, я был так потрясен, что и сейчас не найду слов, чтобы это описать. Но все же русские церкви, русские молитвы, русские иконы и самые наивные народные обычаи, словом — эстетика русского православия мне сердечно ближе. Так же, как те украинские народные песни, которые пели няня и мама. Они и сейчас волнуют меня сильнее, чем Бетховен и Чайковский... Вот это я и говорил вам и не только вам. Но вы услышали несколько произвольно, и ваша творческая фантазия экстраполировала недослышанное в том направлении, по которому пошли вы сами...

— Не знаю, не знаю. Должно быть, я и впрямь на старости лет дуреть стала; маразм начался.

Больше об этом не говорили. Только несколько раз, по другим поводам, она замечала с иронической интонацией:

— Да, да, вы же агностик... Ну, конечно, этого вы как агностик не можете признать...

Л. Дважды мне довелось работать с ней вдвоем.

Мы переводили письма Шумана. Переводили каждый отдельно свою часть, а потом сопоставляли, проверяли, правили друг друга.

Она работала так дотошно, так скрупулезно добросовестно, как мало кто из профессиональных переводчиков. Договор с издательством был на мое имя; ей не приходилось тревожиться за свою репутацию. Тем не менее она упрямо возилась с каждой сомнительной строчкой, разыскивала справочники, мемуары современников, музыковедческие и исторические работы.

— Нельзя переводить, если не знаешь, о чем идет речь. Вот в нескольких письмах назван господин Н. Как же я могу идти дальше, не зная, кто этот человек? В каких отношениях он с автором, с адресатом? Без этого я не могу правильно передать интонацию письма. Нужно знать побольше обо всех людях, которые здесь упомянуты. И тем более необходимо представлять себе музыкальные произведения, о которых идет речь. Иные он характеризует подробно, иные только называет или на что-то намекает. Сегодняшний читатель должен понимать, что значила для автора эта соната, эта песня, кто писал стихи, которые он кладет на музыку...

Она проверяла и перепроверяла себя и меня. Иногда я раздражался, когда она подолгу топталась на каком-нибудь идиоматическом обороте, разговорном речении, старомодно-изысканной фразе или намеке музыкального критика. Но она была неумолима.

— Ну и пускай комментариями занимается составитель, пускай это его дело. Но мы с вами должны сами все понимать.

Она привязалась к автору писем как-то непосредственно, по-женски.

— Сначала я просто жалела его, беднягу. Явный психопат. И характер, как у сварливой старой девы: тот его обидел, этого он ругает и сам признает, что за пустяки. Иногда непонятно, почему расстроен. А постепенно привыкла к нему, даже полюбила. Ведь какая несчастная жизнь. Унизительная бедность. Жена все время болеет. Каждый грош должен высчитывать, вымалывать прибавку. И сочиняет гениальную музыку! Вот видите, я достала ноты его фортепианных пьес, вчера пробовала играть. Нет, нет, при вас

играть не буду. Я уже совершенно разучилась, отвыкла. Пальцы как деревянные. И устаю быстро. Для себя еще могу. Потому что вижу ноты, и, как бы вам это объяснить, — слышу не то, что бренчу, а то, как это должно звучать. Слышу внутреннюю музыку. При вас я буду играть хуже и уже сама ничего не услышу... Но теперь мне стало интересно переводить. Иногда так обидно, даже больно за него, когда он делает глупости, доверяется негодьям. Так жаль его несчастную жену, его самого...

Потом мы переводили тексты Брехта к балету «Семь смертных грехов». Это был своеобразный «частный» заказ. Одна московская артистка хотела поставить этот балет с песнями и собиралась исполнять главную роль. Мы с ней были знакомы, и она упросила меня перевести срочно, сверхсрочно, уверив, что уже обо всем договорилась в реперткоме, в Министерстве культуры, в Главконцерте; переводчикам гарантированы самые выгодные условия, важно только скорее, скорее, скорее, а тем временем оформят договор, остались какие-то незначительные канцелярские детали...

Текст песен должен был точно соответствовать музыке. Мы переводили каждую песню сперва на глаз, то вдвоем, то порознь, а потом Евгения Семеновна садилась к пианино, и строчку за строчкой мы испытывали, напевая, переделывали, перемонтировали. Без нее я просто не мог бы сделать эту работу.

Иногда спорили, то шутя, то сердито из-за отдельных строф или строчек. Она не позволяла ни мне, ни себе никаких упущений, никаких поблажек.

Работали мы в точно определенные часы, я не смел опаздывать ни на минуту, приходя, уже заставал ее за пианино.

Иногда я упрекал ее в крохоборстве: уж слишком придирчиво она оспаривала какую-нибудь мелочь. Позднее я стал понимать, что и это «крохоборство» было одной из основ ее душевной устойчивости.

(Перевод мы сделали в срок. Но заказчица, раньше звонившая по два-три раза в день, прибегавшая к Евгении Семеновне и осыпавшая ее комплиментами, словно забыла про нас. А когда я, наконец, дозвонился до нее, она сухо ответила, что неожиданно все расстроилось, репертком не утвердил постановку, конечно, она может оплатить наш труд из своих денег, «назовите сумму». На этом месте я не слишком любезно попрощался.)

Но Евгения Семеновна не пожалела, что мы работали впустую.

— Интересно было, я и не подозревала, что Брехт — такой хороший поэт... Я впервые переводила песни.

11

Л. Жаркий майский месяц. Мы втроем в Тимирязевском парке. Нашли тихий уголок, несколько пней. Я прочитал последний отрывок из своих воспоминаний * — как везли из тюрьмы в тюрьму.

Евгения Семеновна слушала внимательно, участливо.

— А нас, четверых, везли из Казани в Москву в четырехместном купе. Даже малину разрешили купить на остановке. Зато уж в трюмах «Джурмы» было пострашнее всех ваших столыпинских вагонов.

...Мне, в общем, нравится, но зачем вы позволяете себе грязную брань? Нет, не согласна, что о блатных нужно писать их же языком. Ведь этим вы унижаете себя. И зачем вы рассказываете обо всех ваших женщинах? Ну, вот спасибо, «не обо всех». Значит, все-таки считаете нужным о чем-то умалчивать?! Нет, такая откровенность мне не по душе. Я воспитана в духе девятнадцатого века. Местный колорит, характерное своеобразие воровской речи можно передать и без похабщины, без мата. Я себе этого не позволяю. Ну, вот написала я, как у нас запрещали на лагпункте «связи зека с зекою». Пишу же об арестантской любви, о ворах, воровках, проститутках, но пишу не на их языке... Можете называть меня моралисткой, пуританкой. Нет, никакое это не ханжество. Это у вас неразборчивость, всеядность. Вы слишком снисходительны к тем интеллигентам, которые стараются подделываться под блатных... Пускай даже Пушкин и Лермонтов позволяли себе вольности, по тем временам совсем непристойные. И Некрасов, и Лев Толстой. Таким великим прощается то, чего нельзя прощать нам, рядовым.

Ее стремление к целомудренной чистоте языка было сродни ее безукоризненной чистоплотности и дотошной аккуратности. Утренний душ был ей жизненно и, можно сказать, ритуально необходим: никакие хвори, ни жар, ни сердечная слабость не могли помешать.

— Да, да, я педантка. Потому что не могу жить без строжайшего порядка, без Орднунга. И не думайте, что это

* Глава «В этапе» из книги «Хранить вечно» (М., 1990).

с тех пор, как была замужем за немцем. Когда мы познакомились с Антоном, то ему, кажется, прежде всего нравилось, что я, медсестра, так неукоснительно точно выполняла все назначения и придирчиво следила за чистотой. И чтоб все было на своих местах. А вы ведь знаете, что такое лагерная больничка. И вообще, каково соблюдать чистоту в тюрьме, в этапе. Но я с детства ненавижу расхлябанность, грязь, разгильдяйство. А сейчас я просто не могла бы существовать, если бы не строжайший режим во всем, без всяких исключений. Вот я люблю гулять с Тамарой Мотылевой еще и потому, что она всегда точна. Она тоже любит порядок. И меня понимает.

Если гость, приглашенный к определенному часу, опаздывал, его встречали строгие укоры.

— Вы обманули меня на целых двадцать минут. Есть старая поговорка: «Точность — это вежливость королей». После свержения монархии кое-кто позволяет себе плевать на всякую точность.

Когда она брала у нас книгу, журнал или рукопись, то возвращала неукоснительно в условленный день. И того же требовала от своих «должников». Точнейшая точность была для нее одной из основ независимости. И свою независимость, самостоятельность она ревниво отстаивала в любых мельчайших мелочах.

Она не позволяла платить за себя даже в метро.

— Оставьте светские ухватки. Мой пятак не хуже вашего. Нет, в такси я не поеду: у меня нет лишних денег, а на ваши я кататься не буду.

Последние годы она зимовала в Переделкине, снимала маленькую теплую комнату в большом бревенчатом доме в глубине сада. В комнате рядом жила писательница-немка со взрослой дочерью.

Евгения Семеновна жаловалась:

— Они обе такие рассеянные, что мать, что дочь. Еще говорят, будто немцы аккуратны. Я все время убираю за ними. То на кухне, то в ванной, то в прихожей. И в нашей общей большой столовой обязательно что-нибудь забудут. И никогда не закрывают двери.

Соседка ее почтительно боялась и жалела. Знала о ее болезни. И только самым близким друзьям поверяла свое смятение.

— Это просто нефосможно. Она сердится на каждая мелочь. И начинает говорить, говорить. Или сама убирает, но так демонстративно, такая сердитая. Вчера говорила — в

ванная не так лежит мыло. Сегодня — на кухне не так стоит чайник. Я не хочу дискуссий, не хочу ссор. Она такая больная. Я вижу, как она мучается. И значит, всегда я виновата или моя Нинка.

Когда мы жили в Переделкине у Сары Бабенышевой, мы по вечерам гуляли с Евгенией Семеновной. Однажды Р. спохватилась, что, уходя, мы оставили на плите кастрюлю с супом, забыли выключить газ. Р. побежала стремглав. К счастью, все обошлось испорченной кастрюлей — пригорело дно.

Евгения Семеновна негодовала:

— Этого я бы вам никогда не спустила. Сарочка воистину святая. Я бы после такой истории просто не пускала бы вас на кухню.

Она говорила об этом долго, серьезно и через несколько дней вспоминала опять. И совершенно не могла понять Сару, которая каждый раз, смеясь, отмахивалась.

Опрятность и упорядоченность были ей неотъемлемо присущи и как писательнице.

В ее прозе глубоко трагедийное художественное повествование брезгливо обтекает грязные пороги, зато иногда оно вспенивается такой старосветской патетикой и сентиментальностью, которые напоминают не только о стиле великих авторов прошлого — русских и зарубежных, но родственны и вторичной беллетристике начала века.

Р. В моих отношениях с Е. С. настало время отчужденности. Моя влюбленность в нее не перешла в прочную дружбу.

В октябре 74-го года я пришла к ней после того, как мы долго не виделись. Пришла, уже зная, что у нее рак.

Она сидела на диване, совершенно на себя не похожая, растерянная. Волосы распущены, халат не запахнут, глаза в слезах.

Она рассказала, что, обнаружив опухоль в груди, решила скрыть это ото всех.

— Пусть рак. Не пойду к врачу. Не дам резать.

Тогда она уверенно говорила о раке.

А потом, почти три года, в больнице и дома, она доказывала, убеждала, что это была доброкачественная опухоль, а теперь лучевое отравление. Возникла та защитная

пленка, непостижимая рассудком, которую ткет сама болезнь.

И она уже до конца была как всегда причесанной, подтянутой, прибранной.

Но кто знает, что у нее было на душе?

Из дневников Р.

2 октября 1975 г. Днем у Е. С. в Боткинской больнице. Идти боялась. В раздевалке столкнулась с Е. Евтушенко. Он тоже к ней. Я обрадовалась: он заслонит мой страх от нее, а от меня То страшное.

Он умолкал, только когда заговаривала она, а она говорила много, возбужденно.

— Моя жизнь складывается так, что я, можно сказать, прорабатываю Солженицына в обратном порядке: сначала был Архипелаг ГУЛаг, а теперь вот — Раковый корпус. Но диагноз так и не известен.

...Вы читали его поэму «Прусские ночи»? Потрясающая мера саморазоблачения. А стихи плохие — альбомные. Я такие писала в лагере как дневник. Чтобы запомнить... Но теперь Александру Исаевичу все дозволено. Хоть голым по улицам ходить. За то, что он сделал, ему все обязаны низко поклониться...

— Здесь многое похоже на лагерь, только в лагере санчасть почти всегда заодно с тюремщиками. Мне после любых осмотров там писали «на общие»...

Я вчера попросила нянечку поправить постель, слишком жесткая. А она мне говорит: «Вы привыкли на пуховиках».

Тут уж пришлось ответить: «Я привыкла на деревянных нарах».

...У Быкова нет своего слога, только сюжет. А вот Искандер написал книгу «Удавы и кролики» — гениальную. Ее будут читать, как «Маугли».

Я все болею, болею, но пока не замечаю упадка умственной деятельности. Память не слабеет.

Мы с Евтушенко наперебой громко подтверждаем. Тем более что оба вполне искренни.

Она ему говорит:

— Я хочу, чтобы вы с Васей примирились.

— Вася передо мной виноват, поэтому трудно.

Мы с ней пытаемся убедить его: в ссорах друзей трудно определить меру вины каждого.

Она добавляет:

— А вы не считайтесь, в чем он виноват, простите ему...

Евтушенко не возражает, заговаривает о другом.

— А я вашу книгу помню наизусть: «Коммуниста Италиана».

И я начинаю вспоминать эпизоды.

Слушает нас с удовольствием. Это ей никогда не надоедает. Пришел Вася. Они с Евтушенко вежливо здороваются, вежливо обмениваются информацией.

...А ко мне все более властно возвращается ощущение того, как много значила для меня она сама и ее книга.

13

Из-за границы в 1976 году она вернулась помолодевшей. Словно выздоровела. Весь вечер рассказывала о Париже, о Кёльне, о Ницце. Мы уже не первые слушатели, рассказ «обкатан». Но ни восторг, ни изумление не растратчены.

— ПЕН-клуб устроил прием в мою честь. Был цвет французской литературы — Клод Руа, Эжен Ионеско, Пьер Эммануэль. Я давала автографы. На столе — большая стопа книг, новое издание «Крутого маршрута». Когда нас фотографировали, я попросила, чтобы Васю не снимали на фоне этих книг.

Пьер Эммануэль такую речь про меня произнес, — повторять неловко. Вообще по-французски все получается тоньше, изящнее. И такой умница — ничего о политике, только о художественных достоинствах, о языке.

В ПЕН-клубе принимали писательницу Евгению Гинзбург с сыном. А на празднике в «Юманите» почетным гостем был советский писатель Василий Аксенов с престарелой матерью (кокетливо отмахивается от наших возмущенных возражений).

Там на празднике ко мне тоже подходили разные люди и шептали на ухо: «Мы читали... Мы восхищались... Так прекрасно... Так ужасно...» И я поняла, что у них то же самое, что у нас, своя цензура, свое начальство. И они тоже боятся начальства, боятся наших.

Эту часть рассказа заключает гневно: «Ненавижу левых. Всех левых ненавижу...»

На столе книги с автографами. Французские и русские. Тоненький сборник стихов Ирины Одоевцевой.

— Старые русские эмигранты все читали мою книгу.

Такие наивные. Трогательные. Хорошая старая речь. Только французские слова вставляют.

— Опасалась, как стану объясняться. Но французский вспомнила почти сразу. Откуда-то из глубин поднялись слова. Болтала легко, сама удивлялась.

В комнате — на полу, на диване, на стульях — распакованные и нераспакованные чемоданы, коробки, свертки. Еще не все подарки розданы. Привезла родным, друзьям, знакомым. Больше всего дочери.

Тоня приходит при нас. Рассказы прерываются, начинается праздничная суматоха примерок. Рады и мать, и дочь. И мы, зрители.

Осторожно спрашиваем про врачей — ведь эта поездка официально называлась «для лечения». И Вася сопровождал мать, ехавшую лечиться.

Чаковский, давая ему командировку «Литгазеты», патетически заметил: «Подписываю только потому, что помню о своей матери».

На наш вопрос о врачах отвечает раздраженно:

— Не ходила и не собираюсь. Я еще здесь заранее предупредила Ваську: никакого лечения. Еду смотреть. Видеть людей. Радоваться.

После краткой вспышки раздражения вновь улыбается:

— Вася взял машину напрокат. Правда, в Париже пришлось много ходить пешком. Там ведь трудно парковаться (мы смеемся — поборница чистоты речи снисходит к американизму).

— Едем в театр или в кино, машину приходится ставить так далеко, что идем два или три квартала.

— Ездили по Франции. На юг. В Ниццу. Были на могиле Герцена. В гостях у Шагала.

— В гостиницу приносили букеты цветов. От издателей — итальянских и французских. За меня ведь там шла борьба — кто получит авторские права на вторую часть. Я и не думала, что придется работать. Хорошего экземпляра второй и третьей части не оказалось, пришлось править какую-то слепую копию. Но я старалась, чтобы хоть опечаток не было.

Вспоминаем, как она огорчалась изданию шестьдесят седьмого года, где полным-полно опечаток.

Спрашиваем, будет ли она писать об этой поездке.

— Ну, что нового можно написать о Франции? Сколько уж русских писателей побывали в Париже, и какие... Но я

вот что надумала: «Колымчанка в Париже». Назвать можно и так: «От Колымы до Сены».

Василий Аксенов рассказывал: «Мама сначала обрадовалась, что можно заказывать завтрак в номер. „Давай попроси завтрак в камеру!“ Но потом решительно отказалась: „Нет, нет, я видела, как они подносы ставят на пол“».

У всех, у всех побывала (чуть понижая голос) — виделась и с Некрасовым, и с Синявским, и с Максимовым, и с Эткингом. И все были ко мне так приветливы.

— Гриша Свирский звонил по телефону, приехать не мог — дорого.

— Обратный билет у нас был на поезд Париж—Москва. Но Вася сказал: «Поедем машиной до Кельна. Повидаем Бёлля».

Они познакомились еще весной 70-го года, когда Бёлль с женой был в Москве. Он обращался сперва к ней «фрау Гинзбург», потом «фрау Евгения», наконец просто «Эвгения» или даже «Шенья». Она уверяла, что забыла немецкий, но достаточно свободно рассказывала о лагере, о немецких книгах, которые любила в детстве.

Тогда, в 1970 году, Евтушенко пригласил на ужин с Бёллем Аксенова, Ахмадулину, Вознесенского, Таню Слуцкую, Окуджаву, а также Евгению Семеновну и нас.

Потом на улице, пока Вася искал такси, Бёлль сказал:

— Это была встреча с молодыми... А ведь молодыми по-настоящему, *wirklich jung* я могу назвать только вас. И всех моложе вы, Женя.

— Вот уж не ожидала, что Генрих Бёлль говорит комплименты старым женщинам!

— Я совершенно не умею говорить комплименты. Это правда. Я слушал, смотрел и думал: если бы я никого не знал из этих людей за столом и мне сказали бы, что двое из них долго были в тюрьме, в лагере, угадай — кто? Ни на миг не подумал бы, что это вы, Женя, или этот бородастый пьянчуга...

Каждый раз, когда он бывал в Москве, они встречались уже как старые друзья. И в письмах к нам он неизменно передавал ей самые нежные приветы.

— Я сначала испугалась: как это так, билет на поезд от Парижа, а мы будем садиться в Кёльне. Но там быстро привыкаешь, распускаешься. И страхи быстро проходят. Я согласилась. Только очень тревожилась, как мы успеем:

поезд в Кельне всего шесть минут, а у нас столько чемоданов... Генрих успокаивал: «Шенья, все будет ин орднунг...»

В Лефортове в 1937 году она считала себя смертницей, ждала расстрела: «Тогда мне представлялась вся остальная земля. Я ее никогда не видела и не увижу».

Увидела. Так они встретились — Париж и колымчанка. И это один из неожиданно счастливых поворотов, присутствующих ее жизни и ее прозе.

Что в ней изменилось? Ощутила реальность славы.

В 67-м году слава была «заочной». И та ей несколько вскружила голову. А эта, воспринятая непосредственно, все, что она увидела, услышала, осязала, — подействовала совсем иначе.

Она стала мягче. Щедрее. Подобрела к людям.

Как это возникло? На пути из Парижа? Или в предчувствии иного, неотвратимого пути?

14

Л. После возвращения из Франции она почти до середины зимы была бодрой, реже жаловалась на усталость, на боли в сердце. Хотелось верить в чудо так же, как весной 65-го года мы верили, что чудом излечится Фрида Вигдорова.

В феврале начались боли в ногах. Такое уже бывало и в 75-году. И тогда врачи говорили, что это метастазы в костях, в суставах. А потом наступило облегчение.

Она продолжала жить в Переделкине. И дважды в день выходила на крылечко.

Одевалась медленно, постанывала. С трудом натягивала валенки. Но помощи не принимала.

— Не надо, не надо! Мне легче, когда я сама. Я чувствую, когда больнее. Ох, совсем обезножела! Господи, что это за проклятая болезнь...

— Ох, где мои резвые ноженьки?! Вы слышали сегодня «Голос»? Картер опять что-то говорил о правах человека. По-моему, это одна только болтовня. Они говорят свое, а здесь делают свое. Сажают, сажают... А про Орлова, про Алика уже ничего не говорили. Нет, нам никто не помогает. Вот так же и мне никакие врачи не помогут. И пожалуйста, не спорьте. Все это ваш неисправимый оптимизм...

Но ей нужно было, чтобы с ней спорили. Она отмахивалась, когда я повторял, что она опять поедет в Париж, и на

этот раз полечиться, и что Картер всерьез решил сочетать нравственность с политикой.

С начала апреля она едва могла двигаться. Однако в часы, установленные для прогулок, одевалась и сидела на крыльце, закутанная шубами, пледами. Сара каждый день приходила к ней, готовила, убирала, выводила на «сидячую» прогулку.

Врачи предписали снова облучение, обещали, что это снимет боль. Она согласилась, но лишь с тем, чтобы оставаться в Переделкине, чтобы сын каждый день возил ее на сеанс и привозил обратно.

— Без воздуха я пропаду. Воздух — мое главное лекарство.

После первых сеансов ей стало легче. Мы в апреле уехали на юг. Когда вернулись через месяц, она уже не выходила из московской квартиры.

Пришли к ней. Показалось, что не виделись годы. И в сумраке зашторенной комнаты было заметно, как она похудела. Нос и подбородок заострились, резче проступали скулы.

— Видите, что со мной сделали? Наверное, узнать нельзя. Я уже и в зеркало боюсь смотреть. Залечили эти недуги врачи. Они меня отравили рентгеном. Облучали, будто у меня рак. И теперь уже ясно — вызвали лучевую болезнь. Я едва могу встать. Не выхожу из дому. Ничего не ем... Расскажите, как ездили, что в мире делается.

Наши рассказы она едва слушала. Снова и снова говорила о болях.

Потом за три дня она изменилась еще резче, чем за месяц. Узнавались только глаза и голос. Поцеловал ей руку: сухая, тоненькая кожа на тонких косточках. И Рая тоже поцеловала ей руку. Впервые.

Почти каждый вечер приходила кроткая, маленькая седая женщина, ее приятельница, юристка. Она стала неутомимой сиделкой. Евгения Семеновна была к ней очень привязана. Но иногда раздражалась, когда та сменяла Васю. Она не хотела расставаться с сыном. Ни на час. И никому не позволяла оставаться на ночь.

— Я не могу спать, если еще кто-то есть в квартире.

Лишь после того, когда утром, пытаясь дойти до уборной, она упала в коридоре, потеряв сознание, она уже не сопротивлялась круглосуточным дежурствам.

— Я умираю, Боже, почему так мучительно? Неужели я мало настрадалась? Вот считалось, что у меня серд-

це плохое. Но почему же это сердце еще выносит такие муки?.. У Антона всегда был при себе яд. Какая я дура, что забыла об этом. Если вы настоящие друзья, достаньте мне яду.

Узнав, что накануне она говорила о священнике, и слушая эти жалобы, я сказала:

— Женечка, а может быть, вам помогла бы молитва? Хотите, я приглашу священника?

— Священника?.. Но ведь я католичка. А попа-иностранца не хочу. Хочу по-русски молиться, а русских католиков нет.

— Что вы, друг мой? И у католиков, и у православных один Бог, один Христос. Что могут значить церковные различия для настоящего христианина? Православный священник охотно помолится с вами.

Она отвернулась к стене. Долго молчала. И внезапно своим прежним голосом, только чуть глуховато-напряженным:

— А может быть, еще подождем?

— Женечка, вы меня неправильно поняли. Я говорю о молитве за здоровье. Вы ведь знаете нашего друга Игоря. Этой зимой он очень тяжело болел. Некоторые врачи уже объявили положение безнадежным. Его навещал священник. Они молились вместе. И вот как раз Игорь вчера был у нас, и он хочет привести к вам священника.

— Хорошо, хорошо. Только не сейчас. Потом, когда чуть легче станет. Сейчас в меня злой дух вселился. Я всех ненавижу.

— Вот молитва и поможет вам изгнать злого духа и выздороветь.

— Какое выздоровление? Вы что, не видите — я умираю.

Священник Глеб Якунин пришел через два дня. Она стала спокойнее. То ли от молитвы, то ли от того, что начали впрыскивать пантапон. Мне больше не пришлось говорить с ней. Когда мы заходили, она была в забытии.

Вечером 24 мая, казалось, наступило облегчение. Она сказала:

— Вася, ты не забудь, нужно заплатить за дачу. Может быть, хоть в августе я перееду. Майя, почему вы не ужинаете? Возьмите в холодильнике икру. Не начинайте новую банку, там есть открытая.

25 мая она умерла.

ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА

...Чту просветительство всех времен и народов...

Л. Магон

Мы познакомились в ноябре 1968 года в коридоре Саратовского университета.

В марте 74-го года пришла телеграмма: «Людмила Борисовна скончалась от инсульта».

За шесть лет мы виделись не часто — жили в разных городах; постоянно переписывались. Она приезжала в Москву каждый раз ненадолго. Но короткие встречи были наполнены — она рассказывала, спрашивала, делилась за-мыслами.

Очень светлые серо-голубые глаза. Темно-русые, коротко стриженные волосы. Лицо широкое, чуть скуластое, крепко вылепленное, загорелое и летом и зимой, обветренное. Лицо юноши, и не горожанина, а лесовика, степняка. А взгляд девичий — застенчивый, внимательный, чаще печальный, чем веселый.

Коренастая, широкая в плечах, ладно скроенная, она шагала, чуть прихрамывая, но легко и твердо.

В первый раз мы ее увидели в темном кожаном шлеме, потертой куртке и высоких сапогах. Она приехала в Саратов из города Маркс на мотоцикле, приходила к нам на лекции *.

Раньше мы слышали о ней от нескольких саратовцев, они любовно и уважительно говорили о Люсе Магон — «книгоноше», неутомимой просветительнице.

* * *

Она училась на филологическом факультете в те годы, когда там преподавали ссыльные филологи А. П. Скафтымов и Ю. Г. Оксман. С юности ее привлекал Лермонтов, его трагический образ, его поэзия и проза. Она была студенткой Оксмана. И этот взыскательный и придирчивый, часто суровый наставник считал ее одной из самых любимых учениц. Для нее книги — стихи и проза — были не только предметами изучения, но живыми источниками радостей, печалей и все новых «внеучебных», «внефилологических» мыслей о людях, о мире, о себе.

* Мы читали спецкурсы. Р.— «Современный американский роман» и «Творчество Э. Хемингуэя». Л.— «Штурм унд Дранг и веймарский классицизм», «Литературные процессы ГДР и ФРГ».

Скафтымов умер; Оксман после реабилитации переехал в Москву. А Людмила Борисовна стала учительницей в городе Марксе — районном центре Саратовской области на левом берегу Волги.

В 1968 году она жила там с двенадцатилетним сыном и матерью-вдовой. Отец Люси, обрусевший латыш, был агрономом-садоводом, создавал сады и парки в приволжских городах. Энтузиаст-бессеребренник, он оставил жене и дочери только маленький домик, построенный собственными руками. Люся унаследовала от него бескорыстие, верность призванию-долгу и целеустремленную настойчивость, которую мать иногда называла «тихим латышским упрямством».

Учительница литературы стала для многих своих учеников старшей подругой. С первых же уроков она увлекала их, рассказывая, думая вслух и побуждая их думать о книгах и писателях давних времен так, что чужие горести огорчали по-настоящему, иных до слез, а чужие радости по-настоящему радовали, веселили, и мысли, возникшие давно и далеко, становились близкими, своими, сегодняшними.

Она была прирожденной учительницей, не могла жить без учеников, и ученики привязывались к ней. Девушки и юноши приходили к ней после школы и в праздники, приходили стайками и поодиночке. Они вместе гуляли, вместе ходили на Волгу. Она плавала быстрее и дольше, чем лучшие пловцы города, купалась до глубокой осени. Была неутомима в дальних походах. Зажигала костер с первой спички. На велосипеде могла обогнать любого из своих учеников.

И в часы прогулок, и в дни походов они много разговаривали о книгах, читали стихи, рассказывали, спорили. Учительница вызывала на спор и не сердилась на возражения. По воскресеньям она возила учеников в Саратов. Там они осматривали город, музеи, картинную галерею — «Волжский эрмитаж».

В дни каникул ездили дальше — вдоль Волги — в Горький, Казань, Ульяновск, Кострому. А то и совсем далеко — в Москву, в Ленинград. И тогда стихи и поэмы из школьной программы по-новому оживали в тех местах, где некогда жили, страдали, работали Пушкин, Тургенев, Толстой, Гончаров, Островский, Горький...

Некоторые из учеников остались ее друзьями надолго. Не только девушки, но и юноши поверяли ей свои тайны, сомнения, мечты. И, закончив школу, они продолжали приходить к ней. Уезжавшие в другие края писали, приезжали в гости. К ней приводили женихов и невест. Приходили рас-

сказать о новой работе, о занятиях в институте. Несколько бывших учеников постоянно участвовали в ее экскурсиях, в дальних походах с новыми школьниками.

Один из ее выпускников, Володя, сирота, воспитанник детдома, отслужив в армии, где стал трактористом, приехал к ней и остался жить. Он дружил с ее сыном Борей, который обрадовался старшему брату. И Люся стала матерью двух сыновей.

На первых порах ее хвалили многие родители, большинство коллег.

И ее назначили инспектором отдела народного образования. Она понадеялась, что это избавит ее от необходимости проверять горы тетрадей, писать длиннейшие отчеты, «ликвидировать» двойки, избавит от постоянной тягостной рутины. Надеялась, что освободившееся время будет посвящать Лермонтову. И конечно же, надеялась, что станет помогать не только детям, но и учителям. Новая работа сулила разнообразие и требовала подвижности. Она купила в расрочку мотоцикл. Между иными селами расстояние в десятки километров.

2 декабря 1968 года она писала нам:

«Я — за 100 км от Маркса, в одной из дальних своих школ вместе с товарищами-инспекторами. Ночуем в учительской. Оказывается, везде можно устроиться с комфортом, были бы походные навыки. Например, из одного дивана соорудить два спальных места. Мне достались спинка, валик и одеяло; лежу, пишу и слушаю, как гудит печка. Наша комната — прибежище тепла и света. Стоит открыть дверь — и пронзает холодом коридор, из классов идет погребный дух. Все остывшее, холодное, безлюдное, а за школой — степь, ветер, мороз. Село расположено в стороне, школу же, как кладбище, вынесли на окраину. Даже вывеска траурная, черная. Стоит темно-зеленое, выморочного типа здание с черной доской, на которой красными письменами выведено: „Октябрьская 8-летняя школа“».

Она ездила и в жесточайшие морозы, секущие железными степными ветрами, и в распутицу, то и дело выволакивая из грязи увязавший мотоцикл, и в слепящую жару, когда часами не найти и пятнышка тени. Она попадала в аварии, дважды ломала ногу — в месте неудачно залеченного перелома возникла трофическая язва. Простужалась, болела тяжелыми плевритами...

Но едва оправившись, она снова загружала книгами портфель, сумку и седлала мотоцикл.

Ее прозвали книгоношей потому, что каждую новую полюбившуюся ей книгу или журнал она, едва дочитав, спешила передать другим, ревниво следила за ее движением...

К тому времени, когда мы познакомились, она уже хорошо знала свой район, учителей и директоров школ. После первого нашего разговора втроем — долгого, до глубокой ночи в номере саратовской гостиницы — Люся пригласила нас в Маркс, чтобы мы рассказали там о зарубежной литературе. Мы поехали.

В трех комнатах ее маленького одноэтажного дома больше всего места занимали книги. Только в каморке матери они сравнительно скромно теснились в шкафу и на этажерках. Все другие пространства были заставлены, как библиотечные хранилища, самодельными стеллажами, увешаны полками. Там были книги русских авторов и много переводных. Любой из столичных литературоведов мог бы гордиться такой библиотекой. И это была не коллекция, а живая, работающая библиотека, где книги не застаиваются на полках. Тщательно обернутые в газетную бумагу, они явно прошли через много рук. Почти во всех торчали закладки. На рабочем столе хозяйки лежали свежие журналы: «Новый мир», «Иностранная литература», «Юность».

В приветливой книжной обители мы сидели долго, за полночь, пили вино и чай, разговаривали.

После наших докладов, которые слушали, главным образом, учителя местных школ, некоторые вопросы вызвали споры тут же в аудитории. Особенно горячились двое, как оказалось, муж и жена. Он — верзила с ухватками районного комсомольского аппаратчика, вскакивая с места, широко размахивал руками.

— Это даже совсем непонятно! Именно никак непонятно! Как это так вы говорите, что этот самый Боль — именно антифашистский и даже, так сказать, прогрессивный и так далее писатель, именно он уважает этого Солженицына... Ну, и что ж, что Твардовский? Это мне также именно непонятно. Как такой мастистый советский и, так сказать, социалистического реализма поэт, как Твардовский, и тот же ваш Боль могут давать положительные характеристики на Солженицына, когда он не только идеологически вредный, именно вреднейший антисоветский, но и в художественном смысле тоже... У него же этот, как его — Иван Денисович, так это же не художественная литература, а, извините за выражение, именно матерщина.

Она — преподавательница литературы, долговязая, белобрысая, с большим тяжелым лицом нордической красавицы, сидела в первом ряду, скрестив руки под грузным бюстом, и сварливо покрикивала:

— Действительно, получается непонятно. Как же это все-таки у вас получается, что даже в Эфеге, где имеется реваншизм и неофашизм и вообще диктатура капитала, и там, значит, у вас получается, совершенно не преследуют писателей, которые за мир, за гуманизм и даже за социализм? И они вроде, у вас получается, свободно все говорят, печатают, ведут пропаганду... Этому очень трудно поверить. Это получается вразрез со всем, что известно из нашей печати, из радио и вообще... Это уже получается идеологически не того...

Мы спорили вежливо, но решительно. Большинство слушателей нас поддерживало. О том, что произошло позднее, мы узнали два месяца спустя:

«24 января 1969 г.»

Я не хотела вам писать с первых моментов тревоги... не знала, как это сделать — написать, потому что слышу постоянные упреки от друзей в неумении писать с конспирацией. Короче, я боялась принести вам дополнительные неприятности этим сообщением.

Все началось с Егоровой — дамы с тевтонским лицом. Той, которой нужно было удостовериться в преследованиях прогрессивных писателей за рубежом. Она — литератор по роду занятий, «дает» программу в старших классах школы номер 5. Я — инспектор этой школы, т. е. лицо, постоянно угрожающее ей опасностью, упреками в непрофессионализме. Единственный способ обезвредить меня — доказать мою антипартийность и идеологическую растленность.

Егорова отправилась в Саратов на семинар секретарей школьных парторганизаций (она возглавляет коммунистов-учителей в своей школе). Там выступал секретарь обкома по идеологии, некто Черных, известный черносотенец, погромщик, фашист. Он говорил о борьбе идеологий и привел пример Солженицына в минусовой категории. Егорова сразу затрепыхалась и задала во всеуслышание вопрос: как ей, бедной, теперь быть? Приезжали ученые лекторы из Москвы, которые «восхваляли Солженицына». Черных воспринял это заявление как ЧП, позвал ее к себе на беседу, обласкал и взялся за общество «Знание». Проверил путевки, потом позвонил в Марксовский горком. В Марксе по началь-

ству пошел переполох. Отправились в школу номер 6, где вы выступали, расспросил учителей, директора, завуча. Этот рейс совершал уже наш, марксовский, секретарь по идеологии вместе с моим шефом (завгороно). К счастью, администрация школы — умные люди. Учителя, шеф, все в один голос дали отличные отзывы о лекциях... Шеф сам позвонил в общество и, с облегчением вздохнув, сообщил, что писать уже ничего не надо, дело обошлось разговором. Искренне огорчился, как бы не дошли слухи до Москвы и не имели бы вредных последствий для вас».

В ее письмах — лишь ответ очень трудной жизни. Большинство трудностей она скрывала. Она работала упрямо, вопреки сомнениям и неудачам и вопреки тому, что почти не могла дожидаться плодов своих усилий, работала вопреки неизбежной тяге к иной жизни, к Лермонтову, к своим ученикам, к своим книгам, к далеким друзьям.

«24 января 1969 г.

Я пишу вам, как всегда, ночью, в полном отчаянии от тщетности своих попыток что-то успеть сделать из намеченного на день, за неделю! В глазах моих сослуживцев я самый незанятой человек, так как у меня нет коровы, поросенка, мужа, огромной семьи, т. е. всего обременяющего бытовым домашним обслуживанием. Сын вышел из пеленок, а мама готовит обед. Книги и чтение, не говоря уже о большем, как-то не принимаются во внимание. О количестве посещающих меня лиц мало кто знает. Дремлю на совещаниях, умираю от желания спать на всяких официальных приемах в горкоме и горисполкоме, хожу с таким лицом, словно после болезней или непрерывных оргий, а времени нет и нет! Правда, третью неделю подряд езжу по субботам в Саратов, поэтому иллюзия свободных дней и вовсе исчезает. Но там я сижу в библиотеке, вижу близких людей, и мне жалко тратить время на сон, и все это тоже нужно. Единственный реальный выход — перенагрузиться, вызвать гипертоническую реакцию и заболеть для бюллетеня дней на 4—5. Но сейчас болеет мама — воспаление легких — поэтому и такой роскоши себе я позволить не могу».

Ее работой были довольны. Однако оторопь и страх, вызванные пражской весной, сменились новыми идеологическими заморозками.

Районному КГБ было известно, что летом шестьдесят седьмого года, когда Людмила Борисовна вместе с учени-

ками ездила в дальний поход по «есенинским местам», они по дороге побывали в Рязани, пришли с букетами на квартиру Солженицына и, не застав его, вручили цветы его теще. Эта поездка, ее откровенные речи на конференциях и в учительских комнатах, ее деятельность книгоноши, наш спор с теми людьми, которые были ее злейшими противниками, и все, что за этим последовало, привело к тому, что возникло «дело».

«6 марта 1969 г.

...нашего секретаря по обществу «Знание» вчера, на совещании в Саратове, заставили писать объяснительную записку по поводу известного вам ответа на вопросы. Все совещались, а он в отдельном кабинете писал. Что — бог весть. Мы думали, что отговорились по телефону, разумные объяснения изустно дали — не тут-то было. Ничего не забыто, никто не забыт. Трагикомедия, чистая мистика — так я воспринимаю эту историю, настолько не могу поверить в реальность такого подлого безобразия.

В тот же день со мной произошло глупейшее приключение, которое в конечном счете накрутилось на стержень саратовских объяснений.

Попросила я свою бывшую ученицу, библиотекаря нашего Дома учителя, поискать мне одну книгу *, весьма ценную мною, но зачитанную нагло недавно. Зачитанную из моей библиотеки. В Доме учителя книжка не нашлась, но, желая сделать мне любезность, она достала мне ее в детской библиотеке. Изданная в «Роман-газете», с 63-го года она пролежала почти без употребления 6 лет. Желая меня обрадовать, милая девушка позвонила по телефону о своей находке и о том, что книга поступает в полное мое распоряжение.

...Фамилию автора услышала завдетсадом, сотрудница гороно, Шефа моего, на беду, унесло в село, поэтому бдительный товарищ позвонил прямиком в другую организацию, и колесо завертелось с неслыханной быстротой. Вчера душеспасительную беседу вел со мной наш горкомовский начальственный «треугольник». Я получила второе предупреждение, самое строжайшее. Книгу приказано вернуть, иначе лица, которым я «дала задание», будут наказаны. Вначале я была ошеломлена дикостью и глупостью предъявленных обвинений. Попросить книгу — это значит «дать за-

* «Один день Ивана Денисовича», — Люся начала писать конспиративно.

дание». «А почему вы сами не пошли? А дали поручение сотруднику? Вы — лицо официальное, инспектор...» И пошло, и поехало! Потом я страшно разозлилась. Сказала, что официальных запретов на книгу никто не накладывал, в свое время ее выдвигали на Ленинскую премию, что это местничество и дикое самоуправство.

В связи с женским праздником мне дали передых, но к разговору этому, видимо, вернутся... И смех, и грех.

Каждый боится потерять свою кормушку; хотела бы я понять психологию ретивых людей. Завдетсадом когда-то успешно разговаривала детдом, занимая пост его директора. Я с ней не раз в прошлом сражалась, отстаивая интересы своих учениц, ее воспитанниц. Теперь представилась возможность свести счеты на высоком идейном уровне (она дослужилась до секретарей).

Вспоминается моя давняя мечта походить сезон на речном судне (раз уж нельзя на морском), пожить на волжском просторе на какой-нибудь медленно плывущей барже. Почти каждую весну в областной газете объявляют о наборе матросов на нефтеналивные суда. Суда эти большие, белые, даже не верится, что они имеют отношение к черному золоту. Почему бы мне не стать матросом? Я видела пожилых женщин-матросов на волжских пароходах. У них бравый вид. Вахту отстоял — и читай сколько хочешь. Эйнштейн утверждал, что если человек задался целью написать что-нибудь серьезное, значительное, он должен стать пожарником или смотрителем маяка».

Ей пришлось уйти с должности инспектора, а заврайоно, который к ней очень хорошо относился, доверительно сказал, что бессилён помочь и что о преподавательской работе для нее не может быть и речи.

Матросом она не стала и попыталась вернуться к Лермонтову. Уехала из Маркса и стала сотрудницей музея в Тарханах — доме, некогда принадлежавшем бабушке Лермонтова.

«20 октября 1970 г.

В Тарханах настоящая деревенская осень, причем очень отличающаяся от городской и саратовской: такого обилия черного цвета я и не припомню...

...Как обычно в деревне, ритм жизни замедлен. Никто вроде особенно никуда не торопится. Людей мало, очень тихо вокруг и просторно: во все стороны поля с перелесками. Грязь, разумеется, классическая, но до музея идет един-

ственная прямая и асфальтированная улица, мое спасение.

Живу я в церковной сторожке времен Арсеньевых, напротив часовни и склепа. Окно выходит в деревья, и они шумят в непогоду, как лес. Живу на заповедной земле, никак к этому не могу привыкнуть, не привыкну, видимо, как к обиходному, никогда...

Рядом церковь Михаила Архангела, выстроенная бабушкой М. Ю. для крестьян. Над колокольной постоянно вьются черные птичьи стаи. Пернатых здесь много, даже ночных. В парке не все еще деревья осыпались. Белого свечения кленов я прежде не встречала...

Красота на каждом шагу. Это помогает преодолевать тоску по друзьям и оставленному.

Странное место — здесь не продаются книги. Библиотека музея и директорская компенсируют отсутствие собственной.

В этом году я решила не покупать книги. Негде хранить, некогда читать. Я переведена из экскурсоводов в старшие научные сотрудники, отвечаю за просветительную работу среди населения. Впереди — Лермонтовский вечер, вечер поэзии. В программе стихи Лермонтова, Пастернака, Цветаевой, Блока, Мандельштама.

Но и музей в Тарханах не стал для нее убежищем. 12 октября 1970 года она писала о своем новом несчастье:

«Володя проработал в Лермонтове 10 дней, необыкновенно понравился всем музейным, а потом приехал милиционер из Хвалынского и забрал его по обвинению в краже. Второй раз приезжал следователь снимать показания. Объявил мне, что я не знаю души Володи, — он вел двойную жизнь, это не первый случай нарушения законности.

Володя без меня нервничал, плакал, говорил о смерти. Вел себя несколько иначе, чем матерые рецидивисты.

Мне кажется, что им руководили чувства добрые, но он выбрал ложный путь для их воплощения. Будет суд, меня вызовут. Я от него не откажусь».

И не отказалась. Два года спустя извещала: «С Володиной установлена связь. Он недалеко от Орджоникидзе, работает и учится заочно, кончает среднюю школу». Так она несла еще одно трудное бремя — матери арестанта — и горько корила себя: как могла упустить, не заметить двойную жизнь ученика, ставшего сыном?

В январе 1971 года в Саратове КГБ завел дело о распространении самиздата. В нескольких домах были обыски.

У приятельницы Люси, врачихи Нины К., обнаружили целый склад «запрещенной» литературы, в том числе рукописи ее друзей, личные письма. После многочасового обыска ее увезли на допрос. Следователь грубо требовал показаний и покаяния, угрожал, что в противном случае будут арестованы все, чьи «антисоветские» настроения известны благодаря тому, что нашли у нее. Вернувшись домой, она повесилась. Об этом стало широко известно. Дело было закрыто, Люсю вообще не вызывали; несколько «привлеченных» друзей уехали из Саратова.

Гибель Нины К. спасла ее друзей.

27 марта Люся писала:

«...Только что вернулась из Саратова, полна горьких и тревожных новостей, о которых вы, вероятно, наслышаны... Трудно было уезжать, оставляя друзей в смутном состоянии вынужденной разобщенности и единстве одной судьбы: все ждут худа, нервотрепок, служебных и прочих неприятностей. Все буквально выгоняли меня в Тарханы, считая, что здесь я в большей безопасности, чем в Саратове. Действительность представляется скверным мифом. Не могу смириться с потерей Нины, она была исключительным человеком, деятельно добрая, нежная и печальная душа. Ее взгляд на мир был очень целостным, вполне безотрадным. Она любила театр, музыку, стихи, вообще книги, тонко и разнообразно чувствовала природу, но более всего — немногих людей, которым была предана безгранично, всеми помыслами и чувствами. Ее дом и для меня был светлым и теплым домом, без нее многие осиротели. По существу, это просто убийство, смерть, выходящая за пределы личной биографии».

Она не позволяла себе поддаваться отчаянию. Работала, водила экскурсии, охотнее всего — школьников, много читала, продолжала устраивать поэтические вечера.

Не переставала радоваться красоте природы, настойчиво звала нас приехать в Тарханы.

И в тамошней сторожке, так же как в Марксе, ее комната становилась клубом, притягивающим магнитом, библиотекой.

«2 января 1971 г.

Читаю старинные книжки и все более погружаюсь в XIX век. Это мне по душе. Есть проигрыватель и пластинки: Бах, Моцарт, Григ, Рахманинов. Есть стихи, природа, собачка музейная. Почти все главное.

Если верить в торжество нравственных законов, все мои друзья будут счастливы — рано или поздно. Лучше бы, конечно, без больших опозданий».

«17 января 1971 г.

Паустовский — вечный мой спутник, единственный поэт в прозе из советских писателей. Я всех, знавших его живым, всегда расспрашивала до мельчайших подробностей о нем, все казалось значительным. Помню рассказы Юлиана Григорьевича, еще двух-трех людей, имевших случай его видеть».

«23 апреля 1971 г.

Последние мои чтения не из XIX века — Рильке и Цветаева. Интересно, писал ли кто-нибудь о них двоих, о цветаевском отношении к поэту, истоках их близости?»

«13 мая 1971 г.

Просветительство я считаю одним из самых серьезных и необходимых занятий на свете. В благо общественных катаклизмов я верю мало, в природе господствуют законы эволюции. Просветительство, мне кажется, сродни им. Это как хлебопашество и прочие корневые специальности, без каких нет человека. Я чту просветителей всех времен и народов и верю в его неодолимость. Для меня это столь же верно, как то, что рукописи не горят».

Но ей, просветительнице, пришлось трудно и в музее. Директор музея безобразно пьянствовал и помыкал сотрудниками. Трое работников музея уволились в один день.

«14 октября 1971 г.

...Сторожка стала оплотом молодежной оппозиции, и ее разгромили, выкинув нас из нее в самом буквальном смысле слова: директор въехал на тракторе на заповедную территорию и приказал вынести все вещи прочь. Получился кадр из зарубежного фильма. Зато нас очень сердечно провожали музейные рабочие, все 19 человек. Они же и приютили нас в последние упаковочные дни».

Людмила Борисовна пыталась найти работу в другом месте. В этом ей помогали друзья, в том числе и мы.

Но мать Люси, жившая в это время в Марксе, тяжело заболела. Ее нельзя было больше оставлять одну. И Люсе с сыном пришлось вернуться в старый дом.

Работу ей предоставили, но такую, от которой другие испуганно отказывались, — работу учителя-воспитателя в школе при колонии для малолетних преступников.

«14 октября 1971 г.

Я снова в Марксе... работаю воспитателем в спецшколе, бывшей колонии, которая была и осталась детской тюрьмой. У меня отряд, 4-й класс, где все переростки. Двадцать мальчишек. Я надеюсь обойтись в общении с ними без кулаков и зуботычин, привычных «воспитательных» приемов. Ношу им детские книги, читаю в свободные часы «Маленького оборвыша» Гринвуда... Борькина библиотека пошла в ход. На днях проведем Лермонтовский «огонек»; мальчишки учат стихи и песни на слова Лермонтова. Материализация тарханского опыта. Дети, которые увидели жизнь с черного хода и копируют худшие варианты взрослой жизни. Их родители, семейный уклад — разрушение, распад человеческого, семейного и общественного общежития. Неудивительно, что их обращение друг с другом лишено идилличности, зоосадовская площадка молодняка. Культ грубой физической силы, одичание и неразвитость, умственная и нравственная, стойкость всех отрицательных понятий, разгул инстинктов... Тем не менее испорченные дети все же лучше испорченных взрослых людей. В них смелее проглядывает доброе чувство, есть непосредственность, искренность, возможность роста, перемен. Они любят петь, танцевать, ценят всякое несомненное умение, мастерство. И очень нуждаются в положительных эмоциях, просто в ласке и внимании к себе. В то же время нужно постоянно сдерживать буйство и хаос их подростковой стихии».

«31 декабря 1971 г.

Мой микромир, на границе встречи-разлуки двух годов, наполненных заботами о детских судьбах, радостях и происшествиях в моем отряде, состоящем из 23 гаврошей, 24-й дома, точнее — уехал встречать новогодие в Саратов. «Только детские книжки читать, только детские думы лелеять» *. Хорошо, что именно теперь это моя рабочая программа, служба. Пытаюсь детству вернуть детство, поскольку это от меня зависит. Любимые свои книги, стихи и песни вспоминаю, раздобываю, несу в спецшколу. На отбое, когда легче всего завязываются откровенные разговоры, мои вос-

* О. Мандельштам.

питанники знакомят меня с жизнью, которую они знали до колонии. Очень интересны их рассказы. Постепенно складываются какие-то отношения со всем коллективом — 200 человек — и отдельными его представителями. Многие просят книг, бумаги (записную книжку, блокнот), просят научить играть на мандолине или гитаре. Разговоры о людях, о животных, о фильмах».

«3 марта 72 г.

Пока я еще плотно прикреплена к своей воспитательной должности и, надо признать, общение с детьми, даже самыми запущенными, доставляет по-прежнему больше радостей, чем взрослое окружение. Только что провели антифашистский вечер. Я рассказала двум отрядам, мой — 26 человек и приглашенный на вечер, соседний — о Януше Корчаке, Анне Франк.

У нас скоро будет вечер стихов Окуджавы, автор пришелся нам по душе. Нежданно-негаданно пригодилась моя мандолина, под нее легко разучивается любая мелодия. Так мы обрели музыкальную независимость».

«21 ноября 1972 г.

...Кое-кому очень хочется выжить меня из спецшколы немедленно, однако я твердо решила доработать до законного отпуска. Плохо, что за отрицательное отношение непосредственного «воспитательного» начальства страдают ребята, мальчишки из моего отряда. Их очень теснят, заметив, как живо на мне отражается любая несправедливость в их адрес. Все же со мной им лучше, интереснее жить, и я останусь с ними до лета».

«Декабрь 1972 г.

...Где-то около Нового года, в конце или после, я выхожу на работу. Ребята меня заждались. Бледные, почти совсем не дышали воздухом, без воспитателя их за зону не выпускают. Жалуются, что нечего читать и не дают рисовать. То и другое обычно у нас в обиходе. Сознание нужности среди них не оставляет, поэтому зимние месяцы должны пройти быстро.

Недавно купила однотомник Б. Васильева «А зори здесь тихие». Кроме первой повести, самой лучшей, в нем еще две. Автор — человек, верующий в силу добра. Так отраднее бы полностью присоединиться к его вере, вере гонимой и скорбной. Романы из школьной программы, которые я читала (преимущественно) два месяца кряду, убеж-

дают в том же. Наша же родная действительность вырывает с корнем всякие представления о добре. Наверное, скорое возвращение в рабочее лоно настраивает меня так скептически и мрачно, потому что спецшкола, как и взрослая тюрьма, не способствует развитию оптимизма».

«29 августа 1973 г.

...Главная моя боль: ребята из спецшколы. Мой отряд расформировали, разбросали по трем разным, а мне дали новый. «Распроданы поодиночке!»

Психологически это варварство облегчает мне уход, но мальчишек жалко. И стыдно, и яростно, что ничего нельзя изменить. Мало того, что нас второе лето обманывали с лагерем, прогулками и походами, так теперь нас уничтожили как целое, раздробили, разметали! Я уйду из этой мерзкой тюрьмы и напишу об ее палачах и тиранах».

В начале 1974 года она заболела и поначалу даже обрадовалась этому.

«...отлежусь, отосплюсь, покончу с ненавистными домашними делами». Но этой малой радости хватило ненадолго: «Заброшенный, обездоленный мой отряд маячит у меня перед глазами. Они, мальчики, пленники, не могут до меня добраться».

В феврале ей неожиданно предоставили отпуск. И тогда она начала писать повесть.

Уже из первых ее писем мы убедились в том, что у нее острый, точный взгляд художника, что она свободно, уверенно, не всегда безупречно стилистически, но свободно и своеобразно владеет словом, ей есть о чем сказать, и мы уговаривали ее писать. Она возражала:

«Я свято верю в толстовское: надо писать, когда уже не можешь не писать. Отношение к печатному слову, несмотря на всяческую его профанацию, у меня благоговейное, как, например, к консерватории. Возможно, если, на Борькино счастье, я не сложу голову в какой-нибудь придорожной канаве, природное тяготение, подкрепленное жизненным опытом, запросится наружу. Препятствовать не стану, но не раньше, чем прорвется произвольно, само по себе выкрепшее в сознании, чувствах;петь не своим голосом не хочется. Верно и другое: откладывать надолго нельзя — время уходит».

Мать, ради которой она вернулась в Маркс, умерла в октябре 1972 года.

Обстановка в колонии стала нестерпимой. Она все острее, все безнадежнее ощущала одиночество.

«2 февраля 1974 г.

В Тарханах чаще встречались лица людей из числа посетителей музея. В Марксе почти нет лиц. Т. е. лица есть, но «подобие жалких лачуг». На вечерних сеансах в кино бывает страшно — так реагирует зритель на интимные сцены. Кажется, зал полон убийц. При ярком свете то же впечатление. Здесь большинство знает друг друга, как в деревне. Знает, что покупают на базаре и в магазинах, кто с кем встречается, как празднуют, где работают. «Как» — деталь второстепенная. Здесь знают, что от кого ждать. Человек известен по главным параметрам и неожиданностями вроде бы не располагает. Совсем законченный, слепленный и словно умерший человек. Страшно видеть, как до конца определились судьбы моих бывших учеников. Тех, кто ходил на кружки и в походы, имел свою поэтическую страницу в юности, кончал вузы, начинал в НИИ... Теперь в Марксе — устойчивый провинциальный быт, хождение в гости по субботам. В целом — грустно.

Сколько бродило в каждом, когда они сидели за партами, сколько погибших возможностей! Может быть, они прорастут в их детях?»

В этом письме она признавалась:

«...Больше не в силах уже молчать. Впечатления такого рода, что утаивать их преступно. Три года — достаточный срок... чтобы разобраться, проверить истинность своих представлений на практике. Сейчас я вроде перенасыщенного раствора на стадии кристаллизации. Пока не думаю, на какой предмет пишу, без определенного адреса и заявки. Лишь бы выговориться сполна, точно и честно. Я давно знаю, как вредны и отвратительны полуправды».

В последнем письме, которое мы получили (28 февраля 1974 г.), она писала, что живет «в обществе письменного стола... Не знаю, каковы будут результаты, пока меня мало это занимает... Главное, что называется, подперло, подошло под самое горло. Непременно надо выговориться, выписаться... Рассказать изустно — неловко, стыдно. «Так не бывает!» — реакция слушателей. А я среди этого «не бывает» живу третий год. Не могу не верить своим глазам, ушам... Тем более что у меня нет никакой адаптации к привычному злу. Оно колется и жалит постоянно, а кожа, вместо того чтобы задубеть, становится все чувствительнее... Пока содержание вытекает на бумагу само собой, произвольно,

и я не успела еще устать, а только радуюсь, что обрела наконец-то голос...»

Две недели спустя после этого письма Людмила Борисовна умерла от кровоизлияния в мозг.

Мы убеждены, что болезнь была непосредственной, но не случайной и не единственной причиной ее гибели.

Она была трагически одинокой подвижницей. Несмотря на множество друзей, приятелей, добрых знакомых, любящих учеников, она оставалась одинокой там, где начинался ее подвиг — отчаянный поединок с бездушными силами зла и мрака.

Люся была одинока и потому, что, щедро одаряя всех вокруг знаниями, деятельной помощью, сердечным участием, она сама не получила взамен и малой доли душевного тепла.

Мать и сын очень любили ее, но именно поэтому ревниво требовали ее внимания, ее времени, ее помощи. И почти никогда не сознавали, как ей самой необходима помощь, как необходимо ей время, чтобы свободно думать, писать, и как тягостно она устает...

Ее приемный сын Володя был одним из немногих, кто это понимал, вернее, чувствовал и пытался ей помогать. Но он принес ей только новое горе.

До конца жизни оставалась она просветительницей в самом точном, первоначальном смысле этого слова. Для нее образование было неотделимо от нравственности. Ее уроки, беседы, книги, которые она разносила и развозила, становились источниками света, излучали добро и правду.

Она — безвестная учительница из захолустья — живое олицетворение традиций русского просветительства, тех неиссякаемых традиций служения народу, которые сохранялись вопреки всем бедствиям, потрясениям, преследованиям.

Немало таких светоносных людей погибло — в тюрьмах, в лагерях, на войне, изглоданные нуждой, задушенные отчаянием, затравленные или спившиеся. Но их свет не угасал. И в городке Маркс на Волге этот свет озарял письменный стол в заставленной книгами комнате Людмилы Магон.

ГЕНЕРАЛ

Так его называли и друзья, и тюремные охранники. Годы молодости и годы зрелости Петра Григоренко, пора, когда складывается мировоззрение и мироощуще-

ние, прошли в армии. Он был солдатом, офицером, генералом.

Армейская служба, повседневность казарм и окопов, как правило, не способствует независимому, критическому мышлению. Военнослужащие живут по строгим регламентам, обязаны выполнять приказы, не рассуждая. Судьба Петра Григоренко противоречит этому.

Он подчинялся приказам и сам приказывал. Однако не научился самостоятельно мыслить.

7 ноября 1961 года, в пору самой теплой оттепели перед XXII съездом, мы услышали, что на одной из районных партийных конференций Москвы выступил некий генерал, герой войны, ставший профессором Академии Генерального штаба.

Он говорил, что критика режима — тогда его называли «культом личности» — ведется непоследовательно, не марксистски, ибо не критикуются те условия, которые породили сталинскую диктатуру с ее губительным произволом.

Так Григоренко начал подвергать сомнениям ту политическую систему, которой он долго, верно служил, за которую воевал, был ранен, едва не погиб. Он открыто заговорил о пороках того государства, которое награждало его, обеспечивало ему привилегии, благополучную жизнь.

Генерала Григоренко лишили депутатского мандата, позже он получил строгий партийный выговор, был уволен из Академии. Его назначили начальником штаба армии на Дальнем Востоке.

В те же дни 61-го года на партийной конференции в Курске с подобной же речью выступил писатель Валентин Овечкин. Он в 1952 году, то есть еще при Сталине, опубликовал в «Новом мире» правдивый очерк «Районные будни», очерк, открывший то направление в советской литературе, которое позже, в 70-е годы, было названо «деревенской прозой».

В 1961 году на Овечкина яростно ополчилось партийное начальство, его тоже лишили мандата. Почувствовав себя безнадежно одиноким, отчаявшись, он в тот же вечер выстрелил себе в висок. Остался жив, искалеченным.

XXII съезд был резко антисталинским. Было принято (и осуществлено) решение вынести гроб Сталина из мавзолея. Было принято (и не осуществлено) решение — поставить памятник его жертвам. Однако по всей стране сваливали статуи тирана.

Поэтому расправы с Григоренко и Овечкиным (услы-

шали мы о них позже) казались нам событиями исключительными, одиночными ударами, которые еще способны наносить уже обреченные, отступающие сталинские аппаратчики.

Григоренко это столкновение с режимом побудило размышлять все дальше:

«Мне все чаще приходило в голову, что созданный в нашей стране общественный строй — не социализм, что правящая партия — не коммунистическая. Куда мы идем, что будет со страной, с делом коммунизма, что предпринять, чтобы вернуться на «правильный путь», — вот вопросы, которые захватывают меня все больше.

Я начинаю искать ответы на эти вопросы и по старой привычке обращаюсь за советами к Ленину. Сажусь снова за его труды... Но, Боже мой, как же по-новому предстает передо мною Ленин. То, что казалось абсолютно ясным и целиком приемлемым, теперь наталкивается на непримиримые противоречия в тех же трудах...

...устоявшиеся понятия: о демократии и о Ленине как о классическом примере демократа. И вдруг, как будто на пень свежеспиленного дерева наткнулся в темноте: «Мы большинство завоюем на свою сторону, мы большинство убедим, а меньшинство *заставим*, принудим подчиниться...» Значит, когда Ленин был в меньшинстве, он совершенно четко утверждал, что большинство не имеет права навязывать свою волю меньшинству, а после говорит, что у большинства есть право душить меньшинство, не давать ему и пикнуть.

...Так, пересматривая Ленина и анализируя внутреннюю и внешнюю политику партии и государства, я постепенно вырабатывал свои оценки событий и свои представления о задачах, стоявших перед страной и мировым коммунистическим движением».

И с той же последовательностью, с которой Григоренко на фронте и в штабных играх ставил и выполнял тактические задачи, он перешел от размышлений к действиям. В этом сказались и характер, воспитанный армейской службой, и врожденные способности — прямодушие, отвага, неумение лицемерить, порывистость... Его мысль сразу же становится словом, а затем, чаще всего — делом.

Он задумал целый ряд писем в ЦК с тем, чтобы информировать руководителей партии о действительном положении в стране и сообщить им о своих теоретических выводах.

Он искал в работах Ленина аргументы, чтобы убедить Хрущева в необходимости перестроить всю систему руководства партией и страной, доказывал необходимость свободы слова и демократических структур общества.

Не получая ответа на эти письма, он с той же неуклонной последовательностью начал действовать по-другому. Летом 1963 года, приехав в отпуск в Москву, он вместе со старшими сыновьями организовал «Союз борьбы за возрождение ленинизма». От имени этого Союза он изготовил несколько листовок и сам раздавал их у входа на завод «Серп и молот».

В феврале 1964 года его арестовали. Первый допрос вел сам Председатель Комитета государственной безопасности Семичастный. Но он не решился предать суду боевого генерала. Григоренко направили в психиатрическую больницу, объявили психически невменяемым и разжаловали.

Когда через год он вышел из больницы, ему пришлось долго искать работу; он стал грузчиком.

В 1966 году Григоренко познакомился с несколькими людьми, которые рассуждали так же, как он, и так же, как он, пытались действовать, прежде всего вразумлять партийное руководство, но к тому же оглашать возможно шире правду об истории, о современности, правду, подавляемую цензурой. Старые члены партии С. Писарев и А. Костерин, председатель колхоза Яхимович, молодые оппозиционеры Буковский, Гинзбург, Якобсон стали его друзьями.

«Знакомство и дружба с А. Е. Костериным оказали коренное воздействие на мои убеждения и раздвинули мой критический кругозор до масштабов понимания нужд страны и народных бедствий...

Вся семья Костериных была большевистской. Старший брат с 1903 г., отец — с 1905 года, средний брат — с 1909 г., младший — сам Алексей Евграфович — с 1916 года, мать — с 1917 г. ...Когда я познакомился с Алексеем Евграфовичем, в живых остался он один. Отец умер в зиму 1933 года от голода. Старший брат был арестован и расстрелян в 1936 году, среднего брата исключили из партии, сняли с работы, и над ним навис арест... он запил и умер... Мать, когда арестовали старшего сына, положила свой партийный билет... После смерти среднего сына и ареста младшего не стало и ее, не выдержало сердце».

Алексей Евграфович Костерин, участник гражданской войны, был журналистом, литератором — одним из создателей литературной группы «Молодая гвардия». В 1937 году

он был арестован. Семнадцать лет провел на колымской каторге.

После реабилитации и восстановления в партии он выпустил несколько сборников рассказов, опубликовал дневник дочери Нины, погибшей в 1941 году на фронте. Но главным своим делом считал борьбу против сталинщины. В гражданскую войну он сражался на Северном Кавказе, потом несколько лет там работал, он знал жизнь ингушей, чеченцев, кабардинцев, балкарцев. Страшные судьбы этих народов, изгнанных в 1944—1945 гг. по сталинским указам, гибель тысяч людей были для Костерина нестерпимой болью. Он писал Хрущеву, выступал на собраниях, добивался возвращения изгнанных народов, восстановления их прав. После того как чеченцы, балкарцы, ингуши вернулись, он вместе с Писаревым продолжал отстаивать права крымских татар, месхов, немцев Поволжья.

В 1966 году в Институте Истории АН шла дискуссия по книге Ал. Некрича «22 июня 1941». П. Григоренко произнес речь. Он защищал Некрича от бешеных нападков партийных историков, которые не хотели допускать и тени правды о том, как бездарная, преступная политика Сталина, его слепое доверие к Гитлеру привели к губительным поражениям 1941—1942 годов.

Григоренко обстоятельно доказывал: действительность была страшнее того, что удалось высказать Некричу. Он рассказывал, ссылаясь на документы и на свой личный опыт, как за четыре года до войны было уничтожено большинство командиров Красной армии и флота, большинство руководителей военной промышленности.

Еще до первых выстрелов 41-го года Красная армия понесла неизмеримо большие потери, чем любая армия, потерпевшая катастрофическое поражение.

Эта речь Григоренко широко распространялась в самиздате.

Л. Алексеева пишет:

«17 марта 1968 года в день 72-летия А. Е. Костерина представители крымско-татарского народа в Москве устроили вечер в его честь. На этом вечере они познакомились с П. Григоренко, другом Костерина... С этого дня он принял в сердце горе крымских татар и помогал им так, как если бы был одним из них».

Весной 1968 года Петр Григоренко с группой бывших коммунистов направил письмо Будапештскому совещанию коммунистических партий, призывая зарубежных ком-

мунистов поддержать в СССР тех, кто сопротивляется возрождению сталинизма.

Пятого декабря в День конституции он с друзьями пришел к памятнику Пушкину. Несколько человек одновременно сняли шапки, молча демонстрируя против беззаконий и солидаризуясь с политическими заключенными. С тех пор эти демонстрации стали традицией.

Л. познакомился с Петром Григоренко в октябре 1968 года у дверей городского суда, где шел процесс Ларисы Богораз, Павла Литвинова и других участников августовской демонстрации против вторжения в Чехословакию. Григоренко собирал прямо на улице подписи в защиту обвиняемых.

* * *

В апреле 1969 года Григоренко получил телеграмму из Ташкента, его просили приехать на процесс Мустафы Джемилева, одного из отважных борцов за права крымских татар.

Григоренко поехал, был арестован. (Позже никому не удалось узнать, кто же послал телеграмму. Просто КГБ тогда еще не хотел арестовывать бывшего генерала в Москве. И Ташкентский суд не решился вынести обвинительный приговор.)

Его опять направили на психиатрическую экспертизу в Ленинград, потом в Институт Сербского, а потом в специальную психиатрическую тюрьму в Черняховск.

Петр Григоренко пробыл в психиатрических тюрьмах почти шесть лет. При каждом новом испытании, перед каждой новой пыткой ему предлагали покаяться, отречься. Он знал, что отречение означало бы конец мук, выход из одиночной камеры, из палаты умалишенных. Но он не уступал и не отступал. Он был упрям тем упрямством, которое становится героизмом.

Герой всегда исключение. Людям свойственно избегать мук, уклоняться от борьбы с явно более сильным противником. Мы не считаем себя вправе осуждать тех, кто не выдержал тюрьмы, страданий, отрекся под страхом смерти или из жалости к семье. Но тем большее уважение, восхищение вызывают неколебимые, самозабвенные. Таков Петр Григоренко.

В одиночной камере он хотел заниматься немецким языком, старался сперва по памяти, «наизусть» восстанавливать запас слов, правила грамматики.

Мы посылали ему книги, словари. Приводим некоторые из писем:

2.11.70, КПЗ

«Дорогой Лев Зиновьевич!

Предельно рад в первые же дни здесь получить от Вас весть, и хотя эта «весть» имеет реальную материальную ценность, но тронуло меня больше всего то, что Вы и без меня надежно связаны с моей семьей. 18.10. вечером я прибыл сюда, а 19-го я уже получил Вашу первую бандероль... а вчера получил вторую Вашу бандероль (Гейне и две книжки Брехта, одна на немецком, другая на русском)...

От меня горячий привет жене, дочерям, зятям и внукам. Обнимаю вас, мой дорогой друг. Будем надеяться на скорую встречу».

«Черняховск, 30.12.1971

Дорогой Лев, здравствуйте!

Вчера получил Вашу открытку. Искренне, от души рад ей. За мое отсутствие произошли такие потери... среди уважаемых, дорогих и близких мне людей, что узнать о том, что кто-то из них продолжает оставаться в той же ипостаси — большая радость для меня...

О себе я Вам писать не буду. Живу только одним — надеждой на скорое возвращение к семье...

...Имеется просьба. Я писал З. М., и она обещала попробовать выполнить мою просьбу — достать двухтомник Борхерта (на немецком). Получив Вашу открытку, я подумал, что, может, у Вас есть связи с «Иностранной книгой». Если да, то помогите З. М. выполнить мою просьбу. И еще. Из «Литературки» я узнал, что в ФРГ вышел новый роман Бёлля «Групповой портрет с дамой» (немецкого названия романа я не знаю, а делая обратный перевод с русского, можно и не попасть в то название, под которым он вышел в ФРГ). Мне очень хотелось бы достать этот роман. Если это в ваших силах, подарите мне его (за мои деньги, разумеется). А вообще мне хотелось бы иметь всё, что издано Бёллем. Но это программа-максимум. Этим я займусь сам, когда вернусь домой, а пока «Групповым портретом».

Какие у меня успехи в немецком? По-моему, неплохо в смысле одностороннего перевода (с немецкого). Обратного перевода не пробовал. Без бумаги и ручки начинать это невозможно. Активного запаса слов фактически нет. Да и откуда ему взяться, если ни с кем не разговариваю. Выговор у меня, наверно, тоже аховый, хотя читаю я все время вслух. Но ведь никто не поправляет...»

Л. писал ему:

«24 января 1972 года.

Дорогой Петр Григорьевич,

Ваше письмо меня очень обрадовало и, так сказать, содержанием и формой — выраженным в нем бодрым настроением и самим фактом. Звонил Зинаиде Михайловне, узнал о последних невеселых новостях, у нее опять приступ астмы... И все же хочу сам и Вас всей душой призываю: надеяться, верить, беречь силы, не поддаваться унынию. Я твердо убежден, что в этом году Вы вернетесь к семье, будете иметь возможность спокойно в добром здоровье читать хорошие книги, слушать хорошую музыку, радоваться лесу, цветам, солнечному теплу... Вы с честью заслужили право на покой и благополучие и, пожалуй, именно в нашем возрасте только и начинаешь по-настоящему понимать драгоценность каждого часа, который можно уделить таким высоким наслаждениям. И также только теперь по-настоящему становится понятным для меня, как, вероятно, и для Вас, мудрый стоицизм Пушкина и Тютчева. Не знавший старости Пушкин обладал такой поразительной просветленной мудростью, которая мне все более необходима именно теперь, на исходе шестого десятка. Утешнее любой молитвы мне, грешному, его элегия:

...Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь...

Вашу просьбу о книгах Борхерта постараюсь выполнить возможно скорее, пока еще не достал. Посылаю три повести Бёлля — русские переводы и немецкие подлинники (две книжки с автографами автора!!!). Надеюсь, что они Вам и понравятся, и помогут в дальнейшем овладении языком. Буду рад любой возможности помочь Вам — пи-

шите, спрашивайте, давайте заказы на книги и учебные пособия.

Будьте здоровы, здоровы, здоровы!!! Вся моя семья сердечно приветствует Вас и желает доброго здоровья и скорого возвращения домой».

В тот же день я послал письмо начальнику спецтюрьмы:

«Администрации учреждения 216/2 .

Уважаемые товарищи!

Очень прошу вас возможно скорее передать прилагаемые книги Петру Григорьевичу Григоренко — это переводы и подлинники повестей известного немецкого писателя Генриха Бёлля. Сопоставляя перевод с подлинником, Петр Григорьевич может совершенствовать свои знания немецкого языка, изучать теорию и практику перевода художественной литературы. Он проявляет серьезную заинтересованность этими проблемами и — могу вас заверить как специалист — высказывает очень дельные мысли.

Бодрое, жизнерадостное письмо, которое я получил от него к Новому году, очень порадовало всех, кто знал Петра Григорьевича и, естественно, озабочен его судьбой. Его занятия немецким языком и проблемами перевода несомненно благотворны для него со всех точек зрения. Полагая, что и вы могли уже убедиться в этом, я решаюсь просить вас позволить, наконец, Петру Григорьевичу пользоваться письменными принадлежностями, без чего невозможно дальнейшее активное изучение иностранного языка. Я позволю себе обратиться к вам с такой неофициальной, но очень горячей просьбой, потому что принадлежу к числу лиц, кто, не разделяя многих взглядов Петра Григорьевича, глубоко уважает его как самоотверженного, талантливого и доброго человека. Вы, вероятно, знаете, что так думают о нем все, кто знаком с ним или с его публицистическими и научными работами. А таких людей очень много и у нас в стране, и за рубежом.

Решительное изменение его судьбы, видимо, от вас не зависит, но от вас зависит, чтобы его жизнь в вашем учреждении была возможно менее тягостной. За это вы ответственны прежде всего перед вашей собственной совестью. Петра Григорьевича Григоренко — героя Великой Отечественной войны, ученого и общественного деятеля — никогда уже не забудут ни его друзья, ни знакомые и незнакомые,

ни беспристрастная история, никто из людей, сталкивавшихся с ним. Не забудете его и вы, поэтому для вас же хорошо теперь поступать так, чтобы вам и через многие годы, вспоминая о нем, не пришлось испытывать угрызений совести перед детьми и внуками. Пожалуйста, поймите меня правильно: доброе, человеческое отношение к Петру Григорьевичу может быть только полезным для всех — и для него, и для спокойствия души каждого из вас, и для престижа государства.

Желаю всем, кто будет читать это письмо, и всем вашим родным в наступившем году хорошего здоровья, исполнения добрых надежд и доброго счастья».

Петр Григорьевич писал мне редко.

«5.11.72 г.

Получил ваши две бандероли, два тома Брехта, VII и VIII, и клюкву в сахаре. Конечно, я благодарен за обе бандероли. Тем более — клюква в сахаре, наверное, только появилась в продаже. Сужу об этом потому, что одновременно с вашей бандеролью с тем же содержимым выслал мне Анатолий Якобсон. Но все же больше я восхищен бандеролью с книгами. Мне прямо неудобно. Вы так рискуете ценными книжками, разрознивая к тому же издания. Я, конечно, постараюсь вернуть все с полной исправностью, но я никогда не забуду эту жертву. Я уже начал читать «Жизнь Галилея» Брехта, боялся, что разговорная речь не пойдет у меня, оказывается, пошла очень хорошо. А вот «Фауст» не идет. Видимо, надо читать в нашем издании с комментариями. Привет жене и дочерям».

«Троицко-Антропово, 1 марта 74

...Майя спросила меня, что прислать из немецких книг. Я сказал, что полагаюсь на вкус ее папы. Затем сказал, что его вкус в прошлом меня не подвел, и кратко отозвался о том, что читал. При этом сравнивал Брехта в оригинале с тем, как его поставил Любимов. Майя спросила: «А пьесы Дюрренматта Вы читали?» Я сказал, что нет. Вот она, видимо, истолковала мой ответ как мое желание познакомиться с этим автором. Сознаться, это очень вольное толкование. Я не мог ни желать, ни не желать этого автора, так как я его просто не знаю. Но так как всякое познание нового — праздник ищущего ума, я, конечно, рад книге, хотя меня при этом расстраивает, что приходится рисковать авторским экземпляром...»

Р. Я видела Петра Григоренко до его ареста мельком, слышала о нем много. И он нередко возникал в моем воображении.

Генерал на трибуне партийной конференции.

Генерал у дверей суда.

Генерал на площади.

А потом он — в тюремной одиночке.

Я в то время должна была писать книгу о Джоне Брауне. Она мне не давалась. Прочитала много книг, собрала много фактов, но никак не могла нащупать главного. Почему он ворвался в арсенал южан в Харперс-Ферри? Что им двигало? Как именно хотел он освободить негров? Что было у него на душе? Не знала. Впору было отказаться от книги, но на это я не имела никакого права...

Друг, с которым я делилась своими заботами, ответил: — Представь себе Григоренко и пиши.

Не помню, как пошло дальше, но когда книгу опубликовали, мне несколько читателей говорили:

— А ведь тут многое похоже на наше диссидентство...

...1975 год. У нас в комнате сидит уже не воображаемый, а реальный Петр Григорьевич. Лев называет его Петро, а мне хочется «генерал».

Сила. Огромная внутренняя сила. Дар — командовать. Будто он и рожден генералом. И сознает это. Не слышала, чтобы он повышал голос, но металл иногда звучит.

Рассказчик замечательный, почти все вижу. Потом о многом прочитала в его «Автобиографии», сначала услышала.

Строго выполняя приказ, как и все приказы, потребовал, чтобы все солдаты в его дивизии носили каски. И сам поступал так же. Начальник политотдела Брежнев упрекнул в «бюрократизме»: Вы что, за свою голову боитесь... бережете?»

Что может быть страшнее для храбреца, чем упрек в робости? Но Григоренко ответил:

— Берегу не только свою, берегу жизни солдат. Да и каски эти в тылу делали, ночей не спали и не для того, чтобы их в сумках таскали...

Разрыв мины, каска действительно спасла ему жизнь. Потом с вмятиной возили по войскам, показывая солдатам, как надо выполнять приказы.

Слушая его рассказы, еще острее ощутила: ту горькую чашу, которую ему пришлось испить, он мог отстранить от себя. Он мог — легко — не стать диссидентом. У него было все, что может получить тот, кто принадлежит к самой высокой номенклатуре: звания военные и ученые, любимая работа, квартира, достаток, полная возможность дальше учиться самому и учить других.

Воевать против сверхдержавы вышел не пылкий романтический юноша — Григоренко стал участником правозащитного движения, уже прожив полвека. Ядро его личности оказалось непробиваемым.

...18 мая 1944 года в одну ночь крымско-татарский народ был сталинским указом выселен из Крыма в Казахстан, людей везли в вагонах для скота, больше половины погибли в пути.

После смерти Сталина другие «наказанные» народы вернули; в 1967 году формально, без оглашения в печати реабилитировали и крымских татар. Но возвращаться в Крым им было запрещено. Об этом знали многие. Знали, но либо вовсе об этом не задумывались, либо отталкивали от себя горькое знание — что же поделаешь? — принимали как должное. А Григоренко, узнав, уже не мог жить по-прежнему. Он был рожден для дел, верил в дела.

Я видела его только в небольших московских квартирах, у нас, у них, у нашей дочери, у общих друзей. Но представляла во главе войска на поле боя. Такой приказ — и трудно послушаться.

Впрочем, видела я Петра Григоренко и в большом зале Публичной библиотеки Нью-Йорка 3 сентября 1981 года. Он был третий год в изгнании, мы — первый. Мелькали, словно и впрямь на том свете, люди, уехавшие за прошедшие десять лет. Григоренко сидел за краешком стола, — полагалось стоять, потерянный, неумело жевал какой-то сэндвич. Нет, тут он генералом не был.

Но это уже другой этап его, нашей, общей жизни. Мы пишем о Москве.

* * *

В 1974 году Петра Григорьевича, наконец, освободили. Этому предшествовали многочисленные ходатайства, требования, протесты, которые советское правительство получало из разных стран, от разных людей.

Вернувшись в Москву, Григоренко стал жить так же,

как до ареста. В маленькой квартире с утра до поздней ночи не умолкал телефон, не прекращалось движение людей. Приходили московские и приезжие друзья и вовсе незнакомые, родственники арестованных, ссыльных, крымские татары, немцы из Казахстана, отказники-израильтяне, литовские католики, баптисты... И, разумеется, приходили иностранные корреспонденты...

В 1976 году Петр Григорьевич стал членом московской Хельсинкской группы, организованной физиком Юрием Орловым, а затем и киевской Хельсинкской группы, которую организовали его друзья — поэт Микола Руденко и учительница Оксана Мешко.

И снова ему угрожали. И прямо, непосредственно, и через «доброжелателей». Когда Петр Григорьевич и Зинаида Михайловна выходили из дому, за ними, даже не пытаясь скрываться, шли филеры.

Но он не мог жить иначе. Он написал в книге «Наши будни», которая разошлась в самиздате:

«Правозащитное движение — самое важное дело оставшихся лет, а быть может, и месяцев.

Ведь это мой 50-летний труд вложен в то, чтобы создать тот общественный порядок, при котором преступники, истребившие 66 миллионов советских людей, не только не наказаны, но окружены почетом и сами наказывают тех, кто пытается напомнить об их преступлениях. Это я приложил руку к тому, чтобы в стране утвердилось беззаконие...

Это моя прямая вина в том, что родители не могут жить в одной стране с любимым сыном...

Это такие, как я, виноваты в том, что... народ обсели со всех сторон и обжирают его тучи чиновной саранчи...»

В 1977 году были арестованы руководители и участники хельсинкских групп: Орлов, Гинзбург, Щаранский, Руденко, Тихий. В разных городах участились аресты и обыски.

Сын — Андрей Григоренко с женой решили эмигрировать. Петр Григорьевич тяжело болел. Ему необходима была операция аденомы, но и семья, и врачи опасались за его сердце. Было известно, что такие операции в США делают по новому методу, более совершенному. И те, кто ему угрожал психтюрьмой, предложили выехать за границу на лечение. Друзья уговорили его и Зинаиду Михайловну. Они уехали втроем — с младшим сыном, тяжело больным от рождения.

Едва они оказались в Нью-Йорке, советское правительство объявило о том, что Петр Григоренко лишен советского гражданства.

После операции он сразу стал продолжать жизнь, подобную московской.

Мы получили от него несколько писем.

*«11 января 1980 г., Нью-Йорк *.*

Дорогой Лев!

Сам я старик задерганный, а все еще чего-то добиваюсь и, считая тебя младшим, задаю тебе работу. Первое и главное — передай как-нибудь прилагаемое письмо О... дело это очень важное. Она и теперь, как я в свое время, ожидает от Запада невыполнимого. Она думает, что если долго кричать отсюда о ком-нибудь по радио, то его выпустят. Но это глупости. Кремль ведет беспрюирышную игру: дает здешним накричаться, а потом кого-нибудь выпустит, но не даром, а в обмен на настоящих преступников, советских шпионов или на чилийского секретаря **. И этим затыкает рот Западу. А тут все начинают радоваться — кое-кто начинает благодарить Советский Союз за гуманизм. Находятся и такие, кто кричит о победе и радуется, что заставили СССР отступить. Дураки, дураки! Я давно уже понял, что тут играют в одни ворота.

Но я продолжаю писать заявления, рассказывать об арестованных друзьях, протестовать против несправедных приговоров и требовать всеобщей амнистии.

...Время у меня здесь «растянутое», не остается времени на сон и на то, чтобы пожаловаться на здоровье. Но так уж вышло, что я здесь все время был страшно перегружен. И никто в этом не виноват, кроме меня самого. Не могу себя освободить. Тоска задавит. Очень тоскую по родине и друзьям. Но хватит об этом. Продолжу то, с чего начал. Уже в прошлом году мне пришла мысль, что необходимо провести одну большую, хорошую кампанию за всех. И я начал всюду стучать во все двери, требовать, чтобы Мадридское совещание (по проверке Хельсинкских соглашений) стало поводом для такой кампании. Сейчас дело вроде двинулось. В марте—апреле хочу проехаться по Европе. Дополнительно повлиять на общественное мнение, чтобы поставить твердые требования правительственным делегациям европейских

* Подлинник на украинском. Л. с Петром Григорьевичем разговаривали по-украински, а переписка в годы, когда он был в тюрьме, могла вестись только по-русски.

** Имеется в виду обмен Буковского на Корвалана и обмен пяти советских заключенных на шпионов.

стран, чтобы они на Мадридском совещании единодушно проголосовали за немедленное освобождение всех членов хельсинкских групп и за всеобщую политическую амнистию в СССР и странах Восточной Европы. А если Кремль на это не согласится, то признать Заключительный акт Хельсинкского совещания недействительным и требовать заключения мирного договора. Прочитай мое письмо, прилагаемое для О., и увидишь, какой помощи я ожидаю от украинской Хельсинкской группы. Думаю, что и ты мог бы помочь, если напишешь соответствующее письмо, скажем, Генриху Бёллю. О чем писать — сам сообразишь, если точно осознаешь, чего мы добиваемся...

Для соответствующей подготовки общественного мнения и влияния на свои правительства нужно создать во всех западных странах группы по типу наших хельсинкских.

...О себе писать нечего. Книжку закончил. По-английски она выйдет будущей зимой, по-французски намечается еще в марте этого года. Русских и украинских издателей еще нет».

Книга, о которой тогда писал Петр Григорьевич, — его воспоминания *. Они оказались интересны, значительны не только как рассказ о жизни очень хорошего человека, но и как правдивое историческое свидетельство о целой эпохе в жизни нашей страны.

Его повествование не претендует на художественность, оно развивается замедленно, особенно в начале, неровно. Однако автор вправе повторить слова Льва Толстого: мой главный герой — правда.

Сын небогатого крестьянина, Петро Григоренко едва помнит свое детство: не было в нем значительных событий, мало было радостей. Он учился, работал, стал комсомольцем, потом красноармейцем вступил в партию. Он с юности безоговорочно верил в идеалы коммунизма, в будущее справедливое общество без войн, угнетения, национальной вражды. Верил, что программа большевиков — единственный путь к такому идеальному обществу. Его веру не могли поколебать ни бедствия родной деревни в годы коллективизации, ни страшный голод, погубивший немало его близких и соседей, ни годы террора, ни арест брата...

Но несмотря на его приверженность идеологии, несмотря на безоглядное подчинение партийной и армейской дисциплине, он сохранял глубоко укорененные основы

* Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс. Нью-Йорк. 1981.

нравственного мироощущения. Его представления о добре и зле были исконно народными, и даже когда он был убежденным атеистом, они оставались бессознательно религиозными; он сострадал терпящим бедствия, гонимым, всегда готов был прийти к ним на помощь. Ему отвратительны ложь, несправедливость, лицемерие.

Когда в 1937 году арестовали его брата, он, не раздумывая, бросился на защиту, писал ходатайства в партийные и судебные учреждения, хотя в то время все знали, как опасна защита «врагов народа».

Отец Сергей Желудков (1914—1983) называл Петра Григоренко «анонимным христианином» в 70-е годы (когда тот еще считал себя атеистом).

В июне — июле 41-го года полковник Григоренко, работник штаба армии, расположенной на Дальнем Востоке, говорил с товарищами о неподготовленности Красной Армии к войне. За это он получил выговор, но вскоре добился отправки на фронт в действующую армию. Этот выговор был снят лишь в конце войны, когда дивизия, которой командовал полковник Григоренко, одержала несколько блестящих побед. Выговор снимал политотдел корпуса, начальником которого был полковник Леонид Брежнев.

(Когда Григоренко вернулся в Москву после тяжелых тюремных лет, мы его спросили: «Почему ты ни разу не написал Брежневу? Почему не разрешил жене обратиться к нему, напомнить о фронте?» — «Он меня знает. Если бы хотел, мог бы сам проявить инициативу...»)

Петр Григоренко, крестьянский сын, украинец, ставший русским генералом и ученым, защищал права русских, украинцев, крымских татар, евреев, немцев, всех малых народов, угнетаемых империей. В этом он — законный наследник традиций русской и украинской интеллигенции, традиций Герцена, Шевченко, Толстого, Горького, Короленко. Но в этом сказались и его неизменная преданность тем юношеским комсомольским идеалам интернационализма, которые для советской партократии давно уже стали пустыми словами.

Григоренко много страдал. И в эмиграции ему жилось тяжело. Не только потому, что он неутомимо тосковал по родным краям, по сыновьям и внукам, но и потому, что он болезненно воспринимал взаимное непонимание с людьми Запада и со многими враждующими между собой эмигрантами.

И все же его нельзя назвать несчастным. Потому что

он выстрадал жизнь в согласии с совестью. Потому что рядом с ним, разделяя все его испытания, была его жена и верный друг — Зинаида, обаятельная женщина и храбрый боец, перед которой отступали и самые наглые чиновники КГБ.

История жизни Петра Григоренко помогает приблизиться к пониманию того, что многим людям на Западе представляется непостижимой тайной русской истории и русской души. Он подтверждение простой и невероятной истины: в самые страшные годы вопреки лжи, произволу в России жили люди, которые верили в идеалы социализма, оставаясь хорошими людьми, сохраняли традиции национальной культуры, народного нравственного сознания.

Жизнь Петра Григоренко — историческая трагедия. И Герой ее — не один, а множество людей из нескольких поколений его соотечественников. Этот коллективный герой, подвижник и мученик отягощен трагической виной: из лучших, благородных побуждений он участвовал в злодеяниях.

Достигнут ли катарсис? Очищены ли страданиями и гибелью те, кто так и не осознал своей совинности?

Мы не находим однозначного ответа.

Но тут мы убеждены: Петр Григоренко очистился.

Выступая впервые в 1961 году, он не собирался быть диссидентом, противником своей партии, он не хотел бороться против советского государства и не сомневался в праведности его основ. В ту пору он хотел прежде всего заниматься научной работой, его интересовало применение кибернетики в армии больше, чем государственная политика.

И в этом он тоже близок ученым — Андрею Сахарову, Сергею Ковалеву, Юрию Орлову, которых раньше научные проблемы привлекали больше, чем политические. И писателям Виктору Некрасову, Георгию Владимову, Владимиру Войновичу, которые хотели писать романы, рассказы, пьесы, а не воевать с прокурорами и КГБ.

Нельзя понять природу советского общества, забывая о том, что его жизнеспособность создают вовсе не те, кто им правит, не сановные бюрократы, послушные аппаратчики. А те честные люди, которые просто не умеют плохо работать, преданы своему призванию и своей стране. Многих таких людей мы знаем. Таким был Петр Григоренко.

И советская система нередко превращает в своих противников именно таких людей, — лояльных, бескорыстных, стремящихся только к улучшению этой системы, но не способных ни лгать, ни приспособливаться ко лжи.

Некоторые новообращенные антикоммунисты, выросшие в СССР, в условиях жестко двухмерного мировоззрения («кто не с нами, тот против нас») судят и о своем прошлом, и об истории своей страны так же односторонне и так же нетерпимо, как их отцы судили о белогвардейцах, о меньшевиках, о троцкистах и т. д.

В отличие от них Петр Григоренко воплощает то видение мира, которое определяется не только памятью и зоркостью, но и сердечной добротой.

Он рассказывает о множестве разных людей, книга его густо населена. В людях он видит прежде всего хорошее.

Мы не разделяем некоторых его восторженных оценок. А в двух случаях с огорчением прочитали, как П. Григоренко осудил людей, которые этого не заслужили, М. Улановскую и Ю. Кима.

* * *

П. Григоренко радовался своему возвращению к детской религии, к церкви, отстаивал политические и философские взгляды, противоположные тем, которых придерживался раньше. С любовью писал он о новых друзьях-диссидентах. Но это не мешало ему благодарно вспоминать и о честных людях, которые не стали его единомышленниками.

Гёте говорил о солнечной природе человеческого глаза, в силу которой он способен воспринимать солнечный свет. Вероятно, благодаря этой «солнечности» человеческий глаз еще и зеркален. И в нем отражается смотрящий на него. Отражается в глазах друзей и случайных собеседников.

Добрый взгляд Григоренко видит и в прошлом, и в настоящем больше хороших людей, чем плохих, еще и потому, что это он сам отражается в их глазах.

СЛОВОПокЛОННИК

Когда Костя Богатырев читал стихи или говорил о поэзии, он преображался. Резко очерченные нервные черты лица смягчались, разглаживались. Казалось, он становился выше ростом, шире в плечах и голос звучал сильнее, глубже...

Он мог часами наизусть читать стихи Пастернака и Рильке. О них, о поэзии Геннадия Айги и Иосифа Бродского он говорил, как внимательный, искушенный исследователь

словесник и как безоглядно влюбленный юноша. Оппонент, не способный понять их достоинств или враждебный к его любимым поэтам, вызывал у Кости презрительную неприязнь. Его отношение к литературе, к поэзии было чрезвычайно личным, страстным и пристрастным. Неточность, неряшливость слов, недобросовестный перевод иноязычного стихотворения или прозы оскорбляли его как личная обида. Бездарность и невежество могли возбудить ярость.

Он бывал несправедливо суров к произведениям, к литераторам, «несозвучным» его художественным идеалам. Считая «Доктора Живаго» самым лучшим русским романом XX века, он многие другие книги русских авторов оценивал незаслуженно низко. Восприятие иностранной литературы было шире: он любил Рильке и Брехта, Бёлля и Клауса Манна. Просторный диапазон его вкусов в суждениях о немецких, английских, французских авторах и крайняя взыскательность к соотечественникам меня поначалу удивляли. Мы спорили; я честил Костю снобом, эстетом, а он меня — всеядным дилетантом. Но со временем я убедился, что эта мнимая непоследовательность выражает именно творческую, художническую жизнь в слове. Гёте, который сердито отвергал произведения Гёльдерлина, Клейста, Гофмана, сурово осуждал немецких романтиков и просто «не заметил» Гейне, в то же самое время с удовольствием читал, любил Байрона, Мандзони, Вальтера Скотта и многих других иностранных романтиков.

Костя был истово, религиозно верен русскому слову. И непримирим — иногда сектантски непримирим к тем, в ком видел отступников и осквернителей. Его суждения бывали односторонними, злыми, но мыслил он всегда отважно, независимо от авторитетов, безразлично к модам. Иногда умел восхититься и талантом того, чьих взглядов не разделял.

Фанатичный библиофил, он ревниво берег свои книги, не позволял даже прикасаться к ним. Но щедро одаривал книгами друзей. И на моих полках стоят подаренные им Шопенгауэр, Кестнер, Тухольский... Вижу насмешливую, косоватую улыбку, слышу чуть гортанный голос.

— Ты просто варвар, если этого не понимаешь. Книга — как женщина. Ее нельзя делить и с лучшим другом. Если отдавать, то навсегда.

Он был поэтом, знатоком поэзии, мастером художественного перевода — просвещенным словоупотребителем.

Однако никогда не замыкался в мире «звуков чистых», не укрывался в книжных бастионах ни от радостей, ни от горестей жизни. Общество друзей он любил не только в серьезных беседах; был неутомимым и за бутылкой «чего покрепче» и в самой шумной разноголосице. Подвыпив, распевал старые русские романсы, немецкие шлягеры, — и мы дивились его памяти и артистизму, — лихо танцевал, ухаживал за дамами.

Но всегда и везде — за рабочим столом, в борении с трудным таинственным словом, в кругу семьи или веселых друзей, — Костя внятно сознавал свою причастность к трагическим судьбам России.

У него не было ни склонности, ни амбиции общественного деятеля, трибуна или проповедника. Но острое чувство справедливости, беспокойная совесть и не показная, скорее даже потаенная верность друзьям побуждали его безоглядно вступаться за гонимых, преследуемых, несправедливо осужденных.

Юношей в годы сталинщины он побывал в застенках страшной Сухановской тюрьмы, где пытали «особо опасных», и в камере смертников. Шесть недель он ждал расстрела. Смертный приговор заменили 25 годами заключения в каторжном лагере...

Память обо всем этом жила в нем неотступно, неусыпно, порождая кошмарные сны и мучительные бессонницы, прорываясь и в часы безмятежного веселья.

Но вопреки жестокой памяти, вопреки неотвратимому страху и просто здравому смыслу, Костя не мог молчать, когда судили Синявского и Даниэля, когда изгнали Солженицына, когда исключили из Союза писателей Владимира Войновича. Он не мог мирно сосуществовать с ложью и несправедливостью в жизни, так же как не мог стерпеть фальшивой строчки в стихе, не прощал самодовольного или блудливого невежества в разговорах о литературе.

Горько, что лишь после гибели Кости мы стали понимать, какая добрая энергия в нем таилась, как много хорошего он принес в нашу жизнь. И мог бы еще принести...

1977 г.

ОНА ПРОНЕСЛА СВЕТ

О Лене Зониной в начале шестидесятых годов мы знали: отлично переводит французскую прозу, пишет талантливо

вые статьи. Те, кто встречал ее, говорили: «Хороша собой, изысканно одевается, необычайно образована и дьявольски умна». А некоторые жаловались: «Высокомерная, светская дама, застегнута на все пуговицы, гордячка, иной раз таким холодом обдаст...»

Мы лишь постепенно, лишь когда стали друзьями, узнавали ее, историю ее трудной жизни, особенности ее душевного склада.

Ее отец Александр Ильич Зонин был участником гражданской войны, а потом одним из самых фанатичных РАППовцев. (Прочитав в 1983 году книгу о молодом Робеспьере, Лена сказала: «Точно таким был мой отец».)

Мать Виктория Львовна тоже была старым членом партии, одно время работала в аппарате МК. Мы ее застали гостеприимной хозяйкой, заботливой бабушкой, живо интересовавшейся всеми нашими делами и уже без следа партийности.

В ее комнате висел старый групповой снимок: Ленин с делегатами III съезда комсомола. Неподалеку от Ленина в мохнатой папаше сидел тонколицый Александр Зонин.

Лена родилась в 1923 году, дали ей имя «Ленина». Она себя так никогда не называла, подписывалась только «Л. Зонина».

Родители рано разошлись, она осталась с матерью, которая до смерти (1982) была ей ближайшим другом.

В июне 1941 года Лена была студенткой филологического факультета. Тридцать лет спустя, вспоминая о том, какое значение имел для нее Хемингуэй, она написала:

«В юности жизнь казалась прозрачнее, яснее, добро и зло были ясно разграничены. Я ЗНАЛА, КАК ЖИТЬ. И Хемингуэй совпадал с этим знанием, с этим внутренним императивом, который требует не слов, а поступков. Так, роман «По ком звонит колокол», прочитанный зимой 1941 года в Красноуфимске, при свете коптилки в халупе за кладбищем, был подтверждением того, что надо, нельзя не добиться, чтобы меня взяли в армию, на фронт (эвакуированных не брали). Нужно было быть, как Джордан. Нужна была во что бы то ни стало справедливость, справедливость была дороже жизни. А кое-что о несправедливости я уже тогда начала понимать, может быть, и не совсем как надо, но понимать».

Во время войны она служила матросом на боевом корабле Балтийского флота. Об этом мы узнали, когда уже несколько лет были дружны и заметили, как ловко она мыла

пол в квартире: «Научилась, ежедневно драила палубу».

Флотское воспитание пришлось по ней. Ее комната, ее рабочий стол всегда были безупречно убраны; вещи, книги, рукописи расположены в неизменном, строгом порядке. К четкой упорядоченности стремилась она в отношениях с людьми. Не терпела переизбытка страстей, неумеренности излияний, откровенной чувствительности, хаоса в мыслях и чувствах. Она с юности вырабатывала в себе жесткую самодисциплину. И это стало основой и условием внутренней свободы, независимости от любых внешних влияний. Она не вступала в партию, как ни уговаривали ее отец и товарищи в разные годы, особенно во время войны. Когда отца в 1949 году арестовали, она не отреклась от него, не воспользовалась возможностью сказать правду, что с детства не жила с ним, редко встречалась.

Закончив университет, она, дочь «врага народа», не могла получить никакой работы, пока И. Эренбург не предложил ей быть его личным секретарем. Она проработала у него несколько лет, и позднее Эренбург нередко обращался к ней за советами, очень считался с ее знаниями, с ее мнениями. Она была из тех немногих людей, кого самоуверенный, высокомерный Илья Григорьевич не только уважал, но и несколько побаивался.

Мы не раз замечали, как естественно Лена отстаивала свое достоинство. Как несколькими словами или взглядом отстраняла попытки высокопоставленного чиновника или прославленного «деятеля искусств» разговаривать с нею свысока, командовать, либо фамильярничать. Так же независима и несуетна была ее внутренняя жизнь. Она не поддавалась интеллектуальным и эстетическим модам. Общепризнанные авторитеты, обожаемые кумиры вызывали у нее прежде всего скептическое недоверие.

Разные течения авангардистской литературы она исследовала пристально, беспристрастно. Но ей самой ближе была поэтика классического реализма, разумная ясность французского Слова. Она печально шутила, что в среде своих московских и парижских друзей и приятелей ощущает себя мамонтом.

Остаться верной себе ей было трудно.

Трудно — это понятие неотделимо от Лены Зониной.

К ее пятидесятилетию (1973) Р. написала ей в письме:

«Я часто слышу вокруг жалобы на жизнь. И правда — жить нелегко. Нелегко и тебе — творческому человеку, тебе — прекрасной женщине, тебе — русской интелли-

гентке еврейского происхождения в последней четверти двадцатого века. Но трудную свою судьбу ты несешь с благородным величием, с необыкновенным достоинством».

Ее рецензии и статьи, изящные, блестяще отточенные, словно бы легко, на одном дыхании написанные, создавались упорным трудом. Готовясь рецензировать один рассказ, она прочитывала все, что могла достать из произведений этого автора, его предшественников и близких современников. Она писала, отбрасывая один за другим варианты, подолгу искала наиболее точные, не обесцвеченные выражения, чтобы передать своеобразие именно этого писателя.

Переводы были для нее основным источником существования. Однако никогда не становились ремеслом. Она была воспитана русской школой художественного перевода. Для нее так же, как для Корнея Чуковского, Ивана Кашкина, Николая Любимова, перевод был «высоким искусством».

Когда она переводила Вольтера, она читала Державина, Фонвизина, Радищева, Новикова. Она жила в языке восемнадцатого века. В письме того времени: «Простите за множество архаизмов. Это Вольтер!»

А когда переводила Р. Мерля «За стеклом», роман о студенческих волнениях 1968 года — перечитывала ранние книги В. Аксенова, часами разговаривала с московскими студентами — сверстниками героев Мерля, составляла словари молодежных жаргонов.

В поисках одного слова или речения звонила друзьям и специалистам, проверяла свои находки.

В середине пятидесятих годов, когда начиналась оттепель, советским читателям и издателям были известны два современных французских автора — Андре Стиль и Луи Арагон. О Сартре, о котором тогда говорили во многих странах, читатели советских газет знали только, что Фадеев назвал его «гниеной с пишущей машинкой».

Лена Зонина была одной из тех, кто начал пробивать железный занавес культурной изоляции. В 1955 году ее статья о романе Симоны Бовуар «Мандарины» была первой серьезной работой о новой французской литературе; она спокойно рассказала о том, что такое экзистенциализм, тогда еще официально считавшийся «идеологией империалистической реакции».

Позднее она писала о Мартен дю Гаре, о Сент-Экзюпери, о Сартре, о Натали Саррот, о Симоне Бовуар, о Мерле, о Роб-Грийе, о Мальро и других. И переводила их романы, рассказы, публицистику.

В 1984 году — в последний год ее жизни, была издана ее первая книга «Тропы времени», многие главы включают и прежде опубликованные статьи, эссе. Они не устарели за десятилетия. «В мае заговорили стены» — так начинается статья о студенческих мятежах в Париже, написанная в 1970 году. А двенадцать лет спустя мы сами увидели эти «говорящие стены» в Кёльне и в Париже, в Геттингене и в Риме и убедились в точности ее слов и верности ее взглядов.

Вторую половину жизни Лена была тяжело больна: диабет, воспаление щитовидной железы, стенокардия. Дважды в день она колола себе инсулин, соблюдала строжайшую диету. Но обо всем этом знали только самые близкие.

Она преодолевала болезни, страхи и жила, подчиняясь воле, сознанию своего долга — перед работой, перед семьей.

И при этом она, обаятельная женщина, была любима и любила.

Однако и в любви оставалась горделиво независима, родила дочь, зная, что не будет жить с ее отцом. И родила вопреки тревожным опасениям врачей.

Четверть века просуществовала маленькая женская республика — Лена с дочерью, мать, тетя.

В 1966 году Л. Зонина вместе с большой группой московских литераторов подписала ходатайство в защиту осужденных писателей Ю. Даниэля и А. Синявского. Секретариат СП тщетно добивался, чтобы она сняла свою подпись. Ее наказали тем, что несколько лет не пускали в Париж и этим чрезвычайно затруднили ее работу. Только после многих упорных настояний ее влиятельных французских друзей она в 1973 году смогла опять приехать во Францию.

Она не была причастна ни к каким оппозиционным (диссидентским) кружкам или течениям и никогда не противопоставляла себя властям. Не только из чувства самохранения и ответственности за семью, но и потому, что считала открытое сопротивление безнадежным. И потому, что не хотела подчиняться никакой групповой дисциплине, — любая коллективная общественная деятельность была ей противопоказана. И потому, что смысл своей жизни, свой гражданский долг видела в ином. Она не раз говорила, что в истории русской и мировой культуры нужны не только усилия мятежников и трибунов; в самые мрачные поры необходимы и те, кого призывал Брюсов: «...унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры...» Вот это и есть наше дело — «пронести светы».

Французское слово, французская мысль были для нее неотделимы от русской духовной жизни. Она писала нам: «Я чувствую себя русской потому, что только русская поэзия для меня — поэзия, прочее — литература...» Незадолго до смерти она готовилась переводить письма Тютчева жене. Великий русский поэт, писавший самому близкому человеку по-французски, своеобразно олицетворял европейскую природу русской культуры... На книжных полках и в душе у Лены ее Россия и ее Франция были нераздельны. Эта связь определяла смысл ее жизни и ту тропу, которую она проложила в нашей словесности.

Она несла свет не только своими переводами, статьями, книгой. Рядом с ней и ее друзья становились умнее, даже талантливее. Жан Поль Сартр посвятил ей — мадам З. — свою исповедальную повесть «Слова».

Мы не могли проводить ее гроб, не могли принести цветы на ее могилу, не могли обнять ее дочь. Но не только поэтому мы не можем представить себе ее умершей. Она остается с нами. Она продолжает нести свет.

1985 г.

РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ

Книга С. Ю. Маслова «Теория дедуктивных систем и ее применения» (1986), изданная в Москве, обращена прежде всего к математикам, к тем, кто занимается кибернетикой, теорией информации.

Однако многие биологи, архитекторы, лингвисты в Москве и Ленинграде говорят, что эта и другие работы С. Маслова помогают им исследовать, размышлять.

Понятие «междисциплинарный» часто встречается в том, что писал он, в том, что пишут и говорят о нем. Его мысли, работы, творчество развивались действительно междисциплинарно, то есть на стыках разных наук, в пространствах, которые отделяют естественные науки от гуманитарных, научное мышление от художественного, поэтического.

Сергей Маслов был с юности необычайно одаренным математиком. «Обратный метод» Маслова стал неотъемлемым понятием современной науки.

А мы знали мальчика, юношу Сережу...

Л. увидел его впервые трехлетним весной 1943 года в Москве. Привез ему посылку от отца, Юрия Сергеевича

Маслова, лингвиста, доцента ЛГУ, который был тогда офицером на Северо-Западном фронте.

Большеглазый, очень серьезный малыш сидел на коленях у деда — Сергея Ивановича Маслова, замечательного киевского филолога, книговеда.

Сережа жил с дедом, потому что не только отец, но и мать, Сара Семеновна Лошанская, лингвистка-скандинавистка, была офицером в осажденном Ленинграде.

Р. познакомилась уже с ленинградским студентом, угловатым юношей с застенчивой улыбкой. Он расспрашивал нас, приезжающих из Москвы, о новых книгах, стихах, обо всем на свете.

Мы были друзьями родителей, но постепенно, с годами нашими друзьями становились также Сережа и его жена Нина, друзьями, близкими, как сверстники.

О его математических работах мы судить, разумеется, не могли, но постоянно слышали высокие отзывы специалистов.

С каждой новой встречей мы убеждались, на первых порах даже удивляясь, что Сережа своеобразно и смело размышляет о краеугольных проблемах истории, философии, социологии, искусства, что он ненасытно любознателен, как гуманист эпохи Возрождения, и необычайно широко образован.

Он знал русскую поэзию лучше многих литературоведов. Знал историю архитектуры, которой занимался особенно много в последние годы, знал историю Петербурга—Ленинграда лучше многих именитых докторов наук.

И не только Ленинграда. Он много ездил по разным городам. Вместе с женой и дочерью добирался и до дальних северных деревень, в которых еще сохранились старые церкви. Он делал зарисовки, стараясь понять природу северного русского зодчества.

Проблемы чистой математики, сложные переплетения логических абстракций были его неизменной любовью,

Потому что все оттенки смысла
Умное число передает,—

он любил эти гумилевские строки.

Но так же страстно влюблялся в книгу, в картину, в ландшафт, в человека — в неповторимые, конкретные образы зримой, слышимой, осязаемой жизни.

Он писал стихи.

Ничто из всего этого не было для него развлечением-отвлечением, тем, что обычно называют хобби. Математика и поэзия — неотъемлемые и нераздельные составляющие его духовного мира. Сочетание разных, даже противоположных направлений мысли выражало его веру в сложное единство мира; неутомимость его исканий определялась его стремлениями — постичь и запечатлеть это единство.

Он создал в Ленинградском университете семинар по теории систем. Там встречались математики, археологи, биологи, врачи, литераторы. Слушали доклады, спрашивали, обсуждали, спорили.

Иногда спорили отчаянно долго.

Несколько раз и мы приезжали на этот семинар. Рассказывали о Хемингуэе, Бёлле, Брехте, Мартине Лютере Кинге, докторе Гаазе. И нигде больше мы не встречали таких взыскательных, беспощадно строгих, придирчивых и вместе с тем дружелюбных, умных слушателей-критиков. Едва ли не самым страстным из них был сам Сережа — вдохновитель, душа семинара.

Мы прозвали его «поперечником». Потому что любое утверждение, от кого бы оно ни исходило, он прежде всего пробовал на «зуб сомнения». Случалось, мы дразнили его: мол, полемика для тебя едва ли не самоцель.

Спорил он истово, горячо. Но при этом всегда, как бы ни противоречили ему взгляды собеседника, он внимательно слушал. У любого оппонента пытался находить и находил зерна истины. Не менее критически оспаривал сторонников, не менее придирчиво сомневался в их аргументах.

Он был одним из немногих мастеров диалога, дружелюбного диспута. Он верил в единство нравственных основ вопреки пропастям, разделяющим нации, религии, мировоззрения. В нем жила глубокая иррациональная вера и просветительская убежденность: каждого человека нужно стараться понять и каждому можно объяснить. Значит, надо пытаться объяснять.

Как бы решительно, страстно он ни оспаривал чьи-то взгляды, убеждения, принципы, он никогда не опускался до аргументов *ad hominem*.

Он писал в 1979 году:

«Догматизм мышления, нетерпимость к инакомыслию — застарелая болезнь нашей родины, а лекарство одно — научиться понимать друг друга, научиться вести диалог.

...Нам и нашим потомкам предстоит синтезировать Нагорную проповедь и ярость книги Иисуса Навина, прозрения Ницше и тяжеловесные построения «Капитала», смущающие открытия Фрейда и смертельно опасные достижения эпохи «думающих машин»... Синтез — это не эклектика... Это захватывающая и неподъемная творческая работа...»

Он не сердился, а только удивленно огорчился, когда на него самого озлобленно нападали.

«Довольно уж вы, либералы, попили нашей кровушки!» — кричал ему один из его приятелей, участник семинара, радикальный почвенник.

Сереза очень опечалился, но не перестал общаться с ним и посвятил ему стихотворение:

Спаси нас Бог от явленных пророков,
От страшных лет возврата на круги,
Страна не помнит горестных уроков,
И снова братья станут, как враги...
...О, Родина, кровавый плат, дерюга...
Насилий и убийств
Да сгинет круг! Опричник и бомбист
Да изойдут! И будем мы любить
И врачевать израненные руки.

Полемизируя с дружественным оппонентом, Сереза писал:

«...У всех нас, живущих и думающих, есть общий метод. Этот метод — *сочувствие*.

В сфере жизни это сострадание. Основа любви, милосердия, жертвенности, основа всего самого нежного и нужного в человеческих отношениях. И Библия и прекрасное дитя греко-христианской цивилизации — европейское искусство — развили в нас дар сопереживания, бесконечно раздвинули рамки нашего духовного опыта (разумеется, то же произошло у воспитанников других культур). Может быть, мы созрели для сочувствия в сфере мысли, в сфере, в которой мы не научились сопереживать.

«...Я буду стараться сочувствовать. Я прошу сочувствия».

У нас Серезу с Ниной называли «маслята». Мы виделись все чаще. И сегодня перед нами его большие, светящиеся, мудрые глаза. Пытливый взгляд, улыбка, словно бы виноватая и безмерно добрая.

Не можем вспомнить, когда мы начали воспринимать

его уже не как сына, а как младшего брата и очень близкого друга.

Сереза погиб в автомобильной аварии летом 1982 года. Но с горем разлуки, с неутолимой болью утраты мы все отчетливее сознаем, что именно связывало нас, кроме родственной любви, чем он так привлекал и даже покорял нас.

Он был наделен поразительно острым чувством своей ответственности и за ближних, и за дальних, за все, что происходило вокруг него и в стране. Он требовал от себя неизмеримо больше и строже, чем с кого-либо другого. Впрочем, он вообще редко требовал от других. Если кто-либо из друзей попадал в беду, он бросался на помощь, не ожидая просьб. И у нас в самые трудные дни он внезапно оказывался рядом и помогал неумолимо и почти незаметно. А потом еще часто корил себя: мол, сделал недостаточно.

Он никогда ничего не проповедовал, никого не поучал. Но мы знаем многих, кто у него учился. И мы тоже были среди них.

На Западе нас часто спрашивают, что же все-таки такое русская интеллигенция?

Русский интеллигент — это не сословие, не образовательный ценз. Это олицетворенное стремление к единству ума и сердца, образованности и нравственного сознания — сознания нерасторжимости личного достоинства и общественного долга.

Сергей Маслов, в жизни и творчестве которого сочетаются ренессансные, просветительские черты и глубокая укорененность в родной почве, был настоящим русским интеллигентом.

АНДРЕЙ САХАРОВ

Мы впервые услышали об Андрее Сахарове в 1964 году. Шло общее собрание Академии наук. Утверждалось избрание новых академиков. Среди кандидатур был некто Нуждин — ближайший сотрудник Лысенко, считавшегося при Сталине «главой марксистской биологии». Он и при Хрущеве оставался всесильным.

Однако несколько академиков выступили против избрания Нуждина, так как за ним не числилось никаких научных работ.

Молодой академик говорил ровным, тихим голосом, что Нуждин не только лжеученый; он и его покровитель Лысен-

ко виновны в том, что разрушена целая наука — советская генетика, виновны в преследованиях, даже в гибели ученых.

Рядом с президентом Академии Келдышем сидел Ильичев, заведующий отделом ЦК, главный идеологический советник Хрущева. Он спросил громким, злобным шепотом:

— Кто этот мальчишка?

Келдыш ответил:

— У нас его называют отцом водородной бомбы. Собрание подавляющим большинством провалило кандидатуру Нуждина.

Обо всем этом нам рассказывали разные люди, радуясь еще одной примете обновления. Но были и тревожные слухи — Хрущев, разъяренный самоуправством ученых, хотел даже распустить Академию.

Весной 1966 года мы снова услышали о Сахарове. Он был в числе 25 ученых, музыкантов, артистов, писателей, которые подписали обращение к XXIII съезду — призыв не допускать реабилитации Сталина...

Летом 1968 года мы прочитали в самиздате его меморандум «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Некоторые его пожелания и предложения нам показались утопичными, наивными, но излучаемый этим меморандумом дух, нравственная позиция и человеческий облик автора, воплощенный в его размышлениях, необычайно привлекали. Именно в это время вести из Праги — весна «социализма с человеческим лицом» — вызывали все новые надежды. А московские слухи, зловещие интонации советской печати возбуждали старые тревоги и страхи. И Сахаров, спокойно, серьезно, именно как ученый рассуждавший о важнейших проблемах страны и мира, укреплял надежды и помогал преодолевать страхи.

Мы впервые увидели Андрея Дмитриевича и познакомились с ним в 1971 году на вечере поэзии в клубе писателей.

Летом 1972 года он написал два обращения к советскому правительству — о политической амнистии и об отмене смертной казни. Л. подписал оба.

Они побывали у нас, мы у них и вскоре по-семейному сблизились.

Каждое лето Сахаровы проводили в той же деревне, где и мы дачничали много лет. Только они жили в Жуковке-второй, по другую сторону железной дороги. Там, в лесном поселке на территории «правительственного заповедника»,

несколько дач были подарены академикам Тамму, Харитону, Семенову, Сахарову.

Две дачи приобрели там же Мстислав Ростропович и Дмитрий Шостакович.

Летом 1972 года на маленькой лесной улице по соседству с Сахаровыми жили Ростропович и его гость Александр Солженицын, Александр Галич, гостивший неподалеку, на другой даче. За углом жил Шостакович.

Чуть подальше, огражденный дощатым забором, был поселок Совмина; там жили Молотов, Булганин, министры, члены ЦК. В заборе была дырка, и через эту дырку мы не раз лазили вместе с Сахаровым, чтобы сократить путь к станции и к нам домой.

...Двухкомнатная московская квартира на Чкаловской улице принадлежала Руфи Григорьевне Боннэр, реабилитированной после семнадцати лет лагерей и ссылок. Там жили Елена Георгиевна с Андреем Дмитриевичем, а до 1978 года еще дети и внуки Елены Георгиевны. У Андрея Дмитриевича не было даже своего письменного стола. Но жил он в необозримо просторном мире.

Елена Георгиевна рассказывала: «Когда мы гуляли, Андрей спросил: «А ты знаешь, что я люблю больше всего на свете?» Я-то думала, он назовет стихотворение, симфонию, на худой конец — жену. Но он признался, что самое любимое для него — это реликтовое излучение. И стал объяснять, что это едва уловимые следы каких-то событий в космосе, которые произошли миллиарды лет тому назад». Обитая в просторах космоса, он открыл трудную, жестокую, мучительную жизнь земных людей. Все острее сознавал свою личную ответственность за все, происходившее в его стране, в государстве, которому он помог создать такое мощное, сокрушительное оружие. Держава наградила его и оградила привилегиями от всех тех забот, которые уродовали жизнь его соотечественников. А он приходил к новому сознанию своего общественного и гражданского долга. Этот долг велел объяснять властям и всем, кто способен на них повлиять, ту правду о положении в стране, об угрозах миру, которая открылась ему. Опираясь на свой научный и «номенклатурный» авторитет, он стал помогать несправедливо преследуемым, обличать беззаконие, произвол.

В 1971 году он вместе с двумя молодыми физиками Андреем Твердохлебовым и Валерием Чалидзе создал Комитет защиты прав человека. Позднее его стали называть просто Сахаровским комитетом.

...Вторник. Приемный день у Сахаровых. Обе комнаты, кухня и коридор полны людей. В одной комнате спрашивают только что вернувшегося из лагеря. В другой — жена ссыльного рассказывает о том, как ездила к нему в дальнюю сибирскую деревню. Тут же стучит машинка — печатают очередное обращение Хельсинкской группы. На кухне Руфь Григорьевна и две ее лагерные подруги беседуют с молодыми людьми, сравнивают нынешние лагеря со сталинскими. На кухне угощают. Внезапно смех: впервые увидели, как Андрей Дмитриевич опускает в кипяток кусок сыра и помидор: он все ест теплым. У холодильника Елена Георгиевна перекладывает консервы, колбасу — академический паек — в сумки двух женщин. Это передачи ссыльным.

В коридоре несколько человек спорят о строительстве атомных станций.

Снова и снова дребезжит звонок. Приходят знакомые и незнакомые, недавние лагерники, родственники заключенных, корреспонденты, американцы, немцы, французы.

Снова и снова звонит телефон — Новосибирск, Тбилиси, Вильнюс, Париж, Лондон. Тут же из коридора дочь диктует по телефону новое заявление Сахарова.

Пенсионер принес очередной проект переустройства России и настаивает, чтобы Сахаров немедленно его выслушал.

Тем, кто видит его впервые, он кажется застенчивым, едва ли не робким. Светлые серо-голубые глаза под круглым, выпуклым лбом глядят спокойно, внимательно, доверчиво. Высокий, худощавый, чуть сутуловатый. В больших обществах он обычно оказывался где-то в стороне.

Но и самоуверенных, говорливых спорщиков его сдержанность и старомодная вежливость постепенно разоряжают. Хотя он больше слушает, терпеливо слушает, прежде чем заговорит сам.

Все, кто жил в этой квартире, и большинство из тех, кто сюда приходил, вели себя так, словно там, за стенами, нет ни топтунов в черных «Волгах» с антеннами, ни КГБ, ни прокуроров, готовых в любой час подписать ордер на их арест.

Посетители приходили не только по вторникам. Одни просили помочь получить квартиру, увеличить пенсию, прописаться в Москве. Другие жаловались на несправедливое увольнение, на злоупотребления начальства, на мужей, не платящих алиментов. Он выслушивал всех. И разговаривал

он одинаково с прославленными учеными и школьниками, с американскими сенаторами и с лагерными работягами, с московскими писателями и крестьянами-баптистами из дальних глухих мест. Он со всеми говорил уважительно, с неподдельной заинтересованностью.

Летом 1978 года он с женой и ее сыном приехал в Потьму, в Управление лагерей Мордовии просить о свидании с одним из заключенных. Они остановились в доме для приезжающих, где жили и несколько лагерных охранников. По вечерам все вместе смотрели телевизор.

Охранники заговаривали с Сахаровым, он выслушивал их рассказы, расспрашивал.

Сын удивлялся:

— Зачем с такими общаться?!

— Разговаривать нужно со всеми.

Он выслушивал и тех, кто врывался к нему в квартиру, называл себя «представителями палестинского народа» или родственниками погибших при взрыве в метро, грубо ругали его за то, что он защищает Израиль или армянских террористов, устроивших взрыв, угрожали ему, его семье. Их он тоже выслушивал. Спрашивал. Объяснял. И говорил так же неторопливо, спокойно, будто вел собеседование на семинаре по физике.

Он никогда не пытался никого перекричать. Он верил, надеялся, что в каждом человеке можно отыскать зерно человечности, что правду можно объяснить едва ли не каждому.

Несколько раз нам приходилось быть его переводчиками. Он читает и говорит по-английски и по-немецки, но когда речь идет о сложных проблемах, ему важно, чтобы каждое слово было передано точно. И тогда он просит помогать ему. При этом нередко сам поправляет переводчиков, уточняя оттенки мысли.

Однажды его спросили: мог ли бы он объясниться с инопланетянами?

— Разумеется. Нарисовал бы, например, прямоугольный треугольник и квадраты с трех сторон. Теорему Пифагора все поймут.

Осенью 1979 года мы были вместе в Сухуми. С утра до обеда все работали по своим номерам в гостинице. Потом обедали, купались, гуляли, ходили в кино. И там он прочитал нескольким друзьям две лекции на тему «Космологическая модель вселенной с поворотом по стрелке времени».

Он рассказывал о сложнейших проблемах физики

макро- и микромира, рассказывал так, что даже мы понимали — разумеется, не аргументы, но наиболее существенные из его выводов.

Он называл множество имен советских и иностранных ученых, ссылаясь на их работы, наблюдения, гипотезы или открытия. Его спросили, что же в рассказанном исследовано, открыто им самим? Он отвечал: «Моя работа — просто мозаика из тех камешков, которые собрали другие...»

Один из слушателей, ученый, заметил: «Такая «мозаика» вполне достойна Нобелевской премии».

При встречах с ним мы ощущали успокаивающее душу излучение.

Даже когда он бывал взволнованным, встревоженным, оскорбленным, разгневанным. Травля, начавшаяся в 1973 году, в которой приняли участие его коллеги, те, кого он считал добрыми друзьями, вызвала у него острую боль. И каждое новое сообщение о несчастье и у знакомых или даже вовсе незнакомых людей, об аресте, обыске, о жестоким приговоре побуждало его спешить на помощь.

У него так и не возник иммунитет к чужим страданиям. Но и в самые трудные, самые мучительные дни он сохранял — либо после недолгих порывов горя, гнева восстанавливал — это мудрое душевное спокойствие.

* * *

Он был самым молодым членом Академии наук, целиком поглощенным своими исследованиями. Его почитали коллеги и власти. Он был трижды награжден высшим орденом страны — Золотой Звездой Героя Социалистического Труда: по уставу этого ордена ему должны были поставить бронзовый бюст в Москве — трижды получал высшие государственные премии. Его будущее представлялось безмятежным и многообещающим.

А он внезапно — для постороннего взгляда внезапно — свернул с накатанного пути, начал защищать несправедливо осужденных и преследуемых — крымских татар, которым не позволяют вернуться в Крым; немцев, которых не отпускают в Германию; евреев, которых не отпускают в Израиль; православных и католиков, баптистов и пятидесятников, гонимых за свои верования; рабочих, утесняемых начальством; он требовал политической амнистии и отмены смертной казни, требовал свободы слова.

Он пришел в Союз писателей, когда исключали Лидию Чуковскую; когда ему позвонили, что у кого-то идет очередной незаконный обыск, он, не найдя машины, приехал на попутном автокране. В Омске судили Мустафу Джемилева; милиционеры силой вытолкали из коридора суда академика Сахарова и Елену Боннэр. В Вильнюсе судили Сергея Ковалева — и опять Сахаров стоял у дверей. И в Калуге, когда судили Александра Гинзбурга. И в Москве, когда судили Анатолия Щаранского. И так множество раз... Перенеся инфаркт, он ездил в Якутию навещать сосланного друга, и вдвоем с женой они двадцать километров прошли по тайге.

В октябре 1975 года Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. Когда ему сказали об этом, то первые его слова, тогда же записанные, были: «Надеюсь, нашим политическим заключенным станет полегче, надеюсь, это поможет защите прав человека».

Его вызывали прокуроры и руководители Академии. Предостерегали. Уговаривали. Угрожали. К нему в квартиру вламывались пьяные хулиганы. По телефону и в подметных письмах ему сулили убить его детей, внуков.

Один из иностранных корреспондентов спросил, испытывает ли он когда-нибудь страх?

Сахаров ответил, что боится за родных, особенно за детей, боится и за друзей. О себе старается не думать.

Из его стола выкрадывали рукописи. И наконец, его бессудно выслали в Горький, под домашний арест, под надзор целого подразделения мундирных и штатских охранников.

Но он не сдавался. Снова и снова продолжал отстаивать права человека, призывать к справедливости и к политическому здравому смыслу.

Восхищаясь подвигом Сахарова, многие забывают о глубочайшем трагизме его жизни. Трагична его судьба, потому что душа его разрывается между страстью к науке и любовью к людям, не к абстрактному человечеству, а именно вот к этому страдающему, обиженному человеку.

Он тяжело болен. Он живет в постоянном нервном напряжении. И с каждым днем нарастает опасность для его физического существования.

Еще до того, как о Сахарове узнал мир, он, возражая министрам, маршалам и самому Хрущеву, настаивал на прекращении ядерных испытаний.

Он отдал все полученные им государственные премии,

больше ста тысяч рублей, на строительство онкологических больниц.

Противники не могут его понять, называют блаженным, чудачком, безумцем. Гораздо больше тех, кто видит в нем святого подвижника.

И нередко можно услышать голоса: «Откуда в нашей стране в наше время это непостижимое, необъяснимое чудо?» Можно ли проследить корни, истоки этого чуда?

С детства Андрей Сахаров дышал воздухом русской интеллигентности. Род Сахаровых с конца восемнадцатого века — несколько поколений сельских священников. Прадед Николай Сахаров был протоиереем в Арзамасе; прихожане чтили его за доброту и за образованность. Дед Иван Николаевич первым вышел из духовного сословия, стал адвокатом, переехал в Москву. В начале века был редактором сборника «Против смертной казни»; был знаком и сотрудничал с В. Г. Короленко; бывал у Толстого; друг семьи Толстого, музыкант А. Гольденвейзер был крестным отцом Андрея Дмитриевича. Отец — Дмитрий Иванович — стал физиком. Наши ровесники учили физику по его учебнику. Д. И. Сахаров был не только ученым, но и талантливым пианистом.

С первыми сказками бабушки, со звуками пианино, на котором играл отец, со стихами и книгами воспринимал Андрей ту духовную культуру, из которой выросли его представления о добре и зле, о красоте и справедливости.

Д. И. Сахаров в 1925 году издал научно-популярную книгу об электричестве «В борьбе за свет». Его сын стал борцом за свет правды и человечности.

Веря в плодотворность человеческого разума, он верит и в иррациональные душевные силы, которым необходимы искусство, музыка, поэзия.

Мы несколько раз слышали, как он читал наизусть Пушкина, тихо, почти про себя: «Когда для смертного умолкнет шумный день...» Он сказал однажды: «Хочется следовать Пушкину... Подражать гениальности нельзя. Но можно следовать в чем-то ином, быть может, высшем...»

Говорили о том, как Пастернак восхищался Нобелевской речью Камю, и Андрей Дмитриевич заметил: «Эта речь создана по-пушкински, это — пушкинский кодекс чести...»

Вдвоем с братом Юрием они по-юношески азартно, перебивая друг друга, декламировали «Перчатку» Шиллера и вспоминали свою детскую игру: один «мычал» ритм,

а другой должен был угадать, какое стихотворение Пушкина тот задумал.

Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна часто вместе с друзьями читали стихи Пушкина, Тютчева, Ал. Конст. Толстого, Анны Ахматовой, Арсения Тарковского, Давида Самойлова, слушали песни Окуджавы и Галича.

Не только духовные традиции прошлого, не только литература воспитывали мироощущение Сахарова. Он был сыном своего времени. Школьником, студентом, молодым ученым, участвуя в разработке атомного оружия, он верил в идеалы социализма, верил в праведное величие своей страны. Но именно потому, что он верил глубоко, искренне и чисто, он тем острее воспринимал пропасть между идеалами и действительностью и тем мучительнее пережил крушение юношеской веры.

В 1978 году, в десятую годовщину Пражской весны, он в интервью корреспонденту газеты «Монд» сказал, что именно тогда под влиянием всего, что происходило в Чехословакии, определился решающий перелом в его сознании. Тогда он написал и решился опубликовать свой «Меморандум».

Преображенное сознание побуждало Андрея Сахарова по-новому жить, побуждало к действиям. В своей новой деятельности — борьбе за права человека — он наследовал и развивал старые добрые традиции.

Он пытался вразумлять правительство так же, как некогда Александр Герцен, взывавший к Александру Второму, добиваясь отмены крепостного права; как Лев Толстой, который упрашивал трех русских царей отменить смертную казнь, миловать политических противников; как Владимир Короленко, который спешил на помощь несправедливо преследуемым, оклеветанным, осужденным, бесстрашно защищавший жертвы и царских жандармов, и большевистской чека, и белогвардейских контрразведок.

Андрей Сахаров — необыкновенный человек. И в то же время — типичный русский интеллигент. Он сродни героям Чехова и русским донкихотам, русским фаустам, тем, о ком говорил Достоевский: «Быть настоящим русским — значит быть настоящим европейцем, быть всечеловеком».

И когда нас спрашивают — неужели вы все еще можете надеяться на лучшее будущее России, мы отвечаем: «Да, мы надеемся на бессмертие духовных сил России, тех сил, которые олицетворяет Андрей Сахаров».

Пятнадцатого декабря 1986 года в квартиру ссыльного А. Д. Сахарова пришел сотрудник ГБ и два техника, они установили телефон и предупредили: «Ждите завтра важного звонка».

На следующий день позвонил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, сказал Сахарову, что он может возвращаться в Москву вместе с женой, что она помилована, спросил о здоровье.

Андрей Дмитриевич поблагодарил и сразу же сказал: «У меня большое горе: в лагере убили моего друга Анатолия Марченко. Получили ли вы мое февральское письмо? Я писал об узниках совести, и Марченко был там на первом месте».

Горбачев ответил, что этим вопросом «занимались», что несколько человек отпустили, «но там ведь есть разные люди».

Но Сахаров настаивал: «Я писал вам только о тех, кто сидит в лагерях и тюрьмах за свои убеждения. Михаил Сергеевич, я прошу, умоляю вас вернуться к этому вопросу. Это очень важно для людей, для справедливости, для судьбы нашей страны, для доверия к ней...»

Все это рассказал нам сам Андрей Дмитриевич 19 декабря, когда мы прозвонились ему в Горький из Кёльна и впервые за эти годы услышали его голос, все такой же мягкий, негромкий, все такую же неторопливую речь...

Так история подарила нам конец книги, на который мы и надеяться не смели.

С нами остаются старые печали, старые сомнения и тревоги. Но возникли и новые радости, новые надежды...

1981-1987 гг.

* * *

За четверть века мы встречали много людей, которые одаряли нас своими знаниями, опытом, поэзией, дружбой, «роскошью человеческого общения» (Сент-Экзюпери).

Мы рассказываем о тех, кто помогал нам по-новому познавать мир, помогал жить.

О большинстве из них мы еще не написали.

Им всем мы навсегда благодарны за те часы и дни в Москве, воспоминания о которых для нас — неисчерпаемый источник душевных сил.

1974-1988 гг.

ДО ЗВЕЗДЫ

Перевозчик — водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Помню, как глубокой, глухой осенью 1980 года Раису Давыдовну Орлову и Льва Зиновьевича Копелева провожали за рубеж — для чтения лекций в западногерманских университетах, по самому что ни на есть официальному приглашению, с самыми что ни на есть официальными гарантиями.

И провожающие, и отъезжающие, помню, внешне бодрились — что разлука, мол, ненадолго.

И провожающие, и отъезжающие знали, втайне были уверены — что навсегда.

Долгие семь лет так и прожиты были с этим убеждением — *навсегда*. Р. Д. Орлову и Л. З. Копелева ровно через два месяца лишили советского гражданства. Их литературные произведения, переводы, научные труды изъяли из наших библиотек. Их имена если и всплывали изредка в казенной советской печати, то исключительно на предмет поношений, грубой, развязной клеветы. Их голос если и доходил до соотечественников, то лишь по каналам «тамиздата», на «подрывной», «вражеской» радиоволне.

Державе они больше не были нужны. Ни Лев Копелев — в прошлом боевой офицер, ветеран Великой Отечественной войны, затем узник ГУЛАГа и наконец писатель, критик, ученый-германист, автор книг о Г. Манне, Я. Гашеке, гётевском «Фаусте», Л. Франке, Б. Брехте. Ни Раиса Орлова — сначала сотрудница ВОКСа и журнала «Иностранная литература», а позднее тоже писательница, одна из авторитетнейших исследовательниц классической и современной американской литературы.

С точки зрения власти, введшей войска в Афганистан, чередовавшей «решающие» годы пятилеток с «определяющими», осыпавшей своих «подручных» любимцев звездопадом наград, привилегий, почестей, и Орлова и Копелев оказались *лишними* людьми.

Или, как тогда изящно выражались, — *бывшими*.

Вместе с Александром Солженицыным — товарищем Копелева по гулаговской «шарашке» (им и гражданство СССР вернули одним президентским указом, 15 августа 1990).

В одном ряду с изгнанниками и беженцами: Андреем

Синявским и Мстиславом Ростроповичем, Виктором Некрасовым и Андреем Тарковским, Василием Аксеновым и Кириллом Кондрашиным, Георгием Владимовым и Юрием Любимовым, Иосифом Бродским и Михаилом Шемякиным, Петром Григоренко и Михаилом Барышниковым, Наумом Коржавиным и Владимиром Буковским, Эрнстом Неизвестным и Сашей Соколовым...

В одном проскрипционном списке с оставшимися на родине, но тоже официально числившимися как бы в нетях: Андреем Сахаровым и Лидией Чуковской, Евгенией Гинзбург и Анатолием Марченко, Александром Менем и Борисом Чичибабиным, Варламом Шаламовым и Юлием Даниэлем, Надеждой Мандельштам и Владимиром Корниловым, Фридой Вигдоровой и Феликсом Световым, десятками, сотнями, наверное, даже тысячами «правозащитников», «подписантов», «узников совести», и «невольников чести»...

Вопрос: «За что? За что травили и гнали всех этих людей — нравственный, интеллектуальный цвет нации, общества?» — явно риторичен. Власть защищалась, самое себя защищала — и делала это столь же бездарно, как всё, что она делала.

С каждым новым годом, с каждой новой репрессивной мерой и новой «умственной накачкой» из Кремля резко понижался уровень духовной жизни в стране.

И тем не менее...

С каждым новым годом, с каждым новым актом мужественного — прямого ли, не прямого ли — сопротивления лжи и беззаконию в обществе укреплялась святая, может быть, даже наивная вера в честь и достоинство отечественной интеллигенции, в ее неохватные, неискоренимые возможности и перспективы.

Вытапывали действительно неумоимо, с тупым, нерассуждающим усердием.

Но с другой стороны: было ведь что и вытапывать! Значит, и сеяли щедро, неумоимо. Значит, минувшие десятилетия российской жизни войдут в историю не только как позорные, но и как героические.

В этом смысле поразительно, на мой взгляд, не то, что на родине не были вовремя напечатаны «Реквием», «Доктор Живаго», «По праву памяти», «Факультет ненужных вещей», «Жизнь и судьба», «Архипелаг ГУЛАГ», а то, что эти великие книги все-таки писались — без всякой надежды на публикацию, а порою и на услышанность.

Поразительно не то, что культуру истребляли, а то, что

она все-таки выжила — в комплектах «старого» «Нового мира» и в тоненьких тетрадках «Хроники текущих событий», в постановках «Современника» и Таганки, в лучших произведениях нашей «деревенской», «военной», «городской» и «эмигрантской» литературы, в «авторской песне» и на «бульдозерных» выставках, в интеллектуальном мужестве Лихачева и Аверинцева, в нравственном примере академика Сахарова и директора совхоза Худенко, юного поэта Вадима Делоне и молодого военного моряка Валерия Саблина...

Поразительно не то, что гноили в психушках, загоняли на лесоповал, с улюлюканьем выпроваживали за кордон, а то, что от года к году появлялись люди, добровольно выбиравшие этот жребий, эту трагическую участь одинокого, *первого* сеятеля.

Поразительно, наконец, не то, что такие появлялись, а то, что их голос все-таки не был гласом вопиявших в пустыне, как казалось порою; и готовность миллионов соотечественников — уже в новых исторических условиях — к восприятию стоивших еще совсем недавно 70-й статьи идей демократии, гласности, разномыслия, правового государства и открытого общества свидетельствует: семена падали на не вовсе бесплодную, не вовсе каменистую почву.

Обо всем этом и в первую очередь о тех, кто «вышел рано, до звезды», еще будут написаны книги.

Частью они уже написаны, и возвращающийся на родину «опыт двойной автобиографии» Раисы Орловой и Льва Копелева должен быть прочтен, освоен и понят в контексте таких произведений, как «Бодался теленок с дубом» Александра Солженицына, «Спокойной ночи» Андрея Синявского, «Мои показания», «От Тарусы до Чуны», «Живи как все» Анатолия Марченко, мемуары Андрея Сахарова, Галины Вишневской, Дины Каминской, Вадима Делоне, Елены Боннэр, Ирины Ратушинской, Владимира Осипова и так далее, и так далее.

Каждая из этих книг — исторический памятник.

Каждая из них — живой сгусток боли, отчаяния и надежды, терпеливой веры и — прежде всего — той «странной любви» к отчизне, что создала русскую литературу и русскую мысль, что десятилетиями и, может быть, даже столетиями вела на крестные муки самых лучших, самых чистых наших соотечественников.

Чем выделяется в этой «библиотеке печали и гнева» книга «Мы жили в Москве»?

Тем, мне кажется, что Орловой и Копелеву удалось соединить достоинства страстной исповеди с достоинствами бесстрастного, абсолютно достоверного летописного документа и, даже из самых благих побуждений не искажая реальные масштабы и исторические пропорции, нарисовать едва ли не самую в нашей литературе детальную картину того, как и чем жила российская интеллигенция в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы XX века.

И той духовной, душевной скромностью, я бы даже сказал, застенчивостью, какая проявлена авторами в рассказе о самих себе на фоне времени.

И не в том даже дело, что личный — само собою неповторимый, на иные не похожий — опыт и путь подан Орловой и Копелевым как опыт и путь типичный, роднящий многих, хотя и этот принципиальный, осознанный отказ от самовыпячивания, от, выражусь осторожнее, «повествовательного эгоцентризма» заслуживает особой отметки.

И все-таки гораздо труднее, сколько я понимаю, было взглянуть на историю освободительного, «диссидентского» движения последних десятилетий не как на поединок героев-одиночек с тиранией, а как на составную часть — пусть очень важную, пусть наиболее драматическую, но тем не менее только часть общекультурного, общеинтеллигентского, а в пределе и общенародного противостояния неправой власти, неправой идеологии, неправой морали. Нравственная позиция авторов лишена какого бы то ни было высокомерного ригоризма и, восхищаясь мужеством профессиональных тираноборцев, Орлова и Копелев с неизменным пониманием, с неизменной благодарностью говорят и о тех, кто не вышел на площадь, не бросил прямого вызова властям, не подвергался в силу этого репрессиям, а служил делу свободы и делу культуры *только* стихами и переводами, *только* научными исследованиями и редакторскими усилиями или пусть даже *только* словом поддержки, *только* неучастием в предписывавшейся сверху фальши и лжи.

Цена геройства и цена неучастия в подлости, что говорить, различны, но вектор движения тут общий, и книга «Мы жили в Москве» прочитывается в этом смысле не как слово разъединяющее и взыскующее, но как слово объединяющее и исцеляющее, как слово благодарной памяти о всех, кто не согнулся под прессом «застоя», о всех, кто мучительно высвобождался и высвободился-таки «из-под Сталина», о всех, без чьего вклада, без чьей воли, без чьих уси-

лий нынешние события, нынешние процессы в стране и мире были бы невозможны.

Раиса Орлова, Лев Копелев действительно вышли рано, до звезды, и в их опыте, в их судьбе много печали. На чужбине,— успев, правда, побывать в родной Москве,— скончалась Раиса Давыдовна Орлова. На чужбине,— окликающая былое, взывая к будущему,— живет и Лев Зиновьевич Копелев.

И все-таки...

Воля ваша, но их возвращающиеся сейчас на родину книги несут в себе мощную энергию оптимизма.

В жизни, может быть, и не всегда есть место подвигу. Или, скажу иначе, не в каждой жизни есть место подвигу.

Но в жизни всегда есть место надежде.

И вывод о том, что надежды иногда все-таки сбываются, наверное, в этом случае главный.

Сергей Чупринин

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

- Абрамов Ф. А. 13, 14, 24
 Абросимова В. Н. 3
 Аввакум 66
 Аверченко А. Т. 265
 Адамович Г. В. 276
 Аденауэр Конрад 191
 Аджубей А. И. 132
 Адмони В. Г. 102, 104, 289
 Азадовский К. М. 106, 109
 Айги Г. Н. 22, 410
 Айх Гюнтер 168
 Аксенов В. П. 3, 85, 142, 168, 169, 170, 192, 199, 253, 329, 340, 342, 343, 354, 357, 359, 362, 371, 372—374, 376, 377, 415
 Аксенов П. В. 344
 Аксенова А. П. (Тоня) 342, 353, 359, 373
 Аксенова М. П. 192
 Аксеновы 196
 Александр II 429
 Александров Г. Ф. 23
 Алексеев М. П. 277
 Алексеева Л. М. 116, 397
 Алигер М. И. 41—43, 300
 Алиханян А. И. 228, 229
 Алов А. А. 162
 Альтман Н. И. 291
 Амаду Жорж 96, 122, 127, 182
 Амальрик А. А. 198, 199, 206
 Амундсен Роальд 265
 Анастасьев А. Н. 202
 Андреев В. Л. 22
 Андреев Л. Н. 317, 328
 Андреева О. Л. 22
 Андреева 28
 Андроников И. Л. 311, 316
 Андронов Н. И. 157
 Андропов Ю. В. 18
 Аникст А. А. 126
 Аннинский Л. А. 138
 Апдайк Джон 139
 Апухтин А. Н. 273
 Арагон Луи 78, 122, 163, 203, 415
 Ардов В. Е. 104, 268, 292, 293, 295
 Ардов М. В. 296
 Ардовы 268, 274
 Арсеньевы 386
 Арцимович Л. А. 205
 Аршанский М. Е. 3, 26, 28, 29
 Асеев Н. Н. 264
 Асмус В. Ф. 47
 Астуриас Мигель Анхель 127, 182
 Ахмадулина Б. А. 36, 37, 104, 169, 170, 185, 297, 374
 Ахматов 266
 Ахматова А. А. 22, 31, 32, 48, 49, 62, 81, 101, 104, 118, 123, 138, 142, 143, 158, 185, 201, 230, 232, 263, 264—302, 328, 331, 333, 334, 336, 429
 Бабаевский С. П. 13
 Бабель И. Э. 37, 39, 76, 146, 148, 169, 199
 Бабенышев А. П. (Алик) 3, 106, 109, 199, 211
 Бабенышева С. Э. 3, 13, 110, 199, 202, 261, 370, 376
 Бабицкий К. И. 211
 Байрон Джордж 411
 Бакланов Г. Я. 80
 Балтер Б. 169
 Бальзак Оноре де 137
 Бар Эгон 259
 Баратынский Е. А. 282—283
 Баткин Л. М. 253
 Бах Иоганн Себастьян 340, 387
 Бахтин М. М. 12, 124, 143, 201, 238
 Беднарц Клаус 190, 191, 192
 Бек А. А. 48, 296
 Беккет Самуэль 46
 Белинков А. В. 58, 59, 81, 315
 Белинковы 315
 Белинский В. Г. 320
 Белкин А. А. 3, 14—15, 25, 167, 238
 Бель Альфред 193
 Бель Аннемари (А). 153, 154, 156, 158—161, 166, 169, 171, 172, 174—176, 180—182, 184, 188, 194—198, 237
 Бель Винсент 152—153, 155, 168, 185, 197
 Бель Генрих (Г.) 87, 94, 108, 110, 111, 127, 129, 135, 138, 143—198,

* Подготовил В. Д. Костенко при участии М. Д. Орловой.

- 203, 237, 238, 241, 289, 290, 341,
362, 363, 364, 374, 375, 381, 399—
401, 407, 411, 419
- Бель Раймунд 158, 163, 165, 166,
188, 189, 196, 197
- Белль Рене 153, 155, 158, 163, 165,
166, 197
- Белль Хайди 188, 196, 197
- Белли 153, 157, 158, 160, 165, 167,
169, 171, 173, 177, 237
- Белов В. И. 139
- Белый Андрей 51, 302
- Бем Юзеф Захариаш 40, 124
- Бенкендорф А. Х. 295
- Бенн Готфрид 152
- Берг Альбан 22
- Бергольц О. Ф. 51
- Бердяев Н. А. 66, 67, 143
- Береендонг 196
- Берестов В. Д. 315
- Берзер А. С. 77, 78, 79
- Берия Л. П. 9, 10, 11, 60, 229
- Берлин И. 138
- Бернанос Жорж 184
- Бетховен Людвиг ван 365
- Бехер Иоганнес 122, 152
- Биен 160
- Биргер Б. Г. (Борис) 3, 166, 169,
171, 177, 180, 196, 198
- Биргеры 196
- Бирман Вольф 168
- Битов А. Г. 104, 253
- Блок А. А. 62, 83, 117, 142, 146,
148, 265, 275, 283, 302, 305, 306,
318, 321, 322, 328, 331, 333, 338,
386
- Бовуар Симона де 16, 80, 415
- Богатырев К. П. 95, 111, 172, 177,
181, 185, 186, 198, 202, 249, 410—
412
- Богатыревы 181, 185
- Богданов Ю. В. 12
- Богданов А. А. 65
- Богораз Л. И. 3, 201, 209, 211, 213,
235, 252, 261, 398
- Богуславская З. Б. 104, 185
- Бондарев Ю. В. 271
- Бонди С. М. 270, 317
- Боннэр Елена Георгиевна (Люся)
180, 186, 193, 195, 252, 423, 424,
427, 429
- Боннэр Р. Г. 423, 424
- Бортников Г. Л. 167
- Борхерт Вольфганг 147, 148, 399,
400
- Брандт Вилли 94, 95, 177, 363
- Браун Джон 363, 403
- Брежнев Л. И. 18, 237, 403, 408
- Брейтбурд Г. С. 173, 174
- Брехт Бертольт 90, 92, 93, 94, 97,
110, 114, 130, 152, 164, 204, 367,
368, 399, 402, 411, 419
- Брик Лилия Юрьевна 142
- Бродский Иосиф Александрович
21—22, 62, 73, 101—106, 109,
110—115, 117, 142, 164, 198, 230,
287, 290, 297, 300, 315, 410
- Брук Питер 129
- Бруштейн А. Я. 56, 237
- Брыксин И. Е. 6
- Брюсов В. Я. 265, 416
- Будберг (Бенкендорф) М. И. 307,
308
- Буковский В. К. 186, 198, 237, 396,
406
- Булгаков М. А. 142, 169, 206, 336
- Булгакова Е. С. 142
- Булганин Н. А. 423
- Бунин И. А. 265, 306, 307, 328
331
- Бурихин И. Н. 3, 197
- Бухарин Н. И. 8, 360
- Буш Эрнст 114
- Быков В. В. 371
- Бюхнер Людвиг 123
- Вайгель Елена 90, 91, 92
- Вайс Петр 160
- Вайнерт Эрих 25
- Вайсберг Владимир 56, 196
- отец Валентин 195
- Вальтер А. Я. 340, 341, 343, 344,
353, 359, 360, 369, 377
- Ван Гог Винсент 129
- Ванчура Владислав 134
- Варгафтик Е. С. 3, 197
- Васильев А. Н. 225
- Васильев Б. Л. 390
- Васильев Ю. В. 21, 56
- Вахтангов Е. Б. 58
- Вахтин Б. Б. 104
- Введенский А. И. 58
- Великанова Т. М. 111
- Вербицкая А. А. 329
- Верченко Ю. Н. 176, 204
- Веселовский С. Б. 124
- Веселый Артем 39

- Вигдорова Ф. А. 102—105, 115, 116, 231, 305, 306, 314, 321, 338, 342, 375
 Вигорелли Дж. 136, 285
 Вильмс Дитер 89, 99
 Виноградов В. В. 291
 Винс Пауль 89, 95, 96, 99
 Владимов Г. Н. 88, 198, 199, 206, 208, 248, 252, 409
 Вознесенский А. А. 36, 37, 85, 104, 169, 170, 185, 275, 284, 355, 374
 Войнович В. Н. 12, 34, 88, 169, 182, 199, 207, 252, 409, 412
 Войновичи 181, 196
 Волков О. В. 298
 Волошин М. А. 32, 143
 Вольтер Мари Франсуа Аруэ 415
 Вольф Криста 89, 101, 113
 Воннегут Курт 185
 Ворошилов К. Е. 50, 51
 Вулф Томас 139
 Высоцкий В. С. 35, 109, 263

 Гааз Ф. П. 187, 189, 196, 419
 Габай И. Я. 209, 213
 Галансков Ю. Т. 198, 208, 233, 351
 Галич А. А. 203, 263, 329, 330, 423, 429
 Гаман Иоганн Генрих 34
 Гамзатов Р. Г. 104
 Гамсахурдия З. К. 242, 243
 Гамсахурдия К. С. 242
 Ганглевская З. 341
 Ганецкая Ханка 280
 Гарсия Маркес Габриель 129, 143, 182
 Гароди Роже 136
 Гашек Ярослав 67
 Гевара Эрнесто (Че) 87, 282, 349
 Гейне Генрих 173, 399, 411
 Гелескул А. М. 287
 Гельдерлин Фридрих 411
 Гердер Иоганн Готфрид 34—35
 Герсон 170
 Герлах 145, 146, 151
 Герман Ю. П. 104
 Геррес Йозеф 173
 Герф Е. И. 106
 Герцен А. И. 19, 22, 216, 263, 373, 408, 429
 Герштейн Э. Г. 270
 Гёте Иоганн Вольфганг 50, 51, 67, 71, 88, 92, 93, 110, 125, 144, 153, 180, 263, 265, 288, 410, 411
 Гефтер Валентин Михайлович 299
 Гидаш Антал 56, 63, 64
 Гильен Николас 122
 Гиндилис В. М. 106
 Гинзбург А. С. (Алик) 111, 198, 208, 233, 351, 375, 396, 405, 427
 Гинзбург Е. С. 39, 54, 81, 164, 169, 170, 199, 208, 296, 340—343, 345—347, 349, 351, 352—358, 361, 362, 364, 367—372, 374, 375
 Гинзбург Л. В. 175
 Гирнус Вильгельм 92
 Гитлер Адольф 7, 62, 89, 90, 92, 130, 166, 231, 397
 Глебова-Судейкина О. А. 334
 Глен Н. Н. 3, 294
 Глузман С. Ф. 196
 Гнедин Е. А. 59—64, 104
 Гнедина Н. М. 63
 Гоген Поль 129
 Гоголь Н. В. 142, 148, 198
 Голсуорси Джон 118
 Гольденвейзер А. Б. 428
 Гольдштокер Эдуард 136
 Гольшева Е. М. 21, 22, 104
 Гомер 35
 Гомулка Владислав 40, 97, 234
 Гончаров И. А. 148, 198, 337, 379
 Горбаневская Н. Е. 173, 211
 Горбачев М. С. 430
 Горелов А. Е. 51, 52
 Горький А. М. 50, 51, 66, 118, 146, 148, 151, 174, 198, 264, 308, 309, 317, 318, 321, 322—324, 326, 328, 331, 332, 337, 379, 408
 Готше Отто 91, 92, 97
 Гофман Эрнст Теодор Амадей 267, 411
 Гранин Д. А. 104, 290
 Грасс Гюнтер 165, 177
 Грачев Р. 104
 Грекова И. 88
 Грибачев Н. М. 43, 82
 Григ Эдвард 387
 Григоренко А. П. 405
 Григоренко З. М. 399, 400, 405, 409
 Григоренко П. Г. 198, 211, 240, 393—410
 Грин Грэм 29, 46, 127, 147, 174, 184, 203
 Гринвуд 389
 Гроссман В. С. 138, 296
 Грудинина Н. И. 102, 104
 Гудзий Н. К. 123

- Гумилев Л. Н. 297, 299
 Гумилев Н. С. 118, 264, 265, 267,
 270—271, 275, 276, 302, 309, 322,
 331, 335
 Гуревич С. А. 306
 Гус М. С. 12
 Давлианидзе Д. 137
 Даниэли 185, 196
 Даниэль Ю. М. 110, 116, 117, 158,
 160, 163, 164, 185, 198, 200—205,
 206, 208, 213, 225; 230, 233, 241,
 290, 291, 316, 347, 351, 412, 416
 Данте Алигьери 35
 Деблин Альфред 134
 Дейч А. И. 331
 Делоне В. Н. 211
 Демичев П. Н. 290
 Деникин А. И. 265, 267
 Державин Г. Р. 361, 415
 Джемилев М. 398, 427
 Джилас Милован 39
 Джинория О. 243, 244
 Джойс Джеймс 118, 135, 136, 138,
 149
 Диккенс Чарльз 165, 265
 Добровольский А. А. 208
 Довлатов С. Д. 199
 Долинина Н. Г. 104, 107, 110
 Домбровский Ю. О. 169
 Донн Джон 106
 Дорош Е. Я. 88
 Дос Пассос Джон 118
 Достоевский Ф. М. 117, 139, 140,
 146, 148, 156, 158, 159, 161—164,
 172, 173, 190, 198, 238, 242, 277,
 289, 302, 334, 337, 429
 Драбкина Е. Я. 57, 63
 Драйзер Теодор 122, 139
 Дремлюга В. А. 211
 Друскин Л. С. 199
 Дубчек Александр 233
 Дудин М. А. 290, 294
 Дудинцев В. Д. 20, 37—40, 42, 44,
 53, 54, 80, 147, 199
 Дьяконов И. М. 104
 Дымшиц А. Л. 80, 204
 Дюрренматт Фридрих 402
 Евгений Николаевич 355—358
 Евтушенко Г. С. 180
 Евтушенко Е. А. 32, 35—37, 82, 83,
 87, 98, 99, 104, 146, 169, 170, 180,
 223, 275, 284, 349, 355, 371, 372,
 374
 Ермилов В. В. 80
 Ерофеев В. В. 253
 Есенин С. А. 35, 49, 148, 264, 265,
 302
 Есенин-Вольпин А. С. 117, 206
 Ефимов И. М. 104
 Жанна д'Арк 126
 Жданов А. А. 119, 267
 Жданов В. В. 238
 Желудков С. А. 181, 408
 Желябов А. И. 265
 Живова Ю. М. 3, 294
 Жирмунский В. М. 281, 282, 343
 Журавлев В. А. 291
 Заболоцкий Н. А. 37, 83
 Завадский Ю. А. 167
 Залка Матэ 46
 Залыгин С. П. 88
 Замятин Е. И. 322
 Засулич В. И. 337
 Затонский Д. В. 135
 Зворыкина-Эткинд Е. 3
 Зегерс Анна 47, 96, 97, 99, 113,
 157, 162, 163, 180
 Зиновьев Г. Е. 8, 310
 Золотухин Б. А. 208
 Зонин А. И. 413
 Зонина В. Л. 413
 Зонина Л. А. 3, 104, 412—417
 Зошенко М. М. 37, 123, 169, 201,
 230, 232, 267, 268, 329, 335, 336
 Ибаррури Долорес 132
 Иванов Вс. Вяч. 38, 107, 231
 Иванов Вяч. Вс. 104, 201, 296, 297,
 300
 Иванов Г. В. 276
 Иванов Л. В. (Леня) 70, 108, 180
 Иванова С. Л. (Светлана) 70, 109
 Иванова Т. В. 295, 296
 Ивинская О. В. 288
 Измайлов Гумер 6, 304
 Ильичев Л. Ф. 84, 85, 206, 422
 Ильф И. А. 66, 118
 Инга 147, 151
 Иоанн XXIII 189
 Иоанн Кронштадтский 66
 Иоанн Павел II 189
 Ионеску Эжен 372
 Исаковский М. В. 35
 Искандер Ф. А. 36, 139, 195, 196,
 253, 371
 Искандеры 196

- Кавабата Ясунари 143
 Каверин В. А. 41, 44, 202
 Казакевич Э. Г. 41, 42
 Казаков Ю. П. 12
 Калынь Дзидра 73, 195
 Каменев Л. Б. 8
 Каменский А. А. 21
 Каминская Д. И. 208
 Кампанелла Томмазо 65
 Камю Альбер 122, 146, 152, 428
 Кандинский В. В. 143
 Капица П. М. 205
 Капутикян С. Б. 229
 Каракозов Д. В. 318
 Карлейль Ольга 138
 Кароль 348—351
 Карст Роман 136
 Картер Джеймс 375, 376
 Карякин Ю. Ф. 19
 Кастро Фидель 131, 282
 Катаев В. П. 207
 Катанян В. А. 142
 Кафка Франц Йозеф 46, 92, 122,
 134—136, 138, 146, 148, 152, 168,
 197, 229
 Кашкин И. А. 126, 415
 Квитко Л. М. 317
 Кедров М. С. 31
 Келдыш М. В. 422
 Келлерман Бернгард 118
 Кеннеди Джон Фицджеральд 277
 Кёппен Вольфганг 127, 128, 197
 Керенский А. Ф. 267
 Кестлер Артур 281
 Кестнер Эрих 411
 Кинг Мартин Лютер 110, 419
 Ким Ю. Ч. 209, 213, 410
 Киплинг Джозеф Редьярд 265
 Киров С. М. 30, 119
 Клейст Эвальд Христиан 411
 Клеменс 181
 Ключевский В. О. 30
 Кляйн Гюнтер 89, 99, 114
 Ковалев С. А. 196, 249, 409, 427
 патер Ковальский 152
 Коган П. Д. 267
 Когоут Павел 208
 Кожевников В. М. 147, 148, 150
 Козловский Я. А. 104
 Коллонтай А. М. 310
 Кольцов М. Е. 118
 Комаров 28, 344
 Кони А. Ф. 315, 329, 337
 Кораллов М. М. 56
 Корвалан Луис 406
 Коржавин Н. М. 66, 86, 165, 343,
 362
 Корнилов Б. П. 83
 Корнилов В. Н. (К.) 3, 22, 139,
 178, 199, 203, 207, 252, 283
 Корниловы 181
 Короленко В. Г. 144, 173, 181, 199,
 265, 317, 321, 328, 338, 408, 428,
 429
 Корольков Ю. В. 83
 Корсакова А. Н. 163
 Корчак Януш 390
 Косоруков 177
 Костава Мераб 244
 Костенко М. В. (Марина) 180
 Костерин А. Е. 396, 397
 Костерина Н. А. 397
 Костов Трайчо 91
 Косыгин А. Н. 237
 Кох Ганс 95
 Кочетов В. А. 98
 Красново П. Н. 265
 Красноповцев Л. Н. 45
 Крахмальникова З. А. 252
 Крелин (Крейндлин) Ю. З. 139
 Кривошеин Н. И. 45
 Крон А. А. 9, 42
 Крупская Н. К. 332
 Кручинский М. 26, 28
 Куба (Курт Бартель) 122
 Кузнецова Наталья 199
 Кулиш М. 265
 Кун Бела 97
 Куницын 200
 Куприн А. И. 331
 Кутейщикова В. Н. 3
 Лакснесс Халдор 127
 Ланге Эрика 95
 Ландау Л. Д. 21
 Лаптев Ю. Г. 13
 Ларни Мартти 174
 Лашкова В. И. 208
 Лебедев В. С. 79
 Лев Матвеевич 354
 Левидов М. Ю. 304
 Левин В. Е. 26, 28, 29
 Ленин В. И. 8, 29, 57, 82, 90, 99, 119,
 137, 221, 245, 265, 282, 313, 395,
 396, 413
 Ленц Зигфрид 177, 197
 Леонов Л. М. 13
 Леонтьев К. Н. 66

- Леонтьева Т. К. 12
 Лесков Н. А. 148, 173, 190
 Лесючевский Н. В. 83
 Лермонтов М. Ю. 300, 316, 368, 378,
 380, 383, 385, 386, 389
 Лерт Р. Б. 251
 Лец Станислав Ежи 237
 Ли Ги Ен 268
 Ли Харпер 108
 Либединский Ю. Н. 50
 Либкнехт Карл 265
 Линдсей Джек 122
 Липкин С. И. 138, 253, 300
 Лиснянская И. Л. 253
 Листер Энрике 132
 Литвинова (Копелева) М. Л. 211,
 212, 402
 Литвинов М. М. 60, 62, 308
 Литвинов П. М. 3, 209, 211—213,
 235, 249, 398
 Литвинова Т. М. 199, 216
 Лифшиц М. А. 13, 14
 Лозовская К. И. 314, 327, 336, 338,
 339
 Локкарт Роберт 308
 Лондон Джек 118, 133, 139
 Лохвицкая М. А. 361
 Лошанская С. С. 418
 Луговская М. 180
 Лукач Дьердь 98, 137
 Лукашевич К. В. 329
 Луконин М. К. 176
 Лукьяненко Л. 196
 Луначарский А. В. 58, 137, 309, 318
 Лысенко Т. Д. 29, 421—422
 Любарский К. А. 111
 Любимов Н. М. 415
 Любимов Ю. П. 107, 109, 160, 247,
 402
 Люксембург Роза 177, 282
 Магон Л. Б. 378—393
 Майер 130
 Макаенок А. Е. 9
 Макарьев И. С. 49—55, 57, 58, 63,
 64, 203
 Маковский С. К. 276
 Макогоненко Г. П. 298
 Максимов В. Е. 198, 362, 363,
 374
 Маленков Г. М. 7
 Мальро Андре 415
 Мальцев Е. Ю. 85
 Мальцева Н. Е. 274, 275
 Мандельштам Н. Я. 21, 39, 58, 59,
 81, 141, 175, 178, 208, 228, 268,
 269, 294, 299
 Мандельштам О. Э. 32, 49, 58, 118,
 142, 143, 169, 206, 228, 273, 275,
 287, 288, 300, 302, 327, 336, 386,
 389
 Мандзони Алессандро 411
 Манн Генрих 118
 Манн Клаус 411
 Манн Томас 93, 123, 130, 197, 360
 Мао Цзедун 282, 349
 Марамзин В. Р. 238
 Марат Жан Поль 265
 Марголина С. 12
 Марке Альбер 49
 Маркес Габриэль Гарсия 129, 143,
 182
 Маркиш П. Д. 91
 Маркс Карл 137, 173, 221, 350
 Мартен дю Гар Роже 415
 Мартынов Л. Н. 37, 51
 Маршак С. Я. 78, 104, 321, 327
 Марченко А. Т. 3, 81, 111, 214, 240,
 252, 253, 257, 262, 430
 Масевич А. Г. 21
 Маслова Н. Б. 3, 418, 420
 Маслов С. И. 418
 Маслов С. Ю. 3, 417—421
 Маслов Ю. С. (М.) 3, 297, 417—418
 Матисс Анри 122, 129
 Машинский С. И. 311
 Маяковский В. В. 35, 49, 56, 58, 65,
 66, 118, 142, 146, 148, 233, 264,
 265, 281—283, 302, 303, 306, 318,
 328, 329, 331, 353
 Медведев Р. А. 31, 238, 250, 252,
 253, 346, 347, 353, 354, 363
 Медведевы 363
 Медынский Г. А. 13
 Межиров А. П. 34
 Мейерхольд В. Э. 56, 58, 83
 Мельниковы 185
 Мережковские 51
 Мережковский Д. С. 331
 Мерль Робер 415
 Мертез 196
 Метгер И. М. 104
 Мешко О. 405
 Микоян А. И. 31, 53, 74, 103, 131
 Мильчаков А. И. 54
 Михайлов Михайло 179
 Михалков С. В. 83, 84, 203, 295,
 296, 298

- Михозлс С. М. 91, 125, 304
 Модильяни Амедео 49
 Можаев Б. А. 88, 109, 247
 Молотов В. М. 60, 62, 126
 Мондадори 347
 Монтан Ив 129
 Мор Томас 65
 Мориак Франсуа 127, 184
 Мориц Ю. П. 84, 104
 Морозов М. М. 303
 Мотылева Т. Л. 354, 369
 Моцарт Вольфганг Амадей 330, 387
 Муравьев М. Н. 318, 319, 322
- Набоков В. В. 141, 142, 238
 Навин Иисус 420
 Надсон С. Я. 273, 361
 Надь Имре 41
 Найман А. Г. 297
 Наровчатов С. С. 34, 104
 Наумов В. Н. 162
 Неизвестный Э. И. 71, 82, 181, 275
 Некрасов В. П. 34, 79, 135, 198, 199, 374, 409
 Некрасов Н. А. 35, 88, 263, 305, 310, 318—320, 322, 323, 325—327, 329, 334, 337, 338, 356, 357, 368
 Некрич А. М. 62, 397
 Нексе Мартин Андерсен 165
 Неруда Пабло 22, 82, 122, 182
 Нечаев С. Г. 8
 Никитина З. А. 42
 Николаева Г. Е. 13
 Николай I 22, 295
 Нил Сорский 66
 Ницше Фридрих 420
 Новиков Н. И. 415
 Нуждин Н. И. 421
- Образцов С. В. 48
 Овечкин В. В. 12, 13, 38, 51, 394
 О' Генри 118, 139
 Огородникова И. Ф. 104
 Огурцов И. В. 196
 Одоевцева И. В. 276, 372
 Озеров Л. А. 176, 181, 283, 293, 295
 Окороков 28—29, 225
 Оксман Ю. Г. 315, 316, 378, 379, 388
 Окуджава Б. Ш. 36, 77, 139, 169, 170, 263, 374, 390, 429
 Олдридж Джеймс 122
 Олеша Ю. К. 81
- Ольшевская Н. А. 271, 275, 292, 294
 Орлова М. Н. (Маша) 70, 168, 181, 314
 Орлов Ю. Ф. 196, 242, 256, 257, 262, 375, 405, 409
 Осповат Л. С. 3, 51
 Островитянов К. В. 280
 Островский А. Н. 379
 Отген Н. 21, 22, 77, 78, 104
- Павел VI 189
 Павлов 176
 Панин Д. М. (Митя) 74, 75
 Панова В. Ф. 134, 164, 277
 Пантелеев Л. 139
 Паперный З. С. 328
 Парвус А. Л. 60
 Пас Октавио 254
 Пастернак Б. Л. 4, 11, 20, 32, 36, 47, 62, 84, 104, 111, 118, 127, 129, 138, 148, 152, 154, 156, 180, 199, 201, 232, 233, 273, 275, 288, 295, 302, 314, 328, 333, 335, 343, 353, 386, 410, 428
 Пастернак З. М. 288
 Паустовский К. Г. 38, 40, 41, 44, 49, 76—78, 104, 146, 155, 160, 191, 199, 201, 202, 231, 296, 313, 388
 Первенцев А. А. 43
 Пересветов Р. Т. 121
 Петефи Шандор 40, 85
 Петр I 30, 265
 Петров В. В. 124
 Петров (Катаев) Е. П. 66, 118
 Петров-Водкин К. С. 49
 Пикассо Пабло 37, 56, 122, 129, 283
 Пильняк Б. А. 39, 118, 206
 Пименов Р. И. 235
 Пинский Л. Е. 202, 249
 Писарев Д. И. 322
 Писарев С. 396, 397
 Платонов А. П. 169, 206
 Плеханов Г. В. 137
 Плисецкая М. М. 205
 Пляйтген Фриц 214
 Поженян Г. М. 274
 Покровский М. Н. 119
 Полежаев А. И. 20, 21
 Ползунов И. И. 124
 Поликарпов Д. А. 127, 128, 129
 Поляков В. 21, 157
 Померанцев В. М. 12—14, 24
 Помпиду Жорж 348, 350
 Попов Е. А. 253

- Поповский М. А. 202
 Приставкин А. И. 3
 Притчетт 179, 192
 Пришвин М. М. 199
 Прокофьев С. С. 123
 Прош В. Я. 124
 Проффер Карл 141—143, 238
 Проффер Эллендея 141, 142
 Профферы 142, 144
 Пруст Марсель 118, 123, 135, 136
 Пузин Н. П. 156
 Пунина И. Н. 293, 297, 299
 Пунины 297, 299
 Пушкин А. С. 35, 62, 88, 148, 201,
 239, 263—265, 281, 283, 295, 300,
 301, 310, 316, 317, 320, 337, 368,
 379, 400, 428, 429
 Пуцин И. И. 22
 Пятаков Г. Л. 8

 Рабин О. Я. 200
 Рабле Франсуа 124
 Равич Н. А. 52
 Радек Карл 62, 303
 Радищев А. Н. 209, 415
 Радлова А. Д. 303, 304
 Райк Ласло 91
 Райт Р. Я. 185
 Райх-Раницкий 197
 Раневская Ф. Г. 268, 269
 Рацнер 184
 Распутин В. Г. 199
 Рафаэль Санти 129, 343
 Рахманинов С. В. 387
 Рейман Пауль 136
 Рейснер Л. М. 265
 Реллер Клаус 94, 95
 Ремарк Эрих Мария 87, 91, 127—
 129, 134, 138, 143, 147, 148, 161
 Репин И. Е. 304, 306, 317, 318, 328,
 337, 338
 Решетовская Н. А. (Наташа) 75, 76
 Рид Джон 57, 107
 Рильке Райнер Мария 287, 388, 410,
 411
 Рихтер Ганс Вернер 94—96, 136,
 285, 290, 292, 293
 Роб-Грийе Ален 415
 Робеспьер Максимильен 265, 413
 Роднянская И. Б. 165, 177
 Рожанский И. Д. (Р.) 3, 21, 296
 Розанова М. В. 199
 Розов В. С. 199
 Рокоссовский К. К. 41

 Роллан Ромен 118, 122, 350
 Ромм М. И. 82
 Ростропович М. И. 21, 205, 229, 423
 Рохлин М. И. 3
 Рохлина Р. Б. 3
 Роцин М. М. 140
 Руа Клод 372
 Руденко Н. Д. 196, 242, 262, 405
 Рудомино М. И. 213
 Рудный В. 41, 44, 51
 Руставели Шота 35
 Рыков А. И. 8, 360
 Рыльский М. Ф. 266
 Рюмин М. Д. 10

 Салтыков-Щедрин М. Е. 238, 327
 Самарин Р. М. 41, 138, 264
 Самойлов Д. С. 3, 22, 32, 88—89,
 161, 174, 216, 263, 273, 429
 Самойлова Г. И. 3
 Самойловы 174
 Сарабьянов Д. В. 1
 Сарнов Б. М. 140
 Сароян Уильям 134, 312
 Саррот Натали 136, 415
 Сартр Жан-Поль 16, 122, 127, 136,
 146, 415, 417
 Сарьян Мартирос 227—228
 Сахаров А. Д. 31, 62—64, 109, 180,
 181, 185, 186, 192—195, 198, 205,
 212, 228, 235, 237, 240, 242, 245,
 247, 248, 251—253, 257, 261, 262,
 339, 347, 354, 409, 421—425,
 427—430
 Сахаров Д. И. 428
 Сахаров И. Н. 428
 Сахаров (отец Николай) 428
 Сахаров Ю. Д. 428
 Сахаровы 111, 180, 181, 185, 198,
 213, 242, 422, 424
 Сверчевский Кароль 45, 46
 Светличная Л. П. 215
 Светличный И. А. 261
 Светов Ф. Г. 170, 207, 252
 Сvirский Г. Ц. 346, 374
 Северянин И. В. 35
 Сезанн Поль 129
 Сельвинский И. (К. Л.) 264
 Семенов Н. Н. 423
 Семин В. Н. 88, 158
 Семичастный В. Е. 115, 347, 348,
 396
 Сент-Экзюпери Антуан де 127, 133,
 134, 138, 415, 430

- Сергей (патриарх) 267
 Серов В. А. 81, 82
 Сетон-Томпсон Эрнст 139
 Сидоренко 121
 Сидур В. А. 195, 196
 Сидуры 196
 Сильман Т. И. 289
 Симонов К. М. 25, 35, 38, 76, 80, 175, 285
 Скафтымов А. П. 378, 379
 Скотт Вальтер 411
 Синявский А. Д. 34, 110, 116, 117, 158, 160, 163, 164, 177, 185, 198, 199—203, 205, 206, 213, 225, 230, 233, 290, 291, 316, 347, 351, 374, 412, 416
 Славущая В. Г. (Вильгельмина) 177, 196, 342
 Сланский Рудольф 91
 Слонимский М. Л. 317
 Слуцкая Т. 374
 Слуцкий Б. А. 20, 21, 32, 33, 51, 211, 361
 Смеляков Я. В. 36
 Смирнов В. А. 313
 Смирнов Л. 201, 315
 Смоктуновский И. М. 164
 Снегов С. А. 31, 53
 Соболев Л. С. 43
 Сокол Эвальд 72, 73
 Соколов Саша 142
 Солженицын А. И. 39, 71, 74—77, 81, 87, 98, 101, 104, 110, 116, 117, 158, 167, 168, 171—175, 177, 186, 191, 198, 199, 206—208, 216, 219, 220, 222, 223, 228, 230—232, 240, 241, 272, 273, 316, 325, 344, 351, 353, 354, 362—364, 371, 381, 382, 384, 412, 423
 Соловьев В. С. 66
 Солоухин В. А. 146
 Сосюра В. Н. 264
 Софронов А. В. 43, 82
 Ставский В. П. 43—44
 Сталин И. В. 6—9, 11, 18—20, 23—25, 27, 29—35, 40, 41, 44, 49—51, 62, 74, 82, 84, 87, 96, 99, 103, 119, 122, 123, 125, 128, 130, 166, 176, 205, 208, 304, 354, 394, 397, 404, 421, 422
 Сталина С. И. (Аллилуева) 348
 Стальский Н. 50
 Стасова Е. Д. 25
 Стейнбек Джон Эрнст 139
 Стеженский В. И. 147, 157, 171—174, 181
 Стиль Андре 122, 415
 Столыпин П. А. 66, 245
 Столярова Н. И. 106, 109
 Стравинский И. Ф. 22
 Струве Г. П. 276
 Суворов А. В. 265
 Судаков 26—28, 37
 Сурков А. А. 35, 56, 104, 285
 Суслов М. А. 73
 Сучков Б. Л. 135, 136, 147, 150
 Сэлинджер Джером Дейвид 129, 134, 138, 139, 147, 149, 216
 Таиров А. Я. 58
 Тамм И. Е. 21, 43, 205, 423
 Тарковский А. А. 282, 293, 298, 299, 429
 Тарсис В. Я. 200, 206
 Татэ Хильмар 91
 Твардовский А. Т. 4, 6, 14—18, 24, 29, 35, 77—80, 86, 88, 104, 109, 157, 159, 160, 174, 223, 232, 263, 271, 273, 285, 296, 338, 354, 381
 Твердохлебов А. Н. 235, 423
 Тендряков В. Ф. 13, 41, 44
 Тербилов В. И. 111
 Тимофеев Е. 57, 63, 64
 Тито Иосип Броз 10, 92, 179
 Тихий А. И. 196, 405
 Товстоногов Г. А. 160, 164
 Толлер Эрнст 152
 Тольятти Пальмиро 349
 Толстиков В. С. 37, 103
 Толстой А. К. 265, 429
 Толстой А. Н. 326
 Толстой Л. Н. 44, 137, 140, 144, 148, 155, 156, 161, 172—174, 190, 198, 199, 265, 327, 328, 337, 354, 368, 379, 407, 408, 428, 429
 Толстой С. Л. 306, 307
 Тольятти Пальмиро 349
 Траклъ Георг 152
 Трифонов Ю. В. 191, 199
 Тротт 159
 Тротт Катарина фон 158, 165, 166
 Троцкий Л. Д. 8, 155, 221, 282
 Тувим Юлиан 191
 Тургенев И. С. 379
 Тухольский Курт 411
 Тынянов Ю. Н. 58, 315
 Тычина П. Г. 264

- Тютчев Ф. И. 62, 263, 300, 327, 400, 417, 429
- Уайльд Оскар 327
- Улановская М. 410
- Ульбрихт Вальтер 91, 97, 99, 153, 196
- Уитмен Уолт 313, 327, 328
- Унгаретти Джузеппе 285
- Успенский Г. И. 76
- Утесов Л. О. 9
- Уэллс Герберт 308, 309
- Фадеев А. А. 50, 56, 415
- Файнберг В. И. 211
- Фалин В. М. 177
- Фаллада Ганс 148
- Фальк Р. Р. 49
- Фаст Говард 122, 137
- Федин К. А. 78, 95, 104
- Федоренко Н. Т. 181
- Федотов Г. П. 143
- Фейербах Людвиг 123
- Фейхтвагер Лион 118, 168, 221, 350
- Феллини Федерико 162
- Филдинг Генри 107
- Филонов П. Н. 143
- Фишер Эрнст 92, 136
- Флоренский П. А. 143
- Флорин Петр 98
- Фогельвейде Вальтер фон дер 130
- Фогт 123
- Фолкнер Уильям 98, 122, 134, 137—140, 143, 149, 168, 216, 233
- Фонвизин Д. И. 415
- Фонтане Теодор 197
- Франк Анна 127, 390
- Франк Леонгард 130
- Франс Анатолий 118
- Фрейд Зигмунд 118, 420
- Фрейденберг О. М. 11
- Фриц (Фридрих Великий) 192
- Фриш Макс 145, 157, 177
- Фрост Роберт 277
- Фурие Шарль 65
- Хавеман Роберт 99
- Хавенсон 27
- Хагельштанге 145, 146, 147, 151
- Хазин А. А. 267
- Хайдеггер Мартин 148
- Хаксли Олдос 118, 149
- Халатов А. Б. 280—283
- Хеллман Лириан 121
- Хемингуэй Эрнест 45, 50, 76, 87, 92, 122, 123, 126, 131—134, 138—140, 143, 149, 164, 216, 229, 312, 378, 413, 419
- Хикмет Назым 42, 47, 48, 55, 56, 63, 71, 231
- Хлебников В. В. 302
- Ходасевич В. Ф. 62, 302
- Ходорович С. Д. 111
- Хольцхауэр 93—94
- Хохлушкин И. Н. 3, 224, 225, 364, 377
- Хо Ши Мин 282
- Храмушина Г. 26, 28
- Хрущев Н. С. 6, 11, 16, 18, 20, 23—25, 29—31, 40, 42—44, 53, 57, 72, 74, 79—83, 85, 87, 95, 97, 98, 105, 116, 277, 347, 396, 397, 421, 422, 427
- Хрущева Н. П. 31
- Хухель Петер 168
- Хьюз 253
- Царапкин 169
- Цвейг Стефан 118
- Цветаева М. И. 32, 42, 49, 77, 78, 84, 118, 142, 143, 206, 264, 267, 273, 279, 295, 301, 302, 334, 386, 388
- Чаковский А. Б. 53, 126, 127, 174, 373
- Чалидзе В. Н. 235, 423
- Чарская Л. А. 329
- Чаплин Чарльз 283
- Черненко К. У. 18
- Черниченко Ю. Д. 3
- Черноуцан И. С. 346
- Чернышевский Н. Г. 65, 123, 322, 337
- Чехов А. П. 148, 172, 173, 190, 198, 238, 265, 305, 309, 318, 323—327, 329, 332, 337, 338, 429
- Чуковская Е. Ц. 338, 339
- Чуковская Л. К. 3, 34, 39, 81, 103—106, 110, 115, 185, 198, 205, 208, 228, 230, 231, 232, 239, 240, 270, 271, 293, 294, 296, 310, 325, 326, 338, 339, 353, 427
- Чуковская М. 327
- Чуковская М. Б. 327
- Чуковские 70
- Чуковский К. И. 78, 180, 202, 205, 216, 228, 230, 231, 271, 302—306, 311—339, 415

- Чуковский Н. К. 310, 325
- Шагал Марк 143, 276, 373
- Шагинян М. С. 43, 51
- Шаламов В. Т. 32, 57—58, 63, 64, 81, 174
- Шаллюк Пауль 94
- Шаляпин Ф. И. 307, 328
- Шамиль 124
- Шарф Эрвин 178
- Шатуновская О. Г. 53
- Шафаревич И. Р. 172
- Шварц Е. Л. 84, 320, 321
- Швейский В. Я. 208
- Швейцер В. А. 202
- Шевченко Т. Г. 265, 314, 408
- Шевченко 142
- Шекспир Уильям 137, 303, 304
- Шелепин А. Н. 74
- Шенберг Арнольд 22
- Шенк Дорис 196
- Шершеневич В. Г. 304
- Шершер Л. Р. (Леня) 70
- Шиллер Фридрих 75, 88, 265, 428
- Шкирятов М. Ф. 26
- Шкловский В. Б. 58, 303
- Шифферс Е. 209
- Шихеева И. А. 3, 214
- Шмидт Хельмут 194
- Шнейдер Райнхольд 163
- Шолохов М. А. 148, 201, 205, 231, 238
- Шопенгауэр Артур 411
- Шостакович Д. Д. 104, 123, 229, 355, 423
- Шоу Бернард 118, 126
- Шпенглер Освальд 118
- Шпрингер Аксель 174, 178, 363
- Шрагин Б. И. 87, 233
- Штейн Эдит 190
- Штраус Франц Иозеф 178, 363
- Штритматер Эрвин 92—95, 99, 115, 153, 180
- Штритматеры 115
- Шульгин В. В. 265
- Шульман Маршалл 215, 238
- Шуман Роберт 366
- Щаранский А. 405, 427
- Щеглов М. А. 13, 14, 24
- Щедрин М. Е. 238, 327
- Щипачев С. П. 83
- Эйзенштейн С. М. 124, 162, 283
- Эйнауди 287
- Эйнштейн Альберт 385
- Элиот Томас Стернз 288
- Эммануэль Пьер 182, 372
- Энгельс Фридрих 137
- Энценбергер Ханс Магнус 16, 95, 136
- Эрдман Н. Р. 49
- Эренбург И. Г. 13, 20, 21, 29, 36, 37, 42, 48, 49, 72, 78, 83, 84, 104, 106, 113, 118, 126, 131, 165—166, 202, 275, 296, 313, 414
- Эткинд Е. Г. 3, 102, 104, 198, 199, 294, 295, 374
- Юдина М. В. 21, 293
- Юзовский И. И. 51, 83
- Юрген Б. 190
- Юрский С. Ю. 164
- Юрьев 120
- Якир П. И. 209, 213
- Якобсон А. А. 173, 240, 396, 402
- Якунин (о. Глеб) 377
- Якушкин Е. И. 22
- Ясенский Бруно (В. Я.) 37
- Ясный В. 167
- Яхимович И. 209, 210, 213, 396
- Яшин А. Я. 42

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Часть первая	
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА	
1. Ранняя оттепель	6
2. Мы поверили, что уже весна	22
3. Вперед, к прошлому!	48
4. Умеренный прогресс в рамках законности	67
5. Прорывы железного занавеса	117
6. Наш Генрих Бёль	144
7. Невольные противники державы	199
Из неоконченного разговора	258
Часть вторая	
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ	
Встречи с Анной Ахматовой	264
Чудо Корнея Чуковского	302
Евгения Гинзбург в конце крутого маршрута	340
Просветительница	378
Генерал	393
Словопоклонник	410
Она пронесла свет	412
Русский интеллигент	417
Андрей Сахаров	421
<i>С. Чупринин. До звезды</i>	431
Указатель имен	436

Раиса Давыдовна Орлова

Лев Зиновьевич Копелев

МЫ ЖИЛИ В МОСКВЕ

1956—1980

Редактор Э. Б. Кузьмина

Художественный редактор Н. Д. Карандашов

Технические редакторы А. З. Коган, Е. Н. Волкова

Корректор В. А. Коротаева

ИБ № 2052. Сдано в набор 07.02.90.

Подписано в печать 31.08.90.

Формат 84 × 108¹/₃₂. Бум. тип. № 2.

Гарнитура Тип. Таймс. Печать высокая.

Усл. печ. л. 23,52 + 0,11. Усл. кр.-отт. 23,63.

Уч.-изд. л. 26,36 + 0,08. Тираж 75 000 экз.

Изд. № 5008. Заказ № 0—640. Цена 3 р. 60 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Головное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкнига». 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

Раиса Орлова, Лев Копелев

**О-66 Мы жили в Москве: 1956—1980.— М.: Книга, 1990.
447 с. 3 р. 60 к.**

ISBN 5-212-00446-2

Раиса Орлова и Лев Копелев друзья академика Сахарова, Генриха Бёлля, те, кого у нас десятилетиями именовали диссидентами, изгоняли из страны, а теперь мы признаем их совестью русской интеллигенции. Книга освещает противостояние лучших людей страны засилью застоя, рисует нравственные процессы в стране начиная с 1953 года, с «дела врачей» и «оттепели». Мы словно видим, как в квартиру Копелевых друзья несут передачи для ссыльного Иосифа Бродского. Вот Копелев с женой собирают подписи в защиту Синявского и Даниэля, вот вместе с Сахаровым собирают теплые вещи им в ссылку. Вот они с Генрихом Бёллем в гостях у Солженицына, у Надежды Яковлевны Мандельштам. Широкая картина жизни интеллигенции дополнена главками-портретами Ахматовой и Чуковского, Евгении Гинзбург и А. Д. Сахарова и других «героев и мучеников» Совести.

О 4703010100-125
002(01)-90

Без объявл.

ББК 84Р7